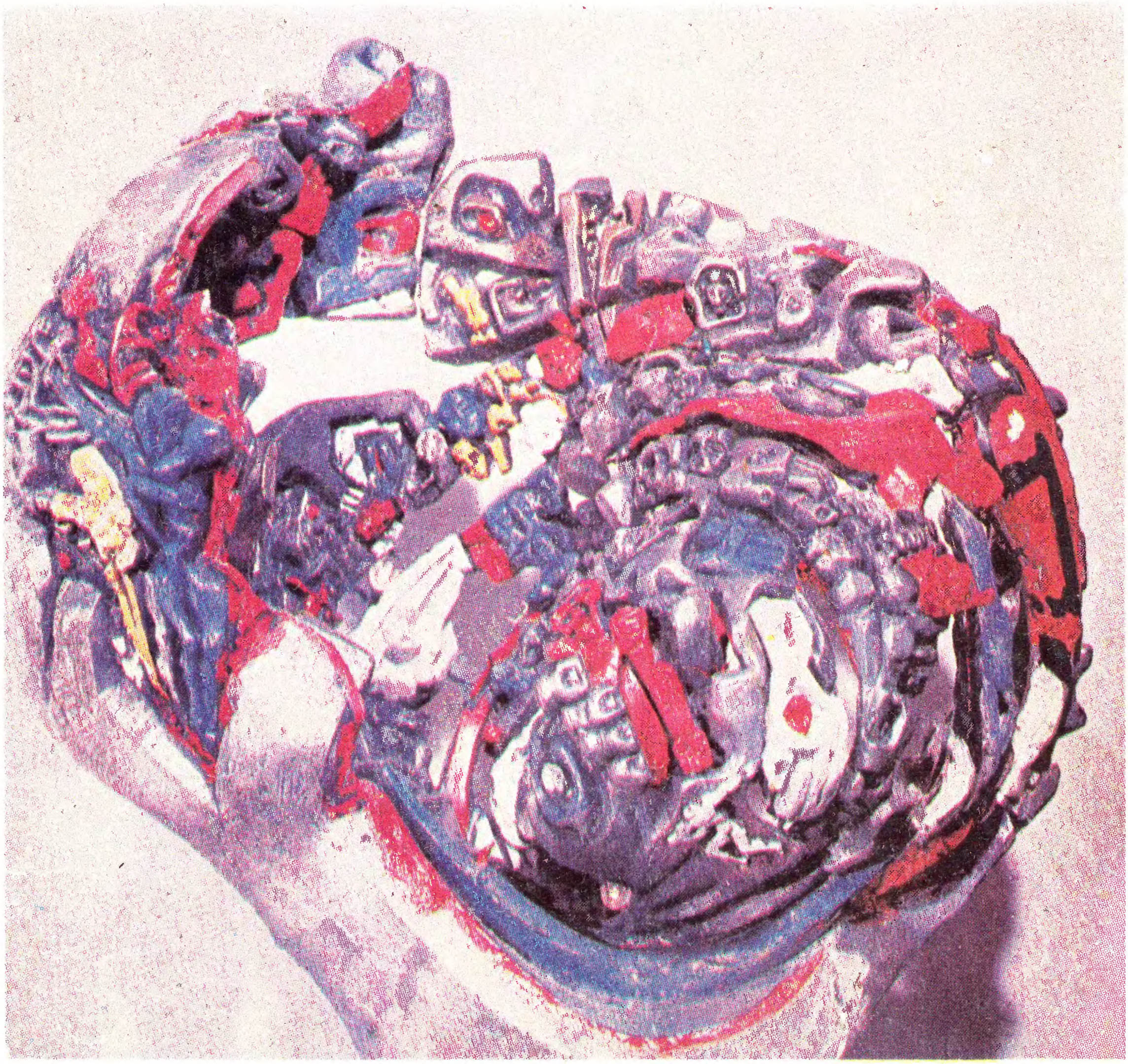
ISSN 0130—6545

1. 1989

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Бойня. Акриловые краски, масло. 1977—1980.

На 1-й и 4-й страницах обложки —

Древо Жизни. Раскрашенная модель. 70-е годы.

Распятие. Акриловые краски, масло. 1977—1980.

Цветные иллюстрации номера~
Эрнст Неизвестный:
из работ последних лет.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

январь

1

1989

Содержание

ГРЭМ ГРИН — Монсеньор Кихот *(Роман. Перевод с английского Т. Кудрявцевой)* 3

ВЕРНЕР ХАЙДУЧЕК — Прегрешение *(Повесть. Перевод с немецкого С. Фридлянд)* 78

Литературное наследие

Парижский сплин. Из Бодлера. Переводы Владислава Ходасевича *(Публикация В. Перельмутера. Послесловие Вяч. В. Иванова)* 126

Из классики XX века

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Улисс *(Роман. Вступление Д. С. Лихачева. Перевод с английского В. Хинкиса и С. Хоружего)* 140

Е. Гениева — Комментарии 177

Публицистика

ЦЕЦИЛИЯ КИН — Из хроники Коминтерна *(Несколько итальянских страниц)* 187

Антирубрика

ЖАК ПРЕВЕР — Баладар *(Перевод с французского Валентины Жуковой. Вступление Мориса Ваксмахера)* 205

Критика

Протоиерей АЛЕКСАНДР МЕНЬ — Трудный путь к диалогу *(О романе Грэма Грина «Монсеньор Кихот»)* 209

С. ХОРУЖИЙ — Как читать «Улисса» 214

Писатель и время

ГЮНТЕР ГРАСС — «Демократия — очень трудная вещь...» *(Беседу записала И. Щербакова)* 218

МИХАИЛО ЛАЛИЧ — «...Людям стало невмоготу» *(Перевод с сербскохорватского И. Юферева)* 225

К нашим иллюстрациям

И. Истратова — Эрнст Неизвестный 227

Резонанс

Тема для дискуссии: ОБЩЕСТВО И СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

АЛЬБЕР КАМЮ — Размышления о гильотине *(Перевод с французского О. В. Ротенберг)* 229

ГЕРЦ ФРАНК — ...И не только о гильотине 237

Из зарубежной печати

Мир читает «Детей Арбата» 244

Курьер «ИЛ» 248

Авторы этого номера 254

© «Иностранная литература» 1989

ГРЭМ ГРИН

Монсеньор Кихот

РОМАН

Перевод с английского Т. КУДРЯВЦЕВОЙ

...Сами по себе вещи не бывают хорошими или дурными, а только в нашей оценке.

Уильям Шекспир[1]

ПОСВЯЩАЕТСЯ

отцу Леопольду Дурану, Аурелио Верде, Октавио Виктории и Мегелю Фернандесу, моим спутникам по дорогам Испании, а также Тому Бэрнсу, вдохновившему меня впервые посетить Испанию в 1946 году.

Часть первая

I

О том, как отец Кихот стал монсеньором

Вот как это было. Отец Кихот велел своей домоправительнице приготовить ему обед на одного и отправился по шоссе, ведущему в Валенсию, за вином в местный кооператив, что находится в восьми километрах от Эль-Тобосо. В этот день над высохшими полями стояло, подрагивая, жаркое марево, а в его маленьком «сеате-600», который он купил по случаю восемь лет тому назад, кондиционера не было. Двинувшись в путь, отец Кихот с грустью подумал, что настанет день, когда ему придется подыскивать себе новую машину. Годы жизни собаки надо помножить на семь, чтобы понять, в каком она возрасте по сравнению с человеком, значит, его машина по такому счету только еще вступает в преклонный возраст, однако его прихожане, как он заметил, смотрят на нее почти как на развалину. «Нельзя ей больше доверяться, Дон Кихот»,— предупреждали они его, а что он мог сказать в ответ? — только одно: «Она была со мною в тяжелые дни, и я молю бога, чтобы она пережила меня». Столько его молитв осталось без ответа, что он надеялся: уж эта-то застряла, словно сера, в ухе Всевышнего.

Отец Кихот издали мог определить, где пролегает шоссе, по облачкам пыли, которые поднимали мчавшиеся по нему машины. Он ехал и думал о судьбе, ожидавшей «сеат», который в память о своем предке Дон Кихоте он называл «мой Росинант». Мысль, что его маленькая машина будет ржаветь на свалке, была ему невыносима. Он даже подумывал о том, чтобы купить клочок земли и оставить его в наследство кому-нибудь из прихожан при условии, что там построят сарай, где и упокоится его «сеат», но не было такого прихожанина, которому

© Graham Greene, 1982

[1] Уильям Шекспир. Гамлет, II, сц. 2 *(перевод Б. Пастернака). (Здесь и далее прим. перев.)*

он мог бы доверить исполнение своей воли, да и вообще его «сеату» не избежать медленной смерти от ржавения, так что, пожалуй, пресс на свалке был бы для него менее жестоким концом. В сотый раз обдумывая все это, отец Кихот чуть не налетел на черный «мерседес», стоявший за выездом на шоссе. Решив, что человек в черном отдыхает за рулем — ведь путь из Валенсии в Мадрид не близкий,— он прямиком направился в кооператив купить бутыль вина; и, только возвращаясь назад, он заметил у сидящего за рулем белый воротничок католического священника, словно перед его глазами взмахнули белым платком, подавая сигнал бедствия. Любопытно, подумал он, откуда это у его собрата-священника могут быть такие деньги, чтобы раскатывать в «мерседесе»? Но, подойдя поближе, он обнаружил ниже воротника пурпурный нагрудник, указывавший на то, что перед ним по крайней мере монсеньор, если не сам епископ.

А у отца Кихота были основания опасаться епископов: он прекрасно знал, в какой немилости он у своего епископа, видевшего в нем, несмотря на его именитую родословную, чуть ли не крестьянина.

— Разве можно быть потомком литературного героя, придуманного писателем? — заметил как-то епископ в одной частной беседе, которая была тут же передана отцу Кихоту.

Человек, с которым беседовал епископ, переспросил в изумлении:

— Придуманного писателем?

— Ну да, это же герой романа некоего переоцененного публикой писателя по имени Сервантес, к тому же романа, перегруженного омерзительнейшими пассажами, которые во времена генералиссимуса цензор ни за что бы не пропустил.

— Но, ваше преосвященство, в Эль-Тобосо есть дом Дульсинеи. На нем висит табличка с надписью: «Дом Дульсинеи».

— Ловушка для туристов. К тому же Кихот,— язвительно продолжал епископ,— это даже не испанское имя. Сервантес сам говорил, что звали его героя, скорее всего, Кихада, или Кесада, или даже Кехана, да и сам Дон Кихот на смертном одре называет себя Кихано.

— Я вижу, вы действительно читали эту книгу, ваше преосвященство.

— Только первую главу — дальше не пошло. Хотя, конечно, я заглянул и в последнюю. Всегда так поступаю с романами.

— Возможно, кого-нибудь из предков отца Кихота и звали Кихада или Кехана.

— У людей такого сословия не бывает предков.

Посему понятно, что отец Кихот не без внутренней дрожи представился сановной особе, сидевшей в роскошном «мерседесе».

— Меня зовут падре Кихот, монсеньор. Могу я быть вам чем-нибудь полезен?

— Безусловно, можете, друг мой. Я епископ Мотопский...— Говорил епископ с сильным итальянским акцентом.

— Епископ Мотопский?

— In partibus infidelium [1], друг мой. Нет ли тут поблизости гаража? Моя машина не желает ехать дальше, так что если бы здесь был ресторан... а то желудок мой уже начинает требовать пищи.

— В моем селении есть гараж, но он сегодня закрыт из-за похорон: умерла теща хозяина.

— Мир праху ее,— машинально пробормотал епископ, сжимая наперсный крест. И добавил: — Вот ведь незадача!

— Он вернется к себе часа через два-три.

— Через два-три! А есть тут поблизости ресторан?

— Если бы вы оказали мне честь, монсеньор, и разделили со мною мой скромный обед... Ресторан в Эль-Тобосо я не могу вам рекомендовать — ни в отношении кухни, ни в отношении вина.

---

[1] В краю неверующих *(лат.)*.

— В моем положении просто необходимо выпить стакан вина.

— Я могу предложить вам доброе местное вино и, если вас это устроит, простой бифштекс... и салат. Моя домоправительница готовит с запасом — я никогда всего не съедаю.

— Друг мой, да вы просто переодетый ангел-спаситель! Поехали к вам.

Переднее сиденье в машине отца Кихота было занято бутылью с вином, но епископ настоял на том, чтобы ее не трогать, и, согнувшись в три погибели — а он был очень высокий,— залез на заднее сиденье.

— Нельзя тревожить вино,— сказал он.

— Вино-то неважнецкое, монсеньор, а вам было бы куда удобнее...

— Со времен брака в Кане ни одно вино нельзя считать неважнецким, друг мой.

Отец Кихот почувствовал, что его осадили, и между спутниками воцарилось молчание, пока они не доехали до маленького домика возле церкви. У отца Кихота отлегло от сердца, лишь когда епископ, пригнувшись, чтобы войти в дверь, которая вела прямо в гостиную, заметил:

— Это для меня большая честь — быть гостем в доме Дон Кихота.

— Мой епископ не одобряет этой книги.

— Святость и литературный вкус не всегда идут рука об руку.

Епископ подошел к книжной полке, где отец Кихот хранил свой служебник, молитвенник, Новый завет, несколько потрепанных книжечек по теологии, оставшихся от его занятий, и кое-какие труды своих любимых святых.

— Прошу меня извинить, монсеньор...

И отец Кихот отправился разыскивать свою домоправительницу на кухню, которая служила ей одновременно спальней, а кухонная раковина — умывальником. Женщина она была плотная, с выпирающими зубами и намеком на усики; она не доверяла ни одному живому существу, святых же в известной мере уважала, особенно женского пола. Звали ее Тереса, и никому в Эль-Тобосо не пришло в голову прозвать ее Дульсинеей, поскольку никто, кроме мэра, слывшего коммунистом, и владельца ресторана, не читал произведения Сервантеса, и то сомнительно, чтобы последний продвинулся дальше сражения с ветряными мельницами.

— Тереса,— сказал отец Кихот,— у нас гость к обеду: надо побыстрее все приготовить.

— Да ведь у нас один только ваш бифштекс и салат, ну и еще остатки ламанчского сыра.

— Бифштекса моего хватит на двоих, да и епископ такой милый.

— Епископ? Нет уж, ему я не стану прислуживать.

— Да не наш епископ. Итальянский. Прелюбезнейший человек.

И отец Кихот объяснил, при каких обстоятельствах он встретился с епископом.

— Но ведь бифштекс-то...— сказала Тереса.

— А что такое?

— Ну нельзя же подавать епископу бифштекс из конины.

— Мой бифштекс — из конины?

— Я всегда вам такой готовлю. Откуда же мне взять говядины на те деньги, что вы мне даете?

— И ничего другого у тебя нет?

— Ничего.

— О господи, господи. Будем молиться, чтобы он не заметил. Я-то ведь не замечал до сих пор.

— А вы никогда ничего лучшего и не ели.

Отец Кихот с полбутылкой малаги вернулся к епископу в весьма смятенном состоянии духа. К радости отца Кихота, епископ согласился выпить рюмочку, а потом и другую. Может, вино притушит его вкус.

Епископ уютно устроился в единственном кресле отца Кихота. А отец Кихот с тревогой изучал гостя. Епископ не выглядел опасным человеком. Лицо у него было очень гладкое — точно никогда не знало бритвы. Отец Кихот пожалел, что не побрился утром после ранней мессы, которую отслужил в пустой церкви.

— Вы сейчас на отдыхе, монсеньор?

— Не совсем, хотя, по правде говоря, я рад побыть вне Рима. Я знаю испанский, и Святой отец поручил мне одну конфиденциальную миссию. У вас в Эль-Тобосо, наверное, очень много бывает иностранных туристов.

— Не так уж много, монсеньор: тут ведь и смотреть-то особенно не на что, если не считать музея.

— А что у вас за музей?

— Это совсем маленький музей, монсеньор,— всего одна комната. Не больше этой моей гостиной. Ничего интересного там нет — одни автографы.

— Какие автографы? Можно мне еще рюмочку малаги? А то от сидения на солнце в этом сломанном автомобиле у меня такая появилась жажда.

— Вы уж извините меня, монсеньор. Видите, какой из меня плохой хозяин.

— Я еще ни разу не встречал музея автографов.

— Видите ли, мэр Эль-Тобосо много лет назад начал писать главам государств с просьбой прислать переводы Сервантеса со своим автографом. И собралась замечательнейшая коллекция. Конечно, у нас есть автограф генерала Франко на главном экземпляре, как я бы его назвал; есть автографы Муссолини, и Гитлера — этот писал так мелко, точно мушиный помет,— и Черчилля, и Гинденбурга, и какого-то Рамсея Макдональда — он, кажется, был премьер-министром Шотландии.

— Великобритании, отче.

Тут вошла Тереса с бифштексами, мужчины сели за стол, и епископ произнес молитву.

Отец Кихот разлил вино и не без опаски стал наблюдать за тем, как епископ отрезал кусочек бифштекса и быстро запил его вином — наверное, чтобы отбить специфический вкус.

— Это весьма заурядное вино, монсеньор, но есть у нас ламанчское — вот им мы очень гордимся.

— Вино вполне пристойное,— сказал епископ,— а вот бифштекс... бифштекс,— повторил он, уставясь в тарелку, и отец Кихот приготовился к худшему,— бифштекс...— в третий раз сказал епископ, словно ища в глубинах памяти описания древних обрядов и то слово, которое тогда употребляли вместо анафемы (Тереса, подойдя к двери, тоже дожидалась его приговора),— ни за одним столом, никогда и нигде не пробовал я... такого нежного, такого ароматного, я даже склонен допустить святотатство и сказать — такого божественного бифштекса. Я хотел бы поздравить вашу замечательную домоправительницу.

— Она тут, монсеньор.

— Любезная моя, разрешите пожать вашу руку.— И епископ протянул ей свою с перстнем, как протягивают скорее для поцелуя, чем для рукопожатия. Тереса же поспешно попятилась на кухню.— Я что-нибудь не так сказал? — спросил епископ.

— Нет-нет, монсеньор. Просто она не привыкла готовить для епископов.

— Лицо у нее некрасивое, но честное. А в наши дни, даже в Италии, домоправительницы часто вводят в смущение — такие красотки, хоть завтра женись, и — увы! — очень часто этим дело и кончается.

Тереса влетела с сыром и столь же стремительно вылетела из комнаты.

— Немножко нашего queso manchego [1], монсеньор?

— И пожалуй, еще рюмочку вина к нему?

Отец Кихот почувствовал, как по телу начало разливаться приятное тепло. Все подталкивало его к тому, чтобы задать вопрос, с которым он не осмелился бы обратиться к собственному епископу. Римский епископ, в конце концов, все-таки ближе к источнику веры, да и то, что епископу понравился бифштекс из конины, придавало смелости. Ведь не случайно же отец Кихот назвал свой «сеат-600» «Росинантом», и если спросить о нем как о лошади, то, пожалуй, скорее получишь благоприятный ответ.

— Монсеньор,— сказал он,— есть один вопрос, который я часто задаю себе, вопрос, который, наверное, скорее придет на ум деревенскому жителю, чем горожанину.— Он помедлил, словно пловец перед прыжком в холодную воду.— Как по-вашему, молиться господу за здравие лошади — это богохульство?

— О здравии лошади здесь, на земле,— не колеблясь отвечал епископ,— нет, такая молитва вполне допустима. Святые отцы учат нас, что господь создал животных для человека, и долгая жизнь лошади на службе человеку не менее желательна в глазах господа, как и долгая жизнь моего «мерседеса», который, боюсь, начинает меня подводить. Должен, однако, признаться, что чудес с неодушевленными предметами не зарегистрировано, а вот что касается животных, то у нас есть пример валаамовой ослицы, которая по велению господа оказала необычайную услугу Валааму.

— Я-то думал не о пользе, какую лошадь может принести своему хозяину, а о том, можно ли молиться за ее благополучие... и даже за то, чтоб ей выдалась легкая смерть.

— Я не вижу возражений против того, чтобы молиться за ее благополучие: лошадь после этого вполне может стать послушнее и лучше служить своему хозяину, но я не вполне понимаю, что вы имеете в виду, говоря о легкой для лошади смерти. Легкая смерть для человека означает смерть в единении с богом, обещание вечной жизни. Мы можем молиться за земную жизнь лошади, но не за вечную ее жизнь — это уже граничило бы со святотатством. Правда, есть в нашей Церкви течение, которое считает, что собака наделена эмбрионом души, хотя лично я нахожу эту идею сентиментальной и опасной. Не следует открывать без нужды лишние двери неосторожными суждениями. Ведь если у собаки есть душа, то почему ее не должно быть у носорога или кенгуру?

— Или у комара?

— Вот именно. Я вижу, отче, что вы стоите на правильных позициях.

— Вот только я никогда не мог понять, монсеньор, как это комар мог быть сотворен для пользы человека. Какая же от него польза?

— Ну что вы, отче, польза очевидная. Комара можно сравнить с плетью в руках господа. Он учит нас терпеть боль во имя любви к нему. А этот пренеприятный писк, который мы слышим,— это, возможно, пищит сам бог.

У отца Кихота была злосчастная привычка одинокого человека — произносить свои мысли вслух.

— То же, наверное, можно сказать и о блохе.

Епископ внимательно на него посмотрел, но во взгляде отца Кихота не было и грана издевки: он был явно погружен в свои мысли.

— Это великие тайны,— сказал ему епископ.— Где была бы наша вера, если б не было тайн?

— Я вот думаю,— сказал отец Кихот,— куда я девал бутылку коньяку, которую один человек из Томельосо принес мне года три то-

[1] Ламанчского сыра *(исп.)*.

му назад. Сейчас, наверное, самый подходящий момент ее откупорить. Извините меня на минутку, монсеньор... может, Тереса знает, где она.— И отец Кихот бросился на кухню.

— Он и так уже достаточно выпил для епископа,— заявила Тереса.

— Тихо ты. До чего же у тебя громкий голос. Бедняга епископ очень волнуется из-за своей машины. Подвела она его, как он считает.

— По мне, так сам он виноват. Девчонкой я ведь жила в Африке. Там негры и епископы вечно забывали заливать в машину бензин.

— Ты в самом деле думаешь... А ведь и правда — он совсем не от мира сего. Он, к примеру, считает, что писк комара... Давай сюда коньяк. Пока он будет пить, я пойду взгляну, что там можно сделать с его машиной.

Отец Кихот достал из багажника «Росинанта» канистру с бензином. Он не думал, что проблема решится так просто, но отчего не попробовать — ну и, конечно, бак у епископа оказался пустой. Почему же он этого не заметил? Наверное, все-таки заметил, да постеснялся признаться деревенскому священнику в своей глупости. Отцу Кихоту стало жаль епископа. Этот итальянец был человек добрый — не то что его собственный епископ. Он выпил молодое вино, даже не поморщившись; с удовольствием съел бифштекс из конины. Отцу Кихоту не хотелось унижать такого человека. Но как же сделать, чтобы не уронить его достоинства? Отец Кихот долго раздумывал, прислонившись к капоту «мерседеса». Если епископ не заметил отметки на приборе, тогда нетрудно прикинуться искусным механиком, каким он вовсе не был. В любом случае не мешает вымазать в масле руки...

А епископу очень пришелся по душе коньяк из Томельосо. Он обнаружил на полках среди учебных текстов экземпляр книги Сервантеса, которую отец Кихот купил еще мальчишкой, и сейчас, улыбаясь, читал ее — у местного епископа она наверняка не вызвала бы улыбки.

— Я как раз нашел тут, отче, один вполне уместный пассаж. Что бы там ни говорил ваш епископ, Сервантес был высоконравственным писателем. «Верным вассалам надлежит говорить сеньорам своим всю как есть правду, не приукрашивая ее ласкательством и не смягчая ее из ложной почтительности. И тебе надобно знать, Санчо, что когда бы до слуха государей доходила голая правда, не облаченная в одежды лести, то настали бы другие времена»[1]. В каком же состоянии вы нашли «мерседес» — не заворожила ли его какая-нибудь колдунья в этой опасной Ламанче?

— «Мерседес» готов — можете ехать дальше, монсеньор.

— Произошло чудо? Или хозяин гаража вернулся с похорон?

— Хозяин гаража еще не вернулся, так что я сам заглянул в мотор.— И отец Кихот протянул епископу свои руки.— Весь перепачкался. У вас бензин был на исходе — эту беду было легко поправить: у меня всегда в запасе есть канистра,— а вот выяснить, в чем загвоздка...

— А-а, дело, значит, не только в бензине,— с довольным видом заметил епископ.

— Надо было кое-что подправить в моторе — я никогда не знаю, как эти штуки называются,— пришлось изрядно повозиться, но сейчас он работает вполне сносно. Когда доберетесь до Мадрида, монсеньор, дайте все-таки машину профессионалам — пусть проверят.

— Значит, я могу ехать?

— Если не хотите после обеда немного отдохнуть. Тереса постелет вам на моей кровати.

— Нет-нет, отче. Ваше превосходное вино и бифштекс — ах, какой бифштекс! — вполне восстановили мои силы. Кроме того, я сегодня вечером приглашен в Мадриде на ужин, а я не люблю приезжать в темноте.

---

[1] Мигель де Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский, ч. 2, гл. II *(перевод Н. Любимова)*.

Пока они шли к шоссе, епископ принялся расспрашивать отца Кихота:

— Сколько лет вы живете в Эль-Тобосо, отче?

— С детства, монсеньор. Только когда учился на священника, уезжал отсюда.

— А где вы учились?

— В Мадриде. Я бы предпочёл Саламанку, да слишком там высокие требования.

— Человеку ваших способностей нечего делать в Эль-Тобосо. Ваш епископ, несомненно...

— Мой епископ — увы! — слишком хорошо знает, сколь скромны мои способности.

— А ваш епископ мог бы починить мою машину?

— Я имею в виду — мои духовные способности.

— В церкви нам нужны и практики. В современном мире astucia [1] — в смысле мирской мудрости — должна сочетаться с молитвой. Священник, способный поставить перед нежданным гостем хорошее вино, хороший сыр и отличный бифштекс,— такой священник не уронит себя в самых высоких кругах. Мы существуем на этом свете, чтобы приводить грешников к покаянию, а среди буржуазии их куда больше, чем среди крестьянства. Мне хотелось бы, чтобы вы, подобно вашему предку Дон Кихоту, шли высоким путем...

— Моего предка ведь называли сумасшедшим, монсеньор.

— Многие говорили так про святого Игнатия [2]. А вот и шоссе, по которому мне предстоит следовать, вот и мой «мерседес»...

— Мой епископ говорит, что Дон Кихот — это вымысел, плод фантазии писателя...

— Возможно, отче, все мы — вымысел, плод фантазии господа.

— Вы что же, хотите, чтобы я сразился с ветряными мельницами?

— Только сразившись с ветряными мельницами, Дон Кихот познал истину на смертном одре.— И, устраиваясь за рулем своего «мерседеса», епископ на манер грегорианцев произнес нараспев: — «Новым птицам на старые гнезда не садиться»[3].

— Красиво звучит,— заметил отец Кихот,— но что же он хотел этим сказать?

— Я сам так и не разгадал,— ответил епископ,— но достаточно того, что это красиво.

И «мерседес», мягко заурчав, покатил по дороге на Мадрид, а отец Кихот на мгновение учуял в воздухе приятный запашок — смесь молодого вина, коньяка и ламанчского сыра,— который человек сторонний вполне мог бы принять за некий экзотический фимиам.

Немало недель протекло, как и все предшествующие годы, в успокоительном, ничем не нарушаемом ритме. Теперь, когда отец Кихот знал, что бифштекс, который ему время от времени подавали, был из конины, он встречал его со спокойной совестью и улыбкой. Он уже мог не корить себя за роскошь и всякий раз вспоминал итальянского епископа, который выказал такую доброту, такую любезность, такую любовь к вину. Отцу Кихоту казалось, будто один из языческих богов, о которых он читал в латинских учебниках, провел час-другой под его кровлей. Читал отец Кихот теперь совсем мало — вот только молитвенник да газету, которая не потрудилась сообщить ему, что молитвенник больше не обязательно читать; особенно его интересовали рассказы космонавтов, поскольку он до конца еще не расстался с мыслью, что где-то в необозримом пространстве существует царство божие... ну и время от времени он раскрывал один из своих старых учебников по богословию, дабы убедиться, что краткая проповедь,

---

[1] Находчивость *(исп.)*.

[2] Игнатий Лойола (1491—1556) — основатель ордена иезуитов.

[3] Мигель де Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский, ч. 2, гл. XXIV *(перевод Н. Любимова)*.

которую он намеревался произнести в своей церкви в воскресенье, вполне соответствует учению Матери-Церкви.

Кроме того, он получал раз в месяц из Мадрида богословский журнал. Порой там содержалась критика опасных идей, высказанных даже каким-то кардиналом, то ли голландским, то ли бельгийским, он забыл, каким именно, или написанных священником с тевтонским именем, приведшим отцу Кихоту на память Лютера, но он не обращал особого внимания на эту критику, ибо едва ли ему придется защищать правоверные идеи Церкви от мясника, булочника, хозяина гаража или даже владельца ресторана, который был в Эль-Тобосо самым образованным человеком после мэра, а поскольку мэр, по мнению епископа, был атеистом и коммунистом, его вполне можно было — в том, что касается учения Матери-Церкви,— не принимать в расчет. Правда, встретив мэра на улице, отец Кихот получал куда больше удовольствия от бесед с ним, чем с любым из своих прихожан. С мэром он не чувствовал себя неким начальством — обоих равно интересовали успехи космонавтов в овладении космосом, и вообще они проявляли такт по отношению друг к другу. Отец Кихот не рассуждал с возможности столкновения спутника с ангельской ратью; мэр с позиций научной беспристрастности судил о достижениях русских и американцев, отец же Кихот, стоя на позициях христианина, не видел особой разницы между экипажами: в обоих экипажах, на его взгляд, были люди хорошие, по всей вероятности, хорошие родители и хорошие мужья, но он как-то не мог представить себе ни одного из них — в шлеме и костюме, словно поставленных одной и той же фирмой,— рядом с архангелом Гавриилом или архангелом Михаилом, а уж тем более рядом с Люцифером, если бы их корабль вместо того, чтобы вознестись в царство божие, рухнул прямиком в преисподнюю.

— Вам тут письмо,— подозрительно глядя на своего хозяина, объявила Тереса.— Я прямо вас обыскалась.

— А я беседовал на улице с мэром.

— С этим еретиком!

— Если бы не было еретиков, Тереса, священникам почти нечего было бы делать.

— Письмо-то от епископа,— огрызнулась она.

— О господи, господи! — Отец Кихот долго сидел, вертя конверт в руках, боясь распечатать. Он не мог припомнить ни одного письма от епископа, в котором не было бы претензий к нему. Был, к примеру, такой случай, когда отец Кихот переложил традиционное подношение к Пасхе из своего кармана в карман представителя благотворительной организации с достойным латинским названием «In Vinculis» [1], вроде бы занимающейся удовлетворением духовных потребностей несчастных заключенных. Отец Кихот совершил это пожертвование добровольно, в частном порядке, но о нем каким-то образом стало известно епископу после того, как сборщика пожертвований арестовали за организацию побега неких врагов генералиссимуса, томившихся в тюрьме. Епископ обозвал отца Кихота идиотом — словом, которое Христос порицал. Мэр же хлопнул его по спине и назвал достойным потомком своего великого предка, освободившего галерных рабов. А потом был другой случай... и еще другой... отец Кихот с удовольствием выпил бы сейчас рюмочку малаги для храбрости, если бы осталась хоть капля после того, как он принимал епископа Мотопского.

Глубоко вздохнув, он сломал красную печать и вскрыл конверт. Как он и опасался, письмо, судя по всему, было написано в холодной ярости. «Я получил совершенно непонятное письмо из Рима,— писал епископ,— которое сначала принял за шутку наихудшего вкуса, написанную в псевдоекклезиастическом стиле и, по всей вероятно-

---

[1] «В оковах» *(лат.)*.

сти, под влиянием кого-нибудь из той коммунистической организации, которую Вы сочли своим долгом поддержать по мотивам, недоступным моему пониманию. Но, попросив подтвердить письмо, я получил сегодня весьма резкий ответ, в котором подтверждалось первое послание и меня просили немедленно довести до Вашего сведения, что Святой Отец счел нужным — по какому странному наущению Святого Духа, не мне выяснять — возвести Вас в сан монсеньора [1] (судя по всему, на основании рекомендации некоего епископа Мотопского, о котором я никогда в жизни не слыхал), даже не обратившись ко мне, хотя именно от меня должна была, естественно, исходить подобная рекомендация, что — излишне добавлять — едва ли было бы сделано. Повинуясь Святому Отцу, сообщаю Вам эту новость и лишь молю Бога, чтобы Вы не обесславили тот сан, который он счел нужным Вам даровать. Некоторые скандальные поступки, которые были прощены лишь потому, что их совершил по неведению приходский священник из Эль-Тобосо, имели бы куда больший резонанс, явись они следствием безрассудства монсеньора Кихота. Так что будьте осмотрительны, дорогой отче, будьте осмотрительны, молю Вас. Я написал, однако, в Рим и указал на нелепость того, что столь маленький приход, как Эль-Тобосо, будет возглавлять монсеньор — присвоение Вам этого сана, кстати, обидит многих, более достойных его, священников в Ламанче — и попросил приискать для Вас более широкое поле деятельности, быть может, в другой епархии или даже в миссионерской сфере».

Отец Кихот сложил письмо, и оно выпало из его рук на пол.

— Что он там говорит? — спросила Тереса.

— Он хочет выставить меня из Эль-Тобосо,— сказал отец Кихот тоном такого отчаяния, что Тереса поспешно выскочила на кухню, прячась от его погрустневших глаз.

II

О том, как монсеньор Кихот отправился в странствие

1

Случилось это через неделю после того, как отцу Кихоту было вручено письмо от епископа — в провинции Ламанча состоялись местные выборы, и мэр Эль-Тобосо неожиданно потерпел на них поражение.

— Правые силы,— заявил он отцу Кихоту,— перегруппировались, им нужен новый генералиссимус.— И он рассказал о неких хорошо известных ему интригах, которые плетут хозяин гаража, мясник и владелец второсортного ресторанчика, который, судя по всему, вознамерился расширить свое заведение. Какой-то таинственный незнакомец, сказал мэр, одолжил ресторатору денег, и тот купил на них новый морозильник. И каким-то образом — совершенно непостижимым для отца Кихота — это серьезно повлияло на результаты выборов.

— Я умываю руки и уезжаю из Эль-Тобосо,— заявил бывший мэр.

— А меня вынуждает уехать епископ,— признался ему отец Кихот и рассказал свою грустную историю.

— Надо было мне предупредить вас. Вот что получается, когда слишком доверяешь Церкви.

— Да дело тут не в Церкви, а в епископе. Мне никогда не нравился этот епископ, да простит меня господь. Вот вы — другое дело. Очень мне жаль вас, дорогой мой друг. Ваша партия подвела вас, Санчо.

---

[1] Монсеньор — почетный титул, которым папа римский награждает священников за заслуги.

На самом-то деле мэра звали Санкас [1] — как звали и Санчо Пансу в правдивой истории Сервантеса,— и хотя при рождении мэра нарекли Энрике, он разрешал своему другу отцу Кихоту в шутку называть его Санчо.

— Дело вовсе не в моей партии. Три человека подложили мне эту свинью.— И он снова повторил: мясник, хозяин гаража и владелец ресторанчика, который приобрел морозильник.— В каждой партии есть предатели. В вашей партии тоже, отец Кихот. Был же у вас Иуда...

— А у вас был Сталин.

— Нечего вспоминать сейчас эту старую надоевшую историю.

— История про Иуду еще старее.

— Александр Шестой [2]?

— А у вас Троцкий? Правда, насколько я понимаю, теперь можно придерживаться разного мнения о Троцком.

В их препирательстве было мало логики, но это был первый случай, когда дело у них чуть не дошло до размолвки.

— Как же вы можете быть такого мнения об Иуде? Он ведь считается святым в эфиопской церкви.

— Санчо, Санчо, слишком мы по-разному на все смотрим, чтобы устраивать диспуты. Пойдемте ко мне, выпьем по рюмочке малаги... О господи, я же совсем забыл: епископ прикончил бутылку...

— Епископ... Вы позволили этому мерзавцу...

— Да это был другой епископ. Тот был очень хороший человек, но как раз от него-то и пошла моя беда.

— Пойдемте в таком случае ко мне и выпьем по рюмочке доброй водки.

— Водки?

— Польской водки, отец. Из католической страны.

Отец Кихот впервые пробовал водку. Первая рюмка показалась ему безвкусной, от второй он почувствовал приятное возбуждение.

— Вы будете скучать по своим обязанностям мэра, Санчо,— сказал он.

— Я решил отдохнуть. Я ведь ни разу не выезжал из Эль-Тобосо после смерти этого мерзавца Франко. Вот будь у меня машина...

Отец Кихот подумал о «Росинанте», и мысли его тотчас потекли по другому руслу.

— Москва слишком далеко,— донесся до него издали голос мэра.— К тому же там слишком холодно. Восточная Германия... Неохота мне туда ехать: слишком много немцев мы видели в Испании.

«А что, если,— думал тем временем отец Кихот,— меня сошлют в Рим? «Росинанту» ни за что не проделать такого пути. Епископ ведь упоминал даже про миссионерскую деятельность. А дни «Росинанта» уже сочтены. Не брошу же я его умирать где-нибудь на обочине в Африке, чтобы над ним надругались из-за какой-нибудь коробки передач или дверной ручки».

— Ближайшее государство, где у власти стоит наша партия,— Сан-Марино. Еще рюмочку, отец?

Отец Кихот не раздумывая протянул руку.

— А что вы будете делать, отец, без Эль-Тобосо?

— Поступлю, как укажут. Поеду, куда пошлют.

— Будете, как здесь, нести веру верующим?

— Легче всего глумиться, Санчо. Я сомневаюсь, есть ли на свете человек безоговорочно верующий.

— Даже папа римский?

— Возможно, в том числе и бедняга папа. Кто знает, о чем он думает ночью, в постели, после того как прочтет свои молитвы?

---

[1] Тонконогий *(исп.)*.

[2] Александр VI, Борджиа — римский папа (1492—1503), известный своей жестокостью.

— А вы?

— О, я такой же невежда, как и любой из моих прихожан. Просто я прочитал много книг, когда учился,— больше, чем они, но и только: все ведь забывается...

— И однако же, вы верите во всю эту чепуху. В господа бога, в святую троицу, в непорочное зачатие...

— Х о ч у верить. И хочу, чтобы другие верили.

— Почему?

— Я хочу, чтобы они были счастливы.

— Пусть пьют водочку. Это лучше, чем фантазировать.

— Действие водки проходит. Оно уже сейчас испаряется.

— Как и верования.

Отец Кихот в изумлении поднял на Санчо глаза. До того он не без грусти смотрел на дно своей рюмки, в которой оставалось всего несколько капель водки.

— Ваши верования?

— И ваши тоже.

— Почему вы так думаете?

— Да потому, отец, что жизнь делает свое грязное дело. Верования угасают, как и желание обладать женщиной. Не думаю, чтобы вы были исключением из общего правила.

— Вы считаете, мне не следует больше пить?

— Водка еще никому не причиняла вреда.

— Я на днях очень удивился, увидев, как много пил епископ из Мотопо.

— А где это — Мотопо?

— In partibus infidelium [1].

— Я немного знал когда-то латынь, но теперь уже позабыл.

— А я и не подозревал, что вы вообще ее знали.

— Мои родители хотели сделать из меня священника. Я ведь даже учился в Саламанке. Просто раньше я никогда вам этого не говорил, отче. In vodka veritas [2].

— Так вот откуда вам известно про эфиопскую церковь? Я был немного удивлен.

— Какие-то обрывки бесполезных знаний всегда прилипают к мозгу, как рачки — к кораблю. Кстати, вы читали, что советские космонавты побили рекорд пребывания в открытом космосе?

— Я что-то такое слышал вчера по радио.

— И однако, за все это время они не встретили там ни одного ангела.

— А вы читали, Санчо, про черные дыры в космосе?

— Я знаю, что вы сейчас скажете, отче. Но ведь слово «дыры» употребляется лишь как метафора. Еще рюмочку. И не бойтесь вы каких-то там епископов.

— Ваша водка преисполняет меня надежды.

— На что?

— Весьма слабой надежды, надо сказать.

— Продолжайте же. Скажите, какой надежды?

— Я не могу вам этого сказать. Вы будете надо мной смеяться. Может быть, когда-нибудь я вам расскажу о моей надежде. Если господь даст мне на это время. Ну и вы, конечно, тоже.

— Надо нам почаще видеться, отче. Может, мне удастся обратить вас в веру Маркса.

— А есть у вас тут на полках Маркс?

— Конечно.

— «Das Kapital»[3].

---

[1] В краю неверующих *(лат.)*.

[2] В водке — истина *(лат.)*.

[3] «Капитал» *(нем.)*.

— Да. Среди прочего. Вот. Я давно ничего из этого не читал. Сказать по правде, некоторые места мне всегда казались... Ну, словом, устаревшими... Вся эта статистика времен промышленной революции Англии... Я думаю, вы тоже находите в Библии скучные места.

— Слава богу, мы не обязаны изучать Числа или Второзаконие, но Евангелие — это совсем не скучно. Господи, взгляните на часы! Неужели это водка так все убыстряет?

— Знаете, отче, вы напоминаете мне вашего предка. Он верил всему, что написано в рыцарских романах, которые и в его-то время уже были устаревшими...

— Я в жизни не читал ни одного рыцарского романа.

— Но вы же по-прежнему читаете все эти старые богословские книги. Они для вас — все равно что рыцарские романы для вашего предка. Вы верите им так же, как он верил своим.

— Но ведь глас Церкви не устаревает, Санчо.

— Ну что вы, отче, устаревает. На вашем Втором Ватиканском соборе даже апостола Иоанна признали устаревшим.

— Что за глупости вы говорите!

— Вы же больше не читаете в конце мессы слова апостола Иоанна: «В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал» [1].

— Удивительно, что вы об этом знаете.

— Я ведь иной раз захожу в церковь в конце мессы... чтобы удостовериться, что там нет моих людей.

— Я по-прежнему произношу эти слова.

— Но только не вслух. Ваш епископ не разрешил бы такого. Вы вроде вашего предка, который читал свои рыцарские романы тайком, так что только его племянница и доктор знали об этом, пока...

— Что за глупости вы болтаете, Санчо!

— ...Пока он на своем Росинанте не отправился совершать рыцарские подвиги в мире, который больше не верил старым сказкам.

— В сопровождении невежды по имени Санчо,— добавил отец Кихот с оттенком раздражения, о чем он тут же пожалел.

— Да, в сопровождении Санчо,— повторил мэр.— А почему бы и нет?

— Епископ едва ли откажет мне в небольшом отпуске.

— Надо же вам поехать в Мадрид купить себе форму.

— Форму? Какую форму?

— Пурпурные носки, монсеньор, и пурпурный... как же называется эта штука, которую они носят на груди под воротничком?

— Pechera [2]. Глупости все это. Никто не заставит меня носить пурпурные носки и пурпурный...

— Вы же солдат церковной армии, отче. И вы не имеете права пренебрегать знаками различия.

— Я ведь не просил, чтоб меня делали монсеньором.

— Вы, конечно, можете подать в отставку и уйти из вашей армии.

— А вы можете подать в отставку и выйти из вашей партии?

Оба выпили еще по рюмке водки, и между ними воцарилось молчание, какое бывает между товарищами,— молчание, когда каждый размышляет о своем.

— Как вы думаете, ваша машина могла бы довезти нас до Москвы?

— «Росинант» для этого слишком стар. Он не выдержит такой дороги. Да и епископ едва ли сочтет Москву подходящим местом для моего отдыха.

— Вы же больше не подчиняетесь епископу, монсеньор.

— Но и Святой Отец... А знаете, «Росинант», пожалуй, мог бы довезти нас до Рима.

---

[1] Евангелие от Иоанна, I, 10.

[2] Нагрудник *(итал.)*.

— Вот уж куда меня совсем не тянет, так это в Рим. На улицах сплошь одни пурпурные носки.

— В Риме мэр — коммунист, Санчо.

— К еврокоммунистам меня тоже не тянет — как и вас к протестантам. В чем дело, отче? Вас что-то огорчило.

— Водка родила во мне мечту, а после второй рюмки она исчезла.

— Не волнуйтесь. Вы не привыкли к водке, и она ударила вам в голову.

— Но почему сначала — сладкая мечта... а потом — огорчение?

— Я ведь не знаю, о чем вы. Водка иной раз оказывает и на меня такое же действие, если я немного переберу. Я провожу вас домой, отче.

У дверей отца Кихота они стали прощаться.

— Идите к себе и полежите немного.

— Тересе это покажется несколько странным в такое время дня. И потом, я еще не раскрывал молитвенника.

— Но ведь теперь это уже наверняка необязательно!

— Мне трудно отказаться от привычки. В привычках есть что-то успокаивающее, даже когда они утомительны.

— Да, мне кажется, я это понимаю. Бывает, и я заглядываю в «Манифест Коммунистической партии».

— И это вас успокаивает?

— Случается — да, немного. Совсем немного.

— Вы должны мне его дать. Как-нибудь.

— Может быть, во время наших странствий.

— Вы все еще верите, что мы отправимся в наши странствия? А я серьезно сомневаюсь, подходящие ли мы для этого компаньоны — вы и я. Нас ведь разделяет глубокая пропасть, Санчо.

— Глубокая пропасть разделяла вашего предка и того, кого вы называете моим предком, отче, и все же...

— Да. И все же...

И отец Кихот поспешно повернулся к нему спиной. Он прошел в свой кабинет и взял с полки молитвенник, но не успел прочесть и нескольких фраз, как заснул, а когда проснулся, то помнил лишь, что полез на высокое дерево и случайно сбросил оттуда гнездо, пустое, высохшее и колючее, память о минувшем годе.

2

Немало мужества потребовалось отцу Кихоту, чтобы написать епископу, и еще больше мужества потребовалось, чтобы вскрыть письмо, которое он в должное время получил в ответ. Письмо начиналось лаконично: «Монсеньор»,— и от самого звучания этого титула у отца Кихота, как от кислоты, защипало язык.

«Эль-Тобосо,— писал епископ,— один из самых маленьких приходов в моей епархии, и я поверить не могу, чтобы бремя Ваших обязанностей было таким уж тяжким. Тем не менее я готов дать согласие на Вашу просьбу об отдыхе и посылаю молодого священника отца Эрреру позаботиться об Эль-Тобосо в Ваше отсутствие. Надеюсь, что Вы по крайней мере отложите Ваш отпуск до тех пор, пока отец Эррера не войдет в курс всех проблем, какие могут возникнуть в Вашем приходе, чтобы Вы вполне спокойно могли оставить на него Ваших прихожан. Поражение, которое потерпел мэр Эль-Тобосо на последних выборах, видимо, указывает на то, что настроения наконец поворачиваются в нужном направлении, и, возможно, молодой священник, столь проницательный и скромный, как отец Эррера (а он блестяще защитил докторскую диссертацию по теологии морали в университете Саламанки), лучше сумеет воспользоваться этими переменами, чем человек более пожилой. Как Вы догадываетесь, я написал архиепископу касательно Вашего будущего и почти не сомневаюсь, что к тому

времени, когда Вы вернетесь из отпуска, мы найдем для Вас сферу деятельности, более подходящую, чем Эль-Тобосо, и менее обременительную для священнослужителя Вашего возраста и ранга».

Письмо оказалось еще хуже, чем предполагал отец Кихот, и он с возрастающей тревогой стал ждать приезда отца Эрреры. Отец Кихот сказал Тересе, что отцу Эррере надо будет сразу же отдать его спальню, а ему самому, если можно, поставить в гостиной раскладную кровать.

— Если не сумеешь такую найти,— сказал он,— меня вполне устроит и кресло. Я ведь частенько в нем сплю днем.

— *Ежели он молодой, так пусть он и спит в кресле.*

— Пока что он мой гость, Тереса.

— Как это — пока что?

— Я думаю, что епископ, скорее всего, назначит его моим преемником в Эль-Тобосо. Старею я, Тереса.

— Ежели вы такой уж старый, так нечего мчаться одному богу известно куда. Словом, не думайте, что я стану работать на другого священника.

— Дай ему возможность проявить себя, Тереса, дай ему такую возможность. Но только ни в коем случае не раскрывай секрета твоих замечательных бифштексов.

Прошло три дня, и отец Эррера прибыл. Отец Кихот пошел поболтать с бывшим мэром, а вернувшись домой, обнаружил на своем крыльце молодого священника с изящным черным чемоданом. В дверях, загораживая вход, стояла Тереса с тряпкой в руке. Отец Эррера, возможно, был от природы бледен, но сейчас вид у него был явно взволнованный, и белый, стоячий, как у всех священников, воротничок его так и сверкал на солнце.

— Монсеньор Кихот? — вопросил он.— Я отец Эррера. Эта женщина не впускает меня.

— Тереса, Тереса, как это невежливо с твоей стороны. Что за манеры? Ведь это же наш гость. Ступай приготовь отцу Эррере чашечку кофе.

— Нет. Пожалуйста, не надо. Я никогда не пью кофе. Иначе не засну ночью.

Войдя в гостиную, отец Эррера тотчас занял единственное стоявшее там кресло.

— Какая необузданная женщина,— заметил он.— Я сказал ей, что меня прислал епископ, а она в ответ мне нагрубила.

— У нее, как и у всех нас, есть свои причуды.

— Епископу такое бы не понравилось.

— Ну, он же не слышал, что она сказала, и мы ему об этом не скажем, верно?

— Я был шокирован, монсеньор.

— Пожалуйста, не называйте меня «монсеньором». Называйте «отче», если уж вам так хочется. Я ведь гожусь вам в отцы. Есть у вас опыт работы в приходе?

— Не вполне. Я три года был секретарем у его преосвященства. После окончания Саламанки.

— В таком случае сначала вам это может показаться нелегким делом. В Эль-Тобосо ведь не одна такая Тереса. Но я уверен, вы очень быстро освоитесь. Ваша докторская диссертация была... дайте вспомнить.

— По теологии морали.

— А-а, я всегда считал это очень трудным предметом. Еле-еле сдал по нему экзамен — даже в Мадриде.

— Я вижу, у вас тут на полке труды отца Герберта Йоне. Он немец. Но все равно человек очень знающий.

— Боюсь, я уже много лет не перечитывал его. Теология морали,

как вы, наверное, догадываетесь, не очень нужна, когда работаешь в приходе.

— А по-моему, она незаменима. При исповеди.

— Когда ко мне приходит булочник... или хозяин гаража, что случается не так часто, их обычно волнуют весьма простые проблемы. Ну и я доверяюсь своему инстинкту. У меня нет времени выискивать, что говорится по этому поводу у Йоне.

— Инстинкт должен питаться верой, основанной на разуме, монсеньор... извините, отче.

— Да, конечно, на разуме. Да. Но, как и мой предок, я, пожалуй, больше доверяю старым книгам, которые были написаны еще до того, как Йоне появился на свет.

— Но ведь ваш предок читал, безусловно, только рыцарские романы!

— Что ж, мои книги, пожалуй, тоже по-своему можно назвать рыцарскими... Святой Хуан де ла Крус, святая Тереза, святой Франциск Сальский [1]. Ну и Евангелия, отче. «Пойдем в Иерусалим, и мы умрем с ним» [2]. Сам Дон Кихот не мог бы сказать лучше апостола Фомы.

— Ну естественно, Евангелия никто не отрицает,— сказал отец Эррера тоном человека, делающего мелкую и несущественную уступку собеседнику.— И все-таки суждения Йоне по теологи морали очень разумны, очень. Вы что-то сказали, отче?

— Да нет, ничего. Трюизм, который я не имею права произносить. Я просто хотел добавить, что другой разумной основой инстинкта является любовь господня.

— Конечно, конечно. Но нельзя забывать и о его праведном суде. Вы со мной согласны, монсеньор?

— Да, м-м, да, пожалуй.

— Йоне проводит очень четкое разграничение между любовью и праведным судом.

— Вы учились на секретаря, отче? Я имею в виду — после Саламанки.

— Безусловно. Я умею печатать и, не хвалясь, могу утверждать, что очень хорошо стенографирую.

Тут Тереса просунула голову в дверь:

— Что вам приготовить на обед, отче, бифштекс?

— Два бифштекса, пожалуйста, Тереса.

Отец Эррера повернулся, и солнце снова сверкнуло на его воротничке — будто светило подавало сигнал, но о чем? Отец Кихот подумал, что он никогда еще не видел такого чистого воротничка, да и вообще такого чистюли. Казалось — до того гладкая и белая была у отца Эрреры кожа,— что ему никогда не требовалась бритва. «Вот что получается, когда долго живешь в Эль-Тобосо,— сказал себе отец Кихот,— я превратился в неотесанного селянина. Далеко, очень далеко живу я от Саламанки».

3

Наконец настал день отъезда. Хозяин гаража — правда, не без ворчания — обследовал «Росинанта» и признал его годным для поездки.

— Гарантировать я ничего не могу,— сказал он.— Вам бы надо было продать его уже лет пять тому назад. Но до Мадрида он вас довезет.

— Надеюсь, и назад тоже,— сказал отец Кихот.

---

[1] Хуан де ла Крус (1542 — 1591) — испанский монах, поэт-мистик. Тереза Авильская (1515 — 1582) — испанская монахиня, писательница, деятельница Реформации. Франциск Сальский (1567 — 1622) — французский церковный писатель, епископ Женевы.

[2] Ср. Евангелие от Иоанна, 11, 16.

— Это уже другой вопрос.

Мэр еле сдерживал свое нетерпение: так ему хотелось побыстрее уехать. Он вовсе не желал видеть, как обоснуется в его кресле другой человек.

— Это же фашист-чернорубашечник, отче. Скоро мы вернемся к временам Франко.

— Да упокоит господь его душу,— почти машинально добавил отец Кихот.

— Никакой души у него не было. Если она вообще существует.

Чемоданы они уложили в багажник «Росинанта», а на заднее сиденье поставили четыре ящика доброго ламанчского вина.

— На мадридское вино не стоит полагаться,— сказал мэр.— Благодаря мне у нас, по крайней мере, есть кооператив, где работают честные люди.

— А зачем нам ехать в Мадрид? — спросил отец Кихот.— Помнится, будучи студентом, я терпеть не мог этот город и никогда больше туда не возвращался. Почему бы нам не отправиться в Куэнку? Я слышал, Куэнка — красивый город и намного ближе к Эль-Тобосо. Я не хочу слишком утомлять «Росинанта».

— Сомневаюсь, чтобы вы могли купить в Куэнке пурпурные носки.

— Опять эти пурпурные носки! Не желаю я покупать пурпурные носки. Я просто не могу, Санчо, тратить деньги на пурпурные носки.

— А вот ваш предок уважал униформу странствующего рыцаря, хоть ему и пришлось удовольствоваться вместо шлема тазиком для бритья. Вы же — странствующий монсеньор и, значит, должны быть в пурпурных носках.

— Но ведь мой предок, говорят, был сумасшедший. То же самое скажут и обо мне. И с позором вернут домой. Я и в самом деле, наверное, немного сумасшедший, раз меня издевки ради наградили титулом монсеньора и раз я оставляю Эль-Тобосо на попечение этого молодого священника.

— Булочник невысокого мнения о нем, и я сам видел, как он шептался с этим реакционером — владельцем ресторана.

Отец Кихот настоял на том, что он поведет машину.

— «Росинант» иногда выбрасывает фокусы, которые только я знаю.

— Вы же сворачиваете не на ту дорогу.

— Мне надо вернуться домой — я там кое-что забыл.

Отец Кихот оставил мэра в машине. Он знал, что молодой священник находится сейчас в церкви. А ему хотелось в последний раз побыть одному в доме, где он прожил более тридцати лет. Кроме того, он забыл книгу отца Герберта Йоне по теологии морали. Хуан де ла Крус уже лежал в багажнике вместе со святой Терезой и святым Франциском Сальским. А отец Кихот обещал отцу Эррере — хоть и не слишком охотно — уравновесить свое знание этих старых книг изучением более современной работы по теологии, которой он не раскрывал со студенческих времен. «Инстинкт должен питаться верой, основанной на разуме»,— совершенно справедливо сказал отец Эррера. Если, к примеру, мэр начнет цитировать ему Маркса, отец Герберт Йоне может, пожалуй, пригодиться для ответа. Так или иначе, книжка была маленькая и легко помещалась в кармане. Отец Кихот на несколько минут опустился в свое любимое кресло. За долгие годы сиденье приняло форму его тела, и он так же привык к этой вмятине, как, наверное, его предок к форме своего седла. Отец Кихот слышал, как Тереса гремит на кухне сковородками, раздраженно ворча, а ведь это ее ворчание было для него музыкой в часы утреннего одиночества. «Мне будет не хватать ее дурного нрава»,— подумал он. Снаружи мэр нетерпеливо нажал на клаксон.

— Извините, что заставил вас ждать,— сказал отец Кихот, включая скорость, и «Росинант» издал в ответ хриплый вздох.

В дороге они почти не разговаривали. Казалось, необычность авантюры давила на них. В какой-то момент мэр высказал вслух засевшую в голове мысль:

— Наверное, нас что-то объединяет, отче, иначе зачем бы вам ехать со мной?

— По-видимому, дружеские чувства?

— А этого достаточно?

— Время покажет.

Больше часа прошло в молчании. Потом мэр снова заговорил:

— Что вас тревожит, друг?

— Мы выехали из Ламанчи, и теперь уже ни в чем нельзя быть уверенным.

— Даже в вашей вере?

На этот вопрос отец Кихот не потрудился ответить.

III

О том, какой своеобразный свет был пролит на Святую Троицу

Расстояние от Эль-Тобосо до Мадрида не так уж и велико, но при неровной поступи «Росинанта» и длиннющей череде грузовиков, растянувшейся по шоссе, вечер застал отца Кихота и мэра все еще в пути.

— Я проголодался и умираю от жажды,— пожаловался мэр.

— А «Росинант» страшно устал,— добавил отец Кихот.

— Вот если бы нам попалась гостиница — правда, вино на большой дороге оставляет желать лучшего.

— Но у нас же сколько угодно отличного ламанчского.

— А еда? Я должен поесть.

— Упрямая Тереса положила нам на заднее сиденье пакет с едой. Сказала: на крайний случай. Боюсь, она не больше доверяла бедняге «Росинанту», чем хозяин гаража.

— Но это и есть крайний случай,— сказал мэр.

Отец Кихот развернул пакет.

— Хвала всевышнему,— сказал он,— у нас тут большая голова ламанчского сыра, несколько копченых колбас, даже два стакана и два ножа.

— Не знаю, надо ли хвалить господа, но уж Тересу похвалить надо.

— А ведь это, Санчо, наверное, одно и то же. Все наши добрые дела — деяния господа, так же как все наши злые — деяния дьявола.

— В таком случае придется вам простить нашего бедного Сталина,— сказал мэр,— потому что в его деяниях повинен только дьявол.

Они ехали медленно, выискивая дерево, чья тень могла бы послужить им приютом, ибо позднее солнце отбрасывало низкие косые лучи на поля, делая тени такими узкими, что двум людям в них не уместиться. Наконец они обнаружили то, что искали, у полуразрушенной стены надворного строения на заброшенной ферме. Кто-то грубо намалевал на крошащемся камне красный серп и молот.

— Я бы предпочел совершать трапезу под знаком креста,— сказал отец Кихот.

— А какая разница? Ни крест, ни молот не повлияют на вкус сыра. Да к тому же разве между ними такая уж большая разница? Оба символизируют протест против несправедливости.

— Только с несколько разными результатами. Один породил тиранию, другой — милосердие.

— Тиранию? Милосердие? А как насчет инквизиции и нашего великого патриота Торквемады?

— Торквемада погубил куда меньше людей, чем Сталин.

— Вы в этом уверены — если учесть, чему равнялось население России во времена Сталина и население Испании во времена Торквемады?

— Я не статистик, Санчо. Откройте-ка лучше бутылку... если у вас есть штопор.

— Я никогда не расстаюсь со штопором. А у вас там есть нож. Снимите-ка для меня шкурку с колбасы, отче.

— Торквемада, по крайней мере, считал, что его жертвы ждет вечное блаженство.

— Может быть, Сталин тоже так думал. Давайте лучше не доискиваться побудительных причин, отче. Человеческие побуждения — это тайна, скрытая в мозгу. А вино было бы куда вкуснее, будь оно холодным. Вот если б тут поблизости найти ручей. Надо будет завтра не только купить вам пурпурные носки, но еще и термос.

— Нельзя судить только по действиям, Санчо, надо учитывать результаты.

— Несколько миллионов погибло, зато коммунизм утвердился почти на половине земного шара. Не такая уж и большая это цена. На войне теряют куда больше.

— Несколько сотен погибло, зато Испания осталась католической страной. За еще меньшую цену.

— И на смену Торквемаде пришел Франко.

— А на смену Сталину — Брежнев.

— Что ж, отче, мы, пожалуй, можем сойтись вот на чем: великих людей всегда сменяют люди мелкие, а с мелкими людьми, пожалуй, легче жить.

— Я рад, что вы признаете Торквемаду великим.

Так они поддразнивали друг друга, и пили, и были счастливы, сидя у полуразрушенной стены, а тем временем солнце опускалось за горизонт, и тени удлинялись, и потом вдруг наступила темнота и тепло уже было только в них самих.

— Неужели вы всерьез надеетесь, отче, что католицизм в один прекрасный день приведет людей к счастливому будущему?

— О да, конечно, надеюсь.

— Но только после смерти.

— А вы надеетесь, что коммунизм — я имею в виду настоящий коммунизм, о котором говорил ваш пророк Маркс,— когда-нибудь наступит, даже в России?

— Да, отче, надеюсь, в самом деле надеюсь. Но правда и то — говорю вам это лишь потому, что, как у священника, язык у вас на замке, а мой распустило вино,— я иной раз отчаиваюсь.

— О, когда человек отчаивается — это я понимаю. Я тоже иной раз отчаиваюсь, Санчо. Разумеется, не окончательно.

— Я тоже не окончательно, отче. Иначе я не сидел бы тут рядом с вами.

— А где же вы были бы?

— Лежал бы в неосвященной земле. Как положено самоубийцам.

— Выпьем в таком случае за надежду,— сказал отец Кихот и поднял свой стакан.

Они выпили.

Просто удивительно, как быстро опустошается бутылка за беззлобным спором. Мэр вылил последние несколько капель на землю.

— Это богам,— сказал он.— Заметьте, я сказал «богам», а не «богу». Боги — они крепко пьют, а ваш господь бог, который пребывает в одиночестве, наверняка трезвенник.

— Вы же знаете, что это не так, Санчо. Ведь вы учились в Саламанке. И вы прекрасно знаете, что господь бог — во всяком случае,

я в это верю, и вы, возможно, тоже когда-то верили — каждое утро и каждый вечер во время мессы превращается в вино.

— Значит, давайте пить, больше пить вина, раз его одобряет ваш господь бог. Уж во всяком случае это ламанчское лучше того, что дают в церкви. Куда это я засунул штопор?

— Вы сидите на нем. И не отзывайтесь с таким презрением о церковном вине. Не знаю, что будет покупать отец Эррера, а я давал своим прихожанам доброе ламанчское вино. Конечно, если папа разрешит причастие двумя видами, мне придется покупать что-то подешевле, но я уповаю на то, что он учтет бедность священников. Булочник, к примеру, всегда страдает от жажды. Он способен вылакать всю чашу.

— Давайте выпьем еще по стаканчику, отче. Снова за надежду.

— За надежду, Санчо.— И они чокнулись.

Ночная прохлада уступила место холоду, но вино продолжало их согревать; к тому же у отца Кихота не было ни малейшего желания спешить в ненавистный ему город или дышать отработанными газами грузовиков, которые вереницей огней продолжали мчаться по шоссе.

— У вас пустой стакан, отче.

— Спасибо. Еще капельку. Вы славный малый, Санчо. Насколько я припоминаю, наши с вами предки не раз проводили ночь под деревьями. Здесь нет деревьев. Но есть стена замка. Утром мы попросим, чтобы нас впустили, а сейчас... Дайте-ка мне еще немножко сыра.

— Я счастлив лежать под великим символом — серпом и молотом.

— Вам не кажется, что в России несколько позабыли про бедный серп, иначе не пришлось бы им покупать столько пшеницы у американцев?

— Это временная нехватка, отче. Мы еще не умеем управлять климатом.

— А вот господь умеет.

— Вы в самом деле этому верите?

— Да.

— Ах, слишком вы перебираете опасного наркотика, отче,— не менее опасного, чем рыцарские романы старого Дон Кихота.

— Какого же это наркотика?

— Опиума.

— А-а, ясно... Вы имеете в виду это затасканное изречение вашего пророка Маркса: «Религия есть опиум народа». Но вы вынимаете его из контекста, Санчо. Вот так же наши еретики переиначивали слова господа нашего.

— Я что-то не понимаю вас, монсеньор.

— Когда я учился в Мадриде, мне посоветовали заглянуть в ваше священное писание. Надо же знать своего противника. Вы не помните, как Маркс защищает монашеские ордена в Англии и осуждает Генриха Восьмого?

— Конечно нет.

— Так загляните еще раз в «Капитал». Там и речи нет ни о каком опиуме.

— Но он же это все равно написал — только не помню где.

— Да, но он это писал в девятнадцатом веке. А в ту пору опиум не считался чем-то зловредным — лауданум применяли как успокаивающее, и только. Успокаивающее для людей богатых: для бедных он был недоступен. Значит, Маркс хотел сказать, что религия — это валиум для бедняка, и ничего больше. Словом, пусть народ лучше ходит в церковь, чем в питейное заведение. Для бедняка это наверняка лучше, чем пить плохое вино. Человек ведь не может жить без успокаивающего.

— В таком случае, может, раздавим еще бутылочку?

— Скажем, полбутылочки, если хотим благополучно прибыть в Мадрид. Перебрать опиума ведь тоже опасно.

— Мы еще сделаем из вас марксиста, монсеньор.

— Я положил там в ящики несколько пол-литровых бутылок, чтоб заполнить углы.

Мэр пошел к машине и вернулся с полбутылкой.

— Я никогда не отрицал, что Маркс хороший человек,— сказал отец Кихот.— Он стремился помочь беднякам, и в его смертный час это, конечно, ему зачлось.

— Ваш стакан, монсеньор.

— Я же просил вас не называть меня монсеньором.

— Тогда почему бы вам не называть меня товарищем — все лучше, чем Санчо.

— В новейшей истории, Санчо, слишком много товарищей было убито товарищами. Но я не против называть вас другом. Друзья как-то меньше склонны убивать друг друга.

— А «друг» — это не будет чересчур в отношениях между католическим священником и марксистом?

— Вы же сказали несколько часов тому назад, что нас, несомненно, что-то объединяет.

— Возможно, нас объединяет пристрастие к этому ламанчскому вину, друг.

Оба чувствовали себя все раскованнее по мере того, как сгущалась темнота и они продолжали подтрунивать один над другим. Когда по шоссе проносились грузовики, их фары на секунду выхватывали из темноты две пустые бутылки и полбутылку с остатками вина.

— Вот что удивляет меня, друг мой: как это вы можете верить в совершенно несуразные вещи. К примеру, в троицу. Это же посложнее высшей математики. Можете вы объяснить мне троицу? В Саламанке не смогли.

— Могу попытаться.

— Тогда попытайтесь.

— Вы видите эти бутылки?

— Конечно.

— Две бутылки одинаковы по размеру. Вино, которое в них хранилось, было одинаковой субстанции и одного урожая. Вот вам Бог-Отец и Бог-Сын, а та полбутылка — Дух Святой. Одинаковая субстанция. Одного и того же урожая. Провести между ними грань невозможно. Кто вкусит от одной — вкусит от всех трех.

— Я никогда, даже в Саламанке, не мог понять, зачем нужен Святой Дух. Он всегда казался мне несколько лишним.

— Но мы же с вами не удовольствовались двумя бутылками, верно? Эти полбутылки дали нам необходимый дополнительный заряд жизненных сил. Без этого нам не было бы так хорошо. Быть может, у нас не хватило бы мужества продолжить наше путешествие. Даже наша дружба могла бы оборваться, не будь Святого Духа.

— Вы очень остроумны, мой друг. Теперь я хоть начинаю понимать, как вы представляете себе троицу. Меня, учтите, вы не убедили. Я никогда в это не поверю.

Отец Кихот сидел молча, уставясь на бутылку. Мэр чиркнул спичкой, закуривая сигарету, и увидел склоненную голову своего спутника. Точно от него отлетел тот самый Святой Дух, которого он так высоко ставил.

— В чем дело, отче? — спросил мэр.

— Да простит меня господь,— сказал отец Кихот,— ибо я согрешил.

— Но это же была только шутка, отче. Наверняка ваш бог понимает шутки.

— Я повинен в ереси,— возразил отец Кихот.— Я думаю... наверное... недостоин я быть священником.

— Что же вы такое натворили?

— Я дал неверное толкование. Святой Дух во всех отношениях равен Отцу и Сыну, а я изобразил его в виде полбутылки.

— И это серьезная промашка, отче?

— Это подлежит анафеме. Это было специально осуждено, забыл на каком соборе. Каком-то очень раннем. Возможно, на Никейском.

— Не волнуйтесь, отче. Это дело легко поправимо. Выкинем сейчас эту полбутылку и забудем о ней, а я принесу из машины полную.

— Я выпил больше, чем следовало. Если бы я столько не пил, я бы никогда, никогда не совершил такой промашки. А нет ничего страшнее, как погрешить против Святого Духа.

— Забудьте об этом. Мы все сейчас исправим.

Вот как получилось, что они выпили еще бутылку. Отец Кихот успокоился, а кроме того, его глубоко тронуло сочувствие мэра. Ламанчское вино — легкое, и тем не менее обоим показалось разумным растянуться на траве и провести тут ночь, а когда взошло солнце, отец Кихот уже с улыбкой вспоминал о пережитом огорчении. Ну какой же это грех — просто легкая забывчивость и непреднамеренная оговорка. Всему виной ламанчское вино: оно в конечном счете оказалось совсем не таким легким, как они полагали.

Когда они тронулись в путь, отец Кихот сказал:

— Я вчера вечером вел себя немного глупо, Санчо.

— По-моему, вы говорили очень хорошо.

— Значит, я хоть немного разъяснил вам, что такое троица?

— Разъяснили — да. Но чтоб я поверил — нет.

— В таком случае сделайте одолжение: забудьте, пожалуйста, про полбутылки! Это была ошибка, которую мне ни в коем случае не следовало допускать.

— Я буду помнить только о трех полных бутылках, мой друг.

IV

О том, как Санчо в свою очередь пролил новый свет на старое верование

1

Хотя вино и было легкое, однако, пожалуй, именно эти три с половиной бутылки и привели к тому, что на другой день они какое-то время ехали молча. Наконец Санчо заметил:

— Мы определенно лучше себя почувствуем после хорошего обеда.

— Ах, бедная Тереса,— сказал отец Кихот.— Надеюсь, отец Эррера оценит ее бифштексы.

— А что такого замечательного в ее бифштексах?

Отец Кихот не ответил. Он сохранил эту тайну от Мотопского епископа и уж конечно сохранит ее от мэра.

Дорога заворачивала. «Росинант» по необъяснимой причине, вместо того чтобы сбавить скорость, вдруг ринулся вперед и за поворотом чуть не налетел на овцу. Вся дорога впереди была забита ее соплеменницами. Словно разлилось неспокойное, пенящееся море.

— Можете еще немного соснуть,— сказал мэр.— Мы сквозь это никогда в жизни не пробьемся.

Тут примчалась собака и стала загонять отбившегося от стада нарушителя.

— До чего же овцы — тупые животные! — в ярости воскликнул мэр.— Я никогда не мог понять, почему основатель вашей веры ре-

шил сравнить их с нами. «Паси овец Моих» [1]. О да, наверное, потому, что, когда они разжиреют, их можно съесть. «Господь — Пастырь мой»[2]. Но если мы овцы, почему же, ради всего святого, мы должны доверять нашему пастырю? Он будет охранять нас от волков — так, прекрасно, но ведь только затем, чтобы потом продать нас мяснику.

Отец Кихот достал из кармана молитвенник и сделал вид, что погрузился в чтение, но отрывок ему попался на редкость скучный и ничего не значащий, так что он не мог не слышать слов мэра — слов, которые больно ранили его.

— И он явно предпочитал овец козам,— продолжал мэр.— До чего же глупо и сентиментально. Ведь от козы можно получить все то же, что и от овцы, но в придачу она обладает еще и многими достоинствами коровы. Овца дает шерсть, правильно, но коза дает человеку свою шкуру. Овца дает баранину, хотя лично я скорее поел бы козлятины. А кроме того, коза, как и корова, дает молоко и сыр. Правда, овечий сыр потребляют только французы.

Отец Кихот поднял взгляд и увидел, что дорога наконец свободна. Он отложил молитвенник и вновь пустил «Росинанта» в путь.

— Человек, который не верит, не может и богохульствовать,— сказал он, обращаясь не столько к мэру, сколько к себе. И тем не менее подумал: «А все-таки почему именно овцы? Почему Он в своей великой премудрости избрал в качестве символа овец?» На этот вопрос не давал ответа ни один из старых богословов, чьи труды он держал на полках в Эль-Тобосо,— даже святой Франциск Сальский, столь осведомленный насчет слона и ястреба, паука, и пчелы, и куропатки. Вопрос этот, безусловно, не затрагивался и в «Catecismo de la Doctrina Cristiana»[3], труде этого святого человека Антонио Клареta, бывшего архиепископа Сантьяго-де-Кубы, которого отец Кихот читал еще ребенком,— правда, насколько ему помнится, среди картинок была одна, изображавшая пастуха среди овец.

— Дети очень любят овец,— безо всякой связи произнес он.

— И коз тоже,— сказал мэр.— Неужели вы не помните, как мы в детстве катались в колясочках, запряженных козами? А теперь где все эти козы? Осуждены веки вечные гореть в аду? — Он взглянул на часы.— Я предлагаю, прежде чем мы отправимся покупать вам пурпурные носки, хорошенько пообедать «У Ботина».

— Надеюсь, это не очень дорогой ресторан, Санчо.

— Не волнуйтесь. На этот раз угощаю я. Они там славятся молочными поросятами, так что нам не придется есть овечек доброго пастыря, которых так обожают в нашей стране. Тайная полиция очень любила хаживать в этот ресторан во времена Франко.

— Упокой господи его душу,— поспешно вставил отец Кихот.

— Хотел бы я верить в кару господню,— заметил мэр,— тогда я наверняка поместил бы его — а я уверен, Данте так бы и сделал,— в самый последний круг ада.

— Не очень-то я доверяю суду человеческому, даже суду Данте,— сказал отец Кихот.— Его никак нельзя равнять с судом божьим.

— Вы, видно, поместили бы его в рай?

— Этого я не говорил, Санчо. Я не отрицаю, он наделал много зла.

— Ах да, ведь вы на такой случай придумали очень удобную уловку — чистилище.

— Я ничего не придумывал — ни ада, ни чистилища.

— Извините, отче. Я имел в виду, конечно, вашу Церковь.

— Церковь в своих действиях опирается на авторитетные пи-

---

[1] Евангелие от Иоанна, 21, 16.

[2] Псалтирь, псалом 22.

[3] «Катехизис христианского вероучения» *(исп.)*.

сания — точно так же, как ваша партия опирается на учения Маркса и Ленина.

— Но вы же верите, что ваши книги — это слово божие.

— Не будьте таким пристрастным, Санчо. А вы разве не думаете — за исключением, может быть, ночью, когда вам не спится,— что Маркс и Ленин столь же непогрешимы, как... ну, скажем, евангелисты Матфей или Марк?

— А вы — когда вам не спится, монсеньор?

— Мысль об аде, случалось, смущала меня во время бессонницы. Возможно, в ту же ночь вы в своей комнате думали о Сталине и лагерях. Был ли Сталин — или Ленин — безусловно прав? Возможно, вы задаете себе этот вопрос в тот момент, когда я спрашиваю себя, неужели такое возможно... как может милосердный и любящий бог?.. О да, я крепко держусь моих старых книг, но есть у меня и сомнения. Тут как-то вечером — Тереса как раз сказала мне на кухне что-то такое про плиту... что она-де докрасна раскалилась,— я перечитал все Евангелие. Знаете ли вы, что на пятидесяти двух страницах моей Библии апостол Матфей пятнадцать раз упоминает про ад, а апостол Иоанн — ни разу? Марк — дважды на тридцати одной странице, а Лука — трижды на пятидесяти двух. Ну, Матфей, бедняга, был ведь сборщиком податей и, по-видимому, верил в действенность наказания, и все-таки я не могу не удивляться...

— И правильно делаете.

— Надеюсь... друг мой... что и вы иной раз сомневаетесь. Человеку свойственно сомневаться.

— Я стараюсь не сомневаться,— сказал мэр.

— О, я тоже. Я тоже. В этом мы, несомненно, схожи.

Мэр на секунду положил руку на плечо отца Кихота, и отец Кихот почувствовал, как от этого прикосновения его обдало дружеским теплом. «Как странно,— подумал он, сбавляя скорость и с излишней осторожностью заворачивая «Росинанта»,— что сомнение может объединить людей, пожалуй, даже в большей мере, чем вера. Верящий будет сражаться с другим верящим из-за какого-то оттенка в понимании,— сомневающийся же сражается лишь сам с собой».

— Молочные поросята в ресторане «У Ботина»,— сказал мэр,— напомнили мне прекрасную притчу про блудного сына. Я, конечно, не забыл, что там отец закалывает, по-моему, теленка... да, откормленного теленка. Надеюсь, наш поросенок будет не хуже откормлен.

— Прелестная притча,— не без вызова заметил отец Кихот. Он не был уверен в том, что за этим последует.

— Да, начинается эта притча прелестно,— сказал мэр.— Вполне мещанское семейство — отец и два сына. Отец — нечто вроде богатого русского кулака, который видит в крестьянах лишь столько-то принадлежащих ему душ.

— В этой притче нет ни слова про кулаков или про души.

— История, которую вы читали, была, по всей вероятности, слегка подправлена и чуть искажена церковными цензорами.

— То есть как это?

— Она могла быть рассказана совсем иначе, да, наверное, так оно и было. Молодой человек — благодаря чудом унаследованным от какого-то предка чертам — вырос, питая, вопреки всему, ненависть к полученному по наследству богатству. Возможно, Иисус имел тут в виду Иова. Ведь Иисуса отделяло от автора истории про Иова куда меньше времени, чем вас — от вашего великого предка Дон Кихота. Как вы помните, Иов был до неприличия богат. У него было семь тысяч овец и три тысячи верблюдов. Сына душит мещанская атмосфера — возможно, на него так действует даже сама обстановка, стены, увешанные картинами, жирные кулаки, усаживающиеся по субботам за обильную трапезу; все это печально контрастирует с нищетой, которую он видит вокруг. Он должен бежать — куда угодно. И

вот он требует свою долю наследства, которое они с братом должны получить после смерти отца, и уходит из дома.

— И пускает свое наследство по ветру,— вставляет отец Кихот.

— Ах, это же версия официальная. А у меня есть своя: ему так опостылел мещанский мир, в котором он вырос, что он постарался как можно быстрее избавиться от своего богатства — может, он даже просто раздал все и, как Толстой, стал крестьянствовать.

— Но он же вернулся домой.

— Да, мужества не хватило. Он почувствовал себя очень одиноко, когда пас свиней на той ферме. Там ведь не было партийной ячейки, куда он мог бы обратиться за помощью. «Капитал» еще не был написан, поэтому он не мог найти свое место в классовой борьбе. Чего ж тут удивительного, что он, бедняга, на какое-то время заколебался?

— Только на какое-то время? Из чего вы это заключили?

— По вашей версии, история ведь неожиданно обрывается, верно? И оборвали ее, несомненно, церковные цензоры, может быть, даже сам сборщик податей Матфей. О да, блудного сына встречают дома с распростертыми объятиями — это правда: подают ему откормленного теленка, и несколько дней он, наверное, счастлив, а потом на него снова начинает давить гнетущая атмосфера мещанского материализма, которая побудила его уйти из дома. Отец всячески выказывает ему свою любовь, но обстановка все такая же уродливая — подделка под Людовика Пятнадцатого или нечто аналогичное, что у них тогда было; на стенах — все те же картины, изображающие красивую жизнь; угодливость слуг и роскошная еда возмущают его еще больше, чем прежде, и он начинает тосковать по друзьям, которых обрел на нищей ферме, когда пас свиней.

— А мне казалось, вы говорили, что там не было партийной ячейки и он чувствовал себя крайне одиноко.

— Да, но я несколько сгустил краски. У него все-таки был один друг, и он запомнил слова того бородатого старика крестьянина, который помогал ему носить пойло свиньям; он начал думать о них — о словах, не о свиньях,— лежа в роскошной постели и всем телом тоскуя по жесткому земляному полу своей хижины на ферме. В конце концов, три тысячи верблюдов вполне могут вызвать у человека чувствительного желание взбунтоваться.

— У вас поразительное воображение, Санчо, даже когда вы трезвы. И что же тот старик крестьянин сказал?

— Он сказал блудному сыну, что государство, в котором существует частная собственность на землю и на средства производства и где господствует капитал, каким бы это государство демократическим себя ни считало, является государством капиталистическим, механизмом, изобретенным и используемым капиталистами, чтобы держать в подчинении рабочий класс.

— Ваша история стала не менее скучной, чем мой молитвенник.

— Скучной? Вы называете это скучным? Да я же привел вам слова самого Ленина. Неужели вы не видите, что тот старик крестьянин (а мне он представляется с бакенбардами и бородой, вроде Карла Маркса) впервые заронил в уме блудного сына мысль о классовой борьбе?

— И как же ведет себя дальше блудный сын?

— Пробыв неделю дома и окончательно разочаровавшись, он на рассвете (красном рассвете) снова уходит на ферму к бородатому старику крестьянину, решив отныне принять участие в борьбе пролетариата. Бородатый старик крестьянин издали видит, как он приближается, выбегает ему навстречу, обнимает его и целует, а блудный сын говорит: «Отец, я согрешил, я недостоин называться твоим сыном».

— Конец истории кажется мне знакомым,— сказал отец Кихот.— И я рад, что вы сохранили свиней.

— Кстати о свиньях, не могли бы вы ехать побыстрее? По-моему, мы делаем не более тридцати километров в час.

— Это любимая скорость «Росинанта». Он ведь старенький — нельзя перетруждать его в такие годы.

— Но нас же обгоняют все машины.

— Какое это имеет значение? Его предок никогда и тридцати километров в час не делал.

— А ваш предок никогда дальше Барселоны не ездил.

— Ну и что? Он действительно не удалялся от Ламанчи, но в мыслях своих совершал далекие странствия. Как и Санчо.

— Насчет мыслей моих ничего не могу сказать, а вот в желудке у меня происходит такое, точно мы уже неделю едем. Колбаски и сыр отошли ныне в область воспоминаний.

В самом начале третьего они поднялись по ступенькам ресторана «У Ботина». Санчо заказал две порции молочного поросенка и бутылку красного вина «Маркиз де Мурьета».

— Удивительно, что вы предпочитаете аристократию,— заметил отец Кихот.

— Ради блага партии можно временно примириться с существованием аристократов — как и священников.

— Даже священников?

— Да. Некий бесспорный авторитет, которого мы не будем называть,— и он окинул быстрым взглядом столики по одну и по другую сторону от них,— писал, что пропаганда атеизма в определенных обстоятельствах может быть не только не нужна, но и вредна.

— Неужели Ленин действительно написал такое?

— Да, да, конечно, но лучше не произносите это имя здесь, отче. Кто его знает. Я ведь говорил вам, какие люди бывали здесь во времена нашего горячо оплакиваемого лидера. А леопард не меняет своих пятен.

— В таком случае зачем же вы меня сюда привели?

— Потому что нигде так не готовят молочных поросят. К тому же ваш воротничок может служить вам в известной мере защитой. А еще большую защиту вы получите, когда наденете пурпурные носки и пурпурный...

Появление молочного поросенка прервало его речь, и они какое-то время обменивались лишь знаками, которые едва ли могли быть неверно истолкованы тайным полицейским агентом, кто бы он ни был,— к примеру, когда в воздух взлетала рука с вилкой во славу «Маркиза де Мурьеты».

Мэр издал удовлетворенный вздох.

— Вы когда-нибудь ели более вкусного молочного поросенка?

— Я вообще никогда еще не ел молочных поросят,— не без стыда ответил отец Кихот.

— А что вы едите дома?

— Обычно бифштекс — я ведь говорил вам, что Тереса великолепно готовит бифштексы.

— Мясник у нас реакционер и бесчестный человек.

— Но бифштексы из конины у него отличные.— Отец Кихот не успел сдержаться, и запретное слово сорвалось у него с языка.

2

Быть может, именно вино дало отцу Кихоту силы противостоять мэру, а мэр вздумал за свой счет снять номера в отеле «Палас». Однако отцу Кихоту достаточно было посмотреть на сверкающий, заполненный шумной толпою холл.

— Да как вы можете — вы, коммунист?..

— Партия никогда не запрещала нам пользоваться буржуазным комфортом, пока он существует. Ну и потом, здесь безусловно легче изучать наших противников. Кроме того, как я понимаю, этот отель — сущая ерунда по сравнению с новым отелем, который построили в Москве на Красной площади. Коммунизм ведь не против комфорта, даже не против так называемой роскоши, если пользуются ею трудящиеся. Но конечно, если вы предпочитаете ночевать без комфорта и умерщвлять свою плоть...

— Как раз наоборот. Я готов пользоваться комфортом, но здесь я не смогу им насладиться. Ведь чувство комфорта зависит от умонастроения.

Они отправились наугад на розыски более скромного квартала. Внезапно «Росинант» встал, и ничто уже не могло сдвинуть его с места. На улице, ярдах в двадцати от них, виднелась надпись «Albergue»[1] и выцветшая дверь под ней.

— «Росинант» все правильно чует,— сказал отец Кихот.— Здесь мы и остановимся.

— Но здесь такая грязища,— сказал мэр.

— Тут явно живут люди очень бедные. Так что, я уверен, они охотно нас приютят. Они же в нас нуждаются. А в отеле «Палас» никто в нас не нуждался.

В узком коридоре их встретила старуха и с изумлением уставилась на них. Хотя никаких признаков других постояльцев заметно не было, она сказала им, что у нее свободна всего одна комната — правда, там две кровати.

— А ванна там есть?

Нет, ванны нет, сказала она, но этажом выше есть душ, а в комнате, которую они будут делить, есть умывальник с холодной водой.

— Что ж, мы согласны,— сказал отец Кихот.

— Вы с ума сошли,— сказал ему мэр, когда они очутились одни в комнате, которая, как не мог не признать отец Кихот, выглядела весьма мрачно.— Мы приехали в Мадрид, где десятки хороших недорогих гостиниц, и вы селите нас в этом немыслимом месте.

— «Росинант» устал.

— Нам еще повезет, если нас тут не прирежут.

— Нет-нет, старуха — женщина честная, я это знаю.

— Откуда вы это можете знать?

— По глазам видно.

Мэр в отчаянии воздел руки к небу.

— После того как мы выпили столько доброго вина,— сказал отец Кихот,— сон у нас где угодно будет крепкий.

— Я, к примеру, ни на секунду глаз не сомкну.

— Но она же из ваших.

— Ни черта не понимаю!

— Из бедняков.— И поспешно добавил:— Конечно, и из моих тоже.

Отцу Кихоту сразу стало легче, когда он увидел, что мэр лег на кровать в одежде (а мэр боялся, что, если разденется, его легче будет прирезать), ибо отец Кихот не привык раздеваться при других, а до наступления темноты, подумал он, мало ли что, ну мало ли что может случиться и вывести его из затруднительного положения. Он лежал на спине, прислушиваясь к мяуканью кошки, прогуливавшейся по черепичной крыше. Может, думал он, мэр забудет про мои пурпурные носки, и он погрузился в мечтания о том, как они будут ехать дальше, как будет крепнуть их дружба и углубляться взаимопонимание, и даже наступит момент, когда их столь разные веры при-

[1] Гостиница *(исп.)*.

дут к примирению. Может, мелькнуло у него в голове перед тем, как он погрузился в сон, мэр и не совсем неправ по поводу блудного сына — насчет счастливого конца, радостной встречи, которую устроил ему дома отец, заколов откормленного тельца. Правда, конец притчи представлялся несколько неправдоподобным...

— Я недостоин называться твоим монсеньором,— пробормотал отец Кихот, погружаясь в сон.

Разбудил его мэр. Отец Кихот не узнал его при слабом свете угасающего дня и с любопытством, но без страха, спросил:

— Кто вы?

— Я Санчо,— сказал мэр.— И нам пора идти за покупками.

— За покупками?

— Вы же произведены в рыцари. Так что мы должны купить вам меч, шпоры, шлем — пусть даже это будет тазик цирюльника.

— Тазик цирюльника?

— Пока вы почивали, я целых три часа глаз не сомкнул, чтобы они нас не прирезали. А сегодня ночью вы будете нести вахту. В этом грязном приюте, куда вы нас поместили. Будете нас охранять с помощью вашего меча, монсеньор.

— Монсеньор?

— Да-а, крепенько вы же поспали.

— Я видел сон — страшный сон.

— Что вам перерезали горло?

— Нет-нет. Много хуже.

— Ну хватит. Вставайте. Пошли искать ваши пурпурные носки.

Отец Кихот не стал возражать. Он все еще находился под мучительным впечатлением своего сна. Они спустились по темной лестнице и вышли на темную улицу. Старуха с явным ужасом посмотрела на них, когда они проходили мимо. Ей что — тоже приснился страшный сон?

— Не нравится мне ее вид,— сказал Санчо.

— А ей, по-моему, не нравится наш вид.

— Надо взять такси,— сказал мэр.

— Сначал давайте попробуем завести «Росинанта».

Он всего лишь трижды нажал на стартер, и мотор заработал.

— Вот видите,— сказал отец Кихот,— ничего с ним серьезного не случилось. Просто он устал, и только. Я ведь знаю моего «Росинанта». Так куда же мы поедем?

— Не знаю. Я думал, вы знаете.

— Что именно?

— Портного, который шьет священникам.

— Откуда же мне знать?

— Вы как-никак священник. И носите сутану, как положено священникам. Не в Эль-Тобосо же вы ее купили.

— Да ведь ей уже почти сорок лет, Санчо.

— Ну, если вы и ваши носки еще столько протянете, то вам обоим, прежде чем вы их сносите, перевалит за сто.

— Зачем мне надо покупать эти носки?

— Дороги в Испании, отче, все еще находятся под наблюдением. Вот вы сидите в Эль-Тобосо и не знаете, что призрак Франко все еще бродит по испанским дорогам. Так что ваши носки будут нам охранной грамотой. Жандармы уважают пурпурные носки.

— Но где же мы их купим? — Отец Кихот остановил «Росинанта».— Не хочу я его зря утомлять.

— Побудьте-ка тут минутку. Я сейчас отыщу такси и попрошу шофера показать нам дорогу.

— Больно мы шикуем, Санчо. Вы ведь даже хотели заночевать в отеле «Палас»!

— Деньги для нас сейчас не главная проблема.

— Эль-Тобосо — небольшое селение, и я что-то не слышал, чтобы мэрам так хорошо платили.

— Эль-Тобосо действительно небольшое селение, но партия у нас большая. Кроме того, она теперь узаконена. И как активист, я имею право на некоторые привилегии — для блага партии.

— Тогда зачем же вам нужна защита в виде моих носков?

Но он задал свой вопрос слишком поздно. Мэр уже был далеко, и отец Кихот остался наедине с одолевавшим его кошмаром. Есть такие сны, которые преследуют нас и при свете дня — да и был ли это сон, или все каким-то образом происходило на самом деле? Привиделось мне это или по странному стечению обстоятельств действительно произошло?

В этот момент дверца подле него открылась и мэр сказал:

— Поезжайте следом за такси. Шофер заверил меня, что привезет нас в самый лучший — после римских — магазин для священников. Туда даже нунций ездит и архиепископ.

Когда они приехали, отец Кихот понял, что так оно и есть. У него сердце упало при виде элегантного магазина и продавца в темном, хорошо отутюженном костюме, приветствовавшего их с холодной обходительностью высокопоставленного церковника. Отец Кихот подумал, что этот человек наверняка член «Опус деи» [1], этого клуба интеллектуалов католиков, которых он ни в чем не мог упрекнуть, но и доверять им тоже не мог. Он ведь человек сельский, а они — из больших городов.

— Монсеньор,— сказал мэр,— желает приобрести пурпурные носки.

— Извольте, монсеньор. Будьте любезны пройти за мной.

— Интересно,— прошептал мэр, пока они шли следом за продавцом,— спросят ли у вас документы.

А тем временем продавец, словно дьякон, готовящий алтарь к мессе, разложил на прилавке великое множество пурпурных носков.

— Это — нейлоновые,— сказал он.— Вот эти — из чистого шелка. А эти — хлопчатобумажные. Естественно, из лучшего хлопка с островов.

— Я обычно ношу шерстяные,— сказал отец Кихот.

— О, ну конечно, у нас есть и шерстяные, но наша клиентура обычно предпочитает нейлоновые или шелковые. Весь вопрос в оттенке: у шелка и нейлона более густой тон. А у шерсти пурпурный свет — более тусклый.

— Для меня главное — чтоб было тепло,— сказал отец Кихот.

— А я склонен послушаться этого господина, монсеньор,— поспешно вмешался мэр.— Нам нужен такой пурпурный цвет, чтобы издали видно было.

Продавец озадаченно посмотрел на него.

— Издали? — переспросил он.— Я что-то не вполне...

— Нам нужно, чтоб пурпур был пурпуром. И безусловно, настоящим церковным пурпуром.

— Наш пурпур еще ни у кого не вызывал нареканий. Даже шерстяной вариант,— нехотя добавил продавец.

— Для наших целей,— сказал мэр, повернувшись к отцу Кихоту и упреждающе насупив бровь,— лучше всего будет нейлон. У него есть блеск...— И добавил: — Ну и потом, нам, конечно, нужен... как называется этот нагрудник, который носят монсеньоры?

— Вы, видимо, имеете в виду pechera. Насколько я понимаю, он вам тоже нужен из нейлона, чтоб соответствовал носкам.

---

[1] «Опус деи» — полуконспиративная политико-религиозная организация, основанная в 1928 году. В нее принимаются избранные люди, имеющие реальную политическую и экономическую власть для осуществления крестового похода против коммунизма. Штаб-квартира организации находится в Риме.

— Я дал согласие насчет носков,— вмешался отец Кихот,— а носить пурпурный pechera решительно отказываюсь.

— Но ведь это только при чрезвычайных обстоятельствах, монсеньор,— возразил мэр.

Продавец смотрел на них с возрастающим подозрением.

— Я что-то не представляю себе, какие чрезвычайные обстоятельства...

— Я ведь объяснил вам: состояние дорог в наши дни...

Пока продавец трудился, тщательно скрепляя пакет клейкой лентой того же церковного пурпурного цвета, что и носки с нагрудником, мэр, явно невзлюбивший этого человека, решил его поддеть.

— Я вижу,— сказал он,— вы неплохо обеспечиваете церковь всем, что ей требуется в смысле украшательства.

— Если вы имеете в виду одеяния, то да.

— Ну и головные уборы — шапочки и тому подобное — тоже?

— Конечно.

— И кардинальские шляпы? Монсеньор, правда, еще не достиг этого сана. Я спрашиваю просто так, для интереса. Надо ведь быть ко всему готовым...

— Кардиналы всегда получают шляпу от его святейшества.

На «Росинанта» напало капризное настроение, и мотор его завелся не сразу.

— Боюсь, я перестарался,— сказал мэр,— и вызвал у продавца подозрения.

— С чего вы это взяли?

— А он подошел сейчас к двери. И по-моему, записал номер нашей машины.

— Я ни о ком не хочу говорить дурно,— сказал отец Кихот,— но, по-моему, он из «Опус деи».

— Скорее всего, это их магазин.

— Я, конечно, уверен, они по-своему сделали немало добра. Как и генералиссимус тоже.

— А я готов поверить в существование ада хотя бы для того, чтоб поместить туда членов «Опус деи» вместе с генералиссимусом.

— Я молюсь за него,— сказал отец Кихот и крепче сжал руль «Росинанта».

— Ваши молитвы не спасут его от ада, если он существует.

— Ад-то существует, но достаточно молитв одного праведника, чтобы спасти любого из нас. Как было с Содомом и Гоморрой,— добавил отец Кихот не очень уверенно, поскольку не знал, верны ли его данные.

Вечер был очень жаркий. Мэр предложил поужинать «У Понтия Пилата», но отец Кихот решительно отказался. Он сказал:

— Понтий Пилат был плохой человек. Его чуть не канонизировали, потому что он держался нейтрально, но когда речь идет о выборе между добром и злом, нейтральным человек быть не может.

— Он не был нейтрален,— возразил мэр.— Он был неприсоединившимся, как Фидель Кастро, только с уклоном в правильном направлении.

— Что значит — «в правильном»?

— В направлении Римской империи.

— Вы, коммунист, за Римскую империю?

— Маркс учит нас, что революционный пролетариат может развиться лишь после того, как страна пройдет стадию капитализма. А Римская империя развивалась, превращаясь в капиталистическое общество. Евреев же их религия удерживала от занятия промышленностью, так что...

После чего мэр предложил поесть в «Приюте святой Терезы»:

— Не знаю, как у этой святой обстояло дело с кухней, но ее очень высоко ставил ваш друг генералиссимус.

Отец Кихот не понимал, как можно связывать еду и религию, так что, когда мэр предложил поехать к «Сан Антонии де ла Флорида»,— а о такой святой отец Кихот никогда не слыхал,— это вызвало у него лишь раздражение. Он подозревал, что мэр слегка издевается над ним. Под конец они довольно скверно поели в ресторане «У ворот», где, правда, свежий воздух несколько восполнил им недостатки меню.

Они прикончили бутылку вина в ожидании, пока им подадут еду, и вторую — за едой, но когда мэр предложил выпить еще одну, чтоб получилась святая троица, отец Кихот отказался. Он сказал, что устал, что сиеста не освежила его, но это были лишь предлоги — на самом деле он никак не мог избавиться от тягостного впечатления после своего сна. Ему не терпелось рассказать его, хотя Санчо никогда не поймет отчаяния, в которое погрузил отца Кихота этот сон. Вот если бы он был сейчас дома... но что бы это изменило? Тереса сказала бы: «Ведь это же был только сон, отче», а отец Эррера... Как ни странно, но отец Кихот понимал, что никогда не сможет обсуждать с отцом Эррерой вопросы религии, хотя вроде бы они исповедуют одну веру. Отец Эррера был за то, чтобы служить мессу по новому обряду, и как-то вечером в конце ужина, прошедшего почти в полном молчании, отец Кихот имел глупость сказать ему, что, привыкнув заканчивать мессу словами Евангелия от Иоанна, теперь, когда они изъяты из литургии, произносит их про себя.

«А-а, увлекаетесь поэзией»,— заметил отец Эррера с ноткой неодобрения в голосе.

«Вам не нравится Евангелие от Иоанна?»

«Его Евангелие не принадлежит к числу моих любимых. Я предпочитаю Евангелие от Матфея».

Отец Кихот в тот вечер находился в весьма озорном настроении и был уверен, что отчет об их беседе на другой же день попадет на стол к епископу. Увы! Слишком поздно! Монсеньора может понизить в сане только сам папа. И отец Кихот сказал:

«Я всегда считал, что Евангелие от Матфея отличается от всех остальных тем, что это Евангелие устрашения».

«Почему? Что за странная идея, монсеньор!»

«У Матфея пятнадцать раз упоминается слово «ад».

«Ну и что?»

«Править с помощью страха... господь бог вполне мог бы предоставить это гитлерам или сталиным. Я верю, что смелость — это добродетель. Я не верю, что трусость тоже добродетель».

«Дитя воспитывают дисциплиной. А мы все — дети, монсеньор».

«Не думаю, чтобы любящий родитель воспитывал своего ребенка с помощью страха».

«Надеюсь, вы не учите этому своих прихожан».

«О, я вообще их ничему не учу. Это они учат меня».

«Не один апостол Матфей говорил об аде, монсеньор. У вас и другие Евангелия вызывают такие же чувства?»

«Между ними есть существенная разница».— Отец Кихот умолк, понимая, что ступает на действительно опасную почву.

«Какая же?» — Возможно, отец Эррера рассчитывал получить подлинно еретический ответ, который потом можно было бы сообщить,— конечно, по соответствующим каналам — в Рим.

А отец Кихот сказал отцу Эррере то же, что в свое время сказал мэру:

«У святого Марка ад упоминается всего два раза. (Конечно, у него была другая специальность — он был апостолом сострадания.) У святого Луки — три раза: он ведь был великий рассказчик. Это у него мы находим большинство великих притч. А у апостола Иоанна... теперь говорят, что это самое древнее из Евангелий — более древнее, чем Евангелие от Марка... Очень это странно».— И он умолк.

«Ну и что же мы находим у апостола Иоанна?»

«В его Евангелии нет ни одного упоминания об аде».

«Но, монсеньор, не ставите же вы под сомнение существование ада?»

«Я верю в его существование из послушания Церкви, а не по велению сердца».

На этом была поставлена точка, и разговор окончился.

Отец Кихот затормозил на темной унылой улице, где находилось их пристанище.

— Чем скорее мы отсюда уедем, тем лучше,— сказал мэр.— Подумать только, что мы могли со всеми удобствами спать в «Паласе».

Когда они поднимались по лестнице, открылась дверь и при свете свечи показалось подозрительное испуганное лицо старухи.

— С чего бы у нее, черт подери, такой испуганный вид? — спросил мэр.

— Возможно, это мы заразили ее своим страхом,— сказал отец Кихот.

Он постарался побыстрее, так до конца и не раздевшись, нырнуть под простыни, а мэр не спешил. Он тщательно — не то что отец Кихот — сложил свои брюки и повесил пиджак, но рубашки и трусов снимать не стал, словно, как и отец Кихот, хотел быть готов к любой неожиданности.

— Что это у вас в кармане? — спросил он, перевешивая пиджак отца Кихота.

— О, это книга Герберта Йоне по теологии морали. Я в последний момент сунул ее в карман.

— Нечего сказать, подходящая книга для поездки на отдых!

— Ну я же видел, как вы положили в машину сборник статей Ленина и что-то там Маркса.

— Я решил дать их вам почитать для самообразования.

— Ну а я, если хотите, дам вам почитать Йоне — для вашего.

— По крайней мере, я, может, хоть засну,— произнес мэр и вытащил из кармана отца Кихота зеленую книжицу.

Отец Кихот лежал на спине и прислушивался к тому, как его спутник переворачивает страницы. В какой-то момент мэр хохотнул. Отец Кихот не мог припомнить ничего смешного у Йоне — правда, он читал «Теологию морали» сорок лет тому назад. Он никак не мог заснуть, и ужасный сон, привидевшийся ему во время сиесты, не оставлял его в покое, словно мотив пошленькой песенки.

Отцу Кихоту приснилось, что Христос был снят с креста легионом ангелов — дьявол заранее предупредил его, что он может к ним воззвать. Поэтому не было агонии, никто не откатывал тяжелого надгробья, никто не обнаруживал пустой могилы. Отец Кихот стоял на Голгофе и смотрел, как Христос победоносно сошел с креста под клики толпы. Римские солдаты, во главе с центурионом, опустились перед ним на колени, а жители Иерусалима устремились вверх по горе, чтобы поклониться ему. Ученики радостно окружили его. Матерь божия улыбалась сквозь слезы. Все ясно — никакой двусмысленности, никакого повода для сомнений и никакого повода для веры. Весь мир со всею очевидностью понимал, что Христос — сын божий.

Это был всего лишь сон, конечно, всего лишь сон, и тем не менее, проснувшись, отец Кихот почувствовал, как ледяная рука отчаяния сжала ему сердце,— такое чувство овладевает человеком, внезапно осознавшим, что он выбрал профессию, которая никому не нужна, и что он вынужден жить в своего рода пустыне Сахаре, где нет места ни сомнению, ни вере, где все убеждены в истинности лишь одного верования. И он неожиданно для себя вдруг прошептал:

— Господи, избавь меня от такого верования.— Затем, услышав, как ворочается в соседней постели мэр, машинально добавил: — И его тоже.— И только после этого заснул.

3

Старуха поджидала их внизу лестницы. Последняя ступенька была с выбоиной, и отец Кихот, оступившись, чуть не упал. Старуха перекрестилась и что-то забормотала, размахивая какой-то бумажкой.

— Чего ей надо? — спросил мэр.

— Наши фамилии и адреса, а также откуда мы прибыли и куда направляемся.

— Это не гостиничная ficha[1]. Это же просто листок из блокнота.

Старуха продолжала бормотать, повышая голос,— казалось, она вот-вот перейдет на крик.

— Я ни слова не понимаю,— сказал мэр.

— У вас нет такой привычки слушать, как у меня,— в исповедальне. Старуха говорит, что у нее уже были неприятности с полицией из-за того, что она не записала каких-то своих постояльцев. А они были коммунисты, говорит она, и их искали.

— Почему же она не попросила нас зарегистрироваться, когда мы приехали?

— Она думала, что мы у нее не остановимся, а потом забыла. Дайте-ка мне ручку. Нечего из-за этого устраивать шум.

— Хватит с нее и одного из нас. Особенно если это священник. И не забудьте указать: «монсеньор».

— А что написать — куда мы направляемся?

— Напишите: в Барселону.

— Вы ни разу не говорили мне про Барселону.

— А кто его знает? Может, мы туда и поедем. Ваш предок ведь ездил туда. Во всяком случае, я никогда не считал нужным сообщать что-либо полиции.

Отец Кихот нехотя повиновался. Интересно, отец Йоне счел бы это ложью? Он вспомнил, что отец Йоне довольно странно делил ложь на злонамеренную, ложь во благо и ложь шутки ради. Эта ложь — не злонамеренная и уж конечно не шутки ради. Ложь во благо — это когда она может быть выгодна кому-то или тебе самому. Здесь же никакой выгоды никому нет. Значит, наверное, это вовсе и не ложь. К тому же возможно ведь, что их странствия в один прекрасный день действительно приведут их в Барселону.

V

Как монсеньор Кихот и Санчо посетили одно святое место

1

— Вы хотите ехать на север? — спросил отец Кихот.— Я подумал, может быть, нам все-таки стоило бы сделать небольшой крюк в направлении Барселоны.

— Я хочу свозить вас в одно святое место,— сказал мэр,— где, я уверен, вам захочется помолиться. Поезжайте по дороге на Саламанку, пока я не скажу, где свернуть.

Что-то в тоне мэра не понравилось отцу Кихоту. Он умолк, и тут снова на память ему пришел тот сон. Он сказал:

— Санчо, вы действительно верите, что будет такое время, когда весь мир станет коммунистическим?

— Да, верю. Только я, конечно, не увижу этого дня.

— И победа пролетариата будет полной и окончательной?

— Да.

— И весь мир будет как Россия?

---

[1] Карточка *(исп.)*.

— Этого я не говорил. Россия еще не достигла коммунизма. Она лишь продвинулась по пути к коммунизму дальше других стран.— Он по-дружески прикрыл ладонью рот отца Кихота.— Только, мой дорогой католик, не начинайте говорить мне о правах человека, и тогда я обещаю, что не стану говорить про инквизицию. Если бы вся Испания целиком была католической, то, конечно, никакой инквизиции не возникло бы, а так — церковь вынуждена была защищаться от врагов. Войне всегда сопутствует несправедливость. Людям всегда приходится выбирать меньшее зло, и меньшим злом может оказаться государство, тюрьма, лагерь, да если угодно и психиатрическая больница. Сейчас государство или Церковь обороняются, когда же мы придем к коммунизму, государство отомрет. Так же, как отмерла бы власть пап, если бы вашей Церкви удалось заставить весь мир принять католичество.

— Представим себе, что коммунизм наступит еще при вашей жизни.

— Это невозможно.

— Ну, тогда представим себе, что ваш прапраправнук унаследует ваш характер и что он доживет до тех пор, когда государства не станет. Не будет несправедливости, не будет неравенства — чему он посвятит себя, Санчо?

— Будет трудиться ради общего блага.

— У вас, безусловно, есть вера, Санчо, великая вера в будущее. Но у него-то такой веры не будет. Будущее же будет тут, перед его глазами. А может человек жить без веры?

— Не понимаю, при чем тут вера? Человек всегда найдет чем заняться. Искать новые источники энергии. А болезни — всегда ведь будут болезни, с которыми надо сражаться.

— Вы в этом уверены? Медицина идет вперед огромными шагами. Мне жаль вашего прапраправнука, Санчо. Такое у меня впечатление, что ему не на что будет надеяться — разве что на смерть.

Мэр усмехнулся:

— А мы, может, и со смертью разделаемся с помощью трансплантаций.

— Избави нас бог,— сказал отец Кихот.— Тогда ваш прапраправнук будет жить в бескрайней пустыне. Ни сомнений. Ни веры. Я бы пожелал ему в таком случае счастливой смерти.

— Что значит «счастливой смерти»?

— Смерти в надежде, что после нее что-то есть.

— Вечное блаженство и прочая ерунда? Убеждение, что существует какая-то там вечная жизнь?

— Нет. Не обязательно убеждение. Мы не можем всегда быть убеждены. Достаточно верить. Как верите, например, вы, Санчо. Ах, Санчо, Санчо, как же это ужасно — не иметь сомнений. Вообразите себе, что все, написанное Марксом — да и Лениным,— доказано, как абсолютная правда.

— Я, конечно, был бы этому рад.

— Сомневаюсь.

Некоторое время они ехали молча. Внезапно Санчо хохотнул — этот лающий звук отец Кихот слышал уже и ночью.

— В чем дело, Санчо?

— Вчера вечером, перед тем как заснуть, я читал вашего Йоне и его «Теологию морали». Я совсем забыл, что онанизм представляет собой такое богатейшее разнообразие грехов. Я-то считал, что это всего лишь синоним мастурбации.

— Это часто встречающаяся ошибка. Но уж вам-то, Санчо, надо бы это знать. Вы же говорили, что учились в Саламанке.

— Да. И вчера вечером я вспомнил, как мы все хохотали, когда дошли до онанизма.

— Я забыл, что Йоне может так развеселить.

— Разрешите напомнить вам, что он говорит о coitus interruptus[1]. Йоне считает это одной из форм онанизма, но по его мнению, если совокупление прервано из-за непредвиденных обстоятельств, например (этот пример приводит сам Йоне) при появлении третьего лица,— это уже не грех. Так вот, один из моих соучеников, Диего, знал одного очень богатого и верующего маклера. Я сейчас вдруг вспомнил, как его звали — Маркес. У него было большое поместье через реку от Саламанки, недалеко от монастыря винсентианцев[2]. Не знаю, жив ли он еще. Ну, если жив, то проблема контроля над деторождением не должна больше его волновать: ему сейчас должно быть уже за восемьдесят. А в те дни это было для него, безусловно, ужасной проблемой, ибо он железно следовал правилам Церкви. Ему еще повезло, что Церковь изменила свой взгляд на ростовщичество — в маклерском деле есть ведь немало ростовщичества. Забавно, верно, что Церковь куда легче меняет мнение относительно денег, чем относительно секса?

— У вас ведь тоже есть неизменные догмы.

— Да. Но у нас невозможно изменить как раз те догмы, которые касаются денег. Нас не волнует coitus interruptus, нас волнуют лишь средства воспроизводства — я не имею в виду сексуальные. У следующей развилки сверните, пожалуйста, влево. А теперь видите впереди высокую каменистую гору и на ней большой крест? Мы едем туда.

— Так это в самом деле святое место. А я думал, вы надо мной подтруниваете.

— Нет-нет, монсеньор. Я слишком вас для этого люблю. О чем это я говорил? А, вспомнил. О сеньоре Маркесе и его ужасной проблеме. Так вот — у него было пятеро детей. Он считал, что выполнил свой долг перед Церковью, но жена у него была ужасно плодовитая, да и он сам любил поразвлекаться в постели. Он мог бы завести себе любовницу, но не думаю, чтобы Йоне считал, что во внебрачных отношениях можно контролировать рождаемость. Словом, не везло ему с тем, что вы называете «естественным», а я называю «противоестественным» контролем над рождаемостью. Возможно, под влиянием Церкви все термометры в Испании показывают не ту температуру. Так или иначе, мой друг Диего заметил как-то сеньору Маркесу — боюсь, в весьма фривольную минуту,— что по правилам Йоне можно пользоваться coitus interruptus. Кстати, к каким священнослужителям принадлежал Йоне?

— Он был из немцев. Не думаю, чтобы он принадлежал к белому духовенству — они по большей части слишком заняты, чтобы изучать теологию морали.

— Так вот, Маркес послушал Диего, и в следующий раз, когда Диего пришел к нему, он обнаружил в доме дворецкого. Это удивило его, ибо Маркес был человек скаредный, редко принимавший гостей, разве что от случая к случаю кого-нибудь из отцов монастыря святого Винсента, так что две служанки, няня и повариха вполне обеспечивали нужды семейства. После ужина Маркес пригласил Диего к себе в кабинет на рюмку коньяку, и это тоже удивило Диего.

«Я должен поблагодарить тебя,— сказал ему Маркес,— ты намного облегчил мою жизнь. Я очень внимательно проштудировал отца Йоне. Признаюсь, я не вполне поверил тому, что ты мне сказал, и поэтому добыл у винсентианцев экземпляр труда отца Йоне на испанском языке, и там черным по белому написано — с официального разрешения архиепископа Мадридского и Nihil Obstat[3] со стороны цензуры,— что появление третьего лица делает возможным coitus interruptus».

---

[1] Прерванном совокуплении *(лат.)*.

[2] Винсентианцы принадлежат к сообществу римско-католических священников, основанному св. Винсентом де Полем (1581 — 1660) в 1625 году.

[3] Никаких препятствий *(лат.)*.

«Ну и как же вы этим воспользовались?» — спросил Диего.

«Как видишь, я нанял дворецкого и тщательнейшим образом его обучил. Когда в кладовке раздается два звонка из моей спальни, дворецкий подходит к двери в спальню и ждет. Я стараюсь, чтобы он не ждал слишком долго, но годы у меня уже не те, и, боюсь, ему иной раз приходится ждать по четверть часа, а то и больше, следующего сигнала: долгого звонка уже в самом коридоре. Это значит: больше сдерживаться я не могу. Тогда дворецкий открывает дверь в спальню — появляется третье лицо, и я отказываюсь от жены. Так что ты и представить себе не можешь, насколько Йоне упростил мне жизнь. Теперь я исповедуюсь не чаще чем раз в три месяца — и каюсь во всяких мелких, простительных промашках».

— Вы надо мной издеваетесь,— сказал отец Кихот.

— Нисколько. Просто я нахожу теперь Йоне куда более интересным и забавным писателем, чем в студенческую пору. К сожалению, в том случае, о котором я вам рассказал, была допущена одна промашка — Диего оказался человеком недобрым и указал на нее. «Вы недостаточно внимательно читали Йоне,— сказал он Маркесу.— Йоне относит появление третьего лица к разряду «непредвиденных обстоятельств». А в вашем случае появление дворецкого, боюсь, слишком хорошо предвидено». Бедняга Маркес был просто сражен. О, этих теологов-моралистов трудно обскакать. Они всегда возьмут над вами верх с помощью своих софизмов. Так что лучше их вообще не слушать. Поэтому ради вашего же блага очистите-ка ваши полки от всех этих старых книг. Вспомните, что сказал каноник вашему благородному предку: «...а вам, ваша милость, человеку столь почтенному, таких превосходных качеств и столь светлого ума, не должно принимать за правду все те сумасбродные нелепости, о которых пишут в этих вздорных романах» [1].

Мэр помолчал и искоса взглянул на отца Кихота.

— У вас в лице, безусловно, есть что-то общее с вашим прообразом,— сказал он.— Если я Санчо, то вы, несомненно, монсеньор Печального Образа.

— Надо мной, Санчо, можете издеваться сколько угодно. Огорчает меня то, что вы издеваетесь над моими книгами, ибо они значат для меня больше, чем я сам. В них — вся моя вера и вся надежда.

— В обмен на труды отца Йоне я одолжу вам труды отца Ленина. Быть может, он тоже вселит в вас надежду.

— Надежду на этом свете — возможно, но я испытываю великий голод — и хочу удовлетворить его не только ради себя. И ради вас, Санчо, и ради всего нашего мира. Я знаю, я бедный странствующий священник, едущий бог знает куда. Я знаю, что в некоторых из моих книг есть нелепицы — были они и в рыцарских романах, которые собирал мой предок. Но это вовсе не значит, что рыцарство вообще — нелепица. Какие бы нелепости вы ни выудили из моих книг, я все равно продолжаю верить...

— Во что?

— В исторический факт. В то, что Христос умер на кресте и воскрес.

— Это — величайшая из всех нелепостей.

— Мы живем в нелепом мире, иначе не были бы мы сейчас вместе.

Они взобрались на Гвадаррамас, что было нелегко для «Росинанта», и теперь стали спускаться в долину, лежавшую у подножия высокой сумрачной горы, на которой высился огромный тяжелый крест, должно быть, метров ста пятидесяти в высоту; они увидели впереди стоянку, забитую машинами — роскошными «кадиллаками» и малень-

---

[1] Мигель де Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский, гл. XLIX *(перевод Н. Любимова)*.

кими «сеатами». Владельцы «сеатов» расставили возле своих машин складные столики для пикника.

— Неужели вы хотели бы жить в абсолютно рациональном мире? — спросил отец Кихот.— Какой это был бы скучный мир!

— В вас говорит ваш предок.

— Взгляните на эту гильотину на горе... или, если угодно, виселицу.

— Я вижу крест.

— А это ведь более или менее одно и то же, верно? Куда мы приехали, Санчо?

— Это Долина Павших, отче. Ваш друг Франко задумал, чтобы его похоронили здесь как фараона. И больше тысячи заключенных согнали сюда, чтобы рыть пещеру для его гробницы.

— О да, помню — потом им за это дали свободу.

— Для сотен из них это была свобода смерти. Как, отче, вы вознесете здесь молитву?

— Конечно. А почему, собственно, нет? Будь даже тут похоронен Иуда — или Сталин,— я бы все равно помолился.

Они поставили машину, заплатив за стоянку шестьдесят песет, и подошли ко входу в пещеру. Какой огромный понадобился бы камень, подумал отец Кихот, чтобы завалить вход в это гигантское захоронение. Вход в пещеру преграждала металлическая решетка, украшенная статуями сорока испанских святых, за ней открывался зал величиной с соборный неф, по стенам которого висели гобелены, с виду — шестнадцатого века.

— Генералиссимус настоял на том, чтобы его охраняла целая бригада святых,— заметил мэр.

Зал был такой огромный, что посетители казались пигмеями и их голоса были еле слышны; надо было долго идти под высокими сводами к алтарю, находившемуся в другом конце.

— Замечательное достижение инженерного искусства,— заметил мэр,— сродни пирамидам. И создать такое могли только рабы.

— Как в ваших сибирских лагерях.

— Русские заключенные по крайней мере трудились во имя будущего своей родины. А это создано ради славы одного человека.

Они медленно шли к алтарю мимо вытянувшихся в ряд часовен. Никто в этой богато украшенной пещере не считал нужным понижать голос, и, однако же, голоса звучали как шепот в этой беспредельности. Трудно было поверить, что вы идете в недрах горы.

— Насколько я понимаю,— сказал отец Кихот,— эта пещера была создана как символ примирения, часовня, где бы поминали всех павших с обеих сторон.

По одну руку от алтаря находилась могила Франко, по другую — Хосе-Антонио де Риверы, основателя фаланги.

— Вы не найдете здесь даже таблички с именем павшего республиканца,— сказал мэр.

Молча проделали они долгий путь назад и, прежде чем выйти, в последний раз обернулись.

— Почти как холл в отеле «Палас»,— заметил мэр,— но, конечно, грандиознее, да и посетителей меньше. И отелю «Палас» не по карману такие гобелены. А там в конце — бар с коктейлями; того и гляди, появится бармен и приготовит напиток — фирменный коктейль из красного вина, который подают с вафлями. Вы молчите, монсеньор. Это не могло не произвести на вас впечатление. Или что-то не так?

— Я молился — только и всего,— сказал отец Кихот.

— За генералиссимуса, похороненного среди этого великолепия?

— Да. А также за вас и за меня.— И добавил: — И за мою Церковь.

Когда они сели в машину, отец Кихот перекрестился. Он и сам не был уверен почему — чтобы защититься от опасностей, подстерегаю-

щих на дороге, или от поспешных выводов, или это было просто нервной реакцией.

Мэр сказал:

— У меня такое впечатление, что за нами следят.— И, перегнувшись к отцу Кихоту, заглянул в зеркальце заднего вида.— Все обгоняют нас, кроме одной машины.

— А с какой стати кто-то будет за нами следить?

— Кто его знает? Я ведь просил вас надеть пурпурный слюнявчик.

— Но я же надел носки.

— Этого недостаточно.

— Куда мы теперь направляемся?

— При такой скорости нам ни за что не добраться к вечеру до Саламанки. Так что придется остановиться в Авиле.— И, продолжая наблюдать в зеркальце заднего вида, мэр добавил: — Наконец-то он нас обгоняет.

Мимо на большой скорости промчалась машина.

— Вот видите, Санчо, мы вовсе их не интересовали.

— Это был джип. Джип жандармерии.

— Так или иначе, не мы были у них на уме.

— И все равно я б хотел, чтобы вы сидели в своем слюнявчике,— сказал мэр.— Носков-то ваших они ведь не видят.

Они устроили обед на обочине и, усевшись на пожухлой траве, доели остатки колбасы. Она немного подсохла, а ламанчское вино почему-то в значительной мере утратило свой аромат.

— Кстати,— сказал мэр,— колбаса напомнила мне, что в Авиле, если захотите, вы сможете увидеть безымянный палец святой Терезы, а в Альба-де-Тормесе, близ Саламанки, я покажу вам всю ее руку. Во всяком случае, по-моему, ее уже вернули в тамошний монастырь, а то она какое-то время находилась у генералиссимуса. Говорят, он держал ее — со всем, конечно, благоговением — у себя на столе. А в Авиле сохранилась исповедальня, где она беседовала с Хуаном де ла Крус. Большой был поэт, так что не будем спорить по поводу его святости. Когда я был в Саламанке, я часто ездил в Авилу. Знаете, я даже с некоторым благоговением относился к этому пальцу святой Терезы, хотя привлекала меня главным образом одна красотка — дочка авильского аптекаря.

— А почему вы бросили там учиться, Санчо? Вы никогда мне об этом не рассказывали.

— Я думаю, длинные золотые волосы той красотки были, наверное, главной тому причиной. Очень это было счастливое для меня время. Понимаете, она ведь была дочкой аптекаря — а он был тайным членом компартии — и потому могла втихую снабжать нас противозачаточными средствами. Мне не надо было прибегать к coitus interruptus. Но знаете, странная все-таки штука человеческая натура: я потом отправлялся к безымянному пальцу святой Терезы и каялся.— Он мрачно уставился в свой стакан с вином.— О, я смеюсь над вашими предрассудками, отче, но в те дни я разделял некоторые из них. Может, поэтому я так и ищу сейчас вашей компании — я как бы снова переживаю свою юность, юность, когда я почти исповедовал вашу религию, когда все было так сложно и противоречиво... и интересно.

— А мне сложным ничто никогда не казалось. Я всегда находил ответ в тех книгах, которые вы так презираете.

— Даже у отца Йоне?

— О, я никогда не был силен в теологии морали.

— Одной из сложностей, возникших передо мной, было то, что отец девушки, аптекарь, умер и мы не могли больше доставать противозачаточные средства. Сегодня это было бы совсем просто, но в те дни... Выпейте еще стаканчик, отче.

— В вашей компании, если я не буду осторожен, боюсь, я могу превратиться в попа-пропойцу — я слышал, так говорят.

— Вслед за моим предком Санчо могу сказать, что я никогда в жизни не был запойным пьяницей. Я пью, когда мне на душу придет или когда хочу выпить за здоровье друга. За вас, монсеньор! Кстати, а что говорит отец Йоне по поводу выпивки?

— Интоксикация, приводящая к полной потере разума, является смертным грехом, если к тому нет достаточных оснований, а спаивать других — такой же грех, если к тому нет достаточных оправданий.

— Любопытно он это квалифицирует, верно?

— Как ни странно, согласно отцу Йоне, если кто-то — как в данном случае вы — спаивает другого на пиршестве, это более простительный грех.

— Я полагаю, мы можем считать это пиршеством?

— Я вовсе не уверен, что, когда двое сидят за столом, это можно назвать пиршеством, и сомневаюсь, подходит ли для такого определения наша изрядно засохшая колбаса.— Отец Кихот несколько нервозно рассмеялся (пожалуй, юмор был тут не вполне уместен) и перебрал лежавшие у него в кармане четки.— Вы можете смеяться над отцом Йоне,— продолжал он,— и я, да простит меня господь, смеялся над ним вместе с вами. Но теология морали, Санчо,— это ведь не Церковь. И труда отца Йоне вы не найдете среди моих старых рыцарских книг. Его книга всего лишь военный устав. А святой Франциск Сальский написал книгу в восемьсот страниц под названием «Любовь к Господу». В правилах отца Йоне вы не встретите слова «любовь», а в книге святого Франциска Сальского, по-моему,— возможно, я неправ — вы не найдете выражения «смертный грех». Он был епископом и правителем Женевским. Интересно, поладили бы они с Кальвином? Мне кажется, Кальвину легче было бы с Лениным... или даже со Сталиным. Или с жандармерией,— добавил он, глядя на возвращающийся джип — если это был тот самый.

Его предок наверняка вышел бы на дорогу и бросил джипу вызов. Отец Кихот почувствовал свою несостоятельность, у него даже возникло чувство вины. Джип, поравнявшись с их машиной, притормозил. И отец Кихот и Санчо с облегчением вздохнули, когда, проехав мимо, он исчез из виду; какое-то время они молча лежали среди остатков своей трапезы. Потом отец Кихот сказал:

— Мы же ничего плохого не сделали, Санчо.

— Они судят по внешнему виду.

— Но мы же выглядим невинными, как агнцы,— заметил отец Кихот и процитировал своего любимого святого: — «Ничто так не способно утихомирить разъярившегося слона, как вид агнца, ничто так не способно ослабить силу полета пушечного ядра, как шерсть».

— Тот, кто это написал,— сказал мэр,— показал свое невежество в естествознании и в законах динамики.

— Наверное, это от вина, но мне что-то ужасно жарко.

— А я что-то не замечаю жары. По-моему, температура очень приятная. Но на мне нет, конечно, такого дурацкого воротничка.

— Это всего лишь полоска целлулоида. И право же, в нем не так уж жарко, особенно если сравнить с тем, что надето на этих жандармах. Попробуйте надеть воротничок — сами увидите.

— Так уж и быть, попробую. Давайте его сюда. Помнится, Санчо ведь стал правителем острова, ну а я, с вашей помощью, стану правителем душ. Как отец Йоне.— Мэр надел воротничок.— Нет, вы правы. В нем вовсе не жарко. Тесновато немного, только и всего. Он мне натрет шею. Забавно, отче, но без воротничка я никогда не принял бы вас за священника и уж во всяком случае за монсеньора.

— После того как домоправительница отобрала у Дон Кихота копье и заставила его снять доспехи, вы никогда не приняли бы его за странствующего рыцаря. А всего лишь за сумасшедшего старика. Давайте сюда мой воротничок, Санчо.

— Позвольте мне еще немного побыть правителем. Может, в таком воротничке я даже услышу одну-две исповеди.

Отец Кихот протянул было руку, чтобы забрать воротничок, как вдруг услышал властный голос:

— Ваши документы.

Перед ними был жандарм. Он, очевидно, оставил джип за поворотом дороги и пешком подошел к ним. Это был крупный мужчина, весь потный — то ли от усталости, то ли от страха, так как пальцы его выбивали дробь на кобуре. Возможно, он боялся, что перед ним — баскский террорист.

— Мой бумажник в машине,— сказал отец Кихот.

— Сходим за ним вместе. А ваши документы, отче? — обратился он к Санчо.

Санчо полез в нагрудный карман за удостоверением личности.

— Что это у вас за тяжесть в кармане?

Рука жандарма не покидала рукоятки револьвера, пока Санчо вытаскивал из кармана маленькую зеленую книжечку, на которой значилось: «Теология морали».

— Это книга не запрещенная.

— Я так не говорил, отче.

— Какой я вам отче?

— Тогда почему же на вас этот воротничок?

— Я взял его на минутку у моего друга. Видите? Он же не пристегнут. Просто надет. А вот мой друг — он монсеньор.

— Монсеньор?

— Да, взгляните на его носки.

Жандарм бросил взгляд на пурпурные носки. И сказал:

— Значит, эта книжка ваша? И воротничок тоже?

— Да,— сказал отец Кихот.

— Вы дали их этому человеку?

— Да. Видите ли, мне было ужасно жарко и...

Жандарм жестом указал ему на машину.

Отец Кихот открыл отделение для перчаток. И не увидел сразу своего удостоверения личности. Жандарм тяжело дышал ему в затылок. Наконец отец Кихот обнаружил удостоверение — возможно, от тяжких вздохов уставшего «Росинанта» оно съехало и попало под обложку красной книжечки, которую положил туда мэр. Отец Кихот вытащил книжку. Имя автора значилось крупными буквами — ЛЕНИН.

— Ленин! — воскликнул жандарм.— Это ваша книга?

— Нет-нет. Моя книга — «Теология морали».

— А машина ваша?

— Да..

— Но это не ваша книга?

— Это книга вот этого моего друга.

— Которому вы дали к тому же свой воротничок?

— Совершенно верно.

Мэр следом за ними подошел к машине. От звука его голоса жандарм так и подскочил. Нервы у него были явно не в порядке.

— Даже Ленина теперь не запрещено читать. А это его ранние работы — статьи о Марксе и Энгельсе. Написанные главным образом в достопочтенном городе Цюрихе. Можно сказать, небольшая бомба замедленного действия, созданная в городе банкиров.

— Бомба замедленного действия! — воскликнул жандарм.

— Это я так образно выразился.

Жандарм осторожно положил книжку на сиденье и отошел на несколько шагов от машины.

— В вашем удостоверении личности,— сказал он, обращаясь к отцу Кихоту,— ничего не сказано, что вы — монсеньор.

— А он путешествует инкогнито,— сказал мэр.

— Инкогнито! Почему инкогнито?

— Такой уж он смиренный — это качество нередко встречается у святых людей.

— Откуда вы приехали?

— Он молился на могиле генералиссимуса...

— Это правда?

— В общем, да, я действительно немного там помолился.

Жандарм снова обследовал его удостоверение личности. И явно несколько успокоился.

— Он прочел с десяток молитв,— поправил мэр.— Двух-трех было бы недостаточно.

— Что значит — недостаточно?

— Бог ведь может быть глуховат. Сам-то я неверующий, но, как я помню, этим, должно быть, объясняется то, что по генералиссимусу было отслужено столько месс. Когда молишься за такого человека, надо орать, чтоб тебя услышали.

— Странная у вас компания,— сказал жандарм отцу Кихоту.

— О, не надо обращать внимания на то, что он говорит. В душе он хороший человек.

— А куда вы теперь направляетесь?

Мэр поспешно произнес:

— Монсеньор хочет вознести еще одну молитву за генералиссимуса перед безымянным пальцем святой Терезы. Как вы знаете, этот палец хранится в монастыре у стен Авилы. Монсеньор не щадит сил для генералиссимуса.

— Вы много болтаете. В вашем удостоверении сказано, что вы мэр Эль-Тобосо.

— Был мэром, но меня сместили. А вот монсеньора повысили.

— Где вы останавливались прошлой ночью?

— В Мадриде.

— Где именно? В какой гостинице?

Отец Кихот беспомощно посмотрел на мэра. И сказал:

— В совсем маленьком заведении... я не помню...

— На какой улице?

— В отеле «Палас»,— решительно заявил мэр.

— Но это совсем не маленькое заведение.

— Размеры всегда относительны,— сказал мэр.— Отель «Палас» совсем маленький по сравнению с усыпальницей генералиссимуса.

Наступило неловкое молчание — возможно, в эту минуту над ними пролетал ангел. Наконец жандарм произнес:

— Побудьте здесь, пока я не вернусь. Если попытаетесь завести машину, вам не поздоровится.

— Что значит «не поздоровится»?

— По-моему, он пригрозил пристрелить нас, если мы тронемся с места.

— В таком случае будем стоять тут.

— Мы и стоим.

— Почему вы солгали ему насчет гостиницы?

— Колебаться было бы еще хуже.

— Но они же могут проверить по нашей ficha.

— Едва ли они станут этим заниматься, да и вообще на это нужно время.

— Для меня это совершенно необъяснимая ситуация,— сказал отец Кихот.— За все годы моей жизни в Эль-Тобосо...

— Так ведь и ваш предок столкнулся с ветряными мельницами, только когда выехал из своего селения. Послушайте! Наша задача куда легче. Мы столкнулись не с тридцатью или сорока ветряными мельницами, а всего лишь с двумя.

Толстый жандарм, шедший к ним вместе со своим спутником, безусловно, напоминал ветряную мельницу — так он размахивал руками, рассказывая своему спутнику о странных противоречиях, с кото-

рыми он столкнулся. Легкий послеполуденный ветерок доносил до отца Кихота и Санчо слова «монсеньор», «Ленин» и «пурпурные носки».

Второй жандарм был очень тощий и решительный.

— Откройте багажник,— приказал он. И стал, уперев руки в бока, пока отец Кихот возился с ключом.— Откройте вашу сумку.

Он сунул руку в сумку отца Кихота и вытащил оттуда пурпурный pechera.

— Почему он не на вас? — спросил жандарм.

— Слишком в глаза бросается,— ответил отец Кихот.

— А вы, что же, боитесь быть приметным?

— Да нет, не боюсь...

Но тощий жандарм уже заглядывал в машину сквозь заднее стекло.

— Что тут в коробках?

— Ламанчское вино.

— Похоже, отличный у вас запасец.

— Да, действительно. Если не возражаете, то пару бутылок...

— Запиши,— сказал жандарм своему спутнику,— так называемый «монсеньор» предлагал нам две бутылки ламанчского вина. Дай-ка мне взглянуть на его удостоверение личности. Ты записал номер?

— Сейчас запишу.

— Разрешите посмотреть эту книжицу.— Он полистал книгу статей Ленина.— Я вижу, вы основательно ее изучили,— сказал он.— Тут немало пометок. Напечатано в Москве на испанском языке.— Он прочел: — «Вооруженная борьба преследует две цели: во-первых, она нацелена на уничтожение отдельных лиц в армии и полиции, как начальников, так и их подчиненных» [1]. Вы ставите себе такие цели, монсеньор... если вы действительно монсеньор?

— Это ведь не моя книга. Она принадлежит моему другу.

— Странная у вас компания, монсеньор. Опасная компания.— Он погрузился в задумчивость — словно судья, подумал отец Кихот, который взвешивает, приговорить обвиняемого к смерти или к пожизненному заключению.

— Если бы вы потрудились позвонить моему епископу... — начал отец Кихот и умолк, не докончив фразы, так как епископ, несомненно, вспомнит, что он неосмотрительно собирал в церкви пожертвования на общество «In Vinculis».

— Ты записал номер машины? — спросил тощий гвардеец толстого.

— Да-да, конечно. Я записал его еще на дороге.

— Вы едете в Авилу? Где вы остановитесь в Авиле?

— На parador [1]. Если там будут свободные комнаты.

— Вы заранее не договаривались?

— Мы же на отдыхе. Едем наугад.

— Ну, номер вашей машины у меня записан,— сказал жандарм. Тощий повернулся, и толстый последовал за ним. Точно две утки, подумал отец Кихот: одну уже можно закалывать, а другую еще надо откормить. За поворотом дороги они скрылись из виду — возможно, там у них пруд.

— Подождем, пока они уедут,— сказал мэр.

— Чем мы провинились, Санчо? Почему они с таким подозрением к нам относятся?

— Согласитесь,— сказал мэр,— не так часто можно встретить монсеньора, который одалживал бы кому-то свой воротничок...

— Я нагоню их и все им объясню.

---

[1] Такого высказывания в Полном собрании сочинений В. И. Ленина не обнаружено.

[2] Туристская база, постоялый двор *(исп.)*.

— Нет-нет, лучше здесь подождать. Они ведь тоже выжидают. Хотят посмотреть, в самом ли деле мы поедем в Авилу.

— В таком случае поехали в Авилу: надо им показать, что именно туда мы и едем.

— По-моему, лучше нам там не появляться.

— Почему?

— А они уже предупредили тамошних жандармов.

— О чем? Мы же ни в чем не виноваты. Мы никому не причинили никакого вреда.

— Мы причинили вред тем, что нарушили их душевный покой. Пусть ждут нас до устали. А мы, по-моему, должны открыть еще бутылочку вина.

Они снова уселись среди остатков своей трапезы, и мэр принялся откупоривать бутылку. Он сказал:

— Забудь я на время, что я совсем не верю в бога, все равно мне трудно было бы поверить, что эти два жандарма — не говоря уже о Гитлере и генералиссимусе... да если угодно, и о Сталине — могли родиться, потому что он действительно того хотел. Ведь если бы их бедным родителям разрешено было пользоваться противозачаточными средствами...

— Это был бы большой грех, Санчо. Убить человеческую душу...

— Разве у спермы есть душа? Во время любовного акта мужчина же убивает миллион миллионов сперматозоидов — кроме одного. Это счастье, что столько их идет в отходы, а не то рай был бы изрядно перенаселен.

— Но ведь это же против закона природы, Санчо.

Громко хлопнув, пробка выскочила из бутылки — вино оказалось совсем молодое.

— Меня всегда озадачивал этот закон природы,— сказал Санчо.

— Какой закон? Какой природы?

— Это закон, вложенный в нас с рождения. Наша совесть подсказывает нам, когда мы его нарушаем.

— Моя — не подсказывает. Или я этого никогда не замечал. А кто придумал этот закон?

— Бог.

— Ну да, конечно, так вы и должны были сказать, но разрешите, я задам вам вопрос иначе. Кто из людей первый внушил нам, что такой закон существует?

— С самых ранних дней христианства...

— Ладно, ладно, монсеньор. Есть что-нибудь насчет закона природы у апостола Павла?

— Увы, Санчо, не помню — слишком я становлюсь стар, но я уверен...

— Закон природы, отче, как я его понимаю, состоит в том, что кошке от природы присуще желание убить птицу или мышь. Для кошки-то это хорошо, а вот для птицы или мыши — не очень.

— Насмешка — не довод, Санчо.

— О, я не отрицаю, совесть существует, монсеньор. Мне, к примеру, было бы, наверное, какое-то время не по себе, если бы я убил человека без достаточно серьезной причины, но если бы я зачал нежеланного ребенка, то, думаю, мне было бы всю жизнь не по себе.

— Надо полагаться на милосердие божие.

— А бог — он не всегда милосердный, верно ведь, во всяком случае в Африке или в Индии? И даже в нашей собственной стране, раз есть дети, которые живут в нищете, болеют, чаще всего не имея ни шанса на будущее...

— Но у них есть шанс на вечное блаженство,— сказал отец Кихот.

— О да, а также, следуя учению вашей церкви,— на вечные му-

ки. Если в силу жизненных обстоятельств человек станет, как вы это называете, на путь зла.

Напоминание об аде замкнуло уста отца Кихота. «Я верю, верю,— прошептал он про себя,— я должен верить»; при этом он подумал о том, что святой Иоанн хранит на этот счет полнейшее молчание, схожее с тишиной, царящей в центре циклона. И не дьявол ли напомнил ему, что у римлян, согласно святому Августину, был бог по имени Ватикан — «бог детского плача»? Отец Кихот сказал:

— Вы налили себе вина, а мне — нет.

— Давайте же сюда ваш стакан. А у нас не осталось сыра?

Отец Кихот поискал среди объедков.

— Человек все-таки может обуздать свой аппетит,— сказал он.

— По части сыра?

— Нет-нет. Я имел в виду секс.

— Значит, контроль над рождаемостью — это забота природы? Возможно, для вас и для папы римского это так, но для двух людей, которые любят друг друга и живут вместе и которым самим-то почти нечего есть, не говоря уже о том, чтобы кормить малыша с присущим детям аппетитом...

Это был древний как мир спор, и отец Кихот не знал убедительного довода.

— Есть все-таки какие-то естественные способы,— сказал он, как говорил сто раз до того, сознавая лишь свое безграничное невежество.

— Кто же, кроме теологов-моралистов, может назвать их естественными? В каждом месяце есть немало дней, когда можно заниматься любовью, но, оказывается, сначала надо поставить себе термометр и смерить температуру... Это едва ли способствует возникновению желания.

Отец Кихот тут вспомнил цитату из «Града божия» святого Августина, старой книги, которую он ставил выше всех: «Движение порою не подчиняется воле, а порой, хоть и жаждешь,— не движется, и мысль распаляется, а тело застыло. Таким чудесным образом похоть подводит человека». Надеяться на это все-таки нельзя.

— Ваш отец Йоне, наверное, сказал бы, что заниматься любовью с женой в период после менструации, когда ничем не рискуешь,— все равно что мастурбировать.

— Возможно, он так и сказал бы, бедняга.

— Бедняга? — По крайней мере, святой Августин, подумал отец Кихот, писал о сексе на основе опыта, и не теории: он был и грешником, и одновременно святым; он не был теологом-моралистом, он был поэтом и даже юмористом. Как они смеялись в студенческие годы над одним пассажем из «Града божия»: «Есть такие великие умельцы выпускать газы, что кажется — он не пукнул, а пропел». Интересно, что бы подумал об этом отец Йоне? Трудно представить себе теолога-моралиста, сидящего утром на стульчаке.

— Дайте-ка мне еще кусочек сыру,— сказал отец Кихот. — Стойте. Вон снова едет джип.

Джип медленно проехал мимо. Толстый жандарм сидел за рулем, а тощий внимательно смотрел на них, точно был натуралистом, который наблюдает двух редких насекомых и должен хорошенько запомнить, как они выглядят, чтобы потом в точности их описать. Отец Кихот порадовался, что уже был снова в воротничке. Он даже немного вытянул ногу, чтобы показать ненавистные пурпурные носки.

— Ветряные мельницы мы одолели,— сказал мэр.

— Какие ветряные мельницы?

— Жандармы-то ведь поворачиваются в зависимости от ветра. Они существовали при генералиссимусе. Существуют они и сейчас. Будут существовать, и если моя партия придет к власти,— только

шоссе с востока, который подует с востока, повернутся тогда в нужную сторону.

— Что ж, поехали дальше, раз они отбыли?

— Нет еще. Я хочу проверить, не вернутся ли они.

— Какой же нам избрать маршрут, если вы не хотите, чтобы они ехали за нами в Авилу?

— Мне очень жаль лишать вас удовольствия, какое представляет собой лицезрение безымянного пальца святой Терезы, но я думаю, лучше нам ехать в Сеговию. Завтра мы посетим в Саламанке еще более святое место, чем то, где вы молились сегодня.

В воздухе появились первые признаки вечернего холодка. Неугомонный мэр прошелся до шоссе и обратно — жандармов и след простыл.

— Вы никогда не любили женщину, отец? — спросил он.

— Никогда. Во всяком случае, в том смысле, как вы это понимаете.

— И вас никогда не тянуло?..

— Никогда.

— Странно и не по-человечески это.

— Ничего тут нет странного и нечеловеческого,— возразил отец Кихот. — Я, как и многие другие, был защищен от соблазна. Это все равно как табу кровосмешения. Мало кого тянет нарушить его.

— Это верно, но ведь существует столько альтернатив кровосмешению. К примеру, сестра друга.

— У меня была своя альтернатива.

— Кто же это?

— Девушка, которую звали Мартен.

— Это была ваша Дульсинея?

— Да, если угодно, но жила она очень далеко от Эль-Тобосо. Однако письма ее все равно до меня доходили. Они служили мне великим утешением, когда у меня возникали трудности с епископом. Она написала однажды — я думаю об этом почти ежедневно: «Не дождавшись смерти от меча, умрем от булавочных уколов».

— Ваш предок предпочел бы смерть от меча.

— А умер он, пожалуй, от булавочных уколов.

— Судя по имени, эта девушка, Мартен, была не испанка?

— Нет, нормандка. Не поймите меня превратно. Она умерла за много лет до того, как я о ней узнал и полюбил ее. Возможно, вы о ней слыхали — только под другим именем. Она жила в Лизье[1]. У кармелиток там было особое послушание — молиться за священников. Я надеюсь... я думаю... она молится и за меня.

— О, так это вы говорили о святой Терезе: меня сбило с толку имя «Мартен».

— Я рад, что есть коммунист, который слышал о ней.

— Вы же знаете, я не всегда был коммунистом.

— Ну, так или иначе, настоящий коммунист — это, пожалуй, что-то вроде священника, и в таком случае святая Тереза несомненно молится и за вас.

— Что-то стало холодно тут. Давайте трогаться.

Некоторое время они ехали молча назад, по шоссе, которое привело их сюда. Джипа, нигде не было видно. Они проехали поворот на Авилу и, следуя указателю, направились дальше в Сеговию. Наконец мэр сказал:

— Так вот, значит, какая у вас была любовная история, отче. А у меня все было немного по-другому, только женщина, которую я любил, тоже умерла, как и ваша.

— Упокой, господи, ее душу,— сказал отец Кихот. Он произнес это машинально, а про себя в наступившем между ними молчании воз-

[1] Сестра Тереза Мартен (1873—1897) — монахиня-кармелитка, канонизирована в святые в 1925 году.

звал к душам в чистилище: «Вы ближе меня находитесь к господу. Помолитесь за нас обоих».

Впереди возник большой акведук, построенный римлянами в Сеговии,— в косых лучах вечернего солнца от него по земле тянулась длинная тень.

Они нашли пристанище в маленькой albergue недалеко от церкви святого Мартина — почти то же имя, под каким святая Тереза всегда существовала в мыслях отца Кихота. Так она казалась ему ближе, чем в одеждах святой или под сентиментальным прозвищем — Цветочек. В своих молитвах он даже называл ее порой «сеньорита Мартен», словно фамилия могла скорее достичь ее слуха, прорвавшись сквозь тысячи заклинаний на всех языках, обращенных к ее гипсовой статуе при свете свечей.

Друзья изрядно выпили, пока сидели на обочине, и ни тому, ни другому уже неохота было искать ресторан. Им казалось, будто обе покойницы ехали с ними последние несколько километров. Отец Кихот обрадовался, узнав, что у него будет отдельная комната, пусть совсем крошечная. Ему казалось, что он пересек уже всю Испанию, хотя он знал, что на самом деле отъехал не более чем на двести километров от Ламанчи. «Росинант» передвигался так медленно, что о расстоянии вообще судить было нельзя. Что ж, ведь и его предок в своих странствиях не отъезжал от Ламанчи дальше Барселоны, и, однако же, всякому, кто читал подлинную его историю, казалось, что Дон Кихот проехал по всему обширному пространству Испании. В неспешности были свои достоинства, которые мы теперь утратили. Для настоящего путешественника «Росинант» куда ценнее реактивного самолета. Реактивные самолеты — они для дельцов.

Прежде чем отойти ко сну, отец Кихот решил немного почитать, потому что все никак не мог отделаться от воспоминаний о своем сне. Он по обыкновению раскрыл наугад святого Франциска Сальского. Еще до рождения Иисуса Христа люди прибегали к sortes Virgilinae [1] как к своеобразному гороскопу, отец же Кихот больше доверял святому Франциску, чем Вергилию, этому несколько вторичному поэту. То, что он обнаружил в «Любви к Господу», несколько удивило его, но в то же время и приободрило. «Размышления и решения полезно прерывать беседами, обращаясь то к господу нашему, то к ангелам, то к святым, то к себе самому, к своей душе, а то к грешникам и даже к неодушевленным созданиям...» Отец Кихот, подумав о «Росинанте», сказал: «Прости меня. Слишком тебя я загнал» — и погрузился в глубокий, без сновидений, сон.

VI

О том, как монсеньор Кихот и Санчо посетили еще одно святое место

— Я рад,— сказал мэр, когда они выехали на дорогу, ведущую к Саламанке,— что вы наконец согласились надеть этот нагрудник — как вы его называете?

— Pechera.

— Я боялся как бы нам не оказаться в тюрьме, проведи эти жандармы проверку в Авиле.

— Почему? За что?

— Причина не имеет значения, важен сам факт. Во время гражданской войны мне пришлось познакомиться с тюрьмами. Так вот в тюрьме, знаете ли, всегда живешь в напряжении. Друзья отправлялись туда и больше уже не возвращались.

— Но теперь-то... теперь же нет войны. Стало куда лучше.

---

[1] Определение судьбы по Вергилию *(лат.)*.

— Да, пожалуй. Правда, в Испании почему-то лучшие люди всегда хоть немного сидели в тюрьме. Возможно, мы никогда бы и не услышали о вашем великом предке, если бы Сервантес не оказался там, причем не однажды. Тюрьма дает человеку больше возможности думать, чем даже монастырь, где беднягам приходится вставать в самые неподходящие часы на молитву. А в тюрьме меня никогда не будили раньше шести и вечером свет выключали обычно в девять. Конечно, допросы — штука довольно мучительная, но их вели в разумное время. Случая не было, чтобы допрашивали во время сиесты. Важно помнить, монсеньор, что, в противоположность настоятелю, следователь хочет спать в привычные часы.

В Аревало на стенах еще висели клочья афиш бродячего цирка. На них мужчина в трико демонстрировал непомерно могучие бицепсы и ляжки. Звали его Тигр, или Великий Борец Пиренеев.

— Как мало меняется Испания,— произнес мэр.— Во Франции вам никогда не покажется, что вы вдруг очутились в мире Расина или Мольера, а в Лондоне — что вы недалеко ушли от времен Шекспира. Только в Испании и в России время словно остановилось. Вот увидите, отче, у нас по дороге тоже будут приключения — в духе вашего предка. Мы уже сразились с ветряными мельницами и опоздали всего на неделю-другую встретиться с Тигром. Брось вы ему вызов, он наверняка оказался бы таким же ручным, как лев, с которым хотел схватиться ваш предок.

— Но я же не Дон Кихот, Санчо. Я бы побоялся бросать вызов человеку таких размеров.

— Вы недооцениваете себя, отче. Ваша вера — это ваше копье. Если бы Тигр посмел сказать что-то непочтительное о вашей возлюбленной Дульсинее...

— Но вы же знаете, у меня нет Дульсинеи, Санчо.

— Я имел в виду, конечно, сеньориту Мартен.

Они проехали мимо другой афиши, на которой была изображена татуированная женщина, почти такая же огромная, как Тигр.

— В Испании всегда обожали уродов,— сказал Санчо и хохотнул, издав свой странный лающий смешок.— Вот что бы вы стали делать, отче, если бы при вас родился урод о двух головах?

— Я бы окрестил его, конечно. Что за нелепый вопрос.

— А ведь вы были бы неправы, монсеньор. Вспомните, я же читал отца Герберта Йоне. А он учит, что если ты сомневаешься, сколько перед тобою уродов — один или два, то надо принять золотую середину и одну голову безоговорочно крестить, а другую — с оговоркой.

— Право же, Санчо, я не могу отвечать за отца Йоне. Вы, похоже, читали его куда внимательнее, чем я.

— А в случае трудных родов, отче, если сначала появляется не головка, а другая часть младенца, вы должны окрестить эту часть, так что если появляется сначала та часть, на которую натягивают брюки...

— Обещаю вам, Санчо, сегодня же вечером возьмусь за изучение Маркса и Ленина, если вы оставите отца Йоне в покое.

— Тогда начните с Маркса и «Коммунистического манифеста». «Манифест» — он совсем коротенький, да и Маркс лучше пишет, чем Ленин.

Они переехали через реку Тормес и вскоре после полудня вступили в древний серый город Саламанку. Отец Кихот все еще понятия не имел о цели их паломничества, но он был счастлив в своем неведении. Саламанка — университетский город, где он юношей мечтал учиться. Здесь он сможет посетить ту самую аудиторию, где великий Хуан де ла Крус слушал лекции монаха-теолога Луиса де Леона [1], а Луис вполне мог знать предка отца Кихота, если тот в своих странствиях добирался до Саламанки. Оглядев высокие чугунные ворота, ве-

[1] Луис де Леон (1527–1591) — испанский писатель, профессор теологии в университете Саламанки.

дущие в университет, на которых изображен папа в окружении своих кардиналов, а в медальонах — головы всех католических королей, даже Венере и Геркулесу нашлось там место, не говоря уже о крошечной лягушке,— отец Кихот пробормотал молитву. Лягушку ему показали двое детишек, которые тут же потребовали за это вознаграждение.

— Что вы сказали, отче?

— Это святой город, Санчо.

— Здесь вы чувствуете себя как дома, да? В здешней библиотеке находятся все ваши рыцарские романы в первом издании — стоят и потихоньку рассыпаются в своих переплетах из телячьей кожи. Сомневаюсь, чтобы нашелся такой студент, который снял бы хоть одну книгу с полки, чтобы сдуть с нее пыль.

— Какой вы счастливый, Санчо, что вы здесь учились.

— Счастливый? Я в этом не уверен. Я чувствую себя здесь сейчас изгоем. Возможно, лучше было бы нам отправиться на восток, в направлении того отчего дома, которого я никогда не знал. В будущее, а не в прошлое. Не в тот дом, из которого я ушел.

— Через эти самые ворота вы входили, когда шли на лекции. Я пытаюсь представить себе юного Санчо...

— Но это не были лекции отца Йоне.

— А был хоть один профессор, которого вы готовы были слушать?

— О да. В ту пору я еще наполовину верил. Человека, слепо верящего, я бы не мог долго слушать, но был там один профессор, который тоже верил лишь наполовину, и вот его лекции я слушал два года. Возможно, я бы дольше продержался в Саламанке при нем, но он отправился в изгнание — снова, как за несколько лет до того. Он не был коммунистом; сомневаюсь, чтобы он был социалистом, но он просто на дух не выносил генералиссимуса. Так что посмотрим теперь, что от него осталось.

На крошечной площади, над складками темно-зеленого, почти черного камня, возвышалась голова с острой бородкой, вызывающе задранная вверх, к ставням маленького домика.

— Тут он умер,— пояснил Санчо,— вон в той комнате наверху — сидел с другом у жаровни и грелся. Друг неожиданно заметил, что одна из ночных туфель Унамуно [1] тлеет, а он даже не шевельнется. На деревянном полу до сих пор осталась опалина от сгоревшей туфли.

— Унамуно...— повторил отец Кихот и с уважением посмотрел на вырезанное из камня лицо, глаза под тяжелыми веками, говорящие о напряженности и дерзости мысли.

— Вы знаете, как он любил вашего предка и изучал его жизнь. Живи Унамуно в те дни, он бы, пожалуй, поехал за Дон Кихотом на муле и звали бы его Пегач, а не Санчо. Многие священники вздохнули с облегчением, когда услышали о его смерти. Наверное, даже папе римскому стало без него легче. И Франко, конечно, тоже, если у него хватало ума признавать, что существуют сильные враги. В известной мере Унамуно был и моим врагом — ведь своей полуверой, которую я какое-то время разделял, он несколько лет продержал меня в лоне Церкви.

— Ну, а теперь вы верите без оговорок, да? В пророка Маркса. Вам уже не нужно самому думать, Исайя сказал — и все. Вы — в руках истории, которая творит будущее. Какой же вы, должно быть, счастливый человек, что верите без оговорок. Вам будет только одного нехватать — достоинства отчаяния.— Отец Кихот произнес это с необычной для него злостью — а может быть, подумал он, с завистью?

---

[1] Мигель де Унамуно (1864 — 1936) — испанский писатель и философ-богоискатель.

— Верю ли я без оговорок? — повторил Санчо.— Иногда я в этом не уверен. Призрак моего профессора не оставляет меня в покое. Мне иногда видится, как я сижу на его лекции и он читает нам из какой-нибудь своей книги. Я слышу, как он говорит: «Тихий голос, голос сомнения, звучит в ушах верующего. Кто знает? Без такого сомнения могли бы мы жить?»

— Он так написал?

— Да.

Они вернулись к «Росинанту».

— Куда мы теперь поедем, Санчо?

— Поедем на кладбище. Вы увидите, что могила Унамуно изрядно отличается от могилы генералиссимуса.

Дорога к кладбищу, находящемуся на самом краю города, была скверной — нелегко тут ехать катафалку. Покойника, подумал отец Кихот, слыша, как стенает «Росинант» при переключении скоростей, изрядно поболтало, прежде чем он достиг места упокоения, но как вскоре выяснилось, места для упокоения новому пришельцу не осталось; вся земля была занята горделивыми надгробиями предшествующих поколений. У ворот им дали номерок — совсем как в гардеробе музея или ресторана, и они пошли вдоль длинной белой стены с нишами для урн, пока не достигли ниши номер 340.

— И все-таки я предпочитаю это пещере генералиссимуса,— заметил Санчо.— Одному лучше спится в маленькой постели.

По дороге назад, к выходу, Санчо спросил:

— А вы прочитали молитву?

— Конечно.

— Ту же, что и за генералиссимуса?

— Есть только одна молитва по умершим, кем бы они ни были.

— Такую же вы прочитали бы и по Сталину?

— Конечно.

— И по Гитлеру?

— Есть разные, Санчо, степени зла, как и добра. Мы можем с разбором относиться к живым, но не можем проводить такой грани между умершими. Они все нуждаются в нашей молитве.

VII

Как монсеньор Кихот продолжал в Саламанке изучать жизнь

Гостиница, в которой они остановились в Саламанке, находилась на маленькой, неприметной боковой улочке. Она показалась отцу Кихоту спокойной и приветливой. Его знакомство с отелями было, естественно, ограничено, но некоторые вещи в этой гостинице ему особенно понравились, и он сказал об этом Санчо, когда они были одни в его номере на первом этаже и отец Кихот сидел на кровати Санчо. Самого отца Кихота поместили на третьем этаже, «где потише», как сказала ему хозяйка.

— Patrona [1] по-настоящему была рада нам,— заметил отец Кихот,— не то что эта бедная старуха в Мадриде, и какой большой штат для такой маленькой гостиницы — столько прелестных молодых женщин.

— В университетском городе,— пояснил Санчо,— всегда много приезжих.

— И заведение такое чистенькое. Когда мы поднимались на третий этаж, вы заметили, что возле каждой комнаты лежит кипа свежего белья? Они, должно быть, меняют белье каждый вечер после сиесты. Мне понравилась и эта их поистине семейная атмосфера: когда

---

[1] Хозяйка *(исп.)*.

мы приехали, вся прислуга сидела за ужином, а patrona во главе стола разливала суп. Право же, точно мать с дочерьми.

— Она была прямо потрясена, когда увидела монсеньора.

— А вы заметили, что она забыла дать нам заполнить ficha. Все ее мысли были о том, как бы поудобнее нас устроить. Меня это очень тронуло.

В дверь постучали. Вошла девушка с бутылкой шампанского в ведерке, наполненном льдом. Она нервно улыбнулась отцу Кихоту и поспешно вышла из комнаты.

— Это вы заказали, Санчо?

— Нет-нет. Я не слишком благоволю к шампанскому. Но так уж заведено в этом доме.

— Может быть, нам следует выпить немного, чтобы показать, что мы оценили их любезность.

— О, они все равно включат это в счет. Как и свою любезность.

— Не будьте циником, Санчо. И девушка так мило нам улыбнулась. Это улыбка не за деньги.

— Ну, если хотите, я откупорю бутылку. Шампанское, конечно, не сравнить с нашим ламанчским вином.

И Санчо, повернувшись спиной к отцу Кихоту, чтобы не выстрелить в него пробкой, вступил с ней в долгую борьбу. А отец Кихот, воспользовавшись этим, принялся обследовать комнату.

— Какая прекрасная идея! — воскликнул он.— У них тут ванна для ног.

— Какая ванна для ног? Вот чертова пробка — не желает вылезать.

— Я вижу, у вас на постели лежит книжечка Маркса. Можно я возьму ее почитать перед сном?

— Конечно. Это «Коммунистический манифест» — я как раз советовал вам взять эту книжку. Ее куда легче читать, чем «Капитал». Они, видно, не хотели, чтоб мы пили это шампанское. Чертова пробка не желает вылезать. Но денежки с нас они все равно за него возьмут.

Отца Кихота всегда интересовали детали. В исповедальне его так и подмывало задавать излишние и даже не имеющие отношения к исповеди вопросы. Вот и сейчас он не удержался и вскрыл квадратный конвертик, лежавший на ночном столике Санчо,— ему вспомнилось детство и записочки, которые иной раз оставляла у его постели мать, чтобы он прочел перед сном.

Раздался взрыв, пробка ударила в стену, и струя шампанского пролетела мимо бокала. Санчо выругался и обернулся.

— Чем это вы там занялись, отче?

А отец Кихот надувал этакую прозрачную сосиску. Он вынул ее изо рта и зажал конец пальцами.

— Как же тут удерживают воздух? — спросил он.— Наверняка должен быть какой-то зажим.— Он снова принялся надувать, и оболочка лопнула, правда, с меньшим треском, чем вылетевшая из бутылки пробка.— О господи, извините меня, Санчо, я вовсе не хотел испортить ваш воздушный шарик. Вы купили его в подарок какому-нибудь ребенку?

— Нет, отче, девушке, которая принесла нам шампанское. Не волнуйтесь. У меня есть несколько штук в запасе.— И не без злости добавил: — Да неужели вы никогда не видели презервативов? Нет, должно быть, не видели.

— Ничего не понимаю. Это — презерватив? Но почему он такого размера?

— Он не был бы такого размера, если б вы его не надули.

Отец Кихот тяжело опустился на кровать Санчо. И спросил:

— Куда вы привезли меня, Санчо?

— В дом, где я бывал студентом. Просто удивительно, как живучи подобного рода заведения. Они куда устойчивее диктатур, и никакая война им ни по чем — даже гражданская.

— Вы не должны были привозить меня сюда. Священнику...

— Не волнуйтесь. Вам никто не будет здесь докучать. Я все объяснил хозяйке. Она понимает.

— Но почему, Санчо, почему?

— Я подумал, что лучше нам не заполнять гостиничных ficha — по крайней мере сегодня вечером. А то ведь эти жандармы...

— Значит, мы прячемся в публичном доме?

— Да. Можно и так сказать.

Со стороны кровати послышался крайне неожиданный звук. Звук сдавленного смеха.

Санчо сказал:

— По-моему, я еще ни разу не слышал, чтоб вы смеялись. Что это вас так позабавило?

— Извините. Это очень нехорошо с моей стороны — смеяться. Но я просто подумал: что сказал бы мой епископ, если б узнал? Монсеньор — в публичном доме! Ну, а почему, собственно, нет? Христос общался же с мытарями и грешниками. И все же лучше мне, пожалуй, податься к себе и запереть дверь. А вы будьте осторожны, дорогой Санчо, будьте осторожны.

— Для того они и существуют, эти штуки, которые вы назвали воздушными шариками. Для предосторожности. Отец Йоне, наверное, сказал бы, что я не только прелюбодействую, но еще и занимаюсь онанизмом.

— Пожалуйста, не говорите мне, Санчо, никогда не говорите мне о подобных вещах. Это все настолько личное — надо хранить это про себя, кроме, конечно, тех случаев, когда вы хотите исповедаться.

— А какую епитимью вы наложили бы на меня, отче, если бы я пришел к вам утром на исповедь?

— Как ни странно, но мне очень мало приходилось сталкиваться с такими вещами в Эль-Тобосо! Люди, наверное, боятся рассказывать мне о чем-то серьезном, потому что каждый день встречают меня на улице. Вы знаете — хотя вы этого, конечно, не знаете,— я терпеть не могу помидоры. И вот представим себе, что отец Герберт Йоне написал бы, что есть помидоры — смертный грех, а ко мне в церковь приходит старушка, которая живет рядом, и признается на исповеди, что съела помидор. Какую епитимью я на нее наложу? Коль скоро сам я помидоров не ем, то не могу и представить себе, какое это для нее лишение — не есть помидоров. Конечно, было бы нарушено правило... правило... от этого никуда не уйдешь.

— А вы уходите от ответа на мой вопрос, отче: так какую же все-таки епитимью?..

— Наверное, прочесть один раз «Отче наш» и один раз «Богородице, Дево радуйся».

— Всего один раз?

— Если как следует прочесть молитву один раз, это все равно что бездумно отбарабанить ее сто раз. Количество не имеет значения. Мы ведь не лавочники.— И он тяжело поднялся с кровати.

— Куда вы, отче?

— Почитать пророка Маркса, пока не засну. Хотелось бы мне пожелать вам спокойной ночи, Санчо, но я сомневаюсь, будет ли ваша ночь спокойной в моем понимании.

VIII

О любопытной встрече, которая произошла у монсеньора Кихота в Вальядолиде

Санчо был в наимрачнейшем настроении — это уж точно. Он не пожелал даже сказать, по какой дороге им ехать из Саламанки. Такое было впечатление, будто долгая ночь, проведенная в доме, где он бы-

вал в юности, лишь породила в нем злость: всегда ведь опасно в зрелые годы пытаться воссоздать пережитое в юности. А возможно, у него вызвало такое раздражение необычно хорошее настроение отца Кихота. Поскольку никаких особых причин избрать иное направление не было, отец Кихот предложил поехать в Вальядолид, чтобы посмотреть на дом, где великий биограф Сервантес завершил жизнеописание его предка.

— Если только вы не считаете,— нерешительно добавил он,— что мы можем наткнуться на ветряные мельницы и на этой дороге?

— Они заняты более важными предметами, чем мы с вами.

— Какими же?

— А вы не читали сегодняшнюю газету? В Мадриде застрелили генерала.

— Кто же это сделал?

— В старые времена все взвалили бы на коммунистов. Нынче, слава богу, под рукой всегда баски и ЭТА [1].

— Упокой, господи, его душу,— произнес отец Кихот.

— Могли бы не жалеть генерала.

— Я его и не жалею. Я никогда не жалею умерших. Я им завидую.

Настроение у Санчо не улучшалось. На протяжении ближайших двадцати километров он один только раз раскрыл рот, да и то чтобы напуститься на отца Кихота:

— Что это вы молчите и не выкладываете ваших мыслей?

— О чем?

— О прошлой ночи, конечно.

— О, я расскажу вам о прошлой ночи за обедом. Мне очень понравилась эта книга Маркса, которую вы мне дали почитать. В душе он был по-настоящему хорошим человеком, верно? Некоторые вещи меня просто поразили. Никаких скучных выкладок.

— Я говорю не о Марксе. Я говорю о себе.

— О себе? Надеюсь, вы хорошо спали?

— Вы же прекрасно знаете, что я не спал.

— Милый Санчо, только не говорите мне, что вы всю ночь пролежали без сна!

— Ну, не всю ночь, конечно. Но большую ее часть. Вы-то ведь знаете, чем я занимался.

— Знать ничего не знаю.

— Я же достаточно ясно вам сказал. До того, как вы отправились спать.

— Ах, Санчо, я привык забывать, что мне говорят.

— Это же была не исповедь.

— Нет, но когда ты священник, легче относиться ко всему, что тебе говорят, как к исповеди. Я никогда не повторяю того, что мне кто-то сказал,— даже, по возможности, про себя.

Санчо что-то буркнул и замолчал. Отцу Кихоту показалось, что его спутник несколько разочарован, и он почувствовал себя немного виноватым.

Когда они уселись в ресторане «Валенсия» неподалеку от Главной площади, в маленьком внутреннем дворике за баром и отец Кихот глотнул белого вина, настроение у него стало понемногу улучшаться. Он получил большое удовольствие от посещения дома Сервантеса, куда они прежде всего отправились и что обошлось им по пятьдесят песет каждому (интересно, подумал отец Кихот, не впустили ли бы его бесплатно, если бы он назвал свое имя кассирше). В доме стояла мебель, часть которой действительно принадлежала Сервантесу; письмо королю по поводу налога на масло, написанное его рукой, висело на побеленной стене, и отец Кихот живо представил себе эту стену, забрызганную кровью, в ту страшную ночь, когда в дом внесли

---

[1] Баскская террористическая организация.

окровавленного дона Гаспара де Эспелата и Сервантеса арестовали по ложному подозрению как соучастника в убийстве.

— Его, конечно, выпустили на поруки,— сообщил отец Кихот Санчо,— но представьте себе, каково ему было продолжать жизнеописание моего предка под бременем такой угрозы. Я иной раз думаю, не о той ли ночи он вспоминал, описывая, как ваш предок, став губернатором острова, велел отправить одного парня на ночь в тюрьму и парень заявил: «Как ни велика власть вашей милости, а все-таки вы не заставите меня спать в тюрьме» [1]. Возможно, именно так сказал и старик Сервантес судье: «Предположим, вы велите заточить меня в тюрьму, и заковать в цепи, и бросить в камеру, и все равно, если я не захочу спать, не в вашей власти заставить меня».

— Сегодня жандармы знали бы, как на это ответить,— сказал Санчо.— Они одним ударом живо уложат тебя спать.— И мрачно добавил: — Я бы сейчас поспать не возражал.

— Но ваш предок, Санчо, был добрый человек, и он отпустил парня. Так же и судья поступил с Сервантесом.

И тут во внутреннем дворике, где солнце золотило белое вино в бокалах, мысли отца Кихота вернулись к Марксу. Он сказал:

— А знаете, я думаю, мой предок вполне поладил бы с Марксом. Бедняга Маркс, у него ведь тоже были свои рыцарские книги, принадлежавшие прошлому.

— Маркс смотрел в будущее.

— Да, но он все время оплакивал прошлое — воображаемое прошлое. Послушайте вот это место, Санчо.— И отец Кихот достал из кармана «Манифест Коммунистической партии».— «Буржуазия... разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения... В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма...»[2]. Неужели вам не слышится голос моего предка, оплакивающего навсегда утраченные времена? Мальчиком я наизусть выучил его слова и до сих пор помню их, хотя, может быть, и не совсем точно: «Между тем в наше время леность торжествует над рвением, праздность над трудолюбием, порок над добродетелью, наглость над храбростью и мудрствования над военным искусством, которое безраздельно царило и процветало в золотом веке странствующих рыцарей... Амадиса Гальского... Палмерина Английского... Роланда...»[3]. А теперь послушайте еще один отрывок из «Манифеста Коммунистической партии» — вы не сможете отрицать, что Маркс был самым настоящим последователем моего предка: «Все застывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения, вместе с сопутствующими им, веками освященными представлениями и воззрениями, разрушаются, все возникающие вновь оказываются устарелыми, прежде чем успевают окостенеть»[4]. Он был настоящим пророком, Санчо. Он даже предвидел появление Сталина: «Все сословное и устоявшееся исчезает, все священное оскверняется...»[5]

Какой-то человек, обедавший в одиночестве на том же дворике, застыл, не донеся вилку до рта. Но как только Санчо взглянул на него через разделявшее их пространство, он пригнул к тарелке голову и принялся поспешно есть. Санчо сказал:

— Не читали бы вы так громко, отче. Возглашаете точно в церкви.

— Немало написано мудрых истин не только в Библии или у святых отцов. И эти слова Маркса требуют того, чтобы их громко возгла-

---

[1] Мигель де Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский, ч. 2, глава XLIX *(перевод Н. Любимова)*.

[2] К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии.

[3] Мигель де Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский, ч. 2, гл. 1 *(перевод Н. Любимова)*.

[4] К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии.

[5] Там же.

шать... «Священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма»...

— Франко, конечно, умер, отче, но все равно, пожалуйста, будьте хоть немного осмотрительнее. Тот человек прислушивается к каждому вашему слову.

— Подобно всем пророкам, Маркс безусловно допускает ошибки. Даже апостол Павел склонен был ошибаться.

— Не нравится мне портфель этого человека. Такой обычно носят служивые. А я чую полицейского за тридцать метров.

— Позвольте я приведу вам то место, которое я считаю самой крупной ошибкой Маркса. Отсюда пошли все его дальнейшие ошибки.

— Ради всего святого, отче, если уж вам так необходимо это прочесть — читайте хотя бы тихо.

И отец Кихот, чтобы потрафить мэру, заговорил чуть ли не шепотом. Санчо пришлось пригнуться к нему, чтобы расслышать,— вид у них был определенно как у заговорщиков.

— «У пролетария нет собственности; его отношение к жене и детям не имеет более ничего общего с буржуазными семейными отношениями; современный промышленный труд, современное иго капитала... стерли с него всякий национальный характер» [1]. Возможно, так оно и было, когда он об этом писал, Санчо, но с тех пор мир пошел по совсем другому пути. А послушайте вот это: «...современный рабочий с прогрессом промышленности не поднимается, а все более опускается ниже условий существования своего собственного класса. Рабочий становится паупером...» [2] Знаете, несколько лет тому назад я отправился отдыхать с одним другом, священником... звали его... о господи, до чего же забываются имена после одного-двух бокалов. У него был приход в Коста-Брава (в ту пору «Росинант» был еще совсем молоденьким), и я там видел английских пауперов — как их именует Маркс,— которые жарились на солнце на местных пляжах. Ну, а если говорить о стирании национального характера, так они заставили местных жителей открыть лавочки, где торгуют рыбой с жареной картошкой, иначе они перебрались бы в другие места — может быть, во Францию или в Португалию.

— Ах, англичане,— протянул Санчо,— об англичанах нечего и говорить — у них во всем свои правила, даже в экономике. Русский пролетариат тоже теперь пауперами не назовешь. Мир многому научился у Маркса и у России. Русский пролетариат отдыхает бесплатно в Крыму. А там не хуже, чем в Коста-Брава.

— Пролетарии, которых я видел в Коста-Брава, сами платили за свой отдых. Сегодня пауперов можно найти только в «третьем мире», Санчо. Но это не потому, что победил коммунизм. Не кажется ли вам, что так было бы и без победы коммунизма? Да ведь этот процесс уже начинался, когда Маркс писал свои труды, только он этого не заметил. Потому коммунизм и распространяют насильно, применяя силу не только против буржуазии, но и против пролетариата. Гуманизм, а не коммунизм превратил паупера в буржуа, а за гуманизмом всегда стоит тень религии — христианской религии, как и марксовой. Сегодня мы все буржуа. И не говорите мне, что Брежнев не такой же буржуа, как вы и я. Разве так уж будет плохо, если в мире все станут буржуа — кроме таких мечтателей, как Маркс и мой предок?

— Послушать вас, отче, так мир будущего похож на страну Утопию.

— О нет, гуманизм и религия не покончили ни с национализмом, ни с империализмом. А именно они возбуждают войны. Войны объясняются ведь не только экономическими причинами — их порождают человеческие страсти: например, любовь; они происходят из-за того,

---

[1] Там же.
[2] Там же.

что не нравится чей-то цвет кожи или чей-то акцент. Иногда из-за того, что у кого-то остались неприятные воспоминания. Вот почему я рад, что у меня короткая память священника.

— Вот уж никогда не думал, что вы занимались политикой.

— Не «занимался». Но мы с вами давно дружим, Санчо, и я хочу вас понять. «Капитал» всегда отпугивал меня. А эта книжица — другое дело. Она написана хорошим человеком. Таким же хорошим, как и вы... и тоже заблуждавшимся.

— Время покажет.

— Время никогда ничего не показывает. Слишком коротка наша жизнь.

Мужчина с портфелем положил на тарелку нож с вилкой и знаком попросил у официанта счет. Когда счет принесли, он быстро расплатился, даже не проверив его.

— Ну вот,— сказал отец Кихот,— теперь вам, Санчо, будет легче дышаться: этот человек ушел.

— Будем надеяться, что он не вернется и не приведет сюда полицию. Очень он внимательно смотрел на ваш нагрудник, когда уходил.

Отец Кихот решил, что можно уже не шептаться и говорить свободнее.

— Наверное, потому, что я много читал святого Франциска Сальского и Хуана де ла Крус,— сказал он,— я, конечно, нахожу восхищение буржуазией, которое порою встречается у бедняги Маркса, несколько противоестественным.

— Восхищение буржуазией? Что вы этим, черт побери, хотите сказать?

— Экономист, конечно, не может не смотреть на все с чисто материалистической точки зрения, а я, признаюсь, уделяю, пожалуй, слишком много внимания духовному.

— Но Маркс ненавидел буржуазию.

— О, мы же знаем, что ненависть бывает очень часто оборотной стороною любви. Возможно, беднягу отринули те, кого он любил. Вот послушайте, Санчо: «Буржуазия менее чем за сто лет своего классового господства создала более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые. Покорение сил природы, машинное производство, железные дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых частей света, приспособление рек для судоходства, целые, словно вызванные из-под земли, массы населения...»[1] Ведь после такого можно чуть ли не возгордиться, что ты буржуа, верно? Какой бы великолепный губернатор колонии вышел из Маркса! Будь у Испании такой человек, возможно, мы не потеряли бы нашей империи. А бедняге приходилось ютиться в тесной квартире в бедной части Лондона и занимать деньги у друзей.

— Вы смотрите на Маркса со странной точки зрения, отче.

— Я относился к нему предвзято, хотя он и защищал монастыри, но я до сих пор не читал этой книжицы. А при первом чтении все воспринимается по-особому, как и при первой любви. Хотелось бы мне сейчас случайно напасть на писания апостола Павла и впервые его прочесть. Почему бы вам, Санчо, не проделать такой опыт с одним из моих, как вы их называете, «рыцарских романов».

— Мне ваш вкус показался бы столь же нелепым, как вкус вашего предка показался Сервантесу.

Несмотря на препирательства, это была все-таки дружеская трапеза, и после второй бутылки вина они договорились ехать дальше на Леон и уж потом решать — быть может даже бросив монетку,— ехать ли на восток, к баскам, или же на запад — в Галисию. Они под

---

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии.

руку вышли из «Валенсии» и направились к тому месту, где оставили «Росинанта»; внезапно отец Кихот почувствовал, как Санчо сжал ему локоть.

— В чем дело, Санчо?

— Да тот агент тайной полиции. Он идет за нами. Ничего не говорите. Сворачиваем в первую же улицу.

— Но «Росинант»-то ведь стоит на этой улице.

— Этот тип явно хочет записать номер нашей машины.

— Но откуда вы знаете, что он из тайной полиции?

— Я сужу по портфелю,— сказал Санчо. И оказался прав: сворачивая в первую же улицу, отец Кихот обернулся и увидел, что человек по-прежнему идет следом, таща в руке грозный опознавательный знак своей профессии.

— Не оборачивайтесь больше,— сказал Санчо.— Пусть думает, что мы его не заметили.

— Как же нам от него уйти?

— Увидим бар, зайдем и закажем выпить. Он останется у входа. А мы выйдем через заднюю дверь и будем далеко, пока он разберется. За это время кратчайшим путем доберемся до «Росинанта».

— А что, если там не будет задней двери?

— Тогда придется зайти в другой бар.

Задней двери в баре не оказалось. Санчо выпил рюмочку коньяку, а отец Кихот из осторожности взял кофе. Когда они вышли, человек по-прежнему торчал на улице ярдах в двадцати от входа и рассматривал витрину.

— Уж слишком он заметен для агента тайной полиции,— сказал отец Кихот, когда они зашагали по улице в поисках другого бара.

— А это один из их трюков,— сказал Санчо.— Он хочет, чтобы мы стали нервничать.— Он привел отца Кихота во второй бар и заказал вторую рюмку коньяку.

— Если я выпью еще кофе, я сегодня не засну,— сказал отец Кихот.

— Выпейте тоника.

— А что это такое?

— Нечто вроде минеральной воды с добавкой хинина.

— Без алкоголя?

— Без, без...— Коньяк привел Санчо в воинственное настроение.— Как бы мне хотелось отколошматить этого малого, да только он, наверное, вооружен.

— Вода эта — тоник — в самом деле чудесная,— сказал отец Кихот.— Почему я никогда раньше ее не пил? Я почти готов отказаться от вина. Вы думаете, ее можно купить в Эль-Тобосо?

— Не знаю. Сомневаюсь. Если пушка у него в портфеле, я, пожалуй, мог бы сбить его с ног, прежде чем он ее вытащит.

— Знаете... я, пожалуй, выпью еще бутылочку.

— А я пойду поищу заднюю дверь,— сказал Санчо, и отец Кихот остался в баре один. Был час сиесты, и вентилятор, крутившийся под потолком, не способен был охладить помещение — вас регулярно обдавало холодным воздухом, а потом по контрасту наступала еще большая жара. Отец Кихот осушил свой стакан с тоником и поспешил заказать третью бутылочку, чтобы успеть выпить ее до возвращения Санчо.

Голос позади него прошептал:

— Монсеньор!

Отец Кихот обернулся. Перед ним был человек с портфелем, маленький сухонький человечек в черном костюме и таком же черном, как портфель, галстуке. У него были черные глазки, пронзительно глядевшие сквозь очки в стальной оправе, и тонкие поджатые губы; он вполне мог бы сойти, подумал отец Кихот, за гонца, принесшего

дурные вести, даже, пожалуй, за самого Великого Инквизитора. Хоть бы Санчо поскорее вернулся...

— Что вам угодно? — спросил отец Кихот, как он надеялся, властным, вызывающим тоном, но выпитый тоник подвел его, и он икнул.

— Я хочу поговорить с вами наедине.

— Так я и есть один.

Человек мотнул головой в сторону спины бармена. Он сказал:

— Это серьезно. Я не могу с вами здесь говорить. Пожалуйста, выйдемте туда, через заднюю дверь.

Но задних дверей оказалось две — хоть бы знать, в какую из них прошел Санчо.

— Направо,— подсказал ему человек. Отец Кихот повиновался. За дверью был небольшой коридорчик и две другие двери.— Вот сюда. В первую дверь.

Отец Кихот оказался в уборной. Взглянув в зеркало над раковиной, он увидел, что полонивший его человек возится с замком своего портфеля. Хочет вытащить пистолет? Значит, ему уготована смерть от выстрела в затылок? Поспешно, пожалуй чересчур поспешно, отец Кихот начал читать про себя покаянную молитву: «О, великий боже, каюсь, прости мне все мои...»

— Монсеньор!

— Да, друг мой,— ответил отец Кихот отражению в зеркале. Если ему суждено быть застреленным, пусть лучше в затылок, чем в лицо, ибо лицо — это ведь отражение лика господня.

— Я хочу вам исповедаться.

Отец Кихот икнул. Тут дверь отворилась и в уборную заглянул Санчо.

— Отец Кихот! — воскликнул он.

— Не мешайте нам,— сказал отец Кихот.— Я принимаю исповедь.

Он обернулся к незнакомцу, стараясь обрести достоинство, какого требовало его одеяние.

— Это едва ли подходящее место для исповеди. Почему вы выбрали именно меня, а не пошли к своему священнику?

— Я его только что похоронил,— сказал человек.— Я гробовщик.— Он открыл портфель и вытащил оттуда большую медную ручку.

Отец Кихот сказал:

— Но тут ведь не моя епархия. У меня здесь нет никаких прав.

— На монсеньора эти правила не распространяются. Когда я увидел вас в ресторане, я подумал: «Вот это мне повезло».

Отец Кихот сказал:

— Меня совсем недавно произвели в монсеньоры. Вы уверены насчет правил?

— При крайней необходимости ведь любой священник... А тут крайняя необходимость.

— Но ведь в Вальядолиде много священников. Зайдите в любую церковь...

— Я по вашим глазам увидел, что вы такой священник, который все поймет.

— Пойму — что?

Но незнакомец уже быстро забормотал покаянную молитву — во всяком случае слова он хоть знал. Отец Кихот совсем растерялся. Ни разу в жизни он не принимал исповеди в таких условиях. Он обычно сидел в своем укрытии, похожем на гроб... И сейчас он почти машинально нырнул в единственное имевшееся здесь укрытие и сел на крышку стульчака. Незнакомец хотел было опуститься на колени, но отец Кихот остановил его, ибо пол был далеко не чистый.

— Не надо преклонять колена,— сказал он.— Стойте где стоите.

Незнакомец протянул ему большую медную ручку. И сказал:

— Я согрешил и прошу вас, отче, то есть я хотел сказать, монсеньор, испросить для меня у господа прощение.

— В этом укрытии я не монсеньор,— сказал отец Кихот.— В исповедальне все священники равны. Что же ты натворил?

— Я украл эту ручку и другую такую же.

— В таком случае верни их.

— Но владелец-то умер. Я ведь его сегодня утром похоронил.

Отец Кихот, как того требовал обычай, прикрыл глаза рукой, чтобы сохранить тайну исповеди, но перед его мысленным взором продолжало отчетливо стоять смуглое лисье лицо. Он был из тех священников, кто любит быструю исповедь, изложенную в виде простых абстрактных формул. После нее обычно следует один простой вопрос: сколько раз согрешил?.. Я совершил прелюбодеяние. Я пренебрег своими обязанностями во время пасхи. Я погрешил против целомудрия... Отцу Кихоту не случалось сталкиваться с прегрешением в виде кражи медной ручки. Притом эта ручка едва ли такой уж ценный предмет.

— Ты должен вернуть ручку наследникам.

— У отца Гонсалеса не осталось наследников.

— Но от чего эти ручки? Когда ты их украл?

— Я поставил их стоимость в счет, а потом отвинтил их от гроба, чтобы использовать еще раз.

— И ты часто так поступаешь? — не удержался от вопроса отец Кихот, хотя это роковое любопытство во время исповеди уже не раз подводило его.

— О, это обычное дело. Все мои конкуренты так поступают.

Интересно, подумал отец Кихот, что написал бы по этому поводу отец Герберт Йоне. Он бы, несомненно, счел это прегрешением против справедливости — из той категории, к которой относится и прелюбодеяние, но отцу Кихоту припомнилось, что в случае кражи серьезность прегрешения зависит от ценности украденного предмета: если он составляет одну седьмую ежемесячного дохода владельца, то это прегрешение серьезное. Если же владелец — миллионер, тогда украсть у него что-либо — не прегрешение, во всяком случае не прегрешение против справедливости. А сколько зарабатывал отец Гонсалес в месяц, да и можно ли считать его владельцем этих ручек, если он вступил во владение ими только после смерти? Гроб ведь принадлежит земле, в которую он опущен.

Отец Кихот спросил — скорее чтобы дать себе время подумать, чем по какой-либо другой причине:

— А ты исповедовался в других случаях?

— Нет. Я же сказал вам, монсеньор: все так поступают в моей профессии. Мы ставим в счет медные ручки — это верно, но как бы в качестве платы за аренду. До погребения.

— Тогда почему же ты исповедуешься мне в этом сейчас?

— Может, я слишком совестливый, монсеньор, но когда я похоронил отца Гонсалеса, мне показалось, что тут все как-то иначе. Он ведь так гордился бы, что у него гроб с медными ручками. Понимаете, это показывает, как его уважали прихожане, потому что платил-то все, само собой, приход.

— И ты тоже внес деньги?

— О да. Конечно. Я очень любил отца Гонсалеса.

— Значит, ты как бы крадешь у самого себя?

— Да нет, монсеньор, не краду.

— Я же сказал: не называй меня монсеньором. Ты говоришь, что не крал, что все твои коллеги отвинчивают эти ручки...

— Да.

— Тогда что же не дает покоя твоей совести?

У незнакомца вырвался жест, который вполне можно было расценить как растерянность. «Сколько раз,— подумал отец Кихот,— я вот так же чувствовал себя виноватым, сам не зная почему». Он иногда даже завидовал уверенности тех, кто способен в чем-то установить

твердые правила — отцу Герберту Йоне, своему епископу, даже папе римскому. Сам же он жил как в тумане, брел, не видя дороги, спотыкаясь... И он сказал:

— Это все пустяки, не тревожься. Иди домой и хорошенько проспись. Может, ты и совершил кражу... Но неужели ты думаешь, что господа так уж волнует подобный пустяк? Он создал вселенную — мы даже и не знаем, сколько в ней звезд, и планет, и миров. А ты украл всего лишь две медные ручки — не считай себя такой уж важной персоной. Покайся в своей гордыне и иди домой.

Человек сказал:

— Но пожалуйста... дайте мне отпущение грехов.

Отец Кихот нехотя пробормотал ненужную в данном случае формулу. Незнакомец сунул ручку обратно в портфель, закрыл его и, прежде чем выйти, метнулся было в сторону отца Кихота. А отец Кихот продолжал сидеть на стульчаке в полном изнеможении, с ощущением, что не сумел справиться с ситуацией. «Я ведь не сказал ему того, что надо,— думал он.— Почему я никогда не могу найти нужных слов? Человеку требовалась помощь, а я отделался от него избитой формулой. Да простит меня господь. Неужели, когда я буду умирать, кто-то вот так же произнесет надо мной лишь избитую формулу?»

Через какое-то время он вернулся в бар. Санчо ждал его там, потягивая коньяк.

— Что это вы делали?

— Выполнял свой профессиональный долг,— ответил отец Кихот.

— В уборной?

— В уборной, в тюрьме, в церкви. Какая разница?

— Вы избавились от этого типа?

Отец Кихот сказал:

— Думаю, что да. Я немного устал, Санчо. Я понимаю, это излишество, но нельзя ли мне еще бутылочку тоника?

IX

О том, как монсеньор Кихот смотрел некое странное зрелище

Пребывание отца Кихота и Санчо в Вальядолиде неожиданно затянулось из-за решительного нежелания «Росинанта» снова пускаться в путь, так что пришлось оставить его в гараже для обследования.

— Ничего удивительного,— заметил отец Кихот.— Вчера бедняга покрыл огромное расстояние.

— Огромное расстояние?! Да мы отъехали от Саламанки всего на сто двадцать километров.

— Его обычный предел — десять километров: возить меня за вином в кооператив.

— Значит, правильно мы решили не ехать в Рим или в Москву. Если хотите знать мое мнение, избаловали вы своего «Росинанта». А машины, как и женщин, никогда не следует баловать.

— Но он ведь очень старенький, Санчо. Наверное, старше нас с вами. И без его помощи в конце-то концов... Могли бы мы пройти весь путь от Саламанки пешком?

Поскольку им предстояло ждать до утра приговора «Росинанту», Санчо предложил пойти в кино. Отец Кихот, поколебавшись, согласился. В свое время священникам запрещалось ходить на спектакли, и хотя правило это не распространялось на кино, которого в ту пору просто не существовало, в уме отца Кихота всякое зрелище было связано с опасностью.

— Я ведь никогда не бывал в кино,— сообщил он Санчо.

— А надо знать мир, если вы хотите обратить его в свою веру,— сказал Санчо.

— Вы не сочтете меня лицедеем,— спросил отец Кихот,— если я сниму этот слюнявчик, как вы его называете?

— В темноте все цвета одинаковы,— сказал Санчо,— но поступайте как хотите.

По зрелом размышлении отец Кихот решил оставить pechera. Так будет честнее. Он не хотел, чтобы кто-то мог обвинить его в лицедействе.

Они пошли в маленькую киношку, где шел фильм под названием «Молитва девы». Название это пленило отца Кихота и не вызвало восторга у Санчо, сразу представившего себе, какой унылый, исполненный благочестия проведут они вечер. Однако он ошибся. Фильм не принадлежал к числу шедевров, однако понравился Санчо, хотя он несколько опасался реакции отца Кихота, ибо героиню безусловно нельзя было назвать «девой» или «девственницей», а Санчо не мешало бы заметить, что на афише у входа стояло предупреждение в виде буквы «С».

Собственно, молитва девы была обращена к красивому молодому человеку, чьи похождения со многими девицами неизменно оканчивались постелью. В этот момент изображение становилось нечетким, размытым, и не так-то было просто понять, чьи перед тобою ноги, поскольку ту часть тела, которая отличает мужчину от женщины, камера старательно избегала показывать. Кто все-таки наверху: мужчина или женщина? И кто кого целует? В такие моменты диалог, который помог бы зрителю, отсутствовал; слышалось только прерывистое дыхание, да иногда стон или всхлип, который мог издать как мужчина, так и женщина. Еще больше затрудняло восприятие то, что фильм был снят явно для более маленького экрана (возможно, для домашнего), и при проецировании в кинотеатре изображение совсем уж расплывалось. Даже Санчо перестал получать удовольствие от фильма — уж лучше бы откровенная порнография,— да и главный актер с блестящими зализанными черными волосами и бачками никак не вязался с происходившим на экране. Санчо показалось, что это тот самый, который частенько появляется на телеэкране в рекламе дезодоранта для мужчин.

Конец фильма был совсем уж шаблонный. Молодой человек всерьез влюбляется в ту единственную девушку, которая стойко противилась его ухаживаниям. Свадьба в церкви, целомудренный поцелуй у алтаря после того, как жених надел кольцо на палец невесты, и затем — стремительный переход к переплетению ног в постели; Санчо подумал, что в целях экономии они просто повторили одну из показанных ранее сцен с неизвестно чьими ногами, а быть может, режиссер таким путем давал понять, что он не дурак и относится ко всему этому с иронией? В зале зажегся свет, и отец Кихот сказал:

— Как интересно, Санчо! Значит, вот что называется фильмом.

— Это был не самый удачный образчик.

— А как им приходится извиваться! Актеры, наверное, после этого совсем без сил.

— Да ведь они же все это делали понарошке, отче.

— Что значит — понарошке? Что же они изображали?

— Любовные игры, конечно.

— Ах, вот, значит, как это бывает. Я-то думал, что все происходит куда проще и приятнее. А они, похоже, так мучились. Судя по звукам, которые издавали.

— Это они изображали безмерное наслаждение — они же играли, отче.

— Непохоже, чтобы они получали удовольствие — правда, может быть, это были плохие актеры. Они просто без конца мучились. И потом, Санчо, я не видел этих маленьких надувных шариков.

— Я боялся, отче, что картина может вас шокировать, но ведь вы сами ее выбрали.

— Да. По названию. Но я и сейчас не понимаю, какое отношение имеет название к тому, что мы видели.

— Ну, девушки, наверное, молятся о том, чтобы им попался красивый молодой человек, которого они могли бы полюбить.

— Опять это слово — «любовь». Не думаю, чтобы сеньорита Мартен молилась о таком. Но меня поразило, какая тишина царила в зале. Люди так серьезно относились к тому, что происходило на экране,— я же, право, еде удерживался от смеха.

— Вам было смешно?

— Да. Так трудно было сдерживаться. Но я не люблю обижать людей, когда они относятся к чему-то серьезно. Смех — это ведь не довод. Он может по-глупому оскорбить. Наверное, люди смотрели на все это иначе, чем я. Наверное, это казалось им прекрасным. И все равно, мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь рассмеялся — ну, хоть бы вы, Санчо,— тогда и я мог бы. А нарушить такую тишину я боялся. В тишине ведь есть святость. Мне было бы больно, если бы в церкви, когда я поднимаю святые дары, кто-то засмеялся.

— А если бы в церкви все засмеялись?

— Ах, вот это было бы другое дело. Тогда я мог бы решить — я, конечно, мог бы и ошибиться,— что слышу смех радости. Если же смеется кто-то один, это часто бывает смех превосходства.

В тот вечер, лежа в постели, отец Кихот раскрыл томик святого Франциска Сальского. Ему все не давали покоя те сцены любви, которые он видел в кино,— не давали покоя потому, что он ничего не почувствовал, это его лишь позабавило, и только. Он-то всегда считал, что любовь между людьми — такая же, как любовь к богу, только более бледное и более слабое ее подобие, но все эти телодвижения, которые вызвали у него лишь смех, эти стоны и всхлипы... «Я, что же,— подумал он,— не способен на обычную человеческую любовь? Потому что, если я на нее не способен, значит, я, должно быть, не способен и любить бога». Он испугался, что этот страшный вопрос теперь будет вечно терзать его. Ему отчаянно захотелось найти утешение, и он обратился к тому, что Санчо называл его «рыцарскими романами», но тут он невольно вспомнил, что Дон Кихот на смертном одре отрекся от них. Возможно, и он отречется, когда настанет его конец...

Он наугад раскрыл «Любовь к Господу», но sortes Virgilinae не принесло ему утешения. Он сделал три попытки и наконец напал на такое место, которое, казалось, имело отношение к тому, что он видел в кино. Нельзя сказать, чтобы, прочитав его, отец Кихот почувствовал себя счастливее, ибо у него возникла мысль, что, пожалуй, он еще менее способен любить, чем кусок железа. «Адамант так влечет к себе железо, что стоит кусочку железа оказаться поблизости — и оно поворачивается к камню, начинает подрагивать и подскакивать от удовольствия и таким путем в самом деле перемещается, придвигается к магниту, всячески стремясь слиться с ним». За этим следовал вопрос, который поразил отца Кихота в самое сердце: «Да разве в этом безжизненном камне не видны все проявления живой любви?» О, да, он видел эти подскоки, подумал отец Кихот, но живой любви там не почувствовал.

На другой день, когда они двинулись в путь, страшный вопрос продолжал терзать отца Кихота. «Росинант» после пребывания в гараже находился положительно в игривом настроении и не издал ни единой жалобы, когда скорость достигла сорока, даже сорока пяти километров в час, а развили они такую скорость только потому, что отец Кихот был глубоко погружен в свои невеселые думы.

— Что случилось? — спросил его Санчо.— Сегодня вы опять монсеньор Печального Образа.

— Мне порой приходит в голову мысль — да простит меня господь,— сказал отец Кихот,— что я особо им облагодетельствован, потому что никогда не мучился вожделением.

— Даже во сне?

— Даже во сне.

— Вы очень счастливый человек.

«Действительно ли счастливый? — спросил себя отец Кихот.— Или же самый несчастный?» Он не мог сказать этому другу, который сидел рядом с ним, о чем он думает, какой задает себе вопрос. «Как же я могу молиться о том, чтобы противостоять злу, когда нет у меня искушения? Такая молитва не имеет ценности». Он почувствовал себя бесконечно одиноким в своем молчании. Словно стены исповедальни со всеми ее тайнами раздвинулись и вместе с грешником в ней оказалась и эта машина, в которой он сидел, держа руль и направляя ее к Леону. И он взмолился в тишине, которой себя окружил: «О господи, сделай меня человеком, дай почувствовать искушение. Избавь меня от моего бесчувствия».

X

О том, как монсеньор Кихот бросил вызов правосудию

1

По пути в Леон они остановились в поле, на берегу речки, неподалеку от селения Мансилья-де-лас-Мулас, так как мэр заявил, что ужасно хочет пить. Они обнаружили маленький мостик, который давал достаточно тени, чтобы можно было поставить машину, но жажда, от которой страдал Санчо, на самом деле была уловкой, чтобы нарушить молчание отца Кихота, начинавшее действовать ему на нервы. Глоток вина мог развязать отцу Кихоту язык, и Санчо опустил на веревке бутылку ламанчского в речку, возбудив тем самым немалый интерес коров на другом берегу. Вернувшись, он обнаружил, что отец Кихот стоит с мрачным видом, уставясь на свои пурпурные носки. Не в силах дольше терпеть это необъяснимое молчание, Санчо произнес:

— Если вы дали обет молчания, то ради всего святого идите в монастырь. В Бургосе есть монастырь картезианцев, а в Осере — траппистов. Решайте, монсеньор, куда поедем.

— Извините меня, Санчо,— сказал отец Кихот.— Это все мысли не дают мне покоя...

— О, я полагаю, ваши мысли такие возвышенные и набожные, что простому марксисту их не понять.

— Нет-нет.

— Припомните, отец, каким хорошим губернатором был мой предок. Дон Кихот при всем своем рыцарском достоинстве и храбрости никогда не смог бы так хорошо править. Какой невероятный кавардак — именно кавардак — он бы устроил на этом острове. А мой предок взялся командовать армией. У Троцкого не было никакого опыта, и, однако же, он побил белых генералов. О да, мы — материалисты, крестьяне и марксисты. Но не надо нас за это презирать.

— А разве я когда-нибудь презирал вас, Санчо?

— Ну, наконец-то хвала вашему богу, вы снова заговорили. Давайте откупорим бутылочку.

Вино, когда Санчо вытащил бутылку из речки, оказалось еще недостаточно холодным, но ему не терпелось завершить исцеление. Они выпили по два стакана — теперь уже в дружелюбном молчании.

— Не осталось ли у нас сыра, отче?

— По-моему, немного осталось — сейчас пойду посмотрю.

Отец Кихот отсутствовал долго. Возможно, никак не мог найти сыр. Не вытерпев, мэр поднялся и увидел отца Кихота, выходившего из-под моста с вполне объяснимой тревогой на лице, ибо следом за ним шел жандарм. По непонятной для мэра причине отец Кихот что-то быстро говорил своему спутнику по-латыни, и у гвардейца тоже был встревоженный вид. А отец Кихот говорил:

— Esto mihi in Deum protectorem et in locum refugii[1].

— Епископ, похоже, иностранец,— обращаясь к мэру, заметил жандарм.

— Он не епископ. Он монсеньор.

— Это ваша машина стоит под мостом?

— Машина монсеньора.

— Я сказал ему, что надо бы ее запереть. Ведь он даже ключ оставил в стартере. А это не безопасно. В здешних краях.

— Но здесь так мирно. Даже вон коровы...

— Вам не попадался человек с дыркой от пули на правой брючине и с накленными усами? Хотя он, наверное, их уже выкинул.

— Нет-нет. Ничего даже и близко похожего не видели.

— Scio cui crediti[2],— изрек отец Кихот.

— Итальянец? — спросил жандарм.— Папа римский — великий папа.

— Безусловно великий.

— Тот человек без шляпы и без пиджака. В полосатой рубашке.

— Нет, никого такого мы тут не видели.

— Дырку в брюках ему проделали в Саморе. Пуля чудом прошла мимо. Он из наших завсегдатаев. А вы тут давно?

— Да с четверть часа.

— Откуда едете?

— Из Вальядолида.

— Никого не обгоняли по дороге?

— Нет.

— Не мог он за это время так далеко уйти.

— А что он натворил?

— Ограбил банк в Бенавенте. Пристрелил кассира. Бежал на «хонде». Ее нашли — я имею в виду «хонду» — в пяти километрах отсюда. Потому и небезопасно оставлять машину незапертой, да еще с ключом в стартере.

— Laqueus contrius est,— изрек отец Кихот,— et nos liberati sumus[3].

— Что это монсеньор говорит?

Мэр сказал:

— Я тоже в языках не разбираюсь.

— Вы едете в Леон?

— Да.

— Глядите в оба и не подвозите никого незнакомого.— Вежливо и несколько настороженно жандарм отдал честь монсеньору и отбыл.

— Почему вы говорили с ним по-латыни? — спросил мэр.

— Мне казалось это правильным.

— Но почему?..

— Мне хотелось по возможности избежать лжи,— ответил отец Кихот.— Даже лжи во благо, а не во зло, пользуясь терминологией отца Йоне.

— А почему вы должны были ему лгать?

— Да совсем неожиданно возникла такая возможность — я бы даже сказал, искушение.

---

[1] У бога ищу защиты, а в этих местах — прибежища *(лат.)*.

[2] Знает, который верит *(лат.)*.

[3] В тенетах вынужден быть, а мы от них освободились *(лат.)*.

Мэр вздохнул. Вино, несомненно, нарушило молчание отца Кихота, и сейчас Санчо чуть ли не жалел об этом. Он спросил:

— Вы нашли сыр?

— И даже изрядный кусок, но я отдал ему.

— Жандарму? Да зачем же это?

— Нет-нет, тому человеку, которого он ищет, конечно.

— Вы хотите сказать, что *видели* этого человека?

— Ну да, потому я и боялся вопросов.

— Ради всего святого, где же он сейчас?

— В багажнике нашей машины. Вот теперь было бы крайне неосторожно с моей стороны, как сказал жандарм, оставлять ключ в стартере... Кто-нибудь мог бы уехать вместе с этим человеком. Ну, а так опасность уже позади.

Мэр долго не мог произнести ни слова. Наконец он спросил:

— А куда вы девали вино?

— Мы вместе поставили его на заднее сиденье.

— Слава богу,— произнес мэр,— что я сменил в Вальядолиде номер машины.

— Почему, Санчо.

— Те же жандармы наверняка сообщили ваш номер в Авилу. И теперь он уже у них на компьютере.

— Но в моих бумагах...

— А я и бумаги для вас получил другие. На это, конечно, потребовалось время. Потому мы и пробыли так долго в Вальядолиде. Тамошний владелец гаража — мой давний друг, член нашей партии.

— Санчо, Санчо, сколько же лет тюрьмы мы за это заработали?

— И вполовину не столько, сколько вы получите за то, что скрываете от правосудия беглеца. И что это на вас напало?..

— Он попросил меня помочь. Сказал, что его несправедливо обвинили, спутали с кем-то другим.

— Это с дыркой-то от пули в штанах? Человека, ограбившего банк?

— Но ведь и ваш Сталин был таким же. Многое зависит от побудительных мотивов, в конце-то концов. Если бы Сталин пришел ко мне исповедоваться и честно рассказал о причинах, побудивших его так поступать, я бы, возможно, велел ему десять дней молиться по четкам, хотя в Эль-Тобосо я до сих пор никого так строго не наказывал. Помните, что сказал мой предок галерным рабам, прежде чем их освободить: «На небе есть бог, и он неустанно карает зло и награждает добро, а людям порядочным не пристало быть палачами своих ближних...»[1] Это добрая христианская доктрина, Санчо. Десять дней перебирать четки — достаточно суровое наказание. А мы не палачи и не занимаемся допросами. Добрый самарянин не расспрашивал того беднягу, которого избили разбойники, о его прошлом, а взял и помог ему. А ведь этот человек, возможно, был мытарем, и разбойники лишь отобрали у него то, что он у них взял.

— Пока вы тут разглагольствуете, монсеньор, наш раненый, наверное, помирает из-за недостатка воздуха.

Они поспешили к машине и обнаружили беглеца в весьма плачевном состоянии. Накладные усы, намокшие от пота, отклеились и свисали с края верхней губы. По счастью, он был маленький и без труда уместился на том небольшом пространстве, которое мог предоставить ему «Росинант».

Тем не менее, когда его выпустили из багажника, он принялся возмущаться:

— Я думал, я тут сдохну. Куда это вы провалились?

— Мы старались для вас как могли,— сказал отец Кихот почти теми же словами, какие употребил его предок.— Мы не собираемся

---

[1] Мигель де Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский, ч. 1, гл. XXII *(перевод Н. Любимова)*.

вас судить, но ваша совесть должна была бы подсказать вам, что неблагодарность — позорный грех.

— Мы для тебя даже слишком много сделали,— сказал Санчо.— А теперь проваливай. Жандарм поехал в ту сторону. Я бы советовал тебе держаться полей, пока не дойдешь до города, а там — растворишься.

— Да как же я могу держаться полей в таких ботинках — они насквозь прогнили — и как я могу раствориться в городе, когда у меня дыра от револьверной пули в штанине?

— Ты же ограбил банк. Можешь купить себе новую пару ботинок.

— Кто сказал, что я ограбил банк? — И он вывернул пустые карманы.— Можете обыскать меня,— сказал он.— А еще называете себя христианами.

— Я не называю,— сказал мэр.— Я марксист.

— И спина у меня разламывается. Я и шагу не могу сделать.

— У меня тут есть немного аспирина в машине,— сказал отец Кихот. Он отпер машину и принялся рыться в отделении для перчаток. Незнакомец за его спиной кашлянул раз, потом второй.— У меня есть и леденцы от кашля,— сказал отец Кихот.— Наверное, просквозило вас в багажнике.— *Он обернулся с лекарствами в руке и, к своему великому изумлению, увидел, что незнакомец нацелил на него револьвер.*— Не надо такой штукой ни в кого целиться,— сказал он,— это опасно.

— Ботинки у вас какого размера? — спросил незнакомец.

— Право, не помню. По-моему, тридцать девятого.

— А у вас?

— Сорокового,— сказал Санчо.

— Давайте ваши,— скомандовал незнакомец, обращаясь к отцу Кихоту.

— Да они почти в таком же плачевном состоянии, как и ваши.

— Не спорьте. Я бы взял у вас и брюки, если б только они подошли. А теперь повернитесь оба ко мне спиной. Если хоть один из вас шевельнется, пристрелю обоих.

Отец Кихот сказал:

— Не понимаю, почему вы отправились грабить банк — если вы его действительно ограбили — в разваливающихся ботинках.

— По ошибке надел не ту пару. Вот почему. А теперь можете повернуться. Залезайте в машину — оба. Я сяду сзади и, если вы хоть где-нибудь почему-то остановитесь, буду стрелять.

— Куда же ты хочешь, чтоб мы тебя отвезли? — спросил Санчо.

— Высадите меня у собора в Леоне.

Отец Кихот не без труда задним ходом вывел машину с поля на дорогу.

— Очень вы плохой водитель,— сказал незнакомец.

— Да все дело в «Росинанте». Не любит он пятиться. Боюсь, вам там тесно со всем этим вином. Может, остановимся и перетащим ящик в багажник?

— Нет. Двигайте дальше.

— А что случилось с вашей «хондой»? Жандарм сказал, вы ее бросили.

— Бензин у меня кончился. Позабыл залить бак.

— Не ту пару ботинок надели. Не запаслись бензином. Право же, похоже, господь был против ваших планов.

— Вы что, не можете ехать быстрее?

— Нет. «Росинант» у меня очень старенький. Он может рассыпаться, если перейти за сорок.— Отец Кихот взглянул в зеркальце и увидел нацеленный ему в спину револьвер.— Хорошо бы вы успокоились и положили оружие,— сказал он.— «Росинант» порой ведет себя как верблюд. Он может вдруг так тряхануть, что эта штука сама

выстрелит. А вы едва ли обрадуетесь, если на вашей совести будет убийство еще одного человека.

— Что это вы мелете? Какого еще одного человека?

— Да я имею в виду того беднягу в банке, которого вы убили.

— Не убил я его. Промахнулся.

— Да, господь, видно, изрядно потрудился, чтобы избавить вас от тяжкого греха,— сказал отец Кихот.

— Да и вообще никакой это был не банк. Магазин самообслуживания.

— Жандарм сказал — банк.

— Да они скажут «банк» даже про общественную уборную. Так оно важнее выглядит.

Когда они въехали в город, отец Кихот заметил, что стоило им остановиться у светофора, и револьвер исчезал из виду. Он, пожалуй, мог бы выскочить из машины, но тогда жизнь Санчо оказалась бы в опасности, и если незнакомец прибег бы к насилию, отцу Кихоту пришлось бы разделить с ним вину. В любом случае он не желал быть оружием мирского суда. И он испытал огромное облегчение, когда, подъехав насколько мог ближе к собору, не увидел там ни одного жандарма или карабинера.

— Подождите, я посмотрю, безопасно ли вам выйти,— сказал отец Кихот.

— Если ты меня выдашь,— сказал незнакомец,— я пристрелю твоего дружка.

Отец Кихот открыл дверцу машины.

— Все в порядке,— сказал он.— Можете идти.

— Если ты соврал,— предупредил его незнакомец,— первая пуля — тебе.

— У вас отклеились усы,— сказал ему отец Кихот.— Они прилипли к вашему ботинку — то есть к моему.

Они проследили взглядом за незнакомцем, пока он не исчез из виду.

— По крайней мере, он не набросился на меня, как галерные рабы набросились на моего предка,— сказал отец Кихот.

— Побудьте в машине, а я схожу куплю вам ботинки. Вы сказали, у вас тридцать девятый размер?

— А вы не возражаете, если мы сначала зайдем в собор? Очень я устал — нелегко было держать в узде «Росинанта», чтобы он не взбрыкнул. Ведь если бы этот бедняга убил нас, ему бы действительно худо пришлось. Мне хочется посидеть немного в прохладе... и помолиться. Я вас не задержу.

— Мне казалось, вы только этим и занимались, пока мы ехали.

— О да, я молился... но молился за беднягу. А сейчас мне хотелось бы возблагодарить господа за наше спасение.

Камень обжег отца Кихота холодом сквозь пурпурные носки. Он пожалел, что в Саламанке купил эти носки, а не шерстяные. Под высоченными сводами собора, в свете, лившемся сквозь сто двадцать окон словно взор божий, он почувствовал себя карликом. У него возникло ощущение, точно он — малюсенькая мошка, помещенная под микроскоп. Он поспешно нырнул в боковой придел и опустился там на колени. Какую прочесть молитву, он не знал. Подумал: «Благодарю тебя», но слова показались ему пустым, как эхо, звуком — он не чувствовал благодарности за свое избавление; возможно, он в какой-то мере почувствовал бы благодарность, если бы в него попала пуля: это означало бы — конец. Его тело отвезли бы тогда в Эль-Тобосо, и он снова очутился бы дома, а не продолжал бы это нелепое паломничество — к какой цели? Или куда?

Пытаться молиться, когда ты не в силах выжать из себя ни слова, показалось ему лишней тратой времени, и он оставил свои попытки, постарался вообще ни о чем не думать, ни на что не обращать

внимания, погрузиться в полнейшую тишину и через какое-то время действительно почувствовал, что стоит на пороге Ничего, от которого его отделяет всего один шаг. Потом большому пальцу на ноге стало особенно холодно от каменных плит собора, и он подумал: «У меня продырявился носок». Право же, эти носки,— и почему только он не настоял на шерстяных? — хоть он и приобрел их в роскошном магазине, которому покровительствует «Опус деи», не стоят того, что он заплатил.

Отец Кихот перекрестился и вернулся к Санчо.

— Вы как следует помолились? — спросил его мэр.

— Я совсем не молился.

Они оставили «Росинанта» на стоянке и наугад побрели по улицам. Около самого Бурго-Нуево они обнаружили обувной магазин. Раскаленные плиты тротуара жгли ноги отцу Кихоту — дырка на левом носке, из которой торчал большой палец, значительно увеличилась. Это был совсем маленький магазинчик, и хозяин с удивлением уставился на ноги отца Кихота.

— Мне нужны черные ботинки тридцать девятого размера,— сказал отец Кихот.

— Сейчас, сейчас, присядьте, пожалуйста.— Хозяин достал пару ботинок и опустился перед отцом Кихотом на колени.

А отец Кихот подумал: «Я точно статуя святого Петра в Риме. Он что, сейчас поцелует мой большой палец?» Он рассмеялся.

— Что тут смешного? — спросил мэр.

— О, ничего, ничего. Просто подумалось.

— Кожа у этих туфель очень мягкая и тонкая, ваше преосвященство.

— Я не епископ,— сказал отец Кихот,— всего только монсеньор, да простит мне это бог.

Владелец магазина надел ему ботинок на ногу с целым носком.

— Если монсеньор соблаговолит сделать несколько шагов...

— Я уже достаточно нашагался по Леону. Тротуары у вас такие жесткие.

— Еще бы они не показались вам жесткими, монсеньор,— без ботинок-то.

— Эти ваши ботинки очень удобные. Я их беру.

— Хотите, чтобы я их завернул, или вы в них пойдете, монсеньор?

— Конечно, в них пойду. Вы что, думаете, мне хочется ходить босиком?

— Я подумал, может... Ну, я подумал, может, вы наложили на себя епитимью...

— Нет-нет, боюсь, я далеко не такой святой человек.

Отец Кихот снова сел и подставил хозяину ногу с торчавшим из носка пальцем, и тот осторожно, даже с известной почтительностью, упаковал палец в носок, затем надел ботинок. Ему явно не приходилось до сих пор вступать в контакт с голым пальцем монсеньора.

— А другие ботинки? Монсеньору не надо их завернуть?

— Какие другие ботинки?

— Те, которые монсеньор сбросил.

— Я их не бросал. Это они бросили меня,— сказал отец Кихот.— Я даже не знаю, где они. Наверное, сейчас уже далеко. В любом случае ботинки были старые. Не такие хорошие, как эти.

Хозяин проводил отца Кихота и Санчо до порога. У дверей он попросил:

— Благословите, монсеньор!

Отец Кихот начертал в воздухе крест и что-то пробормотал. А на улице заметил:

— Слишком уж он был почтителен — не люблю я такое.

— Обстоятельства были не совсем обычные — так что, боюсь, он скорей всего запомнит нас.

По пути назад, к «Росинанту», им попалась почта. Отец Кихот вдруг остановился.

— Что-то я волнуюсь,— сказал он.

— Не без оснований. Если этого мерзавца, которого вы спасли, поймают и он заговорит...

— Я думал не о нем. Я думал о Тересе. У меня в голове словно набат гудит, возвещая беду. Мы ведь так давно уже отсутствуем.

— Четыре дня.

— Не может быть. Мне кажется, по крайней мере месяц. Пожалуйста, разрешите, я позвоню.

— Валяйте, но только быстро. Чем скорее мы уедем из Леона, тем лучше.

К телефону подошла Тереса. Не успел отец Кихот и слово сказать, как она в ярости рявкнула:

— Отца Эрреры нет, и я не знаю, когда он будет.— И повесила трубку.

— Что-то в самом деле неладно,— сказал отец Кихот. Он снова набрал номер и на этот раз тотчас произнес: — Это отец Кихот, Тереса.

— Слава тебе, господи,— откликнулась Тереса.— Где это вы?

— В Леоне.

— А где это?

Мэр сказал:

— Не надо было ей говорить.

— Что вы там делаете, отче?

— Звоню тебе.

— Отче, с епископом ужас что творится.

— Он что, заболел, бедняга?

— Он очень гневается.

— А что случилось, Тереса?

— Да он уже два раза звонил отцу Эррере. И оба раза они разговаривали по полчаса — даже не подумали, как дорого это будет стоить.

— Но о чем же, Тереса?

— Да о вас, конечно. Они говорили, что вы рехнулись. Говорили, что вас надо засадить в сумасшедший дом, чтобы спасти честь Церкви.

— Но почему? Почему?

— Жандармы из-за вас всю Авилу прочесали.

— А меня не было в Авиле.

— Они это знают. Они говорили, что вы — в Вальядолиде. И сказали, что вы поменялись платьем с красным мэром, чтобы удрать.

— Это неправда.

— Они думают, вы, наверное, снюхались с этими сумасшедшими басками.

— Тебе-то откуда все это известно, Тереса?

— Вы что же, думаете, я дам им пользоваться вашим телефоном и не оставлю дверь в кухню открытой?

— Дай-ка я поговорю с отцом Эррерой.

— Только ничего ему не выбалтывайте,— сказал Санчо.— Ничего.

— А отца Эрреры нету. Он еще вчера до света уехал к епископу. А епископ в такой вошел штопор, что не удивлюсь, коли он самому Святому Отцу позвонит насчет вас. Отец Эррера сказал мне, что Святой Отец страшно ошибся, когда назначил вас монсеньором. А я сказала ему — нечего богохульствовать. Святой Отец не может ошибиться.

— Да нет, Тереса, может — немножко. Надо мне, видно, сейчас же возвращаться домой.

— Нельзя вам, отче. Жандармы всенепременно тут же вас сцапают, и вы до конца своих дней просидите в сумасшедшем доме.

— Но я же нисколько не сумасшедший — во всяком случае, не больше, чем отец Эррера. Или епископ, если уж на то пошло.

— А они скажут, что вы сумасшедший. Я сама слыхала, как отец Эррера сказал епископу: «Надо его держать подальше от греха. Ради блага Церкви». Так что не возвращайтесь, отче.

— Прощай, Тереса.

— Так вы не вернетесь?

— Мне надо это обдумать, Тереса.

А мэру отец Кихот сказал:

— Жандармы говорили с епископом, а епископ — с отцом Эрре-рой. Они считают, что я сумасшедший.

— Ну, особой беды в этом нет. Вашего предка ведь тоже считали сумасшедшим. Возможно, отец Эррера поступит как каноник и начнет жечь ваши книги.

— Не дай бог. Мне надо домой, Санчо.

— Вот это как раз и докажет, что вы сумасшедший. Нам надо быстро убираться отсюда, но не в Эль-Тобосо. Не следовало вам говорить Тересе, что вы в Леоне.

— Ну, у нее рот на замке. Можете не волноваться. Ведь она даже мне не говорила, что эти ее бифштексы — из конины.

— Есть и немало другого, о чем следует поволноваться. Эти компьютеры нынче работают со скоростью света. Мы их немножко запутали, сменив номер на машине, но, если жандармы заложили в машину ваш сан, жди беды. Придется вам снимать ваш слюнявчик и носки. Не думаю, чтобы много монсеньоров разъезжало в стареньком «сеате-шестьсот».

Они быстро пошли дальше, к тому месту, где оставили «Росинанта», и Санчо вдруг произнес:

— Пожалуй, нам надо бросить машину и сесть на автобус.

— Но мы же ничего плохого не сделали.

— Опасно не то, что мы сделали, а то, что мы сделали по их мнению. Если читать Маркса теперь уже не преступление, то скрывать вора, ограбившего банк,— все еще преступление.

— Но он же не грабил банка.

— Ну, пусть ограбил магазин самообслуживания — все равно это преступление прятать его в багажнике своей машины.

— Я не брошу «Росинанта».— Они как раз подошли к машине, и отец Кихот по-отечески положил руку на ее крыло, где была зазубрина, оставшаяся от столкновения с машиной мясника в Эль-Тобосо.— Вы знаете пьесу Шекспира «Генрих Восьмой»?

— Нет, я предпочитаю Лопе де Вегу.

— Так вот, я бы не хотел, чтоб «Росинант» когда-нибудь упрекнул меня, как кардинал Уолси упрекнул своего монарха:

Служи я небесам хоть вполовину
С таким усердьем, как служил монарху,
То в старости меня бы он не предал,
Столь беззащитного, моим врагам[1].

Вы видите эту вмятину на капоте «Росинанта», Санчо? Ей больше семи лет, и получил ее «Росинант» по моей вине. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa [2].

---

[1] **У. Шекспир.** Генрих Восьмой, акт III, сц. 2 *(перевод Б. Томашевского).*

[2] Моя вина, моя вина, моя величайшая вина *(лат.).*

2

Они самым коротким путем выехали из Леона, но дорога пошла в гору, и «Росинант» стал выказывать признаки усталости. Перед ними вставали горы, окружающие Леон,— серые, скалистые, островерхие. Мэр сказал:

— Вы говорили, вам хочется тишины. Настало время выбирать между тишиной Бургоса и тициной Осеры.

— С Бургосом связаны малоприятные воспоминания.

— Браво, монсеньор, а я-то думал, что память о том, где находилась штаб-квартира генералиссимуса, как раз и может вас привлечь.

— Я предпочитаю мирную тишину тишине, наступающей после успеха,— эта тишина похожа на вечную тишину смерти. И притом не очень хорошей смерти. А вы, Санчо,— мысль о монастыре не отталкивает вас?

— А почему она должна меня отталкивать? Они могут защитить нас от худшего зла, как писал Маркс. К тому же монастырь имеет для нас то же преимущество, что и публичный дом. Если мы, конечно, не застрянем там. Никаких карточек постояльцев заполнять там не надо.

— В таком случае поехали в Осеру, Санчо, к траппистам.

— По крайней мере у нас там будет хорошее галисийское вино. А то наше ламанчское скоро кончится.

Они устроили пикник только с вином, ибо сыр исчез вместе с грабителем, а колбасу они прикончили раньше. Они находились на высоте почти тысячи метров, под ними расстилалась голая равнина, и в воздухе веял свежий ветерок. Они быстро распили бутылку вина, и Санчо открыл другую.

— А это разумно? — спросил отец Кихот.

— Абсолютно разумных поступков не бывает,— сказал Санчо.— Все зависит от ситуации. Степень разумности меняется и в каждом отдельном случае. В нашей ситуации, когда нет еды, я считаю разумным выпить еще полбутылки. А вы наверняка сочтете это безумием. В таком случае в определенный момент мне придется решать, как разумнее поступить с вашей половиной бутылки.

— Этот момент едва ли наступит,— сказал отец Кихот.— Разум подсказывает мне, что я должен помешать вам выпить больше положенного.— И он налил себе стакан вина.— Вот только я не понимаю,— добавил он,— почему отсутствие еды может повлиять на разумность нашего выбора.

— А все ясно,— сказал Санчо.— В вине есть сахар, а сахар — чрезвычайно ценная пища.

— В таком случае, если у нас будет достаточно вина, мы не умрем с голода.

— Совершенно верно, но в любом логическом доводе — даже в доводах вашего апостола Фомы — можно найти просчет. Если мы заменим еду вином, то не сможем сдвинуться с места, и тогда со временем у нас кончится и вино.

— Почему же мы не сможем сдвинуться с места?

— Да потому, что ни один из нас не способен будет вести машину.

— В общем-то верно. Логические рассуждения часто ведут к абсурду. В Ламанче есть любимая в народе святая, которую изнасиловал мавр у нее на кухне; он при этом был безоружен, а у нее в руках был кухонный нож.

— Ну, так она, наверное, хотела, чтоб ее изнасиловали.

— Нет-нет, она рассуждала вполне логично. Спасение души мавра было куда важнее ее девственности. Ведь если бы она убила его в ту минуту, то лишила бы всякой возможности на спасение. Нелепая и, однако же, если подумать, прекрасная история.

— А вы от вина что-то разговорились, монсеньор. Я вот думаю, справитесь ли вы в монастыре с обетом молчания.

— Нам не обязательно молчать, Санчо, да и монахам разрешено разговаривать с гостями.

— До чего же быстро у нас опустела вторая бутылка! Вы помните — кажется, это было так давно! — каким образом вы пытались объяснить мне, что такое троица?

— Да. Я тогда совершил эту ужасную ошибку. Я позволил себе сравнить Святого Духа с полбутылкой.

— Больше мы такой ошибки не допустим,— сказал Санчо, открывая третью бутылку.

Отец Кихот не стал возражать, хотя вино уже начало действовать на него как раздражитель. Он готов был обидеться на любую малость.

— Я рад,— сказал мэр,— что, в противоположность вашему предку, вы любите вино. Дон Кихот ведь частенько останавливался на постоялых дворах — по крайней мере, четыре из его приключений произошли на постоялом дворе,— но мы ни разу не слыхали, чтобы он выпил хотя бы стаканчик вина. Он, как и мы, не раз закусывал сыром на открытом воздухе, но ни разу не запивал его добрым ламанчским вином. Мне бы он в компаньоны по путешествию не подошел. Слава тебе господи, несмотря на все свои священные книги, вы можете крепко выпить, когда захотите.

— Но почему вы в связи со мной все время вспоминаете про моего предка?

— Так ведь только для сравнения...

— Вы вспоминаете его при любой возможности, заявляете, что мои священные книги — это все равно как его рыцарские, сравниваете наши пустяковые приключения с тем, что было с ним. Ведь мы-то имели дело с жандармами, а не с ветряными мельницами. Я — отец Кихот, а не Дон Кихот. Уверяю вас, я существую. То, что случается со мной, это случается со мной, а не с ним. Я следую своим путем — своим собственным,— а не его. Я поступаю так, как хочу. Я же не привязан к моему предку, умершему четыреста лет назад.

— Извините, отче. Я думал, что вы гордитесь вашим предком. Я вовсе не хотел вас обидеть.

— О, я знаю, что у вас в мыслях. Вы думаете, что мой бог — это такая же иллюзия, как ветряные мельницы. Но говорю вам: он существует. Я не только верю в него. Я прикасаюсь к нему.

— И какой же он — мягкий или твердый?

Не на шутку рассердившись, отец Кихот приподнялся с травы.

— Нет-нет, отче. Извините. Я вовсе не хотел вас поддразнить. Я уважаю ваши верования, как вы уважаете мои. Между ними есть только одна разница. Я знаю, что Маркс и Ленин существовали. А вы только верите.

— Но я же сказал вам: дело тут не в вере. Я прикасаюсь к нему.

— Мы славно проводим время, отче. Распиваем третью бутылку. Я поднимаю стакан за троицу. Вы же не откажетесь выпить со мной за нее.

Отец Кихот мрачно уставился в свой стакан.

— Нет, я не могу отказаться, но... — Он выпил и сразу почувствовал, что гнев его рассеивается, уступая место великой печали. Он сказал: — Вы считаете, я немного опьянел, Санчо?

Санчо увидел в глазах у него слезы.

— Отче, наша дружба...

— Да-да, ничто не способно ее нарушить, Санчо. Хотелось бы мне только знать точные слова.

— Для чего?

— И иметь знания. Я ведь очень невежественный человек. Многое из того, что я должен был внушать своей пастве в Эль-Тобосо,

мне непонятно. Я никогда над этим не задумывался. Троица! Закон природы! Смертный грех! Я повторял им слова из учебников. Я ни разу не спросил себя: а сам я в это верю? Шел домой и читал моих святых. Они писали о любви. Это мне понятно. Остальное казалось не столь уж важным.

— Не понимаю, что вас тревожит, отче.

— Вы тревожите меня, Санчо. Эти четыре дня, проведенные в вашем обществе, тревожат меня. Я вспоминаю, как я рассмеялся, когда надул тот шарик. А фильм... Почему я не был шокирован? Почему не встал и не вышел? Мне кажется, что я жил в Эль-Тобосо сто лет назад. Я перестал быть самим собой, Санчо. Голова идет кругом...

— Вы просто немного опьянели, отче. Только и всего.

— Это что, так всегда бывает?

— Болтливость... головокружение... да.

— А тоска?

— На некоторых нападает. Другие же становятся шумными и веселыми.

— Придется мне, видно, держаться тоника. Я что-то не чувствую себя в силах сесть за руль.

— Машину могу вести я.

— «Росинант» не любит чужую руку. А мне хотелось бы поспать немного, прежде чем мы снова двинемся в путь. Если я сказал вам, Санчо, что-то обидное, извините, пожалуйста. Это вино говорило моими устами, не я.

— Ничего плохого вы не сказали. Полежите немного, отче, а я посторожу вас. Мне вино прочистило мозги.

Отец Кихот нашел среди камней полоску мягкой травы и прилег, но сон не сразу пришел к нему. Он сказал:

— По мнению отца Герберта Йоне, пьянство — более тяжкий грех, чем обжорство. Я этого не понимаю. Вот мы немного выпили, и это же объединило нас, Санчо. Вино способствует дружбе. Обжорство же — порок, которому предаются в одиночестве. Своеобразная форма онанизма. Однако у отца Йоне, помнится, сказано, что это простительный порок. «Даже если дело доходит до рвоты». Это его собственные слова.

— Я бы не считал отца Йоне авторитетом в вопросах морали, как не считаю Троцкого авторитетом в коммунистическом движении.

— А что, люди действительно совершают ужасные поступки, когда напьются?

— Наверное, иногда и совершают, если теряют над собой контроль. Но это не всегда плохо. Иногда очень даже хорошо потерять над собой контроль. В любви, например.

— Как те люди в фильме?

— Ну да, пожалуй.

— Наверное, если бы они побольше выпили, они бы стали надувать шарики.

Из-за камней раздался странный звук. Мэр не сразу понял, что это смех. Отец Кихот произнес:

— Вы мой теолог-моралист, Санчо.

И через минуту вместо смеха послышалось похрапывание.

3

День у них был утомительный, да еще они хорошо выпили, так что через какое-то время мэр тоже заснул. И приснился ему сон — из тех, что видишь перед пробуждением, когда даже мельчайшие детали остаются в памяти. Отец Кихот потерялся, и мэр отправился на его розыски. Он прихватил с собой пурпурные носки, беспокоясь за отца Кихота, отправившегося в горы босиком по очень каменистой тропинке. Недаром мэр то и дело натыкался на следы крови. Не-

сколько раз он хотел окликнуть отца Кихота, но ни звука не вылетало из его горла. Внезапно он вышел на площадку, мощенную мраморными плитами, и прямо перед ним стояла церковь Эль-Тобосо, из которой доносились какие-то странные звуки. Он вошел в церковь с пурпурными носками в руке и увидел, что отец Кихот сидит на верху алтаря словно священное изваяние,— прихожане смеются, а отец Кихот плачет. Мэр проснулся с ощущением непоправимой беды. Тем временем стемнело. Он был один.

Как и во сне, он отправился на розыски отца Кихота и с чувством облегчения вскоре обнаружил его. Отец Кихот немного спустился по склону — наверное, чтоб быть поближе к «Росинанту», а возможно, потому, что земля там была мягче. Он снял носки и, обмотав ими ботинки, сделал себе подобие подушки, на которой и спал глубоким сном.

У мэра не хватило духу разбудить его. Ехать в Осеру, куда вела проселочная дорога, было уже поздно, а возвращаться в Леон мэр считал небезопасным. Он снова отыскал облюбованное им ранее место, откуда не видно было отца Кихота, и вскоре заснул беспробудным сном.

Проснувшись, он обнаружил, что солнце стоит высоко и на него уже не падает тени. Пора в путь, подумал он, и надо постараться выпить кофе в ближайшем селении. Кофе ему был просто необходим. После водки он никогда не чувствовал себя плохо, а вот излишек вина вызывал раздражение, и он становился похож на занудареформатора, какие встречаются в партии. Мэр пошел будить отца Кихота, но священника там не оказалось, хотя носки и ботинки, служившие ему подушкой, продолжали лежать на прежнем месте. Мэр несколько раз окликнул отца Кихота, но безуспешно — звук собственного голоса лишь пробудил в нем воспоминание о виденном сне. Он присел и стал ждать, решив, что отец Кихот, по всей вероятности, пошел в укромное местечко облегчиться после выпитого вина. Но едва ли ему могло на это понадобиться целых десять минут — ни один мочевой пузырь не в состоянии удержать столько жидкости. Наверное, они ходят друг за другом, и отец Кихот, облегчившись, отправился к тому месту, где спал его друг. Мэр вернулся туда с пурпурными носками в руке, что снова вызвало в его памяти тот сон, и ему стало не по себе. Отца Кихота нигде не было видно.

Мэр подумал: может, он пошел проверить, в порядке ли «Росинант»? Накануне, по совету мэра, отец Кихот свернул с дороги и поставил «Росинанта» за кучей песка, оставшегося после давно оконченных дорожных работ,— так, чтобы жандармы, если они поедут мимо, не могли его заметить.

Отца Кихота около машины не оказалось, но у «Росинанта» появился компаньон — рядом стоял «рено», и молодая пара в джинсах, сидя среди камней, убирала в рюкзаки чашки, блюдца и тарелочки после — судя по остаткам — весьма основательного завтрака. Мэру сразу захотелось есть. Молодые люди были вполне дружелюбно настроены, они встретили его улыбкой, и, поколебавшись, он спросил:

— Вы не могли бы пожертвовать мне булочку?

Они, как ему показалось, посмотрели на него с опаской. Тут он понял, что небрит и стоит перед ними, сжимая в руке пурпурные носки. Судя по виду, это были иностранцы. Молодой человек сказал с американским акцентом:

— Боюсь, я не силен в испанском. Parlez-vous français?[1].

— Un petit peu,— сказал мэр,— très petit peu [2].

---

[1] Вы говорите по-французски? *(франц.)*.

[2] Немного, совсем немного *(искаж. франц.)*.

— Comme moi [1],— сказал молодой человек, и наступила неловкая пауза.

— J'ai faim [2],— сказал мэр. Он так скверно говорил по-французски,— точно попрошайка-нищий, подумалось ему. — J'ai pensé si vous avez fini votre...[3] — Он тщетно пытался найти нужное слово.— ...votre desayuno[4].

— Desayuno?

Просто удивительно, подумал мэр, сколько иностранных туристов колесят по Испании, даже не зная самых необходимых слов.

— Рональд,— сказала девушка на своем непонятном языке,— я пойду отыщу словарь в машине.

Когда она встала, мэр заметил, что у нее длинные красивые ноги, и провел рукою по щеке — эх, жаль, от молодости уже ничего не осталось. Он сказал:

— Il faut me pardonner, señorita... Je n'ai pas...[5]— но тут понял, что не знает, как по-французски «бриться».

Мужчины стояли друг против друга молча, пока девушка не вернулась. Но и потом поддерживать разговор было трудно. Мэр очень медленно, делая паузы после каждого слова, чтобы девушка могла отыскать его в своем карманном словарике, произнес:

— Если вы... окончили... ваш завтрак...

— Desayuno значит «завтрак»,— сообщила девушка своему спутнику с таким восторженным видом, точно сделала открытие.

— ...можно мне взять bollo?

— Тут сказано: «bollo» — хлебец стоимостью в пенни,—перевела девушка,— но наши хлебцы стоили куда дороже.

— Словари вечно отстают от жизни,— сказал ее спутник. — Не могут же они учитывать инфляцию.

— Я очень голоден,— сказал им мэр, тщательно выговаривая главное слово.

Девушка быстро перелистала странички словаря.

— Ambriento — он ведь так сказал? Я не могу найти это слово.

— Попробуй посмотреть на «h». По-моему, по-испански «h» не произносится.

— А-а, вот оно. «Жаждущий». Но чего же он жаждет?

— А там нет другого значения?

— Да, конечно, какая я глупая. «Голодный». Должно быть, это и есть. Он голоден и просит хлеба.

— У нас осталось две булочки. Отдай ему обе. И вот что... дай бедняге и это тоже. — И он протянул ей бумажку в сто песет.

Мэр взял булочки, но от денег отказался. Для ясности он указал сначала на «Росинанта», потом на себя.

— Боже мой,— воскликнула девушка,— это же его машина, а мы тут предлагаем ему сто песет. — Она сложила руки ладонями вместе и приподняла их в восточном приветствии.

Мэр улыбнулся. Он понял, что она извиняется.

Молодой человек мрачно произнес:

— А мне откуда было знать?

Мэр принялся за одну из булочек. Девушка полистала словарик.

— Mantequilla? [6]— спросила она.

— Манте — что? — весьма недовольным тоном пробурчал ее спутник.

— Я спрашиваю, не хочет ли он масла.

---

[1] Как и я *(франц.)*.
[2] Я голоден *(франц.)*.
[3] Я подумал, если вы окончили ваш... ваш *(франц.)*.
[4] Завтрак *(исп.)*.
[5] Извините меня, сеньорита... Я не... *(франц.)*.
[6] Масло? *(исп.)*.

— Я съел все масло. Его не стоило больше держать.

Мэр помотал головой и доел булочку. Вторую он положил в карман.

— Para mi amigo [1],— пояснил он.

— Эй! А я это поняла,— восторженно воскликнула девушка. — Это для его девушки. Разве ты не помнишь по-латыни: «amo» — я люблю, «amas» — ты любишь? Забыла, как дальше. Могу поклясться, они тоже развлекались в кустиках, как мы с тобой.

Мэр приложил рупором руки ко рту и снова крикнул, но ответа не последовало.

— Откуда ты знаешь, что это девчонка? — спросил молодой человек. Он явно настроился перечить. — По-испански это, наверное, то же, что по-французски. «Ami» — ведь может означать друг любого пола, разница только в написании.

— О господи,— сказала девушка,— ты думаешь, это тот труп, который уносили при нас?..

— Откуда мы знаем, что это был труп? А если труп, то почему этот человек спрятал для него булочку?

— А ты его спроси.

— Как же я его спрошу? Словарь-то у тебя.

Мэр снова крикнул. Ответом ему было лишь слабое эхо.

— Во всяком случае с виду это был явный труп,— сказала девушка.

— Может, они просто везли его в больницу.

— Вечно ты находишь всему неинтересные объяснения. В больнице ему ведь тоже не нужен хлеб.

— В слаборазвитых странах родственникам часто приходится носить больному еду.

— Испания — не слаборазвитая страна.

— Это ты так говоришь.

Они вроде стали ссориться, и мэр отошел от них к тому месту, где оставил отца Кихота спящим. Его таинственное исчезновение и воспоминание о приснившемся сне не давали мэру покоя, и он вернулся к «Росинанту».

Пока он ходил, молодые люди не без успеха проштудировали словарь.

— Camilla,— сказала девушка, но произнесла она это слово так странно, что мэр не сразу его понял.

— Ты уверена? — переспросил ее молодой человек. — Это скорее похоже на женское имя, чем на носилки. И вообще я не понимаю, почему ты искала именно это слово — «носилки». Ведь у них же не было носилок.

— Но неужели ты не понимаешь — так яснее! — настаивала девушка. — Разве в словаре найдешь такое слово, которым можно описать, что человека пронесли мимо нас за голову и за ноги?

— А что, если просто посмотреть — «пронесли»?

— Словарь же дает глаголы только в неопределенном наклонении, но если хочешь, я посмотрю. Transportar,— сказала она,— camilla.

Внезапно мэр понял, что́ она пыталась сказать, но и только.

— Dónde [2]? — спросил он, чувствуя, как его затопляет отчаяние. — Dónde?

— По-моему, он спрашивает — «куда»,— сказал молодой человек и вдруг принялся на свой лад вдохновенно пояснять. Он подошел к своей машине, открыл дверцу, согнулся и стал словно бы заталкивать внутрь что-то тяжелое. Потом взмахнул руками в сторону Леона и произнес: — «Унесенное ветром».

---

[1] Для моего друга *(исп.)*.

[2] Куда? *(исп.)*.

Мэр так и сел на первый подвернувшийся камень. Что же произошло? Неужели жандармы выследили их? Но жандармы наверняка дождались бы спутника отца Кихота, чтобы и его схватить! И почему *они унесли отца Кихота на носилках? Они что, пристрелили* его, а потом испугались? Мэр сидел, свесив голову под тяжестью мыслей.

— Бедняжка,— прошептала девушка,— как он скорбит по своему покойному другу. По-моему, лучше нам потихоньку смотаться отсюда.

Они подхватили рюкзаки и на цыпочках направились к своей машине.

— А все-таки интересно,— промолвила девушка, усаживаясь на сиденье,— но ужасно, ужасно грустно, конечно. У меня такое чувство, точно я побывала в церкви.

(Окончание следует)

ВЕРНЕР ХАЙДУЧЕК

Прегрешение

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого С. ФРИДЛЯНД

Одна из тех превратностей судьбы, на которые так щедро наше столетие, занесла Элизабет Бош из Богемии в Саксонию, в ту деревеньку, где, если верить слухам, Наполеон провел ночь перед битвой под Лейпцигом, которая стоила ему империи и короны. Здесь Элизабет и осела, произвела на свет двух детишек и, можно сказать, жила — не тужила. Но на шахте случился оползень и завалил ее мужа. Сыну тогда было семь лет, дочери — два года, и на то, чтобы горевать, у вдовы просто не оставалось времени. Профессией она никакой не обзавелась, надо было пораскинуть умом, на что жить дальше. Комбинат выхлопотал для нее новую квартиру, взял шефство над детьми и вообще помогал чем мог, но мужа он, само собой, не воскресил, и Элизабет Бош начала приспосабливаться к новым обстоятельствам. Замуж она больше выходить не стала, хоть и была достаточно молода, жила только для детей, зато впоследствии могла гордиться, что из обоих вышли вполне достойные люди. Сын защитил диссертацию, его сделали ведущим редактором в окружной газете, дочь училась на философском факультете. Элизабет была вполне счастлива — по-своему, конечно,— и уж никак не думала, что в ее жизни еще может произойти что-нибудь значительное. Но тут она повстречала Якоба Алена, который хоть и носил французскую фамилию, но был самый настоящий немец и служил портовым рабочим в гамбургской Вальхафен.

В эту деревню он попал по чистой случайности, если только можно счесть случайностью страсть к коллекционированию марок. Он провел отпуск в Берлине, на Ваннзее, у своего брата, а по дороге домой решил завернуть в Саксонию, как раз туда, где жила Элизабет Бош. Там у него был приятель, тоже филателист. Они уже много лет переписывались, но до сих пор у них все не было случая познакомиться лично. А теперь случай представился. Всю ночь напролет они просидели над кляссерами, блоками и одиночными марками, пили, разговаривали и за разговорами не заметили, как наступило утро, хотя они и половины друг другу не успели сказать. Вот почему они решили, чтобы Якоб задержался в деревне еще на день. Вдобавок у Якоба в голове шумело с похмелья, так что такая отсрочка его вполне устраивала.

Лаутенбах ушел на работу, его жена тоже, и гамбуржец был предоставлен самому себе. Ближе к полудню он отправился в общинный совет, полагая, что, раз он задержался, ему надо просить продления визы на один день. Бургомистр разъезжал по полям сельскохозяйственного товарищества, в совете была только Элизабет Бош, она мыла полы.

Женщина нарочно какое-то время продержала посетителя в две-

© Mitteldeutscher Verlag, Halle-Leipzig, 1986

рях, и, лишь ощутив, что его ожидание ей самой в тягость, она сказала:

— Нет никого.— И, поскольку он все равно не ушел, повторила: — Нет никого!

Под взглядом посетителя она почувствовала смущение: фартук на ней был в пятнах, волосы растрепаны, ноги — босые и грязные. Внезапно все это заметив, она от смущения задела настольную лампу. Лампа упала. Ален подскочил, чтобы вернуть лампу на прежнее место, но женщина крикнула с досадой:

— Да нет же никого, сколько раз повторять!

— Очень жаль,— сказал Якоб.

Они молча поглядели друг на друга, потом Якоб ушел. Но едва он ушел, Элизабет пожалела, что так грубо с ним разговаривала. Она видела, как он идет вдоль улицы, перешагивая через трещины, оставшиеся в асфальте с минувшей зимы. Какая-то собака, высунув морду из-под ворот, облаяла его, он испуганно шарахнулся. Элизабет он показался беспомощным и каким-то неприкаянным. Господи, подумала она, как он ходит, в жизни не видела, чтобы человек так ходил враскачку, словно у него земля под ногами качается. Она подбежала к окну и крикнула Алену, чтобы он пришел часам к двум, тогда кто-нибудь в совете будет, бургомистр будет непременно, пусть только придет к двум. Ален поднял руку, словно хотел помахать Элизабет, но на самом деле он просто дал ей понять, что все слышал.

Элизабет почувствовала какое-то странное волнение. Она еще немного постояла у окна. В палисаднике цвели флоксы. На небе — ни облачка, только дым из труб электростанции, выстроенной неподалеку от села, заволакивал его. Элизабет Бош снова принялась за уборку, не замечая, что пытается вышагивать как Якоб Ален, пытается воспроизвести его своеобразную походку.

Он заявился в два, минута в минуту, втайне надеясь снова застать эту женщину, но женщины-то как раз и не было. Только бургомистр, дюжий приземистый старик, восседал за письменным столом. Как и всегда, бургомистр был по горло занят, надо срочно подготовиться к обсуждению плана, надо составить отчет для районного начальства, поэтому непрошеное вторжение крайне его раздосадовало, тем более что всякие дела с визами входят в компетенцию районной полиции, а не бургомистра. И вообще гамбуржец показался ему не шибко умным. В паспорте у него имелись все необходимые штемпеля, согласно которым он мог остаться у них в деревне хоть на неделю. Незачем было и приходить, завершил Раймельт свою речь, дав понять, что Якоб может уйти.

Якоб Ален с великой радостью покинул этого старого грубияна. Он замешкался на истертых ступенях, поглядел направо и налево, втайне надеясь увидеть где-нибудь эту женщину. Вместо женщины на крыльцо выглянул бургомистр, удивился, что Якоб до сих пор не ушел, и спросил, чего это он здесь торчит. Якоб смутился, словно его в чем-то уличили, пробормотал что-то несвязное про солнце и про погожий денек, разве бургомистр не видит, короче, ерунду какую-то, как Якоб сразу и сам почувствовал. Но Раймельт почему-то решил, что гамбуржец над ним посмеивается. Нечего здесь стоять и глазеть, грубо оборвал он Алена, тоже мне нашел место. Теперь Ален в свою очередь решил, что бургомистр говорит с ним неуважительно, и сказал, что покамест нигде не встречал знака, запрещающего стоянку для пешеходов. Так слово за слово, Ален не выдержал, плюнул и припустил через улицу в кафе. Деревня разом утратила для него всякую привлекательность.

Элизабет Бош жила прямо напротив совета. Она видела, как этот человек вошел туда, снова вышел и начал водить глазами по сторонам, причем сперва спустился на две ступеньки, а потом снова поднялся,

пятясь задом. Она подумала, что у него должны быть мохнатые брови. Тут ей вдруг показалось, что он углядел ее за гардинами, и она поспешила на кухню — домывать посуду. Но потом, заняв прежнее место у окна, она увидела, как он сплюнул на землю, прямо под ноги бургомистру, и побежал в «Старую корчму». Раймельт что-то выкрикивал ему вслед, наверняка бранные слова, потому что он всегда стоял в такой позе, когда злился, вернее, не стоял, а переступал с ноги на ногу, вытягивал шею, словно рассерженный гусак, и махал короткими сильными руками.

Их стычка неприятно задела Элизабет, хотя она и не могла бы объяснить почему. Она спустилась во двор, чтобы покормить уток. Уток она держала целую дюжину, каждый год заводила новых, а к рождеству распродавала, что приносило ей дополнительный приработок. Когда она возвращалась со двора в дом, ей вдруг смерть как захотелось выпить стаканчик холодного пивка. Внезапное беспокойство охватило ее, даже не беспокойство, а опасение что-то упустить. Она переоделась, наскоро привела в порядок волосы и тоже пошла в «Старую корчму», слишком поспешно, как заметила на полпути. Хотела повернуть назад, потом раздумала.

Якоб Ален занял место неподалеку от стойки и пил уже пятую рюмку, хотя водка и не лезла ему в горло. Но чем больше он пил, тем муторней становилось у него на душе. Его раздражало, что приходится пить польскую водку, а заказывал он русскую. Его раздражала несвежая скатерть, которую он разглядывал и на которой лежала газета. Его раздражал дурацкий вымпел на стене, трофей местного кегельклуба. Он не любил нарываться на скандал, но тут взял газету и с размаху швырнул ее на стойку.

— Бред собачий,— крикнул он.— Все бред, все как есть!

Хозяину меньше всего хотелось ввязываться в щекотливый разговор с захмелевшим гостем. Он спросил, не пожелает ли тот еще чего-нибудь, но Якобу показалось, будто этот малый с бледным лицом и пивным брюшком смотрит на него свысока.

— Да,— крикнул он и громыхнул кулаком по столу.— Пожелаю чистую скатерть!

Этим он еще сильней задел честь хозяина. Несколько дней назад тот вторично написал в правление кооператива, чтобы ему либо поставляли скатерти в достаточном количестве, либо разрешили взять прачку с почасовой оплатой. Он еще никому не давал права упрекать его в неряшестве. Он даже занял первое место в соревновании. Поэтому он попросил Якоба расплатиться и покинуть его заведение, у нас здесь не место для скандалистов, все равно, откуда они прибыли, хоть из Рима.

Именно в это мгновение Элизабет Бош переступила порог трактира. Мужчины были настолько увлечены своей перебранкой, что ее не заметили.

Покидать заведение он не собирается, заявил Ален, мало того, он желает получить еще рюмку водки, а платить будет, когда сочтет нужным, он человек свободный и сумеет постоять за себя хоть в Риме, хоть еще где.

Элизабет Бош сидела на скамье перед открытым окном. Под перекрытиями веранды слепили свои гнезда ласточки. Птенцы неумело махали крылышками. Женщина неподвижно смотрела на улицу, теперь ей было стыдно, что она пришла, и стыдно за Якоба, который оказался пьяницей.

— Перестаньте драть глотки,— вдруг сказала она,— есть люди, которым по душе тишина.

Она и сама удивилась, услышав собственный голос. Вдобавок ей было неприятно, что оба крикуна, а заодно и молодые люди, убивающие время возле игральных автоматов, все на нее уставились. Она заказала сельтерской, и хозяин подал ее немедля, отчасти затем, чтобы доказать этому сварливому типу, что здесь свои порядки и обычаи.

В пивной разом все стихло. Слышно было, как щебечут ласточки и катятся шарики в игральных автоматах. Оттуда доносился детский смех. Ален буркнул, что хочет заплатить. Хозяин выписал ему счет, чего обычно никогда не делал, отодвинул от себя чаевые, которые хотел ему дать Ален, и, не промолвив больше ни единого слова, ушел к себе за стойку и начал перемывать стаканы.

Якоб Ален уже жалел о своей вспыльчивости.

— Вы неверно обо мне судите,— сказал он. Но его слова были адресованы не столько хозяину, сколько Элизабет Бош, впрочем, никто не обратил на него внимания. Он почувствовал себя очень чужим и очень одиноким, хотел встать и уйти и остаться тоже хотел. Наконец он все-таки решил уйти, но задержался возле женщины и, сам не понимая, что с ним происходит, вдруг протянул руку и провел тяжелой пятерней по ее волосам. После чего покинул трактир.

Какое-то мгновение Элизабет Бош сидела неподвижно, потом вдруг вскочила и выбежала вслед за ним, даже не заплатив за сельтерскую. Ей было все равно, что подумает хозяин, что скажут люди в деревне. Она догнала Алена и пошла рядом с ним, а он шмыгнул носом и сказал:

— Я вовсе не пьяница.

Деревенская улица шла под гору, описывала крутую дугу и убегала между полями к заброшенной шахте, карьер которой заполнился водой. Вот к воде они и направились и сели на краю обрыва. В маленьком озерке отражалось заходящее солнце. Над водой гулко разносились голоса купальщиков.

— Смешно,— сказала женщина.

— Да, смешно,— подтвердил Якоб Ален.

Послышался голос кукушки, Элизабет начала считать, сколько она накукует.

— Чайки бывают и черные, и красные, и синие, а бывают большие, как канюк.

Она не поняла, к чему он это говорит.

— Море, верно, очень большое,— сказала она.

Он не ответил, а Элизабет подумала, что за всю свою жизнь так и не видела моря, да и вообще мало что видела: Богемские горы, Бранденбургские ворота, ну и еще Цвингер в Дрездене. Вот и все.

— Наверно, оно очень красивое,— сказала она.

Ален поднял руку, словно хотел показать, до чего море большое и до чего красивое.

Женщина подумала, что, должно быть, он ориентируется в морях-океанах не хуже, чем она в своей деревне или в окружном центре. Она не решилась спросить, где он побывал на своем веку. А то ей пришлось бы потом признаться, что она сама почти нигде не бывала. Мужчина тем временем думал, как было бы здорово постоять на палубе рядом с этой женщиной, просто стоять рядом и глядеть на воду и на белый песок какого-нибудь острова. Он даже улыбнулся своим мыслям, бросил в воду камешек и сказал:

— А я почти все в жизни прохлопал.

У Элизабет заныла спина. Она вдруг показалась себе толстой и неуклюжей и подумала, как было бы славно сбросить с плеч несколько годков, тогда бы уж она смогла просидеть на траве хоть до утра и ничего бы у нее не заболело.

— Пошли,— сказала она.

Встать с земли ей было трудно, и он потянул ее за руки. Поднялся ветер и погнал дымные тучи с электростанции прямо на деревню.

В воздухе запахло какой-то затхлой гнилью, и Ален ощутил легкую дурноту.

— Нет, я бы здесь не прижился,— сказал он.

— Где кто живет, там ему и хорошо,— ответила она.

Ответ прозвучал резко, она даже сама удивилась.

— Да,— согласился он,— в конце концов, каждый живет сам по себе.

— У меня есть дети.

— С детьми, может, и по-другому, чего не знаю, того не знаю.

Они медленно возвращались в деревню. Выглянул бледный серп месяца.

— У вас есть жена? — спросила Элизабет Бош.

Якоб вдруг припустил бегом, словно она ему наскучила. Элизабет не поспевала за ним, отстала, прислонилась к дереву, ей стало холодно. Ну и пусть уходит, подумала она. Какое мне до него дело. Но тут он снова появился перед ней и сказал:

— Жена у меня умерла. Она была хорошая женщина.

Он накинул на Элизабет свою куртку, и она сразу согрелась.

Они молча шли рядом.

Прощаясь, он сказал:

— Меня зовут Якоб Ален.

— А меня Элизабет Бош,— ответила она.

Она купила булочек, колбасы, пирожных, она была уверена, что он рано или поздно объявится. Она поставила на огонь воду для кофе, из сада принесла флоксов, потом села у окна и начала глядеть на улицу. Лишь ближе к вечеру, не выдержав, она побежала к Лаутенбахам.

— Он давно уехал.

Она восприняла только слово «уехал» и с трудом скрыла свою растерянность.

Вернувшись домой, Элизабет снова села к окну. У нее было такое чувство, будто она что-то потеряла, не уберегла.

На стене возле телевизора висела фотография мужа. Таким она его запомнила: чуть прищуренные глаза, широкие скулы, невысокий лоб, слегка волнистые волосы. Пожалуй, она была с ним счастлива. Он сажал мальчика перед собой на мотоцикл и гонял с ним по дорогам, так что, глядя на них, она замирала от страха.

Мертвого мужа ей не показали. Она шла за гробом, дочку несла, мальчика вела за руку, а сама думала: может, в гробу и нет никого. Они не нашли моего мужа, не хотят в этом признаться и что-то передо мной разыгрывают.

Он прав, подумала она, но теперь снова имела в виду Якоба Алена, который давеча сказал: «В конце концов, каждый живет сам по себе». Дети все равно уходят.

Она снова перевела взгляд на фотокарточку и спросила себя, смог бы этот человек быть счастлив с нею или нашел бы счастье с другой?

На выходные Элизабет ездила к сыну в окружной центр. Всякий раз, когда она проезжала мимо терриконов, гигантских эстакад, видела эти бурые поля, покрытые скудной травой, слышала протяжные гудки сигнальных рожков, ее охватывало чувство неприкаянности. Она казалась себе насильно заброшенной в этот безрадостный край и была бы рада сбежать из него, если бы не приросла к нему сердцем. Было время, когда ей повсюду слышался голос погибшего мужа. Тогда она испытывала неодолимое желание выпрыгнуть на ходу из автобуса и

припустить по изрытой земле куда глаза глядят. Врач посоветовал ей уехать из деревни, где все для нее было полно воспоминаниями. Комбинат даже предложил ей место сестры-хозяйки в доме отдыха в Тюрингии. Но она слишком долго здесь прожила, она не могла да и не хотела уезжать. Чтобы избавиться от наваждения, она вообще перестала ездить автобусом, начала ездить поездом, хотя от деревни до вокзала был добрый час ходу. Зато железнодорожные пути обходили шахту стороной. И в самом деле, состояние ее улучшилось.

А в городе каждый раз повторялась одна и та же история: Элизабет уезжала туда, полная радужных надежд, а возвращалась подавленная, твердо решив в ближайшее время вообще не ездить к сыну и невестке. Но долгой разлуки она не выдерживала и немного погодя снова к ним ехала. Ехала и уговаривала себя, что на сей раз все будет по-другому. Она привозила богемский пирог, который никто не умеет так хорошо испечь. Она немало гордилась своим искусством, унаследованным от бабушки, душевной старухи, которая однажды за стиркой упала прямо головой в корыто, а потом лежала мертвая на камнях, оставив девочку без всякой защиты, в мире, вступившем в первый год большой войны. Элизабет очень хотела, чтобы молодые — она всегда называла их д е т и — были счастливы. Когда сын защищал диссертацию, а невестка кончала институт, она без малейших колебаний взялась помогать им по хозяйству. Поначалу помощь матери была приятна Хансу и Регине, но потом ее рвение стало их тяготить, тем более что Элизабет Бош вела хозяйство на свой лад. Белье в шкафу она укладывала не так, как это делала невестка. Джинсы она сунула в кипяток и вконец испортила. По воскресеньям она вставала в пять часов, натирала пол в коридоре, шуровала в ванной или отчищала раковину. Если разбуженный грохотом появлялся кто-нибудь из д е т е й, Элизабет Бош говорила: «Дык спи дальше, спи себе» — и на цыпочках удалялась в кухню. Это было и трогательно, и смешно, и досадно. Защита плюс государственные экзамены тоже подлили масла в огонь; короче, в один прекрасный день произошел взрыв. Накануне экзамена Регина нервничала, места себе не находила. А Элизабет то и дело заходила в комнату — взять полотенце, поставить на место перемытые стаканы, спросить, к какому часу подавать ужин. И всякий раз говорила: «Учи, учи, я на минуточку». Под конец Регина не выдержала и закричала, что хоть раз, один раз в жизни имеет право побыть одна, без пирогов, без свекрови, без натертых полов, а потом сидела на полу среди разбросанных книг, рыдала и никак не могла успокоиться. Элизабет так и застыла на месте, растерянная, ничего не понимающая, и в тот же вечер уехала к себе. О том, что произошло, она никогда больше не говорила, как и вообще не говорила ничего худого про детей, сама не говорила и другим не позволяла. Но забыть она не могла. Впервые в жизни она ощутила себя никому не нужной. Это ощущение испугало ее и лишило прежней уверенности в отношениях с детьми, хотя Ханс и Регина наперебой старались убедить ее, что волнение перед экзаменом, и только оно, послужило причиной нервного срыва, о чем они глубоко сожалеют. Элизабет Бош невольно вспомнила присказку, которую часто повторяла бабушка: «Одна мать способна прокормить семеро детей, но семеро детей не прокормят одну мать». Элизабет Бош как-то притихла, теперь и на общинных собраниях она почти не открывала рта, а если, бывало, ее спросят о чем-нибудь, она пожимала плечами и говорила: «Как вы сделаете, так оно и будет ладно». Лишь когда родился Пабло, она снова начала чаще ездить в город, но всякий раз, после того как малыша искупают и покормят, уходила. Ей-де нужно позаботиться об утках, птицы, они тоже ухода требуют, с ними набегаешься. Она никому не хотела быть в тягость. И выносить одиночество казалось ей легче, чем с кем-нибудь общаться, если не знаешь, приятно человеку твое общество или нет.

Якобу Алену приснилось, будто на него падает облако и он в нем задыхается. Вообще-то он не боялся умереть, и если думал о смерти, то вполне спокойно. Жить, потом уйти из жизни — ни в том, ни в другом не было ничего необычного. Дни все походили один на другой. Каждое утро он просыпался в половине пятого. Распорядок тоже был установлен раз и навсегда: бритье, умывание, завтрак, дорога в порт. Он еще ни разу не опоздал на работу. Он разгружал суда из Сантоса, Гонконга, Калькутты, разгружал суда из Ростока, Архангельска, Шанхая. Вечером он возвращался на машине по запруженным толпой улицам в свой маленький домик почти на самом берегу Эльбы. Ему нравилось здесь жить, и казалось, ничто в мире не заставит его уехать отсюда. И однако же, река, и дом, и сад поблекли в его глазах с тех пор, как несколько лет назад у него умерла жена. Умирала она тяжело — много месяцев промучилась, и, закрыв ей глаза, он ощутил это как избавление, не для себя, для нее, хотя они были счастливы вместе, хотя и не имели детей. После смерти жены Ален забросил свой участок, в теплые дни он теперь часами сидел на берегу, ничего не делая, просто сидел и глядел на воду, невозмутимо текущую к морю. А если погода портилась, колдовал над своими марками. Сослуживцы и соседи давно прекратили всякие попытки хоть как-то нарушить его тоскливое уединение. Никто больше не острил, никто не задавал вопросов, и Якоба это вполне устраивало.

А теперь вот случилось так, что он увидел во сне, как на него падает облако, грозя задушить его. Страх выгнал его из дома и заставил через сад добежать до реки, над которой висел туман. Он услышал мотор лоцманского катера, немного погодя — плеск речной воды, и привычный звук успокоил его. Утро выдалось прохладное. Кусты истекали влагой. Ален обхватил себя руками и глубоко вдохнул.

Что-то изменилось с тех пор, как он повстречал Элизабет Бош. Он бранил себя на чем свет стоит за то, что так глупо сбежал из села; сейчас, обдумывая свой поступок, он не находил никаких разумных объяснений: то ли побоялся, что его насильственно лишат привычного уклада, то ли побоялся вызвать к жизни нечто, с чем потом не сумеет справиться — поди угадай. А может, он опасался насмешек и подковырок. Мол, седина в бороду, вторая молодость и все такое прочее. Грузчики — народ не церемонный. А может, он просто вспоминал Грету, свою жену, и то, как тяжело она умирала. Дом был ему нужен, а не ей. А ему он был нужен потому, что он знал: она не может забыть другого, своего жениха, который подорвался на мине в первый же день войны. Якоб Ален надеялся, что здесь, на берегу Эльбы, она больше не будет жить памятью о мертвом. Он соглашался на сверхурочные, потому что денег не хватало. В те времена и на пасху, и на рождество он пропадал в порту. Вот потом, когда дом будет готов, они станут наслаждаться каждым днем, ездить в разные страны. «Потом» — слово, которое он выучился ненавидеть. Оно обманом отнимало жизнь у живых, а до мертвых все равно не доходило.

Якоба вдруг начал раздражать вид сорняков, нагло пруших из земли между плитами дорожки. Он принялся выдергивать чертополох и траву, но вскоре бросил это занятие и только подумал: просто ужас, до чего одичал сад. Он вернулся в комнату, и все пошло своим чередом: бритье, умывание, завтрак, дорога в гавань.

Лето было на исходе. Поднялись цены на нефть, какой-то турок стрелял в папу, Израиль продолжал агрессию в Ливане, в деревне не заладилась уборка урожая. Сперва вышли из строя два комбайна, потом сгорел амбар. Одни считали, что это саботаж, другие — что разгильдяйство. Во всяком случае, община и сельскохозяйственный кооператив заняли по району последнее место. Парторг бранился на чем свет стоит. Председатель кооператива рявкал на людей, бургомистр

созывал по нескольку собраний на неделе, в совете царила страшная неразбериха. Элизабет только приберется там после обеда, а вечером, глядишь, все опять вверх дном. Ноги на крыльце никто не вытирал, чашки из-под кофе, пивные бутылки, полные пепельницы стояли и лежали вперемежку с папками, формулярами, записями. Если Раймельт искал какой-нибудь документ, а найти не мог, виновата в этом, конечно же, была Элизабет. Он орал, что из-за своей дурацкой любви к порядку она только все хуже делает, не желал слушать никаких доводов и уверял, что здесь идет битва за социализм, а кому это не нравится, тот пусть сюда и не лезет. В ответ на его слова Элизабет выплеснула ему под ноги грязную воду из ведра и выскочила из комнаты, не дожидаясь, пока он отреагирует.

Обычно за такой ссорой вскоре следовало примирение. Вечером того же дня Раймельт нанес ей визит, вручил бутылку водки, ухмыльнулся и сказал:

— Милые бранятся — только тешатся. А ты какая-то слишком чувствительная. Если бы я из-за всякой ерунды так психовал, я бы давно уже спятил.

Она понимала, чего ему стоило сделать первый шаг к примирению. Она пригласила его в дом, и если верить пекарю, Раймельт только на рассвете, украдкой вышел от Элизабет.

По деревне давно уже ходил слух, что у этих двоих все обговорено и они не сегодня-завтра поженятся. Раймельт наконец-то сбросил рога, которые наставила ему бывшая жена, это когда англичане взяли его в плен, в Норвегии, и запихнули в лагерь. Он слишком долго не возвращался, а когда наконец вернулся, другой лежал в его постели и ходил в его костюме. Грубо исторгнутый из цветущего сада радужных надежд, бывший ефрейтор выкинул захватчика в окно, так что того доставили в больницу с проломленной головой. А Раймельту дали полтора года. За это время жена Раймельта с выздоровевшим любовником перебралась из советской в американскую зону, а оттуда немного спустя и вовсе уехала в Бостон. После этого случая Раймельт не только не желал связываться с какой-нибудь женщиной, но заодно возненавидел и всех американцев, которые уж здесь-то не были виноваты ни сном ни духом. Сам же он пошел добровольцем на урановые рудники, втайне надеясь обрести там вечный покой, но вдруг заделался активистом, и когда каменная осыпь повредила ему плечо, его за былые заслуги назначили бургомистром. А теперь он уже не мыслил себе жизни без этой деревни и без Элизабет Бош.

Две недели спустя пришло письмо от Якоба Алена.

Элизабет редко получала письма. Дети жили не так уж и далеко. Если что-то надо было обговорить, они приезжали к матери, либо она к ним.

Эрна Лаутенбах вручила ей белый конверт прямо на улице.

— Из Гамбурга.

— А-а-а.

Больше она ничего не сказала, письмо сунула в карман с таким видом, будто ее это не очень-то и волнует, но ноги сами понесли ее к дому, быстрей и быстрей. Она взлетела по лестнице, принялась искать очки и наконец нашла в кармане передника.

Ален ничего особо важного не написал, спрашивал, какая здесь погода, такая же теплая, как в Гамбурге или нет, много ли в деревне работы, так же много, как в порту, или нет. Ради этого не стоило несколько раз перечитывать письмо. А стоило, пожалуй, из-за последней строчки. Письмо ни с того ни с сего кончалось такими словами: «Все было очень хорошо».

В ней вдруг ожило то, что считалось давно умершим. Женщина почувствовала какую-то незнакомую ей радость, хотела сразу же

ответить, но не сумела найти подходящие слова и отказалась от своего намерения. Она помогала копать картошку, а там подошла очередь брюквы. Никто в деревне не приметил ничего особенного, хотя любовь к пересудам отнюдь не стала меньше. Только Маше, дочери, мать показалась какой-то другой. Случалось, что Элизабет Бош подходила к окну и долго глядела на улицу, словно ждала кого-то. А за вязаньем она вдруг складывала руки на коленях и смотрела перед собой невидящим взглядом. Однажды Маша спросила мать, был ли у нее в жизни какой-нибудь другой мужчина, кроме отца.

— С чего ты взяла? — ответила мать и покраснела, и Маша не могла удержаться от смеха, видя ее смущение.

— Подумаешь, важность какая,— продолжала Маша.— Уж мне-то могла бы и сказать.

Элизабет рассердилась, и вовсе не потому, что думала, будто не пристало дочери задавать ей подобные вопросы, а потому, что почувствовала себя уличенной. Любовь, подумала она, господи ты боже мой, главное, чтоб человек был добрый. Остальное все скоро прогорит, как дрова в печи.

— Нет,— сказала она наконец,— другого у меня не было.

Ну и, конечно же, солгала, хотя скрывать ей вроде пока было нечего.

Может быть, Элизабет солгала ради Якоба Алена, ведь, право же, ему незачем было знать, как она подростком еще, вернее девочкой, легла в постель с мужчиной только потому, что он был добр к ней после бабушкиной смерти. В Богемии у него был собственный двор, небольшой, правда. В войну он за неделю потерял обоих сыновей; одного — во Франции, другого — где-то на просторах Атлантики. Жена его не смогла оправиться от удара и повредилась в уме. Так они и нашли друг друга, мужчина и девочка, поползли навстречу друг другу, потому что больше у них на этом свете ничего не оставалось. Любить она его не любила, он по возрасту годился ей в отцы, но он купил ей красивое платье и платок, и она ощутила себя под надежной защитой. Конечно же, она много чего наслушалась от соседей, но война шла к концу, и немцам пришлось выселяться из Чехословакии. Крестьянина занесло в Баварию, а Элизабет осела в Саксонии, потому что по дороге она познакомилась со своим будущим мужем. Крестьянин заклинал ее переехать к нему, писал одно письмо за другим, даже сам приезжал в Восточную зону, чтобы ее забрать. Но прошлое спало с нее, как спадают клочья изодранного платья. И у нее был муж, который ее вполне устраивал. Кто работал на шахтах, получал дополнительный паек. Чего ради стала бы она перебираться в Баварию, когда и в Саксонии было ничуть не хуже. А потом пошли дети, и у нее вообще не осталось времени ломать голову над всякими «если бы». Лишь теперь она снова начала вспоминать бабку, рапсовые поля, осенние безвременники на лугах и запах позднего сена и ромашки. Давно поблекшее в памяти обретало прежние краски. Ей вспоминались слова, которых здесь никто не говорил и которых сама она вот уже сколько лет не употребляла. Она никогда больше не была на родине. Сперва потому, что границы были закрыты, а позднее ее удерживал страх, она боялась, что это будут напрасные поиски времени, которое невозвратно ушло, и мест, которые больше не существовали.

— А я не хочу выходить замуж,— сказала Маша.

— Это ты только так говоришь,— возразила Элизабет.

Дочка ей и всегда-то причиняла больше хлопот, чем сын. Ханс, тот по крайней мере мог жить воспоминаниями об отце — был зеленый мотоцикл, красный мяч и большие руки, которые подбрасывали его вверх и уверенно ловили. А у Маши ничего такого не было, была только ревность да страх перед каждым чужим человеком, которого можно заподозрить в намерении отобрать у нее мать. В те времена Элизабет просто не смела привести кого-нибудь в дом. На Машу сразу напа-

дала какая-нибудь хворь, у нее поднималась температура, а однажды она и вовсе сбежала и пришлось ее искать с полицией. Если кто-нибудь советовал: «Выдрать ее как следует — и все дела!» — Элизабет неизменно отвечала: «Девочка и без того сиротой растет». Но Маша все начисто забыла и, когда Ханс или мать заводили об этом разговор, слушала так, будто они вспоминают истории из чьей-то чужой жизни. Она отказывалась верить, что когда-то была такой капризной и глупой, тем более что теперь она была бы очень даже не прочь, чтобы мать нашла хорошего человека, с которым сможет жить вместе. И не только потому, что тогда она, Маша, могла бы пользоваться большей независимостью, а потому, что полюбила сама.

Сколько Якоб Ален ни пытался мысленно представить себе Элизабет Бош, он всякий раз с удивлением обнаруживал, что почти не запомнил ее лицо. Вот руки ее он запомнил, сильные пальцы с коротко остриженными ногтями и чуть покрасневшей кожей. О том, как она живет, он ничего не знал и был уверен только в одном: мужчины при ней нет. Не то она не пошла бы с ним без всяких ужимок и кривляний к дальнему пруду, не позволила бы накидывать себе на плечи куртку, вообще держалась бы по-другому.

То немногое, что Якоб Ален знал о женщинах, он узнал благодаря Грете, а также из фильмов и иллюстрированных журналов. После смерти Греты он несколько раз заглядывал в известные дома, а то и вовсе подбирал кого-нибудь на улице. Но это не приносило ни радости, ни забвения. И тогда он снова вернулся к уединенной тишине своего дома и жил там в окружении альбомов с марками, как Элизабет — со своими утками. Но теперь у него оставалось все меньше времени на марки. Он подправил забор, подстриг газон, пересадил два куста, выполол сорняки, посыпал дорожки красным гравием. И еще он надумал до наступления зимы оклеить комнаты новыми обоями.

Хотя, видит бог, у Алена были все основания использовать теплые дни позднего лета для отдыха, он согласился на самую поганую, как ему казалось, работу. Конечно, тут можно было зашибить несколько лишних марок, но согласился он не из-за денег. Вдобавок ту же самую работу с превеликой охотой выполнили бы турки и югославы. Нет, во всем была виновата Элизабет Бош или, точней сказать, желание Алена хоть что-то для нее сделать. У пирса стоял десятитысячник из Ростока, набитый липкими кувейтскими финиками. Ходили слухи, будто у них там туго с кормом для свиней, а свободных причалов в Ростоке нет. И работенка была в прямом смысле слова свинячья. Тюки слипались, приходилось разрубать их ножом вроде секача или мачете, чтобы потом их мог подцепить кран. Те, кто работал в трюме, казались самим себе какими-то каторжниками: все разило гнилыми финиками — башмаки, носки, волосы, даже сны по ночам. Якоб Ален как-то раз поскользнулся и вляпался в это гадкое месиво. Трое грузчиков с трудом вытащили его. После этого случая он бы наверняка плюнул на все, не будь, да-да, не будь на свете этой женщины. А вдруг она не знает, чем кормить свиней, думал он. Короче, он остался и написал Элизабет Бош второе письмо. Уж тут-то, думал он, она не может не ответить, он это заслужил. Во втором письме он попросил Элизабет прислать свою фотографию, ему это будет приятно, в его одиночестве на берегу моря.

Якоб и на самом деле чувствовал себя одиноким, и дни его были пусты, как не были уже давно. Каторжный труд в порту и уход за садом лишь ненадолго спасали его от тоски. Порой, сев перед портретом умершей жены, он отыскивал в памяти впечатления, которые дали бы ему право сказать: жить все-таки стоило. Но в их жизни было только это вечное «потом, потом», и два кратких путешествия ничего не изменили, когда врачи сказали ему, что долго она не протянет. Арденны

и еще Амстердам, дальше они не рискнули. А в Динане, присев у основания цитадели, они смотрели со скалы вниз, на городок и на Маас, и прелесть пейзажа делала их еще несчастнее.

— Вот уж не думала, что мне еще будет так хорошо,— сказала Грета.

— Это только начало,— ответил он.

Хотя оба они знали правду. Но ложь была отрадна их сердцу.

Вот одно из этих воспоминаний и заставило Якоба закончить свое первое письмо словами: «Все было очень хорошо».

Просьба Алена привела Элизабет в некоторое замешательство. «Карточка...— думала она.— Нет и нет, зачем ему моя карточка?» И однако же, в этот день она чаще обычного заглядывала в зеркало. Пробовала разгладить морщины на лбу, потом махнула на себя рукой. Отродясь она не была красивой. «Нет-нет, зачем ему мой снимок?»

Письмо она положила в бельевой шкаф, туда, где уже лежало первое, а Якоб Ален и на сей раз не получил ответа.

Маша заявилась домой среди недели. Так у них не было заведено. Она была очень бледная и какая-то беспокойная, и это беспокойство передалось матери.

— Что с тобой? — спросила Элизабет.

— А что со мной может быть?

— Я ведь не слепая.

— А я говорю, что ничего со мной нет.

«Я вижу,— думала про себя Элизабет.— По тому, как она надевает пуловер, как ходит, как держит голову».

— Никак друг сердечный? — спросила она.

— Да будет тебе, мама.

Элизабет побоялась серьезной размолвки, промолчала и прошла на кухню.

«Все равно она ничего не поймет»,— подумала Маша.

«Женатый мужчина, двое маленьких детей. О чем ты думаешь?»

«Уж так получилось».

«А его жена, она-то в курсе?»

«Может, в курсе. А может, и нет. Мы встречаемся то здесь, то там. Только бы нас не увидел никто из его знакомых».

«И ты можешь так?»

«Да будет тебе, мама, перестань, наконец».

Маша последовала за матерью на кухню.

— У меня голова забита семинарами да зачетами,— сказала она. А Элизабет Бош подумала: наверное, так оно и есть.

Потом они вместе пили кофе, а по радио женский голос пел песню про цыгана, который ушел, и ноги сами несут меня вслед за ним.

Элизабет думала, что только в самом начале жизнь швыряла ее из стороны в сторону, а потом потекла гладко и размеренно. Ей вспомнились детские молитвы, которые она лепетала вслед за бабушкой: «Если вечером я засну поскорей, четырнадцать ангелов у постели моей...» Ничего не осталось — ни ангелов, ни святой Барбары, которую погребла гора, как погребла она мужа Элизабет.

Ей вдруг захотелось дойти до пруда, и Маша очень удивилась такой причуде. Мать и вообще-то гулять не ходила, а уж к рудничному пруду и подавно.

Они еще шли по улице, когда начал накрапывать дождь. Но Элизабет не хотела поворачивать, и Маша прижалась к ней.

— Вот кончу учиться,— сказала она,— возьму тебя к себе. Ну ее,

эту деревню. Будем вдвоем, ты да я. И будем очень хорошо жить. Поедем на море, слетаем в Болгарию или Ташкент.

— Конечно,— сказала Элизабет,— Ташкент — это, наверное, очень хорошо.

Они дошли до того места, где Элизабет сидела с Якобом на траве. Там они постояли недолго, поглядели на воду, и тут Элизабет вдруг сказала:

— Чайки бывают и черные, и красные, и синие, а бывают большие, как канюк.

— Что за чушь! — вскрикнула Маша.— Откуда ты это взяла?

— Бывают,— сказала Элизабет,— да-да, такие чайки бывают.

Зима выдалась капризная. То сыпал снег, то все таяло, потом вдруг резко похолодало, как ни разу до того. Провода не выдержали мороза. Дети, конечно, радовались, потому что занятий не было, но в хлевах замерзали телята и поросята. Пришлось подсыпать еще соломки, а главное, не оставлять их без присмотра. Председатель кооператива попросил Элизабет помочь им, и Элизабет сразу согласилась. Не одну ночь она провела в хлеву. На шестую ночь у нее умер новорожденный теленок. Корова повредилась в уме и не захотела подпустить малыша. Элизабет насухо растерла младенчика соломой, завернула в попонку и прижала к себе его холодную мордочку. Но спасти теленка не удалось. Он умер, и Элизабет затрусила его сверху соломой. Пришел Раймельт, принес горячего чаю с ромом, сел рядом и тут же заснул. Во сне он упал на бок и тяжело привалился к ней. «Словно Мария и Иосиф»,— подумала она, прихлебывая чай. Замычала корова, но у Элизабет даже не было сил, чтобы встать.

— Да-да, я понимаю, тебе плохо,— отвечала она,— так нам всем сейчас плохо.

Казалось, ее голос успокоил корову, во всяком случае больше та не мычала. Только с шахты доносились непрерывные сигналы, словно там звали на помощь. Лишь бы беды никакой не случилось, подумала женщина и тоже уснула.

Еще до рождества Элизабет Бош вместе с другими мужчинами и женщинами из окрестных деревень пригласили к председателю районного совета. Там угощали кофе, вином, пирожными и речами, которые Элизабет приняла очень близко к сердцу. Председатель два раза помянул ее имя, вызвал ее на сцену, вручил ей грамоту и премию, отчего она невольно захлюпала носом.

Раз уж судьба занесла Элизабет в районный центр, в нарядном платье, да и настроение у нее после чествования было приподнятое, она заглянула к фотографу. Сохранить воспоминание об этом дне будет очень даже неплохо, подумала она. Вдобавок у детей тоже должна быть ее карточка. «Мало ли что может случиться в моем возрасте, а внуки даже не будут знать, как я выглядела».

Элизабет Бош старалась изо всех сил глядеть на поднятый палец фотографа с веселым видом. Лампа слепила глаза, шея заболела. Сидя в застывшей позе, она вспомнила Якоба Алена и подумала: ну и затея дурацкая с карточкой, уж до того дурацкая...

Несколько дней спустя, получив готовые фотографии, Элизабет нашла, что выглядит ужасно. Она решила, что ей непременно надо похудеть, и потому легла без ужина.

Подарки Элизабет все приготовила. Елку купила, зарезала утку, испекла слоеный пирог по-богемски. Так уж повелось из года в год,

что рождество она проводила вместе с детьми в деревне, и представить себе не могла, что когда-нибудь такой порядок изменится. Но незадолго до сочельника сын написал ей, что Пабло заболел, что поэтому они не приедут, что сами они очень огорчены, но мать, конечно же, их поймет, в Новый год они с лихвой наверстают упущенное.

Весь день она не находила себе места, уронила тарелку, а на ступеньке перед универсамом поскользнулась и упала. Все кругом перепугались, поэтому Элизабет сделала вид, что ничего страшного с ней не произошло. Конечно, у нее мелькнула мысль, что, коли так, Ханс и Регина вполне могли бы пригласить ее к себе, но ведь приедет еще и Маша, а столько народу их квартира не вместит. Больному ребенку нужен покой, тут и спорить нечего.

Она сложила подарки в коробку, положила туда же сладости и несколько еловых веток. Пусть сын и невестка не огорчаются из-за этого, написала она, ведь с ней Маша, и бургомистр ее пригласил, и к Лаутенбахам она звана на карты. Лишь бы только Пабло поскорей выздоровел, а все остальное не так уж и важно.

Элизабет отнесла коробку на почту, и когда служащая удивленно спросила, неужели сын с семьей не приедут на рождество в деревню, Элизабет поспешила ответить:

— Конечно, приедет, только на рождество он не может вырваться, ведь всегда что-нибудь да происходит, и в газете кто-то должен быть, чтоб сразу написать об этом.

— Да, он стал большим человеком,— сказала приемщица.

А Элизабет не без гордости ответила:

— Иногда мне кажется, что ему это даже и не под силу, бедняжке.

А вскоре объявилась Маша. Элизабет уже начала терять терпение.

— Ну, отдохни,— сказала она, вынула вещи из чемодана и забросила грязное белье в машину.

Маша поспала немного, но скоро проснулась и спросила, где Ханс, когда он с Региной и с сыном собираются приехать.

— Через несколько дней,— ответила Элизабет, но, прочитав неудовольствие на лице у Маши, поспешно добавила: — Он должен подменять главного редактора, да и мальчик приболел. Отпразднуем разок вдвоем с тобой, тоже ведь неплохо.

Она и не подозревала, что у дочери совсем другие планы. Один болгарский студент пригласил Машу лететь вместе с ним в Софию, и Маша согласилась. Ей осточертело играть в прятки с женатым Херботом. Тут — два часика, там — денек, все время сидеть на месте, ждать и мчаться по первому зову. Иногда она казалась себе обычной шлюхой на содержании. Короче — хватит. Катись на рождество к своему семейству, а оттуда — ко всем чертям.

Билеты были куплены, места забронированы. Сочельник — с матерью, тут уж ничего не изменишь, но самолет улетает ранним утром в первый день праздника. Маша рассчитывала на брата с женой и сыном. Уж Пабло вполне бы заменил ее. Но брат, оказывается, не приедет.

Она уговаривала мать поехать к ним, в город, но мать находила сотни отговорок, чтобы не ездить.

Утром двадцать четвертого Маша встала ни свет ни заря, сбегала за булочками, сварила кофе и подала матери завтрак в постель. Элизабет хоть и сопротивлялась, что ее так балуют, но в глубине души была счастлива. Она хотела причесаться и надеть блузку, но дочь не позволила.

За те полчаса, что они вместе завтракали, Маша твердо решила никуда не ездить, но уже во время мытья посуды эта решимость

дрогнула. Возможно, для матери это не так уж и страшно. «Ей все равно придется рано или поздно привыкать к тому, что мы уходим из дому»,— подумала Маша. Немного спустя она поцеловала Элизабет и обронила:

— Вообще-то я собиралась на праздник в Софию, но оставить тебя одну... нет и нет.

Элизабет окаменела и даже закрыла глаза.

Маша усадила мать на стул, опустилась перед ней и прильнула головой к ее коленям.

Мать смотрела на голое дерево за окном.

— А ты долго у меня пробудешь?

— Да не поеду я никуда,— ответила девушка.

— Ну что ты, такая интересная поездка, это ведь не каждый день бывает.

— А ты как?

— Ну, у меня дел хватит. Тут у нас будет вечер с кофе и напитками. Раз меня наградили, мне даже неудобно уклоняться. Бургомистр будет недоволен.

Они немножко посидели рядом. За окном падал снег. Вечером ели карпа с картофельным салатом. На рождество так у них было всегда, карп отварной и карп жареный, а на десерт — булочки с маком. Для погибшего мужа тоже поставили стул, а на стол тарелку. Так всегда делала бабка, а теперь вот Элизабет.

Еще позднее они зажгли свечи и вручили друг другу подарки. И спели вместе «Тихая ночь» и еще «Расцвела розочка».

Автобус уезжал без малого в десять. Элизабет помогла дочери уложить чемодан. Она больше не испытывала боли, только желание, чтоб Маша поскорей уехала. Она подошла к окну и, когда Маша с улицы послала ей воздушный поцелуй, ответила тем же. Она спохватилась, что даже не спросила у дочери, надолго ли та уезжает и где остановится в Софии, хотела выскочить на улицу, но передумала.

Оставшись одна, она еще раз зажгла свечи на елке и дождалась, пока они сами собой погаснут. Она легла в постель, но сон не шел, тогда она снова встала, перечла оба письма от Алена и достала фотографии, которые недавно сделала. Теперь они не показались Элизабет такими уж неудачными. Почему бы, в конце концов, и не послать человеку снимок, раз он просит, подумала она, выбрала из фотографий самую подходящую и написала на обратной стороне: «К рождеству от Элизабет Бош». Но она не хотела действовать опрометчиво и сочла разумным сперва дождаться следующего дня. Если она до утра не передумает, значит, можно отправлять. Так она и сделала.

Для Якоба Алена один день был похож на другой. Рождество, и пасха, и Первое мая приходили, потом уходили, а мир оставался таким, как есть, и лучше для него не становился. Боцман с польского фрахтера пригласил его на рождество к себе в каюту. Пили виски, сперва одну бутылку, потом другую, один говорил по-польски, другой по-немецки, но их это не смущало. Время от времени они бросались друг другу на шею, как и положено в такой день. Христос родился для немцев, и для поляков, и для евреев, для пьяниц и для трезвенников. Любите друг друга и приносите дары. Аллилуйя, мир на земле. Потом они, шатаясь, влезли на капитанский мостик, нажали корабельную сирену, очень обрадовались, заслышав издали ответ, и нажали еще и еще раз. Прошло несколько минут, и над гаванью поднялся невообразимый шум. Якоб Ален не мог удержаться от ис-

кушения заорать во всю глотку, но никто его не слышал, корабельная сирена заглушала все звуки.

Он ушел не попрощавшись, переплыл на пароме к причальным мосткам, побрел в сторону центра, сел в трамвай, доехал до конечной остановки, пересел, поехал обратно, зашел в маленький ресторанчик, заказал пиво и поесть.

— Чего-нибудь,— сказал он.— Что у вас там есть.

Хозяйка принесла отбивную.

— Одинокий, небось,— сказала она.

Мужчина ел и ничего ей не ответил. На елке в углу горели электрические свечи, по радио пел хор мальчиков, на улице горланили двое пьяных. Как скоты, подумал Ален и спросил себя, в самом ли деле со смертью все кончается или что-то продолжается и после смерти и как на самом деле лучше — угаснуть совсем или в чем-то продлиться. Вспомнилась ему Грета и рыночная площадь в Амстердаме. Они стояли там, кормили голубей, и птицы садились к ним на плечи и на руки. Потом он сидел с Гретой в бистро, покуда остальные отбывали запланированную программу: поездка по каналам, «Ночной дозор» Рембрандта, мадам Тюссо и Ван Гог. Жена взяла его за руку и сказала: «Вот уж не думала, что мне еще будет так хорошо». Точно теми же словами, что и у основания цитадели в Динане, поэтому он тоже ответил ей слово в слово: «Это еще только начало». От всей их совместной жизни остались только эти две реплики. Может, еще произойдет чудо, наперекор логике и прогнозам врачей. Но чуда не произошло. Правда, правда, подумал Ален. Когда знаешь правду, нельзя жить. Он закрыл глаза и улыбнулся: Элизабет Бош вдруг села рядом с ним. «Смешно,— сказала она.— Да, очень смешно».

Неделю спустя Ален получил фотокарточку. Он купил серебряную цепочку, вложил в футляр записку со словами: «От Якоба Алена из Гамбурга» — и послал все Элизабет Бош. Ни город больше не казался ему враждебным, ни порт, ни корабли. Он почувствовал себя здоровым, как давно уже не чувствовал. С этих пор переписка стала оживленней.

Все мысли женщины были до сих пор сосредоточены только на детях, отвлекаться не приходилось. А тут в ее жизнь вошел мужчина, потребовал фотокарточку, прислал серебряное украшение. Элизабет примеряла перед зеркалом платья и блузки, чтобы выяснить, с чем цепочка смотрится лучше всего. Теперь она чаще думала о Якобе, чем ей хотелось бы: как он живет и где, что делает, когда не работает в порту. В ней проснулся интерес к миру, которого она не знала. Не то чтобы она хотела поменять свою жизнь на другую или поменять деревню. Здесь все было родное и привычное: сельскохозяйственный кооператив, бургомистр, почтальонша, магазин, кладбище. Где кто живет, там ему и хорошо. И однако же, ею овладело какое-то беспокойство. Она объясняла это своим критическим возрастом, у других женщин тоже так бывает, но про себя знала, что дело вовсе не в возрасте. Мечты, робость, страх перед чем-то неизвестным сменяли друг друга или уживались в ней одновременно. Однажды ночью, когда сон никак не шел к ней, она встала, отправилась на кухню и выпила столько домашней наливки, что потом ей стало плохо. Она бросилась на постель и плакала, плакала, пока не заснула.

На другой день Маша приволокла чемодан грязного белья. Могла бы раз в жизни и сама постирать, подумала Элизабет. Впервые за все время присутствие Маши действовало ей на нервы, это хлопанье дверьми, этот кассетник, который дочь включала прямо с утра. И

поскольку Элизабет все равно испытывала раздражение, она уж попутно, задним числом, осудила дочь и за то, что девчонка на рождество улетела с первым встречным в Болгарию, нет чтобы побыть с родной матерью, как полагалось бы. Они провели вместе несколько безрадостных часов, Маша уехала раньше обычного, и Элизабет не стала ее удерживать, как наверняка удерживала бы раньше. Но что поделаешь, раз у нее плохое настроение.

Через несколько дней Элизабет ни с того ни с сего купила себе в магазине «Люкс» туфли цвета морской волны, просто потому, что они ей приглянулись.

Раймельт сидел за столом, то разговаривал по телефону, то писал, то на чем свет стоит бранил «расцвет строительства» в дачном поселке неподалеку от деревни. Из-за этого, с позволения сказать, расцвета подскочили цены на строительные работы, а вдобавок стройматериал с комбината начал уплывать налево. Элизабет Бош знала, что, когда Раймельт вот так ведет разговоры с самим собой, мешать ему нельзя, иначе он выпустит накопившуюся злость не по тому адресу. В десять она сварила кофе, поставила чашку и кофейник возле бургомистра, а сама села за соседний стол. Полчаса совместного отдыха — они давно к этому привыкли. На дворе еще стояла зима, сыпал снег.

— Ничего, теперь пусть сыплет, мы ко всему готовы,— сказал Раймельт.— Что случилось перед рождеством, больше не повторится.

— А на западе снег тоже натворил немало бед,— ответила Элизабет.

Она представила себе, как Якоб Ален, проваливаясь в глубокий снег, идет на работу, одежда у него, должно быть, намокла, он замерз. Раймельт же, со своей стороны, подумал, что ему плевать на запад и на их заботы. Тут зазвонил телефон, и он сразу выкинул из головы этот короткий разговор. Потом уже, когда он собрался зайти в правление кооператива, Элизабет вдруг огорошила его вопросом:

— А ты бывал когда-нибудь в Гамбурге?

Вопрос показался Раймельту странным. «Экая чушь»,— подумал он, другое слово как-то не подвернулось. Нет, Раймельт не бывал в Гамбурге. Нечего ему там делать. Что Гамбург, что Росток — один черт. И там много воды, и тут много воды, а воду Раймельт не любил. Вид ее неизбежно наводил Раймельта на мысль, что всякий раз, когда снег начинает таять, может залить шахту. И вообще Гамбург занимал его куда меньше, чем Москва. Его один раз премировали поездкой в Москву.

— Не был я в Гамбурге и не собираюсь,— ответил он.— Дался тебе этот Гамбург.

— Да я просто так.

Элизабет хотела улыбнуться, чтобы показать, что вообще-то Гамбург и для нее ничего не значит.

— Чего ты там не видала? — сказал Раймельт и, надев куртку, вышел из комнаты.

Для него вопрос был таким образом решен.

«Он прав,— подумала Элизабет.— Зачем я вообще в эту историю ввязалась?»

Обычно Якоб не смотрел по телевизору новости, и политический раздел в газетах он тоже пропускал. Не для него это говорят, не для него и пишут, думал он, а если даже и для него, то затем только, чтоб его одурачить. Когда много лет назад все гамбургские газеты наперебой печатали сообщения о сооружении стены поперек Берлина, когда и у них в порту шли бурные споры о том, законно или незаконно

такое разделение семей, традиций, да что там традиций, даже отдельных улиц и домов, Ален возил кирпич, цемент, гравий и доски на свой маленький участок у самой Эльбы и не обращал никакого внимания на шум, поднятый в Германии и во всем мире. Жене он сказал: «Кто громко кричит, тот скоро охрипнет». А потом, когда Грета умерла, он хотел просто дожить свой век так, чтоб видеть немножко солнца над Эльбой, и это казалось ему вполне разумным, во всяком случае — до последнего времени. Теперь же он начал интересоваться этой — как он выражался — суетой. Война, война и еще раз война. Короче, дела в мире обстояли не так чтобы очень. Одно сообщение вытеснялось другим, и его забывали. Бастовали шахтеры, он делал взносы в кассу солидарности по принципу: пусть один маленький человек поможет другому, от больших ждать нечего. Некоторую тревогу вызвало повышение цен на бензин, вода Эльбы становилась все ядовитее, эксперты без устали спорили, кто кому грозит атомными боеголовками, то ли Восток Западу, то ли Запад Востоку. Ален не мог ко всему этому приноровиться. Голова у него пухла от всяких изречений типа: «Не откладывай на завтра» и «Человек — сам кузнец своего счастья» — и прочей чепухи. Короче, он собрался и поехал в Берлин, хоть поначалу и не думал в обозримом будущем снова побывать там. Впрочем, брату исполнялось пятьдесят пять лет, вполне уважительная причина, чтобы взять отпуск.

Элизабет тоже собралась и поехала в Берлин. В деревне это вызвало всеобщее удивление, потому что одна Элизабет никогда и никуда не уезжала, ее утомлял даже уличный шум в окружном центре. Но Элизабет заявила, что ей нужны новые гардины и еще пальто, а в Берлине выбор больше, чем в их деревенском магазине или даже в Лейпциге. Это казалось убедительным.

«Три моих женщины»,— частенько говаривал Ханс. Эти слова должны были звучать шутливо, их все и принимали как шутку. Теперь он так почти не говорил. С тех пор как его ввели в состав редколлегии, на него навалилась гора работы, в которой было немало однообразия и рутины. Ханс теперь спал мало, плохо и был вечно раздражен.

«Три моих женщины».

В столовой к нему подсел редактор сельскохозяйственного отдела и между шницелем и компотом из груш с ухмылкой обронил:

— Твоя сестра и Роланд Херботт... На химкомбинате поговаривают, будто у них интрижка.

Ханс не мог бы себе объяснить, почему именно слово «интрижка» так его возмутило. Может, и не само слово, а ухмылочка собеседника. Тот, судя по всему, ждал резкой отповеди, но Ханс поклонился кому-то за соседним столиком и ушел, словно ничего не слышал. «Меня это больше не занимает,— подумал он.— Разве я сторож сестре моей? Пуповина давно оборвана». Потом он все-таки поехал в общежитие, не столько из-за Маши, сколько из-за матери, потому что мать это заденет всего больнее. Малышечка ее, Маша,— и вдруг такое.

Вообще, по мнению Ханса, мать как-то странно изменилась за последнее время. В гости к ним она почти перестала ездить. Нескладно вышло, что в рождество он понадеялся на Машу, а Маша на него. Ну, а как он должен был поступить? Пабло проплакал две ночи напролет, температура не падала. Спать невозможно, а работа в редакции должна идти своим чередом. Конечно же, он подумал о том, чтобы пригласить мать на праздники в город, но квартира у них маленькая, а Регина вымоталась не меньше, чем он. И опять не обошлось бы без ссоры из-за какого-нибудь пустяка. Подходить к мальчику никому не разрешалось. У Регины были свои представления о браке, семье и вос-

питании. Двенадцать лет — в детском доме. Отец неизвестно где. Отца она даже не знала. А мать в один прекрасный день с каким-то типом махнула в Кёльн. Соседку она попросила взять девочку к себе на ночь. Да так и не вернулась. Большая жизнь поглотила ее. Поэтому Пабло должен был теперь вдвойне получить то, чего Регина не добрала. Он, Ханс, понимал свою жену и ее мечты о собственном Святом семействе. Вот только жизнь не укладывалась в заданные рамки, то одно мешало, то другое.

«Три моих женщины».

Он отправился сразу же после работы. Маша обрадовалась его приезду. Они пошли в ресторанчик на углу, пили там пиво и ели жареную колбасу.

— Привет, старик,— сказала Маша, и Ханс подумал: «Неплохая получилась девочка, но дай срок — и Херботот выжмет тебя как лимон. Полгода, от силы год — и с него хватит. Видел я таких субчиков».

Он не знал, с чего начать, но Маша невольно пришла ему на выручку:

— Мать стала какая-то странная в последнее время.

— Как это странная?

— Просто странная, и все.

— А ты когда была дома последний раз?

— Я теперь не так часто там бываю.

— Это почему же?

— Просто потому, что я не так часто там бываю.

Здесь наконец Ханс понял, что и он не может отрешиться от своего прошлого, как Регина — от своего. Во все времена он был «большой», а Маша — «маленькая». Она повсюду таскалась за ним, в погреб, на футбол, в кино. Ему приходилось забирать ее из садика. Ему приходилось помогать ей готовить уроки. А если они ссорились, ему говорили: «т ы ж е у м н е й».

Порой, когда мать не видела, он поколачивал Машу, просто так, без повода, а потом снова сажал ее к себе на плечи или на раму велосипеда. «Теперь, когда не стало отца, ты единственный мужчина в семье». Сотни раз приходилось ему слышать эти слова из уст матери. Страшные слова, они украли у него детство. Он и сейчас слышал их порой во сне: «Теперь, когда не стало отца...»

Но когда-то надо этому положить конец, подумал он, и хотя собирался спокойно все обговорить,— разве я сторож сестре своей? — не удержался и закричал:

— Ты, собственно, с кем путаешься — с болгарином, с Херботом или с обоими сразу?

Итак, слова были сказаны, и он не собирался заглаживать свою грубость, тем более что был почти уверен: существует несомненная связь между поведением сестры и странностями матери. Туфли цвета морской волны, покупка гардин в Берлине. Вообще-то ничего такого из ряда вон в этом нет, но для матери, которая трижды покрутит в руках каждый грош, прежде чем его потратить...

Маша промолчала, и Ханс от этого еще больше завелся.

— Человек выстроил дом, вошел в окружную инспекцию и еще в десять других комиссий. Не бывает, чтоб на комбинат приехал министр и не захотел ознакомиться с его заводом. Уж не думаешь ли ты всерьез...

И тут Маша поглядела на него, правый глаз у нее чуть-чуть косил, улыбнулась и сказала:

— Мастер Антон.

Сказала и попала в точку. Она знала, что нельзя уязвить брата больше, чем намекнув на его мелкобуржуазную ограниченность. «Мария Магдалина» Хеббеля, «падшая девушка» и «добродетельный» мастер Антон. Маша не много запомнила из школьных уроков литературы, а вот это запомнила. Может, она несправедлива по отно-

шению к Хансу. Но она и не хотела быть сейчас справедливой и уравновешенной. «Взгляни на себя объективно. Уж не надеешься ли ты...» А она сделала свой выбор, и она надеялась, господи, она именно надеялась...

Больше Хансу с Машей говорить было не о чем. Каждый молча допил свое пиво. Когда Ханс уже ехал домой, ему снова вспомнились эти трижды проклятые слова: «Теперь, когда не стало отца...» Он подумал, что готов сжечь за собой все мосты. Стать корреспондентом в Швеции или где-нибудь еще. Ему все равно. Только бы вырваться отсюда, только бы вырваться...

Неожиданную страсть Элизабет к путешествиям Раймельт воспринял как дурацкую прихоть. Но снабдил ее всеми наличными рекомендациями: Дворец республики, смена караула, купол телебашни. Элизабет посмеивалась над его стараниями и обещала ничего не забыть.

Накануне отъезда она легла рано, но уснуть не могла и окончательно поднялась уже среди ночи. Она выпила кофе, поделала кое-что по дому, а потом вдруг выяснилось, что времени у нее в обрез. Она боялась опоздать на поезд, припустила бегом, вспотела, остановилась, перевела дух. Совсем баба спятила, подумала она про себя. Было холодно, ясный месяц сиял на небе.

Элизабет Бош договорилась с Якобом на одиннадцать, в Оперном кафе. Место встречи выбирала она. Кафе она запомнила после автобусной экскурсии, которую организовало их товарищество. Ален был готов приехать и в деревню, но ее это не устраивало. Дети, и люди, и разговоры — уж лучше тогда Берлин. Не обязательно докладывать всем и каждому, что с тобой произошло. К тому же, ничего и не произошло. Гамбуржец написал ей, она ответила. Потом он подарил ей цепочку и жакет из исландской шерсти. Ей не так уж были нужны эти подарки, но приятно было сознавать, что где-то есть человек, который думает о ней, пишет ей, вот подарил цепочку. Все равно скоро все кончится. Он там, она здесь — тут не наездишься. Она невольно улыбнулась, вспомнив, какие он подбирает слова для своих писем: «От новой встречи я стал бы очень счастлив», «Я хочу, чтоб у тебя все всегда было хорошо».

Забавный тип. Чайки бывают черные, бывают красные и синие, а бывают большие, как канюк. Потом он поднимает руку, словно хочет показать, какое море большое, и при этом она замечает, что у него на руке не хватает двух пальцев: ящик сорвался и придавил, как он ей позже объяснит.

Элизабет подождала еще час. Она не хотела появляться в кафе раньше условленного срока, а уж тем более раньше, чем он. Не то он еще подумает, что она из тех, кому невтерпеж. Она пробежалась вверх по улице, вниз по улице, потом проделала тот же путь еще раз. А там и время подошло.

Якоб Ален второй раз видел один и тот же сон: на него падает облако, и ему нечем дышать. Это знамение являлось ему всякий раз, когда ответ из деревни запаздывал.

Теперь он сидел в Оперном кафе и вытирал потные руки о штаны. Он выбрал особняком стоящий столик в оконной нише. А брату соврал, впрочем, как и Элизабет Бош — бургомистру.

«Чего тебе там понадобилось?»

«Вообще-то ничего. Просто так. Американцы едут, французы едут, а чем я хуже?»

Брат Алена торговал автопокрышками, вел и другие дела. Сразу после смерти Греты он предложил Якобу съезжаться с ними. За участок на берегу Эльбы можно выручить изрядную сумму, а потом он сумеет вложить деньги так, чтобы сумма эта за короткое время утроилась. Но Якоб ему ответил: «Старые деревья не пересаживают» — и брат не стал настаивать.

Из дому Якоб вышел загодя, чтобы не опоздать: он боялся застрять на пограничном пункте. Объяснения о целях визита он уже заготовил: новые районы города, советский мемориал, музей Пергамон. Но пограничник только и поглядел что на визу. А когда он спросил, не знают ли они, где находится Оперное кафе, пограничник ответил: «Где ж ему быть? Возле Оперы». И то сказать, вопрос был глупый. Но дорогу он нашел сам, и очень быстро.

Элизабет Бош пришла в половине двенадцатого. Кафе показалось ей больше и не такое изысканное, каким она его запомнила. Впрочем, для встречи с Якобом Аленом это было как раз то, что нужно.

Он увидел ее раньше, чем она его. Вскочил и побежал навстречу.

— А я боялся, ты не придешь,— сказал он.

Она подняла на него глаза и подумала, что успела забыть, до чего он высокий. На какое-то мгновение ей захотелось прижаться к нему.

Но тут подошел официант, и Элизабет сказала:

— Мы стоим на проходе.

Она даже обрадовалась, что может хоть что-нибудь сказать. Он помог ей снять пальто и подвел ее к столу.

— Я и вправду боялся,— повторил он.

Женщине было приятно, что он боялся. Ее забавляло, что Якоб тянет руки к официанту и при этом беспокойно двигает ногами, а поскольку официант явно не думал к ним подходить, вскочил и побежал к буфету. С нее бы хватило спокойно сидеть возле Якоба, потому что на нее вдруг навалилась страшная усталость. Официант принес аперитив. Элизабет Бош листала меню, но не могла разобрать этот мелкий шрифт, а очки лежали в кармане пальто, а пальто висело в гардеробе.

— Что-нибудь легкое,— сказала она и решила взять рагу деликатесное. Оно вполне подходило к Оперному кафе, и к аперитиву, и к Берлину, и к Якобу Алену.

— Ты хорошо доехал? — спросила она, ей захотелось, чтобы он заметил, что она не такая толстая, какой была, когда они впервые встретились, и что она носит его цепочку, и что у нее другая прическа. Но он ничего не заметил, и оба молчали, и Якоб залпом выпил свой аперитив, как пьют пиво.

— Да,— ответил он,— все было хорошо.

Якоб повязал галстук и вот теперь взмок, провел пальцем между воротником и шеей. Официант принес рагу.

— И у меня тоже все было хорошо.

Она не знала, как объяснить это внезапное отчуждение. Как же мы тогда будем разговаривать целый день, думала она. Вспоминала про своих уток, вдруг соседка забудет покормить их или вечером — запереть в сарай.

Ален попросил еще один аперитив, хотя это сладкое пойло ему не понравилось. Официант как-то испытующе на него глянул.

— Когда ты должен вернуться? — спросила она.

— Не к спеху.

— Еще сегодня?

— Да, но это не к спеху.

Элизабет вдруг громко рассмеялась, хотя не без смущения, она боялась, что все на них сейчас уставятся.

Ален понимал, что необходимо как-то действовать, не то женщина, едва появившись, снова убежит от него и все окажется тщетной

надеждой, детской затеей. В деревне было проще, да и письма пишутся легче. Он пригласил ее, и она приехала, яснее она ответить не могла. Сделай же что-нибудь, говорил он себе, а то расфуфырился, как пижон какой, а сидишь дурак дураком.

— Не уходи,— сказал он.

В горле у него пересохло, и он не знал, куда деть руки.

И вдруг все стало точно таким, как в тот вечер, когда они ходили к заброшенной шахте.

«Море, наверное, очень красивое».

«Меня зовут Якоб Ален».

«А меня Элизабет Бош».

Элизабет пальцем подцепила вишню из стакана и сунула ее в рот. Потом она попросила сигарету, и Якоб очень удивился. Он даже не знал, что она курит.

— Шармёр.

Вдруг подвернулось слово, которое она не вспоминала целую жизнь, а теперь оно вдруг слетело с языка, будто она каждый день его произносит. Уроки бабушки, которая, занимаясь стиркой, накопила богатый опыт общения и с господами, и с проходимцами. «Если подойдет к тебе такой шармёр, беги прочь. Если начнет завлекать тебя красивыми словами, заткни уши. Когда одной рукой он вешает тебе на шею золотую цепочку, следи, куда он полезет другой рукой. Если будешь ходить с животом, такого кавалера поминай как звали».

Хорошо жилось со старухой, прачкой, травницей, гадалкой, вдобавок она умела предсказывать судьбу. Мать пропала без следа, развелась с отцом, вышла замуж за другого, а другой не желал чужого ребенка. Может, она в войну где-нибудь погибла.

— Тысяча морей, тысяча пивнушек,— сказала Элизабет.

— Да, всякое бывало,— ответил он.

Она вдруг смутилась, она ведь почти ничего про него не знала. Хотя вообще-то про жизнь моряков ей слышать доводилось.

Он не пытался ее ни в чем разуверить. Когда-нибудь он и впрямь поедет с ней в Мадрас, они возьмут напрокат катамаран, поднимут ржаво-красный парус, и пусть ветер гонит их на коралловые рифы; право, не такая уж несбыточная мечта.

— Ну и тип же ты,— сказала женщина.

Когда они вышли на площадь перед кафе, ярко светило солнце. Они не знали, куда им теперь податься. Элизабет считала, что решать должен он, а он не знал, как для нее лучше. В конце концов они пошли по Унтер ден Линден. Она поглядела на застывших перед мемориалом часовых, винтовки на полусогнутой руке и вспомнила совет бургомистра не прозевать смену караула. Но смены пришлось бы ждать, а ей сейчас ничего больше не хотелось, кроме как идти рядом с Якобом, забыв про все остальное, про детей и деревню, про вчера и завтра. Когда в незапамятные времена Элизабет ходила с бабушкой по лугу, она всегда хваталась за старухину руку, закрывала глаза и словно по волшебству уносилась за пределы земного тяготения. При этом ей чудилось, будто тело у нее становится невесомым. Она обладала умением парить над землей, как ее бабушка,— волшебным даром предвидения: бабушка умела предсказывать, кому теперь очередь помирать в их маленьком селении, среди холмов, взбегающих полого кверху и так же полого опадающих.

Элизабет была бы куда как рада повторить ту же игру здесь, на Унтер ден Линден, но постеснялась людей.

Они сели на ограду фонтана, подставив лицо солнечным лучам. Ален невольно вспомнил Амстердам, тамошних голубей, которые садятся на плечи и на руки.

«Вот уж не думала, что мне еще будет так хорошо».

«Это только начало».

— Ты видишь самолет? — спросила Элизабет.

— Нет.

— Там, за облаками.

— За облаками нельзя увидеть самолет.

— А я вижу.

— Когда ты будешь в Гамбурге, мы поедем с экскурсией от фирмы «Датское масло».

— Можно слетать и в Чехословакию.

— Я не прочь, поищем «Датское масло» в Чехословакии.

Оба рассмеялись, Якоб Ален взял ее за руки, и ей подумалось, что теперь все хорошо.

Еще засветло она проводила его до пограничного перехода. Ей очень хотелось, чтобы он наконец заметил, что теперь она не такая толстая, как раньше, что волосы она зачесала по-другому и носит его цепочку. Но Якоб Ален и сейчас ничего не заметил. Они помахали друг другу, и она подумала, что в конце концов хорошо и так.

Когда Элизабет Бош начала курить, это вызвало в деревне легкий шок. Баба разменяла шестой десяток — и на тебе! Мужа погребла под собой гора, а жена покупает туфли цвета морской волны, красит губы, накидывает на плечи сиреневый платочек и разгуливает по деревне, как спящая красавица после пробуждения. Поначалу Элизабет и самой было неловко, что она вдруг заинтересовалась нарядами, как незнамо кто. Но потом она подумала: кому какое дело? Почему бы мне и не носить туфли цвета морской волны, когда я кормлю уток, или пеструю косынку, когда я натираю пол? Может, я сошла с ума, ну и ладно, ну и сошла.

Частые письма и бандероли тоже не остались в деревне незамеченными.

— Каждую неделю что-нибудь да приходит, а то и по два раза на неделе,— говорила Эрна Лаутенбах своему мужу. — А тебе, между прочим, он вообще перестал писать.

Но муж Эрны был бригадир полевой бригады, забот у него и без того хватало, где уж тут подсчитывать, сколько приходит писем.

— Не суй свой нос в чужие дела,— сказал он.

Эрна решила, что муж неправ, и обиделась. Никто не может упрекнуть ее, что она сует свой нос в чужие дела, а уж собственный муж и подавно. Она получает корреспонденцию и разносит ее по адресам. Только и всего. Но конечно, трудно не удивляться, когда человек, который отродясь не получал писем, вдруг становится главным адресатом на деревне. А почерк Якоба Алена ей, слава тебе господи, хорошо знаком. Недаром он столько лет переписывался с ее мужем. Вдобавок на каждом пакете можно без труда прочесть имя отправителя. Тут даже незачем выяснять. В дальнейшем Эрна об этом речи не заводила, но про себя была твердо уверена, что за этой перепиской скрывается много больше, чем готов признать ее муж.

Что до бургомистра, то ему с самого начала не понравилась эта связь их бригадира с филателистом из Гамбурга. Филателистов хватает и в Братиславе, и в Гаване, и в поселке-побратиме на Украине, зачем Лаутенбаху понадобился именно Гамбург? На эти доводы Лаутенбах отвечал, что не следует всюду видеть вражеские козни, что он привык уже к Якобу Алену. Лаутенбах и вообще-то был упрям как осел и поэтому не желал, чтобы ему указывали, с кем можно обмениваться марками, а с кем нельзя.

За эти недели Элизабет очень сблизилась с Региной. Регина использовала причитающийся ей год по уходу за ребенком, чтобы на какое-то время перебраться в деревню. Они вместе гуляли с ма-

шом, играли и сообща радовались, слушая его невразумительный лепет.

Как-то раз Элизабет при ней подошла к зеркалу, скорчила гримасу и сказала:

— Настоящая старая ведьма.

— А Раймельт строит тебе глазки,— возразила Регина, и Элизабет покраснела.

— Господи, чушь какая.

Тут Регина без разговоров усадила свекровь на стул и принялась выщипывать у нее брови, подкрашивать веки. Элизабет нашла, что это очень глупо, но все равно затея невестки доставляла ей удовольствие. Однако, как ни радовал ее приезд Регины, она с каждым днем испытывала все большее беспокойство. За все время Ханс не подавал никаких признаков жизни, а на ее расспросы Регина отвечала как-то уклончиво. Немало ночей Элизабет провела без сна, терзаемая мыслью, что дети несчастливы друг с другом. «Нынче распадается столько семей. У них высшее образование,— думала она,— ну что я им могу посоветовать?»

Как-то, на исходе дня, она достала из шкафа стопку газет.

— Это все написал Ханс,— сказала она,— а я сберегла.

Стопка была перевязана шелковым шнуром. Элизабет держала ее в руках, как нечто очень хрупкое.

— Вот какие у меня детки,— сказала она.

Регина начала перелистывать газеты. Она снова и снова натыкалась на заголовок, большими, жирными буквами: «Без уверток». Сделанная Хансом серия интервью вызвала широкий резонанс не только у них в округе. Он тогда второй год работал в газете. Новые, дерзкие интонации, вот как говорили о Хансе. Многие предсказывали, что на этом деле он себе скоро сломает шею. Но ничуть не сломал, его назначили редактором отдела, членом редколлегии, собирались даже перевести в Берлин, но главный редактор сумел его удержать. Без уверток. Счастливое время. Регина улыбнулась, она вспомнила, как они безумствовали оба — преуспевающий молодой журналист, ракета вертикального взлета, как его называли некоторые, и она, студентка педагогического института. А началось все со студенческого бала. Незадолго перед этим Ханс брал интервью у их ректора, много рассуждал о двуликости, которая неизбежно воспитывается погоней за отметками. На Ханса обрушились с нападками, его вызывали к начальству, но от работы не отстранили. И она, Регина, восхищалась его неустрашимостью. Они предавались любви в парке, в общежитии, в его крошечной квартире. Она завалила два экзамена, потому что учеба ее больше нисколько не занимала, но накануне пересдачи Ханс зубрил вместе с ней, и когда она благополучно все пересдала, они на выходные дни залегли в постель. Угар, наваждение.

— Да,— сказала она,— да, да,— и отодвинула газеты.

— Что-то у вас неладно.

«Теперь он почти не пишет»,— подумала Регина.

— Скажи мне честно, если у вас что-то неладно.

— Что у нас может быть неладно?

— Не знаю.

«Я и сама не знаю»,— подумала Регина.

Возможно, он прав, возможно, я и впрямь изменилась после рождения Пабло. Его съедает работа: редакция, горсовет, партийные обязанности — сплошь важные причины. Этим можно объяснить все — и даже любую несостоятельность.

— Я начинаю задыхаться в четырех стенах,— сказала Регина.— Надо снова выходить на работу.

Элизабет взяла газеты, бережно увязала их и отнесла обратно в шкаф. «Неужели она не замечает, что стопка не увеличивается,— подумала Регина.— Твой сын исписался. Ты только почитай, что он пи-

шет теперь, хотя и изредка. Раньше он обсуждал со мной свои статьи, сегодня он их от меня прячет. Мы разговариваем и топим все в разговорах, заверяем друг друга в вечной, неизменной любви и постоянно ругаемся. Я стала ворчливая, как он считает, я не понимаю «возросшей ответственности». Мир изменился. Возможно, мама, возможно, мир изменился. Мы все меняемся. Он и сам чувствует, что с ним неладно. Вот почему он и хочет уехать, все равно куда, лишь бы уехать».

— Мы ненадолго уедем то ли в Швецию, то ли в Англию. Мы очень рады, оба,— сказала она.

А Элизабет подумала: «Другие страны, об этом он всегда мечтал. Не надо бы мне его удерживать, когда его хотели послать учиться в Москву». Задним числом она упрекала себя, что по слабости удержала сына. Москва была для нее все равно что другая планета. Сама мысль о разлуке вызывала у нее слезы. Ханс на много лет уехал бы далеко-далеко. «Только ради меня он отказался от предложения. И вот теперь он несчастен, а виновата во всем я».

— Эта поездка пойдет на пользу вам обоим. А мальчика я могу для начала взять к себе. Чтоб вы сперва обжились на новом месте.

Какое-то время они молча сидели друг против друга. Стемнело. И вдруг, без всякой видимой связи, Элизабет сказала:

— До чего все тихо, мне прямо страшно от такой тишины.

Регина думала, что мать уже сейчас начинает страдать от предстоящей разлуки, и хотела как-то отвлечь и развеселить ее.

— Откуда у тебя такая красивая шерстяная кофта? Я давно хотела спросить.

— Из Гамбурга,— ответила Элизабет, радуясь, что Регина не может видеть ее лицо.

— Мужчина?

— Да, мы изредка переписываемся.

Регина вспомнила про Ханса, про Лондон и про Стокгольм. Знает, Гамбург. Впрочем, сейчас это все не так страшно, подумала она.

— Он к тебе ездит?

— Это совсем не то, что ты думаешь. У него свои четыре стены, у меня свои. И за плечами у каждого много чего осталось, так что нам не сойтись, нет и нет.

На другое утро Регина с малышом уехали в город.

— Ханс один не управится,— объявила она.

И Элизабет ответила:

— Ну, поезжай, поезжай.

Немного спустя Элизабет купи́ла участок земли возле могилы мужа, заменила на ней плиту, хотя и старая была еще в полном порядке. Она посадила на могиле анютины глазки и фуксии, а в головах — цветущий белым рододенди́рон.

Деревня готовилась отметить свое четырехсотпятидесятилетие. Причем отметить самым достойным образом. Добровольная пожарная дружина отреставрировала пожарную машину кайзеровских времен, устроили кегельбан, покрасили фасады домов, заказали к празднику карусель и эстрадных певцов, одному поэту поручили написать праздничную оду. Раймельт действовал с таким размахом, словно деревне исполнялось не каких-то там четыреста пятьдесят лет, а целая тысяча. Элизабет Бош была избрана в юбилейный комитет. Ей поручили заботиться о том, чтобы каждый участник получил свою порцию жареного цыпленка, и сосиски, и свинину на вертеле. Первоначально все эти торжества не были предусмотрены. Денег не хватало. Но на общем собрании кто-то задал вопрос, доведется ли деревне справить свое пятисотлетие. Шахта подступала все ближе и ближе, никто теперь не желал здесь селиться, а некоторые уже на-

чали покидать деревню. Химкомбинат заманивал их квартирами с центральным отоплением. Раймельт называл это свинством и безобразием, посылал жалобы сперва в район, потом в округ, наконец — в Берлин. Оттуда и поступила рекомендация — устроить фестивальную неделю, то ли затем, чтобы положить конец жалобам, то ли затем, чтобы успокоить людей, но при этом не помешать уборке урожая. Вот и решено было праздновать между жатвой и уборкой картофеля.

Хлопот было выше головы, поэтому на Элизабет Бош никто теперь не обращал внимания. Регина получила для Пабло место в яслях и снова учительствовала. Ханс вдобавок ко всем своим обязанностям начал изучать шведский язык, отводя под него выходные дни, а то и ночи. А Маша — Маша, та вернулась к Херботу. И снова сопровождала его на всякого рода заседания в Дрезден, Росток — словом, повсюду. Она любила этого человека. А София — это был просто бесцельный взбрык, и она не желала больше ломать голову над вопросом: разумно это или неразумно.

К тому времени, когда расцвела облепиха, Элизабет Бош опять запросилась в отпуск. Теперь уже на несколько дней. Остаток она потом отгуляет, а когда — сказать трудно.

— С события ни под каким видом не отпущу,— сказал Раймельт.

Четырехсотпятидесятилетие он упорно именовал событием.

Она еще в жизни никого не подводила — так ответила ему Элизабет.

— Все равно мое дело предупредить. Празднованию дан ход, телевидение уже интересовалось выигрышными моментами.

А потом, когда Элизабет стояла в дверях, он спросил, кому это она понадобилась, невестке, что ли, раз Регина снова вышла на работу. Для больных внуков нет ничего лучше бабушки.

— Я еду в Берлин,— услышал Раймельт в ответ, и, скажем прямо, для него это было чересчур. Дался ей этот Берлин, подумал он. Гардины у нее уже есть, пальто тоже, и туфли зеленые, и новая кофта из исландской шерсти, и шарфик сиреневый, а новые посылки все приходят и приходят. Дело, конечно, хозяйское, она имеет право получать подарки от кого захочет. Но в деревне, между прочим, тоже есть мужчины. А этот гамбуржец ему с первой минуты не внушал доверия. Если тебе что-то надо, изволь приехать сюда, а не околачивайся где-то там в Берлине, на незнамо каких улицах, в незнамо каких ресторанах. Это никогда добром не кончалось. Ни для одного, ни для другого. Вот как обстоят дела, и пусть она узнает, что́ он думает.

— Ничего такого нет,— сказала женщина.

Она снова вернулась в комнату.

— Право слово, ничего.

Теперь, конечно, ему следовало бы сказать: «Я не хочу, чтоб ты уезжала. Если ты уедешь, мне здесь тоже нечего делать. Деревня — это еще не все, и работа, в конце концов, тоже не все. Рано или поздно они посадят другого на мое место, а я буду сидеть дома и глядеть в стенку. Ты, может, и не поверишь, но мне страшно, и никто из здешних не поверит, но мне страшно».

Впрочем, ничего такого Раймельт не сказал.

Честно говоря, предстоящая поездка страшила Элизабет Бош. Ей казалось, что она все глубже увязает в чем-то, из чего нет пути назад. Ален писал, настаивал, просил. Он был робкий и какой-то беспомощный. Порой до смешного. Потом он снова казался ей очень сильным. «Горы где-то кончаются, а вот море...» Он так никогда и не договорил эти слова до конца. Но может, именно поэтому она снова и снова задумывалась о том, какое же оно, море, на самом деле: огромное, большое, бесконечное. Может, Ален и сам этого не знал, а

может, и знал, но не было таких слов, чтоб описать море, как нет их для многого, с чем она встречалась на своем веку. Горы где-то кончаются, а вот море... Она знала, что рано или поздно сделает, как хочет Ален. Жена да убоится мужа своего, так она это заучила, так оно, пожалуй, осталось и по сей день. Но уехать она не уедет. Ни за что. Здесь у нее дети, здесь могила мужа, а возле могилы мужа кусок земли, который ее дожидается. Чего ради она за него уплатила, уж верно не для того, чтобы бросить.

— Ну что ж, желаю счастья,— сказал Раймельт.

— Верно, так оно и будет,— ответила женщина.

И ушла.

— В другой раз извести меня заблаговременно,— крикнул бургомистр ей вслед, но Элизабет уже не услышала.

При всех неувязках и сложностях в отношениях между двумя государствами и системами существовали и твердые установки. Каждый хотел жить, и каждый отыскивал средства к существованию. Берлин, снова и снова Берлин. Хотя никто не мог бы сказать, какая судьба уготована этому городу. Стена, она же государственная граница, достопримечательность для высоких гостей и для туристов — посмотрите туда, посмотрите сюда,— с одной стороны вся расписанная, с другой — бдительно охраняемая. Одни только кролики хорошо себя чувствовали в подстриженной траве ничейной земли.

Якоб Ален не верил в полное уничтожение человечества. Земля еще станет прекрасной, просторной, без изгородей. Но жизнь в новом тысячелетии его не слишком волновала. «Чтоб немножко солнца над Эльбой и вместе пройти жизнь до конца»,— однажды написал он Элизабет. А она в ответ: «Опять ты говоришь глупости».

А сама украдкой достала школьный атлас детей, нашла эту реку и нашла этот город. Ей так хотелось узнать, как ему там живется и что значат слова: горы где-то кончаются, а вот море...

С помощью брата Якоб снял комнату в районе Пренцлауэрберг. Квартира принадлежала одной разведенной женщине. У нее в Западном Берлине жил дядя, а друг дяди был постоянным клиентом Бернарда Алена. Якоб платил за комнату в той валюте, которая больше устраивала женщину, и обе стороны были довольны.

Полуночник.

В двадцать четыре часа — здесь. Потом — туда, а через полчаса обратно. Между этим «туда» и «обратно» штемпель пограничного контроля. Ален уже не помнил, как он узнал об этом способе: то ли заметка в газете, то ли передача по телевизору, то ли разговор с товарищами в порту. Целую неделю сновать между пограничными столбами. А брату он сказал: «Знаешь, иногда мне кажется, что мы стоим на мосту, машем кораблю, но с корабля никто не машет в ответ». И брат на это: «Опять ты ударился в философию». Бернард Ален считал всю затею Якоба чистым безумием.

«Безумие — не безумие,— отбивался Ален,— но так оно будет».

«Только бога ради не делай глупостей,— предостерегал брат.— Ихняя полиция и суд церемониться с тобой не станут. А всего лучше — выкинь ты эту женщину из головы. Мало их, что ли, между Гамбургом и Мюнхеном».

Якоб смеялся над страхами своего брата. На вопрос, уж не собрался ли он часом жениться на этой женщине из Саксонии, отвечал беззаботно: «Само собой».

«А она, она-то за тебя пойдет?»

Так, напрямик, Якоб Ален еще ни разу ее не спрашивал. А чего им, собственно, ждать? Вот он и снял квартиру в восточной части города, чтобы обо всем договориться.

«Думаю, да»,— отвечал он.

Квартира была расположена на втором этаже дома, окнами на задний двор. С вокзала Элизабет взяла такси. Комната была большая, высокая и темная. Со двора несло залежалыми костями. Сюда выходили подсобные помещения мясной лавки. С четырех сторон двор обступали грязные стены домов. Стены подхватывали каждое слово, сказанное во дворе, каждый удар по мусорным бакам и несли кверху. Элизабет всякий раз вздрагивала. Ей казалось, будто ее заперли здесь.

И это при том, что хозяйка оказалась душевной женщиной, не задавала лишних вопросов, сварила хороший кофе.

— Я целый день на работе, располагайтесь, как дома,— сказала она, дала Элизабет ключ и ушла.

Элизабет хотела сбежать, но не могла сделать ни шагу. Дева Мария, думала она, дева Мария. А это значило: почему я делаю так, как хочет он? Детям будет стыдно за свою мать. Тут она вздрогнула, потому что внизу у мясника взвизгнула какая-то женщина. Элизабет придвинула стол к окну, переставила стулья, порылась в своей большой сумке, достала оттуда все, что привезла: пироги, маринады, салями — и принялась есть, есть. Когда он придет, она прямо так и скажет: «Не морочь меня твоими фантазиями, черные чайки, синие чайки, ерунда какая. Где кто живет, там ему и хорошо».

У нее вдруг отлегло от сердца. Все очень просто, она — глупая баба, а Раймельт — умный мужчина. «Нечего тебе там делать». Он прав, так оно и есть.

Проверка на границе тянулась бесконечно, паспорт разглядывали дольше, чем обычно. Таможенник заставил выложить на стол все предметы из портфеля, спрашивал, не везет ли он журналов, кассет. Когда Якоб начал терять терпение, молодой человек строгим голосом ему сказал:

— Кто к кому едет, вы к нам или мы к вам?

Немало времени ушло у него и на то, чтобы поймать такси. Он хотел объяснить Элизабет, почему так припозднился, но ее не интересовало, что какой-то министр или партийный лидер произнес в здании рейхстага речь против чего-то или за что-то, во всяком случае неприятную для здешних властей, не интересовало ее также, хватает в Берлине такси или нет. Ей было худо оттого, что она так много съела, а от долгого ожидания — еще хуже.

Якоб Ален сел на один из жестких темных стульев, Элизабет подошла к окну и выглянула во двор. Оба были утомлены, словно после тяжелой и бессмысленной работы. Стояла такая тишина, что можно было слышать ход времени. А потом прозвучали эти слова. Якоб сказал их, и даже не ей, а самому себе сказал, не разочарованно, не огорченно, он просто констатировал:

— Есть на свете люди, про которых счастье не писано.

Только тут она повернулась к нему и взглянула на него. Ей вдруг показалось, что она должна защитить его, удивительное чувство, до сих пор она испытывала его только по отношению к детям. То ли правая рука Якоба без двух пальцев растрогала ее, то ли слишком большие уши, то ли ожило в ней воспоминание, как он шел по деревенской улице и земля словно раскачивалась у него под ногами. Во всяком случае, она начала прибирать разбросанные вещи.

— Ты, верно, проголодался,— сказала она.

А он:

— Наша первая размолвка.

— Боюсь, это все ошибка.

— Что?

— Да вот, у нас с тобой.

— Мы пока даже и не пытались.

— Мне уже не тридцать лет.

— Но и умереть ты пока не умерла.

Якоб ел безо всякого аппетита, хотя на улице испытывал ужасный голод. Потом они сидели в нише перед высоким окном. Стемнело, но они не зажигали огня. Так каждый мог оставаться сам по себе, хотя их и тянуло друг к другу. Начался дождь, капли стучали по крышкам мусорных баков, и Элизабет думала: «Здесь бы я жить не смогла». Она не сообразила, что это вовсе не ее слова, а слова Алена.

— Скажи что-нибудь,— попросила она.

— Что сказать?

— Что-нибудь.

Она похожа на Грету, подумал он. Но что ей сказать, в голову не приходило. Да и вообще он не любил много разговаривать. Элизабет подумала: опять я. Дети, те ухитрялись после какой-нибудь ссоры по два дня не проронить ни слова, покойный муж — тоже. А она такого напряжения не выдерживала. У бабушки схлопочешь, бывало, по мягкому месту — и порядок.

Как тихо стало, прямо страшно от такой тишины. Подобные мысли начали у нее появляться, когда разъехались дети. Сын все время хотел съездить вместе с ней в Чехословакию. И не понимал, почему она боится такой поездки.

— Расскажи мне про твою жену.

— А чего про нее рассказывать?

— Она была красивая?

— Да.

Элизабет очень хотелось услышать от него, что и она тоже красивая. Пусть даже это неправда, все равно услышать было бы приятно.

— Ты очень ее любил?

— Да.

— А она?

— Она была добрая женщина.

И снова Элизабет почувствовала в нем какое-то внутреннее сопротивление. Здесь было что-то заповедное, чего никому трогать не дозволялось. Но тогда стоит ли ехать с ним в чужой город, в тот дом и тот сад, где каждый кустик рассказывает о другой, которая для Якоба совсем не другая, а другая только для нее, Элизабет Бош, переселенки.

— Мы тоже всегда хотели иметь детей,— вдруг заговорил он,— но когда на город начали падать бомбы, каждую ночь, и весь город горел, тогда мы даже порадовались, что у нас нет детей.— И потом, словно догадавшись, о чем думает женщина, он сказал: — Во мне все заглохло. А совсем без радости человек просто не может жить.

Вот это она вполне могла понять. Ей захотелось сказать Якобу что-нибудь ласковое, но она не знала, что именно. И провела пальцами по его лбу, по его губам, по его изувеченной руке. А он сидел неподвижно, боясь, что это может кончиться так же внезапно, как и началось.

В половине одиннадцатого отправились на пропускной пункт. У самого перехода Якоб сказал:

— Я сейчас вернусь.

Женщина схватила Якоба за руку, словно боясь, что его у нее отнимут. Все еще лил дождь. Элизабет зашла в подъезд. Ее знобило.

Когда прошел час, а Ален так и не вернулся, она решила, что с ним что-то случилось. Она хотела подойти к пограничникам, но духу не хватило, хотя, конечно же, ей бы ничего плохого не сделали.

«Ведите себя разумно, гражданочка».

Она больше не желала вести себя разумно. Она всю жизнь была разумной. А теперь она хотела быть такой, про которую люди говорят: ненормальная или неразумная. «Во мне все заглохло, а совсем без радости человек не может жить».

«У меня есть мои дети, у меня есть мои дети, у меня есть мои дети».

Она без устали повторяла эти слова так, будто они могли прибавить ей силы, и при этом сделала удивительное открытие: дети теперь не так уж много для нее и значат, меньше во всяком случае, чем этот мужчина, который куда-то запропастился и больше не приходит. Она почувствовала слабость в ногах и оперлась на выступ в стене.

И вдруг перед ней возник Якоб Ален.

— Пошли домой,— сказал он.

Они начали искать дорогу и тут только поняли, что дома-то у них нет. Трамваи уже не ходили. Пробовали остановить такси, раз, другой, третий. Такси не останавливались. Два часа они брели по пустынным улицам. Над городом они слышали все крепнущий рокот ночного самолета. И хотя они никого и ничего больше не встретили, она по-прежнему испытывала страх. Ей хотелось сесть на край тротуара и никуда больше не ходить. Пусть наступит день, а за ним ночь, а за ночью опять день.

— Мы скоро будем на месте,— сказал Якоб Ален. Он стоял под дуговым фонарем и отыскивал на карте улицу.

И тут Элизабет поняла, что такая жизнь не по ней. Может, виной всему была ночь, чувство заброшенности, страх неизвестности. А ведь было время, когда она жила, не ведая сомнений: дети, деревня, работа. Может, именно эта ночь и определила ее дальнейшую судьбу. Едва они переступили порог чужой квартиры, про которую Якоб сказал: «Пойдем домой», Элизабет начала плакать и все плакала и не могла успокоиться.

Ален растерянно гладил ее по лицу и приговаривал:

— Ничего, ничего, все образуется, все образуется.

Элизабет судорожно прижалась к нему, словно именно он мог защитить ее от неизвестности.

Потом, когда Якоб уже спал, Элизабет, так и не сомкнувшая глаз, ощупью нашла его руку и подумала, что было бы хорошо, чтобы он всегда был рядом и чтобы утром просыпаться возле него.

Еще она подумала, что весной даже у них в деревне трава зеленеет, в нее можно зарыть лицо, можно жевать кислицу и вдыхать аромат луговых цветов. Только потом зола с комбината покроет все тусклым и желтым налетом.

Ален уплатил хозяйке за неделю вперед, но они провели в снятой им комнате только еще один день, съездили на электричке к одному из озер, пообедали в маленьком ресторанчике, ели гуляш, пили пиво, гуляли по берегу, присели ненадолго, пошли дальше, почти не разговаривая. Хотя Якоб собирался расставить все точки над «i». Лишь вечером, когда Элизабет провожала его к пограничному переходу, он сказал: «Сейчас многие приезжают.— И поскольку Элизабет промолчала, он добавил:— Сейчас это гораздо проще».

Все время Элизабет боялась, что Якоб заговорит об этом. Где ему понять, думала она, он сам себе голова.

— Могу и я переехать в деревню,— сказал он,— здесь ли, там ли, все едино. Главное, чтоб мы были вместе.

Она заметила, что ему было не так легко произнести последние слова. Сомнений нет, он сам себя обманывает. Продать дом на берегу реки, навсегда покинуть корабли, гавань. Нет, добром это не кончится, рано или поздно он упрекнет ее в том, что несчастен. Такое ему не осилить, все сразу не осилить. Она, пожалуй, смогла бы, у нее такое всегда получалось. Пусть даже ему дадут много денег за свой дом у реки — счастья на них не купишь. Ни там, ни здесь. Он и дня не прожил в деревне, как уже сцепился с бургомистром и с хозяином ресторана. А дальше будет еще хуже.

— Куда торопиться-то,— сказала она.

А он подумал: потом, потом, все всегда откладывается на потом.

— Когда мы умрем, оно, конечно, будет лучше.

Она не ответила, а только держала его за искалеченную руку. И Якоб вдруг ни с того ни с сего припустил бегом, как тогда, по дороге от пруда к деревне, когда она спросила его про жену.

— Не понимаю я ничего,— сказал он.

Мужчина уже миновал пограничный контроль и оглянулся еще раз, напоследок. И тогда женщина не могла удержаться, помахала и выкрикнула ему вдогонку:

— Я приеду, вот увидишь, я приеду.

И заметила у него на лице недоверчивую улыбку.

Через несколько часов Элизабет уже ехала к себе в деревню. Ей было грустно, но в то же время весело и как-то вольготно. Но эта ее новая воля означала для нее новый плен. Если до сих пор она была убеждена, будто достаточно уже поразмышляла обо всем важном и значительном в своей жизни, то теперь вдруг обнаружила, что в ней живут мечты, о существовании которых она до сих пор почти не подозревала. Она не переставала удивляться, как это в последнюю минуту, когда Якоб уже ни на что не надеялся, дала ему такое обещание. Пусть не обещание, но уж во всяком случае вселила в него надежду. Не надо мне было так говорить, думала женщина. А потом снова принималась уговаривать себя, что муж ничем не помешает детям, а дети — мужу. Гамбург — там, деревня — здесь, все это не так уж непреодолимо. Люди хотят мира, они достаточно хлебнули лиха. Зайдя в мыслях так далеко, Элизабет уже начала делить свое скромное хозяйство. Кресло, что перед окном, она возьмет, белье постельное тоже, и шкафчик с принадлежностями для шитья, и старые часы, они так мирно тикают. Кушетка пусть останется Маше, и телевизор, и вообще все остальное. Ханс уже стал на ноги, и сам хорошо зарабатывает. Альбом она, разумеется, тоже возьмет, там фотографии мужа, детей, маленького Пабло.

Поезд остановился на перегоне. Стояла глубокая ночь, где-то вдали мерцал слабый свет. Элизабет вспомнила Берлин и Якоба, когда он сказал ей: «Пошли домой» — и как они брели по незнакомым улицам под дождем, и как ей хотелось сесть на тротуар. Домой. Было время, когда она считала, что дом — это маленькое селение среди невысоких Богемских гор. Первые недели после войны домом стала проселочная дорога, потом родная деревня ее мужа, потом чужая комната в одном из задних дворов Берлина. И еще, и еще. Она вдруг перестала понимать, где, собственно, ее настоящий дом.

К утру Элизабет добралась до своей квартиры. Она слишком намучилась, чтобы есть либо умываться с дороги. И проспала до середины дня.

Однажды к Элизабет заявилась незнакомая молодая женщина. Она назвалась Беттиной Хербот, просила извинить за бесцеремонное вторжение, но она просто не знает, к кому ей еще обратиться. Элизабет никак не могла понять, к чему она клонит, однако пригласила женщину войти и сесть. Женщина спросила, можно ли здесь курить, зажгла сигарету, не дожидаясь разрешения, и руки у нее при этом дрожали. Ее нервное возбуждение передалось Элизабет. Она предложила сварить кофе, чтобы хоть что-то сказать и что-то сделать

— Нет-нет,— отказалась Беттина Хербот,— не беспокойтесь, пожалуйста.

Она загасила сигарету, но тут же раскурила вторую. И поинтересовалась, дома ли дочь Элизабет?

— Нет. А в чем дело?

Элизабет вдруг охватил страх. Она испугалась, что с Машей что-то случилось. После несчастья на шахте она так и не смогла до конца избыть свой страх, порой вскакивала среди ночи и кричала.

— Мой муж меня обманывает,— сказала женщина.

Она сказала это спокойно, словно говорила на какую-то постороннюю тему. И попросила чашечку кофе. Но Элизабет не могла подняться с места. «Чего хочет от меня эта женщина»,— подумала она, укрываясь за своим непониманием, хотя, конечно же, прекрасно поняла, с чего эта Херботша, или как там она себя назвала, заявилась к ней, именно к ней.

— Если это очень сложно, тогда не надо,— услышала Элизабет.

— Сейчас все будет готово.

Она была рада, что есть повод уйти на кухню. Ей была в тягость эта женщина. Делает вид, будто совершенно спокойна, а сама гасит одну недокуренную сигарету и тут же берется за другую. Блузка в тон юбки, юбка в тон блузки, жалкое лицо, лак на ногтях, усталые глаза. Как-то не вяжется одно с другим. Она, верно, принимает таблетки, подумала Элизабет, а теперь еще кофе, это плохо. Впрочем, какое мне дело, пусть принимает любую дрянь сколько влезет.

В маленькой квартирке стало очень тихо. Только из крана капало, а потом засвистел чайник.

Беттина Херботпришла вслед за ней на кухню.

— Мне очень жаль,— сказала она.

— Вам покрепче?

— Да, пожалуйста.— И чуть помолчав:— Мне дали адрес в общежитии. Я думала, что ваша дочь здесь.

— Вы просто ищете своего мужа.

Элизабет рывком распахнула дверь в спальню и в ванную.

Гнев, беспомощность и отчаяние толкали ее на такую резкость.

Беттина Херботвыпила свой кофе и снова закурила.

— Ради него я забросила все: учебу, друзей, все. Я отвратительно себя веду, я сама понимаю, что отвратительно.

Элизабет взглянула на нее.

— Я ничего об этом не знала.

У нее было такое чувство, словно она должна оправдываться перед гостьей.

— Вот глупая девчонка,— сказала она,— вот глупая.

Элизабет тоже почувствовала себя обманутой. София, откуда же взялась София? И вообще, я слишком много ей спускаю, верю всему, что она говорит. Впрочем, что ж ей еще остается делать, дети уже давно переросли ее, говорят слова, которых она не понимает, и она гордится, что у нее такие умные дети. Тайком она купила словарь, но даже с помощью словаря разговоры, которые вели между собой Ханс и Маша, не становились для нее понятнее.

— Я пошла на это только ради детей,— сказала женщина.

Вот тут Элизабет вполне могла ее понять. Да, да. Ради детей приходится многое сносить, хотя «спасибо» от них потом не дождешься. Далее гостья сообщила ей, что у семейства Херботов есть два мальчика, семи и девяти лет, что оба они всем сердцем привязаны к детям, и муж и жена, и что просто страшно себе представить, как все это рухнет из-за какой-то глупой интрижки. В слово «интрижка» Беттина Херботвцепилась, будто клещами, а Элизабет это очень рассердило. Что за вздор несет гостья, «ради него забросила». Может, и не забросила вовсе, а просто не потянула, и замужество пришлось ей очень кстати. Приехала небось на красной «Ладе», и собственный дом у них тоже наверняка есть. «Глупая интрижка» — ее Маша выше этого. Она подыскивала слова, чтобы достойно возразить этой женщине, но ничего подходящего не нашла. Тогда она поднялась и сказала:

— Вы уже видели, здесь его нет.

Ох, уж эти важные господа, подумала она после того, как Беттина Херботт ушла, спесивые важные господа. А еще она подумала, что слишком поздно приходят ей на ум правильные слова.

Еще до исхода дня Элизабет поехала в общежитие, но там никто не знал, куда делась Маша. В конце недели она уложила вещи и ушла. Все думали, что она дома. Элизабет хотела поговорить с Хансом, но тот уехал на совещание в Берлин. Регина старалась как могла успокоить свекровь.

— Сейчас на это смотрят по-другому.

— У него дети.

— Ну и что?

Откуда ей знать, каково это — поднимать детей без отца, подумала Элизабет.

— За все приходится платить,— сказала она,— рано или поздно платит каждый, и никому от этого не уйти.

— Ты ничего не можешь изменить.

— Маша — моя дочь.

— А изменить ты все равно ничего не сможешь.

Регина предложила Элизабет заночевать в городе, но она отказалась.

Она хотела вернуться в деревню, там она лучше себя чувствует. Она поцеловала маленького Пабло и ушла.

Ночью она не могла уснуть, приняла одну таблетку, потом другую. Утром пришло письмо от Якоба. Оставил бы меня в покое, подумала Элизабет. И, не прочитав, подложила письмо к остальным. А где-то ближе к середине дня она снова поехала в общежитие. Маша все еще не появлялась. У Элизабет сильно разболелась голова. На вокзале она выпила чашку кофе, и ей стало немного лучше. Потом она снова пошла к Регине, и Регина снова посоветовала ей не принимать всю эту историю так близко к сердцу, не ближе во всяком случае, чем сама Маша.

— Она завалит экзамен, и ее выгонят из университета.

Тут Регина не могла удержаться от смеха. «Много шума из ничего».

— Мы все не святые, и ты тоже не святая.

Эти слова больно задели Элизабет. Она пожалела, что рассказала невестке про Якоба Алена. «У нас совсем другое дело»,— подумала она.

— Мама, не выставляй себя на посмешище,— еще сказала Регина,— Маша давно уже не держится за твой подол.

Воздух тяжело висел над городом. В такую погоду у нее отекали ноги. Элизабет хотела вернуться домой, но уже на вокзале передумала, взяла такси и велела шоферу ехать на комбинат. Она хотела сказать Херботу, что так поступать нельзя, ни из-за детей, ни из-за Маши. Счастья это не принесет никому. Можно убедиться на множестве примеров. Но застала она только Херботова заместителя, долговязого молодого человека, который чем-то напомнил ей сына. Он пригласил ее к себе в кабинет, а она шла за ним и думала: «О чем же это я буду с ним говорить?». И захотела уйти. Оба растерянно стояли друг против друга, и вдруг силы оставили ее, и уши заложило.

Он увидел, как она побледнела, придвинул ей стул и принес стакан воды.

— Уже все прошло,— сказала она.

Ей было стыдно сидеть в таком жалком виде перед молодым человеком, который решительно не знал, как ему с ней поступить. Она подумала, что было глупо вообще приходить сюда. «У меня личный

вопрос,— сказала она,— и не очень важный, еще успеется». Элизабет подняла глаза на молодого человека, тот стоял перед ней в таком смущении, словно она застала его за чем-то недозволенным, и у нее невольно возникло подозрение, что на комбинате все гораздо лучше осведомлены про Машу, чем она, родная мать. Она встала и, не промолвив больше ни единого слова, вышла из комнаты.

Она бесцельно слонялась по улицам. Она была уверена, что с каждым новым шагом наделает еще больше ошибок, но не знала, как же ей себя вести. Она жалела, что нельзя посоветоваться с милой, доброй бабушкой. Уж верно, у бабушки оказалась бы в запасе подходящая к случаю присказка. Но бабушки давно не было на свете, и у Элизабет Бош мелькнула мысль, что, может, не так уж и плохо уйти вслед за бабкой. Мир и без нее прекрасно обойдется.

На Якоба Алена напала странная болтливость. Так, во всяком случае, расценивали эту перемену его товарищи в порту. Он, правда, и всегда был какой-то странный. Они никак не могли понять, с чего это Якоба вдруг потянуло на политику, его, который отродясь ничем не интересовался, кроме почтовых марок да небольшого участка на берегу Эльбы. Теперь же его просто распирало от слов, плотина молчания была прорвана. В утренний перерыв, в обеденный перерыв, на профсоюзном собрании. Смешно было глядеть со стороны, как он горячился, выступая за мир и осуждая все и всяческие агрессии. Ведь от этого всегда страдает «маленький человек». А он, Якоб, в конце концов, имеет право на кусочек счастья, который не сможет отобрать у него никто из начальства. Вот как обстоят дела, и вот за что надо бороться. Подобные речи в его устах вызывали улыбку даже у тех, кто был с ним согласен. Уж не перекинулся ли он к коммунистам, как-то спросили у него, и Якоб ответил: «А почему бы и нет?»

Брат по-прежнему наседал на него, уговаривал продать домик на берегу Эльбы и вложить вырученные деньги в его дело, в автопокрышки. Сообща они смогут основать большое предприятие. В свое время Якоб отверг предложение брата как совершенно неприемлемое. Теперь же он вызвал маклера, чтобы расспросить о предположительной стоимости участка и дома. Маклер перво-наперво сказал ему, что ценность представляет сам участок на берегу, а не домик. Любой покупатель его снесет. Конечно, он сейчас не может назвать окончательную сумму, но если дело сладится, Якоб не будет знать забот до конца своих дней. Якоб сказал, что ему надо все тщательно продумать. Когда он представлял себе, что ему придется жить вдали от моря, в буроугольном районе либо среди высотных домов Западного Берлина, на ум сразу же приходило множество доводов, почему не стоит опрометчиво действовать. Да и куда спешить?

«Я приеду, вот увидишь, я приеду».

Вот что она ему крикнула в последнюю минуту, когда на переходе уже проверили его паспорт. А ведь он-то, оборачиваясь к ней, как раз подумал, что так оно и есть, что бывают на свете люди, про которых счастье не писано. Больше к этому добавить нечего. Каждый живет там, где живет, может, она и права. И вдруг — надежда. А там уж, верно, найдется какой-нибудь способ, чтобы она могла регулярно встречаться с детьми. Только пусть сразу обращается в Берлин, а не карабкается по ступенькам от одной инстанции к другой. Не то ее заявление застрянет на каком-нибудь этапе, и про него все забудут. А он готов сделать все, чего она потребует: вступить в партию зеленых — пожалуйста, к коммунистам — пожалуйста. Ему все равно. Пусть она упомянет в своем заявлении, что он — из левых. Такие советы давал ей Якоб в своих письмах, но Элизабет не отвечала, и Якоб почувствовал, что его обвели вокруг пальца. Он злился на Элизабет, но и тосковал по ней. Ему все обрыдло — порт, дом, река.

Он был готов все продать, готов — и не готов. То он хотел переехать в деревню, то его охватывал страх перед таким шагом.

«Я приеду, вот увидишь, я приеду».

Он судорожно цеплялся за эти слова. Он заказал в стекольной мастерской новые рамы, больше старых. Чтобы в комнатах стало светлей, чтоб они не были такими темными, как та комната на заднем дворе, в Берлине.

Ханс Бош вернулся из Берлина домой. Наконец-то они приняли решение: не Стокгольм, не Хельсинки, не Лондон, а Дамаск. Регина сможет там работать в школе при посольстве. В том же комплексе расположен и детский сад, для Пабло. А первые месяцы, пока не кончатся все хлопоты с переездом, малыш пусть поживет у матери в деревне, она будет только рада.

— Наконец-то,— сказал Ханс и достал из портфеля бутылку вина, которую купил в магазине «Деликатесы»,— наконец-то.

Он обнял Регину, поцеловал ее, она давно уже не видела его таким веселым, он подбежал к постельке малыша, поднял его, спящего, на руки. Его даже не смутило, что Пабло начал реветь.

— Ты полетишь в Дамаск,— кричал Ханс,— ты у нас полетишь в Дамаск!

Он подбрасывал мальчика в воздух и ловил его. Регине с большим трудом удалось успокоить Пабло, а Ханса спросила, уж не спятил ли он, раз может так пугать ребенка. И все же она была счастлива, потому что счастлив был ее муж. Он сегодня выглядел совсем не так, как последнее время, он освободился от гнета, который грозил раздавить его. Хорошо на какое-то время уехать отсюда, подумала она. Не важно куда, лишь бы уехать. Изо дня в день одно и то же, одно и то же, от этого можно сойти с ума. «Наконец-то» — такое привычное слово. Детский дом, интернат при школе, общежитие при университете, и потом наконец-то собственный дом, муж, ребенок. В ней до сих пор жил страх, что у нее могут снова все отнять. Может быть, именно этот страх побуждал ее неотступно наблюдать за Хансом: насколько он соответствует тому представлению о нем и об их браке, которое у нее сложилось. Нетрудно догадаться, что он не соответствовал ее представлениям, как, впрочем, и она его. «А у тебя начинает расти животик»,— однажды заметила она, и он сразу понял, что она хочет сказать: «Ты исписался, мой дорогой. То, что ты пишешь теперь, никто не станет читать». Разыгралась отвратительная сцена. От их крика проснулся и заревел Пабло. С того дня они оба старались не ссориться при нем. Но из-за необходимости что-то замалчивать росло отчуждение. А теперь вот Сирия. Наконец-то.

Регина зажгла свечи, Ханс откупорил бутылочку бордо, и они выпили за Дамаск, за то время, которое всецело будет принадлежать им, их любви, их работе, их взаимопониманию. Регина на мгновение вспомнила свекровь и мужчину из Гамбурга, про которого та ей рассказала. Но она отогнала это воспоминание. Теперь все будет хорошо. Наконец-то.

Элизабет Бош и в эту ночь почти не сомкнула глаз. Ей снились какие-то нелепые сны. Облако упало на нее и не давало дышать. Якоб Ален в свое время рассказывал ей свой сон, а теперь, наверное, она просто внушила себе, что видела точно такой же. Она верила в знаки, которые подает некая сила. Когда умерла бабушка, с полки упала тарелка, а когда в шахте завалило мужа, остановились часы. И пусть другие подыскивали трезвые объяснения — тарелку-де ненадежно поставили, а часы позабыли завести,— для нее в этих случайных совпадениях таилась глубинная связь, а умные головы, в конце

концов, не так уж и умны, чтобы докопаться до всех истин. В том, что она увидела точно такой же сон, как и человек, который живет за сотни километров от нее, она находила скрытый смысл. Она вспомнила про письмо, которое спрятала не прочитав. Она достала его и невольно рассмеялась: Якоб Ален — коммунист, и все ради того, чтобы залучить ее в Гамбург. Ох, уж этот Якоб с изувеченной рукой и синими чайками.

«До чего же он глупый!»

Она сказала это не без грусти.

На другой день она с утра пораньше заявилась в совет и начала мыть окна. Раймельт полюбопытствовал, в чем дело и с какой это радости она ни свет ни заря пришла на работу. Элизабет пояснила, что качество угля становится все хуже, а потому и электростанция выбрасывает больше золы.

— Уголь все такой же, не лучше и не хуже,— отвечал на это бургомистр и уже не мешал ей работать.

Вдруг ни с того ни с сего она рассмеялась. Раймельт удивленно поднял глаза:

— Ты чего?

Она тоже поглядела на него и подумала: «Интересно, какое ты сделаешь лицо, если я скажу тебе, что хочу выйти за зеленого, за красного, за красно-зеленого».

— Вся эта беготня действует мне на нервы,— сказал он.

В десять они, как и всегда, пили кофе.

Раймельт был бы не прочь узнать, что произошло в Берлине на сей раз и почему она даже двух дней там не высидела, хотя отпрашивалась на целую неделю. Но досрочное возвращение казалось ему добрым предзнаменованием. «Вот теперь возьму и скажу,— подумал он.— Ты да я, да мы с тобой, чего тут еще дожидаться. Хоть у тебя и есть дети, ты все равно одинокая. А уж про меня и говорить нечего. Раньше бывали случайные женщины. Если нет ничего настоящего, так всегда бывает. А потом все осточертело, и послал я их всех куда подальше. Мужик из Гамбурга — на кой это тебе нужно? Ты ведь неглупая баба». Но ничего подобного Раймельт не сказал, а вместо того спросил:

— Ну, а как вообще дела?

Она начала говорить про «событие» и что со снабжением есть трудности. Магазин, правда, готов выделить цыплят и сосиски, но продавцов не хватает: одна ушла в декрет, другая уволилась. А что до кабаньего жаркого, так этих кабанов сперва надо отстрелять в других районах и потом доставить сюда. И вообще это, в конце концов, не ее дело.

Раймельт стал доказывать, что именно ее, а чье ж еще, за тем ее и выбрали в юбилейный комитет, а Элизабет доказывала, что без председателя районного совета у них ничего не выйдет.

— Вот и съезди к нему,— сказал Раймельт.— Ведь это он вручал тебе премию.

Она перемыла посуду, поставила все на место и ушла домой. А Раймельт подошел к окну, поглядел, как Элизабет идет через улицу, и подумал: почему же она уходит?

Херботт привез Машу в маленький городок на бывших ангальтских землях. Она сказала, что хочет ехать через деревни, а не мчаться по автостраде.

— Ты хорошо себя чувствуешь? — спросил он.

— Да.

Она включила радио, опустила окно и откинулась на сиденье.

— Если только ради меня, можешь этого и не делать,— сказал он.

— Знаю.

Она зажгла две сигареты, одну дала ему, поискала другую программу и снова выключила радио.

— Мы могли бы то же самое сделать и в Лейпциге.

— Знаю.

Они ехали по мосту через Эльбу. Маша глядела на лениво текущую под мостом воду. Сейчас он непременно скажет: «Я не из таких,— подумала Маша,— что произошло, то произошло, и я ни от чего не отрекаюсь». Но он ничего не сказал, и Маша была рада, что он этого не сказал. Им пришлось долго ждать сначала перед одним шлагбаумом, потом — перед другим.

— Все-таки надо было ехать по автостраде,— сказал он.

А Машу вполне устраивало, что все это пусть немножко, да отодвинется, хоть она ничуть не боялась. Страх она испытала только один раз, когда врач, осмотрев ее, развеял последние сомнения: «Вы беременны».

«Страх» вообще не совсем то, что она испытала, уж скорей она подумала, до чего ей это некстати. Занятия, экзамены, мать и, не в последнюю очередь, сам Хербот. Может, он подумал, что, обзаведясь ребенком, она теперь примется его шантажировать. Маша взглянула на руки Хербота, лежавшие на руле.

— Хороший день,— сказала она.

Хербот притормозил на стоянке для отдыха между двумя деревнями.

— Не возражаешь?

«Господи, уж эта мне вежливость»,— подумала она.

Они заказали жаркое с кислой капустой и клецками, для Маши красного вина, а на десерт — мороженое. Ели, изредка обмениваясь взглядами. Говорить было не о чем.

Когда они снова сели в машину, он сказал:

— Можешь вообще не беспокоиться. Там главный врач — мой бывший одноклассник.

— У тебя всюду сидят свои люди,— сказала она,— и водопроводчик, и автослесарь, и гинеколог.

Он засмеялся, и этот смех привел ее в ярость. Ей хотелось, чтобы все поскорей то ли осталось позади, то ли чтобы вообще ничего не было. Она не могла себе объяснить, как это произошло. Она делала все, что положено, во всяком случае, никакой оплошности она вроде не допустила. Ребенок многое улаживает, вспоминала Маша. Фраза показалась ей нелепой. Она не могла бы сказать, от кого ее слышала. Мать, та наверняка порадовалась бы. И сказала бы: «Делать аборт, убивать такую крохотулю, да ты спятила». Эти слова должен был сказать Хербот. Втайне она ждала, что он их произнесет вместо своего: «Что произошло, то произошло, и я ни от чего не отрекаюсь». Она же по его лицу поняла, что ее беременность ему не нужна, ну ни вот столечко, особенно теперь, когда они у себя на комбинате создали новое волокно, жароустойчивое, звуконепроницаемое, легкое, дешевое. Экспортный «шлягер». А об этом придется сказать жене, бухгалтерии, ведь он же, само собой, возжелает ежемесячно отчислять некоторую сумму на ребенка. Словом, если вдуматься, Хербот просто был рад, что ему не надо изображать из себя благородного рыцаря.

«Я не из таких».

Ладно уж, Хербот. Ты навсегда запомнишь сочельник, Международный день защиты детей, праздник посвящения и день рождения.

«Если только ради меня, можешь этого и не делать».

Вот-вот. Любящий отец, заботливый отец. Мать тебя убьет, ничего не попишешь, мать убьет.

Дорога была узкая. Идущий навстречу грузовой тягач вытеснил их машину на обочину. Херботу пришлось сбросить скорость. Он хорошо водил машину.

— Ты бы вздремнула.

Маша закрыла глаза. Собственно, лишь для того, чтобы не надо было разговаривать. «А что,— подумала она,— а что, если я оставлю ребенка? Университет никуда от меня не уйдет. А кроме того, свет на нем не сошелся клином: можно работать в конторе товарищества, можно в полевой бригаде, можно кассиршей в универмаге». Да и врач был против прерывания первой беременности. Такие последствия, сякие последствия, и вообще, что у тебя есть, то при тебе и останется.

— Какой срок ты еще отвел нам обоим? — спросила она.

— Ну зачем ты так?

Он обнял ее за плечи, а Маша подумала: все кругом дерьмо.

Сама операция прошла без сучка, без задоринки. Маша попросила Хербота не уезжать на те несколько дней, что ей придется пролежать в больнице. Каждое утро он приходил с цветами, садился возле ее постели, гладил по лицу, по рукам. И за это она была ему очень признательна.

— Ты себя хорошо чувствуешь?

— Да, я себя хорошо чувствую.

В последнюю ночь она вдруг проснулась и потом уже не смогла заснуть. Фонарь, где-то там за окном, бросал в комнату тусклый свет. Женщина на соседней койке громко храпела. Сперва этот храп не мешал Маше, но потом эта женщина и ее громкое, неравномерное дыхание вызвали у нее отвращение. Мысли ее обратились к ребенку, которого больше в ней не было. Девочка, как сказала сестра.

Маша почувствовала, что ее тошнит, встала и подошла к открытому окну. Да что же это, подумала она, и ей захотелось, чтобы Хербот завтра не приходил, чтобы он вообще убрался восвояси.

Но Хербот явился в условленное время и отвез ее в общежитие, а общежитие ее страшило, эти пытливые взгляды, полунамеки. Девочек не обманешь. Многие из них сами прошли через это.

На прощанье Хербот сказал:

— Если только ради меня, ты могла этого и не делать.

И каждый был рад, что ему не надо больше терпеть общество другого.

Спустя два дня Хербот заявился в общежитие и вызвал Машу из комнаты. На комбинате ему рассказали про визит Элизабет Бош.

— Все, что произошло, касается только нас двоих, и больше никого,— возмущенно, с ходу выпалил он.— Комбинат ты к этому делу не припутывай.

Он никак не хотел верить, что Маша ничего матери не рассказывала. С чего тогда мать побежала на комбинат?

Маша тоже не могла объяснить поведение матери и вполне разделяла гнев Хербота, хотя, конечно, ей не нравился тон, каким он говорил про ее мать.

— А пошел ты куда подальше! Можешь думать что хочешь,— крикнула Маша и, с трудом сдерживая слезы, убежала.

На другое утро она снова решила прогулять, как уже не раз бывало за последнее время, и поехала в деревню с твердым намерением сказать матери, чтобы та не совалась в ее дела, потому что она, Маша, и сама знает, что, где и зачем.

Элизабет сидела в своем кресле у окна, она ничем не могла заняться. Болел затылок, болела спина, колени. Она увидела, как идет

по улице Маша, и подумала: «Хорошо, что она нашлась, дольше я бы просто не вынесла». Она бросилась навстречу дочери и прижала ее к себе.

— Где ты пропадаешь?

Вид матери испугал Машу. Нельзя ей рассказывать про ребенка, подумала она. Да и зачем?

— Я тебе поесть приготовлю.

— Неохота.

— Ну, тогда кофе.

— Мне сразу же обратно.

Маша почувствовала, как к горлу опять подкатывает эта мерзкая тошнота, ее состояние после больницы ухудшилось. Маша купила себе плюшевую зверушку и на ночь укладывала рядом с собой, сама понимала, что это ребячество, но все-таки укладывала.

— Мама, не вмешивайся в мои дела,— сказала она,— очень тебя прошу: не вмешивайся.

Голос у нее дрожал. «Зря я сюда приехала,— думала она.— Все равно мать не поймет».

— Ты ничего мне не рассказываешь,— ответила Элизабет,— а я боюсь.

— Не вмешивайся, ты все испортишь.

— Что испорчу?

«Какой у нее взгляд,— подумала Маша,— это же надо, какой взгляд, только нечего ей так на меня глядеть и вообще пусть оставит меня в покое. Пусть все оставят меня в покое, Херботт, мать, Ханс, университет с его дурацкими лекциями и семинарами, я куда-нибудь уеду, только пусть оставят меня в покое».

Она собрала вещички и побросала в чемодан все подряд, что подвернулось под руку.

— Нельзя же так,— сказала мать,— не можешь ты просто так взять и уйти, просто взять и уйти.

Маша ничего не ответила. Элизабет слышала, как захлопнулась дверь. Мыслей в голове не было никаких, только горло сдавила судорога, грозя задушить. Потом изнутри прорвался какой-то крик. Она никогда не слышала у себя такого голоса. Заглушить свой крик она не могла и втиснула лицо в подушку.

В тот же день Элизабет Бош получила от Якоба Алена письмо, где он писал, что сделал в доме новые окна. Теперь у него просторно и светло. И еще он срубил дерево, чтоб не затеняло террасу.

И в тот же самый день Элизабет Бош начала запираться от людей у себя в квартире, она не открывала ни на стук, ни на звонки, никому. Она стояла у окна, притаясь за гардиной, глядела на улицу и ждала, сама не ведая чего. Прошлое обрушилось на нее, слишком много прошлого: заброшенный поселок в Богемии, мокрая от росы трава, запах мяты и разогретые солнцем валуны. Умирает все, думала женщина, умирает время, умирает небо, лес, поля. И еще, подумала она, раз уж человек приходит в этот мир, должно быть хоть что-нибудь, ради чего стоит жить на земле. Пока муж был жив, он хотел вовремя получать завтрак, обед и ужин, а по субботам после выпивки ложился с ней в постель. Ей это было по нраву. Дети тоже требовали самокат, велосипед, мопед. Но ведь не ради этого живет человек, думала она, господи, не может быть, чтоб только ради этого. И ей вдруг почудилось, будто на свете не осталось больше ни одной живой души, только она, Элизабет, у своего окна.

Вскоре после этого Элизабет Бош увидела во сне, будто под окном у нее стоит Якоб Ален. И выглядит он совсем как ее покойный муж: прищуренные глаза, щетина на лице, бледные губы. Он глядел на нее и молчал. А когда она спросила: «Как поживаешь?» — он протянул руку, ту, без двух пальцев. Тут небо вдруг пожелтело, будто перед грозой. Вороны, подхваченные ветром, обрушились на дерев-

ню, словно черный дождь. Она подбежала к Якобу Алену,— а может, это был не Якоб, а ее муж? — но тот отпрянул в желтый предгрозовой свет. Она открыла глаза, и странное чувство ею овладело: будто она раздвоилась. «Они разорвут меня на части»,— подумала Элизабет.

Эрна Лаутенбах была человек душевный. Когда у других опускались руки, ее тут-то и осеняла какая-нибудь идея. В свое время, сразу после войны, она чуть не сделалась француженкой. Но Жан, ее военнопленный, после освобождения вернулся к себе в Лион, а ей оставил только мечты, слово «бонжур» и еще «я тебя люблю» по-французски. Когда у Элизабет погиб муж, Эрна ей открылась. Ведь должен был кто-то проследить, чтоб женщина не наложила на себя руки после такого удара. Эрна Лаутенбах некоторое время даже ночевала у Бошей. «C'est la vie,— сказала она как-то вечером.— То-то ты удивляешься. Вы все, небось, думаете, что с нее проку. Темнота, а ведь я говорю по-французски. Bonjour, Элизабет, bonjour, mon ami. Я ведь чуть не уехала во Францию. Проводила бы теперь отпуск на островах, в белом отеле. Мужу я про Жана ничего не рассказывала. И отцу не рассказывала, и матери тоже нет. Только я об этом знаю да он. Взаправдашний француз».

Болтовня почтальонши утешала Элизабет, и под конец она сказала:

— Можешь идти, я ничего с собой не сделаю. Вот если б не дети... А так я ничего плохого не сделаю, можешь идти.

К этой теме она никогда больше не возвращалась. Но с того дня их связывала общая тайна. А вот теперь, когда возник Якоб Ален, хоть и не француз, но все-таки человек с французской фамилией, Элизабет Бош невольно вспомнила про острова и про белый отель, за окном которого кричат чайки, красные и синие, а некоторые даже большие, прямо как канюк.

Элизабет захотелось кого-нибудь расспросить. «Эрна Лаутенбах меня поймет,— подумала она,— поймет да и присоветует что-нибудь». И Элизабет пошла к Эрне.

Лаутенбахи сидели перед телевизором, муж — с бутылкой пива, жена — рядом, без сил после трудного дня. «Вот хорошо, что ты пришла, хочешь пива или, может, стопочку домашней наливки?» Элизабет не хотела ни пива, ни домашней наливки, посидела вместе с ними часок перед телевизором, но когда фильм кончился, так и не решилась начать разговор, хотя хозяин ушел спáть, а Эрна сказала ей:

— До чего ж ты исхудала, приходи почаще.

— Хорошо посидели,— ответила Элизабет и ни с того ни с сего добавила: — Время уходит, как вода, обратно не зачерпнешь.

— Да, да,— закивала Эрна,— столько всякого набирается, а ты знай себе крути педали, да в любую погоду, да с газетами и с журналами. Столько всякого набирается.

Дорога вела Элизабет Бош мимо бургомистра. Она не собиралась к нему заходить, но в гостиной у Раймельта еще горел свет. Она помешкала, торопливо прошла мимо, но повернула обратно.

В такую позднюю пору Раймельт, конечно, гостей не ждал. Был уже одиннадцатый час. Он прилег, не раздеваясь, на диван и сразу уснул. Когда Элизабет вошла в комнату, он испуганно вскочил.

— Я не знала, что ты уже спишь, у тебя свет горел, и дверь была не заперта.

— Да нет, я просто прилег малость отдохнуть.

Раймельт придвинул ей стул. И вот оба они сидели в маленькой комнате, где повсюду были разбросаны вещи.

— Ты плохо выглядишь,— наконец заговорила женщина.

Бургомистр отогнал муху и подумал: «Уж верно ты не затем ко мне пришла, чтобы это сказать».

— Почему ты не сходишь к врачу? — спросила Элизабет.

— Да и ты выглядишь не лучше,— сердито огрызнулся Раймельт и замахнулся на ту же самую муху.

Он встал и налил водку в две рюмки.

— Это средство пока еще помогает.

Он разинул рот, опрокинул туда содержимое рюмки и передернулся. С ним на самом деле творилось что-то неладное. По вечерам, возвращаясь домой, он прямо в одежде падал на диван, глядел в потолок и размышлял на тему: а что будет, если я возьму и уйду из деревни? На кладбище он велел соорудить новый ритуальный зал — на общественных началах, разумеется. Правда, бурый уголь подступал к деревне все ближе, но нельзя было допускать, чтобы люди по-прежнему собирались в старом зале, где сквозь прохудившуюся крышу дождь заливает гроб. Раньше его это не трогало. Просто времени не было для такого рода забот, а были сплошь неприятности с упрямыми крестьянами. Одному он просто дал под зад, тот говорил всякие гадости, когда у них создавался сельскохозяйственный кооператив. Раймельта тогда чуть не выперли за грубость и политическую слепоту. Ну и выперли бы, эка делов. Он не держался за свое кресло. Но извиняться — да, да на общем собрании его заставили публично извиниться! Приперлись все до единого, чтобы послушать, как он будет бормотать свои извинения. Слишком высокая цена за кооператив, в котором дела как не заладились с первого дня, так и до сих пор не ладятся.

А Элизабет Бош было хорошо вот так сидеть у Раймельта. Она увидела, что на сундуке валяется его куртка, и сказала «До чего ж теплая». Он не понял, к чему она клонит. «Если она сейчас скажет: «давай сойдемся», я напьюсь от радости,— подумал он.— Сам я этого никогда не скажу, но если она первая так скажет... С этим типом из Гамбурга у нее все кончено, я давно уже знаю. Деревню, правда, снесут бульдозерами, но не беда, отстроимся в другом месте. С ней бы я где хочешь отстроился». А Элизабет думала: «Он меня поймет, он только с виду такой ершистый, а жизнь его порядком помотала. Из-за жены угодил в тюрьму, а она ему потом даже пакетика кофе не прислала из своей Америки». И снова думает Раймельт: «Надо перебросить дощечку, чтоб она смогла перейти через канаву». Но ничего умного ему в голову не приходит, и он молча опрокидывает еще одну рюмку.

— Тебе налить?

— Я от водки дурею.

— Эка важность,— сказал он.

— Ах ты боже мой,— сказала она.

— На бога тоже надежда плоха. Он еще до сих пор никому не помог.

— Они разорвут меня на части.

Раймельт недоуменно поднял глаза на женщину, а когда она вдовок спросила: «Тебе доводилось видеть желтое небо и чтоб на землю сыпался дождь из ворон?» — он уже не сомневался, что от двух рюмок водки Элизабет окосела. Как теперь быть, он не знал: то ли уложить ее на диван, то ли проводить до дому. И, не сумев удержаться от искушения, схватил ее за руку. Его собственная рука при этом дрожала, и он подумал про себя: «Ну и болван же я!»

— Он очень приличный человек,— вдруг заговорила Элизабет,— совсем не такой, как ты думаешь. И если я перееду к нему, это тоже будет не так, как ты думаешь. Он ждет меня, он добрый человек, а время утекает, словно вода.

Раймельт пил, и курил, и снова наливал себе до краев. «С чего ее сюда принесло? — думал он.— Мне-то какое до этого дело? У нее

есть сын, сын работает в газете и кой-куда собирается, вот пусть сын и тревожится. Дочка в университете, а комбинат взял на себя расходы по обучению». Теперь Раймельту хотелось только одного: чтобы она ушла и оставила его в покое. Но женщина говорила, говорила, она вступила на ту самую дощечку, которую Раймельт перекинул для нее через канаву. «Он меня понимает, другие — нет, а он понимает». Она больше не испытывала страха.

— Берлин или Прага — всякий раз словно что-то запретное. А ему сюда — ты ведь знаешь, какой он. Он без своих синих чаек и жить не сможет. Синие чайки — вот такой это человек. А продать дом... Родной очаг — он и есть родной очаг. Я-то знаю, каково это, когда приходится все бросить. А ведь я была тогда молодая. Ему я нужна, детям я только стою поперек дороги. Никогда бы раньше не подумала, но так оно и есть. Тебе-то я могу сказать.

Раймельт пытался сохранять спокойствие, но вдруг откуда-то изнутри накатила слепая ярость, все равно как в тот раз, когда он пнул ногой крестьянина или выбросил в окно любовника своей жены.

— На тебя даже плюнуть противно.

Только это он и сумел выкрикнуть, после чего распахнул дверь. Элизабет до того испугалась, что не могла сделать ни одного шага. От этого Раймельт еще больше рассвирепел и повторил:

— На тебя даже плюнуть противно.

А когда Элизабет все-таки нашла в себе силы уйти, он много чего кричал ей вслед, хотя впоследствии он, как ни пытался, не мог вспомнить, что именно. Он кричал, что она не мать своим детям, что на уме у нее одни мужики, что ее сыну никогда не бывать ни в Лондоне, ни в Швеции, что дальше Засница [1] его теперь никто не пустит и она это знает не хуже, чем он, что и философский факультет для дочки накрылся, грех чего-то требовать от комбината, если мамаша сбежала на Запад, когда убегать никак нельзя, когда везде понатыканы атомные штучки, и должен быть какой-то порядок. «Я ему нужна» — ах, ах, сентиментальные бредни. Гамбуржцу у них в деревне не хозяйничать, покуда его, Раймельта, голос здесь хоть что-то значит, гамбуржцу здесь делать нечего, и чтоб у них в совете духу ее больше не было, не нужна она здесь. Элизабет тесней запахнула платок на груди и ушла в темноту. Она шла и все спрашивала: «Да что ж это такое?» Губы у нее складывались в странную усмешку, но она этого не чувствовала.

Раймельт сидел в унылой безнадежности своей комнаты, рубаха на груди распахнута, ноги босые, сидел и без устали разговаривал с самим собой, впору было подумать, что он рехнулся. У него в голове не укладывалось, как это Элизабет Бош... другие — да, пожалуйста, но чтобы она... Муж — передовой рабочий, повел состав, хотя после затяжных дождей мог бы и не вести, словом, настоящий шахтер, память о таких людях живет вечно, да и Элизабет — всюду, где нужна была помощь, она оказывалась тут как тут, а теперь... В голове не укладывается. Сын, молодой кандидат наук, многообещающий, выездной. Да и девчонка не уступит брату. Гамбуржец — добрый человек, пусть так, может, и добрый, может, и добрый. Но сбежать из-за этого... Из-за этого — да ни в жисть! Родной очаг! Здесь у тебя родной очаг, больше нигде. Синие чайки, дались тебе эти синие чайки.

Какое-то время он продолжал кричать, потом стены комнаты начали давить его, и он выскочил на улицу. Он думал, что, может, еще сумеет ее догнать. Но женщина исчезла. И света у нее не было. Синие чайки! Он против воли рассмеялся. А потом так же неудержимо заплакал, плакал и проклинал себя за то, что перебрал.

— А все проклятый гамбуржец,— буркнул он и поплелся домой.

---

[1] Приграничный пункт в ГДР.

На другое утро Раймельт позвонил Хансу Бошу в редакцию. Секретарша сказала, что у них совещание.

— Ну так вызовите его! — заорал Раймельт.

Секретарша была так потрясена этим криком, что вызвала своего шефа прямо с совещания, чего в принципе делать не полагалось. Ханс взял трубку и с досадой спросил, неужели дело настолько не терпит отлагательства, а бургомистр окончательно завелся из-за выражения «не терпит отлагательства» — это ж надо, какой выпендреж! — и сказал, чтобы господин редактор лучше позаботился о своей мамаше, не то у нее синие чайки в голове заведутся. Ханс Бош подумал, что ослышался, Раймельт же считал, что высказался более чем понятно: синие чайки. Потом он положил трубку и подумал: не терпит отлагательства, это ж надо так выпендриваться. Позаботился бы лучше о своей матери. Если б не она, был бы ты нуль без палочки.

Якоб Ален не смог скрыть от портовиков, что приводит в порядок свой дом.

— Все равно как на свадьбу,— сказал кто-то.

И тут у него невольно сорвалось:

— Так оно и есть.

Он сразу пожалел о сказанном, но слово — не воробей.

Они полюбопытствовали, кто она да откуда.

— Из Саксонии. Вообще-то не из Саксонии, а из Чехословакии.

— Так откуда?

— Оттуда.

— Она уже здесь?

— Не совсем.

— Тогда желаю успеха,— сказал один молодой паренек.

Якоб понял, на что тот намекает, и набросился на паренька: еще молоко на губах не обсохло, да как ты смеешь так со мной разговаривать, словом, пришлось их разнимать.

Но на душе у Алена стало еще тревожнее, чем было. Он все чаще бесцельно метался по городу: к Михелю, на Рыбный базар, к Собору. Садился в «Панораму», выпивал один за другим несколько аперитивов подряд, как тогда, в Оперном кафе, и заказывал деликатесное рагу. Он бродил по берегу Альстер и вспоминал берега озера под Берлином, где они сидели с Элизабет Бош. Он мчался на машине в аэропорт и провожал глазами самолеты.

«Ты видишь самолет?»

«За облаками нельзя увидеть самолет».

«А я вижу».

Он хотел воскресить все пережитое, но ему это не удавалось. Если раньше Ален мог равнодушно думать о смерти, то теперь он боялся умереть, так как вдруг осознал, что еще совсем не жил. Его снова и снова тянуло на вокзал. Он встречал поезда, которые приходили из Дрездена или Лейпцига, хотя и знал, что это бессмысленная затея. Ну, тогда желаю успеха! Два дня он не выходил на работу, сочинял от имени Элизабет Бош одно заявление за другим, поскольку считал, что сама она с этой писаниной не управится или сделает не так, как надо, писал и рвал густо исписанные листочки. Поскольку от Элизабет по-прежнему не было никаких известий, он боялся, что она заболела. И не нашел другого выхода, кроме как написать Лаутенбаху. Он писал, что испытывает к Лаутенбаху доверие, что они уже много лет знакомы, вот почему он и просит сообщить, что случилось с Элизабет Бош и почему она молчит. Лаутенбах ответил сразу же. В чужие дела он, Лаутенбах, не мешается, это к добру не ведет, пусть Якоб поймет его правильно. Якоб правильно его понял и не понял ничего. Во всяком случае, дело ясней не стало. Он послал Элизабет телеграмму, в которой просил оформить для него визу, чтобы он мог приехать в

деревню. Уж это-то она должна для него сделать, думалось Якобу. А женщина положила телеграмму в шкаф для белья, туда, где лежали остальные письма Якоба.

Ханс Бош тотчас прервал совещание в редакции. «Синие чайки» могли означать только одно: матери вновь слышатся голоса, и она может на ходу выпрыгнуть из автобуса. «Мать»,— сказал он. Для других это было достаточным объяснением. Они подумали: инфаркт или удар, что-то внезапное, может случиться с каждым.

Ханс был изумлен, увидев, что Элизабет совсем не похожа на такую, у которой летают чайки в голове. Разве что она менее сердечно его встретила, чем обычно; правда, она была какая-то рассеянная и забывчивая, поставила кофейник на огонь, а воды не налила. Господи Иисусе, как будто он мало что забывал на своем веку.

Они пили кофе. Пирожные привез он, богемские, из универсама, не такие, правда, вкусные, как пекла Элизабет, но вполне съедобные. Они разговаривали о всякой всячине, и при этом он пристально наблюдал за матерью. Он хотел по возможности осторожно сообщить ей новость. Дамаск — это вам, конечно, не Стокгольм, и кто произносит слово «Сирия», тот думает про Израиль, а кто думает про Израиль, тот думает про Ливан. А кто думает про Ливан, тот думает: война. А война — это смерть, и горящие дома, и крики людей, и запруженные дороги. Эти воспоминания еще живы в матери, а вместе с ними жив и страх, что все это может еще раз повториться и тогда удар настигнет ее детей. «Дамаск — это все-таки не Бейрут,— хотел он сказать.— Мы возьмем тебя туда на несколько недель, сама убедишься. Ты ведь давно уже мечтала хоть ненадолго вырваться из деревни и куда-нибудь съездить. Горы, пустыня и море. Полетишь над Турцией, а может, и над Кипром. Еще никто из нашей деревни не летал над Турцией и не видел пустыни. А после Сирии меня, возможно, направят во Францию или в Индию. И отовсюду мы будем приезжать за тобой. Чтоб ты повидала весь мир». Мать, конечно, заплачет, но ее слезы не стоит принимать всерьез. Минувшие годы заслонили катастрофу в шахте. К тому же, Пабло на первые месяцы останется с ней. Это облегчит разлуку. Что за ерунду наговорил Раймельт.

— Как ты себя чувствуешь?

На неделе он никогда не приезжает до конца работы, подумала Элизабет, а сегодня вот приехал, и даже с пирожными. Она подумала, что Регина ему, наверное, рассказала про Якоба Алена. Это было ей неприятно и тягостно, и поэтому она избегала встречаться с ним взглядом. «Надо было мне все ему рассказать,— думала она,— человек занимает такой пост, а родная мать вон что вытворяет. Ведь не поехал же он учиться в Москву и всегда хорошо ко мне относился».

— Хорошо я себя чувствую. Сам видишь.

И снова подумала, что не должна коверкать ему судьбу.

— На три года в Дамаск,— сказал Ханс,— уже все решено.

Ханса удивило спокойствие, с каким мать выслушала его слова, почти так, будто ее это ни капельки не интересует.

— Вот и поезжай.

Звучало так, будто она радуется, что он уедет. Ханс опять заподозрил, что за странной формулировкой Раймельта все-таки что-то скрывается.

«Синие чайки в голове».

И он начал говорить то, о чем собирался сказать: Турция, пустыня, синее море. А Элизабет улыбнулась, он вдруг показался ей мальчишкой, который рассказывает о своих приключениях. Ханс оборвал речь на середине, все эти рассуждения вдруг показались ему лишними.

— Не бойся, я тебе поперек дороги не встану.

— Какой дороги?

— Ну, Регина ведь тебе все рассказала.

— Что рассказала?

Он начал терять терпение, вспомнил про звонок Раймельта, подумал, что Регина что-то от него скрывает. И его вдруг охватил великий страх, как бы снова не пошло прахом все, что он выстроил с таким трудом.

— Звонил бургомистр,— сказал он,— говорит, тебе нездоровится.

Элизабет хотела отхлебнуть кофе, но рука у нее так задрожала, что Хансу пришлось перехватить чашку у нее из рук и поставить на стол. Все ожило в памяти: поздний вечер у Раймельта, ночная тишина, они разорвут меня на части, «на тебя даже плюнуть противно».

— Я не сделала ничего плохого,— сказала она,— я никогда ничего плохого не делала. Просто так вышло, сама не знаю почему.

Ханс подумал, что сейчас опять прозвучит: теперь, когда не стало отца,— проклятая фраза. Она сковала меня по рукам и ногам.

— Ну, хорошо, хорошо.

«Я должна сказать ему об этом, прямо сейчас,— подумала Элизабет.— Он меня поймет. Он меня всегда понимал».

Она подошла к шкафу, достала с полки письма Якоба Алена и выложила их перед Хансом на стол. Но она не могла усидеть рядом, покуда он читает слова, предназначенные только для нее. У нее до того муторно было на душе, что она ушла на кухню. Ей захотелось умереть. Она вновь увидела Якоба, как тот оглянулся на нее, уже за паспортным контролем, и как он недоверчиво улыбнулся и поднял ту руку, на которой ящиком отдавило два пальца, она услышала его голос: «Во мне все заглохло. Просто бывают на свете люди, про которых счастье не писано».

Элизабет Бош даже и не догадывалась, до чего это все глубоко в нее запало. Не соблазнительные речи о чужих городах и странах, о кораллах и белых островах, нет, в нее глубоко запала печаль Якоба. И походка у него такая... «Пойдем домой». Пойдем, но куда же, куда?..

Женщина ринулась в комнату и выхватила у сына письма.

— Тебя это не касается! — крикнула она.— Поезжай в Дамаск, поезжай куда хочешь, но тебя это не касается.

Ханс еще ни разу не видел, чтобы мать до такой степени вышла из себя. Она вдруг показалась ему совсем чужой. Но и он тоже показался ей чужим. Он сидел перед ней, прищурив глаза, как в свое время щурил его отец, когда приходил в ярость и начинал браниться на чем свет стоит.

— Ты предаешь собственных детей,— сказал Ханс,— счастья это тебе не даст.

И он подумал, что Дамаск оказался несбыточной мечтой, как уже многое в его жизни.

— Счастья это тебе не даст,— повторил он и ушел.

Элизабет Бош стояла неподвижно, прижав стопку писем к груди. Нет у нее ни сына, ни дочери, ни внука. У нее есть только Якоб Ален, и Якоб сказал ей: «Пошли домой».

Ханс не явился в назначенное время к главному редактору, а вместо того поехал в школу, где работала его жена. Уроки у нее должны были как раз к этому времени закончиться.

Регина увидела, как он ждет у входа, и подбежала к нему.

— Как мило, что ты за мной заехал.

Но она сразу же поняла, что произошла какая-то неприятность. Пабло, мелькнуло у нее в голове, и она спросила про мальчика.

— С ним все в порядке,— ответил Ханс,— садись.

Он поехал по городу без цели, куда глаза глядят.

— С каких пор ты про это знаешь?

И поскольку Регина не поняла, о чем он спрашивает, уточнил:

— Ну, про мать и про этого, из Гамбурга.
— Я не придала этому особого значения.
— С каких пор?
— Я же тебе сказала, что не придала значения.

Теперь остается только глядеть на дорогу, думал про себя Ханс. Глядеть, тормозить, ехать дальше. Мимо вокзала, мимо Оперы, мимо музея.

— Она ведь совсем одна,— сказала Регина.

Ханс подумал: «И я тоже».

— А может, и нет,— сказал он.

— Что «может, и нет»?

Мотоциклист обогнал Ханса и подсек его. Волна ярости захлестнула Ханса, он засигналил. Все они одним миром мазаны, подумал он, что мать, что Маша, что Регина. Только о себе заботятся.

— Не я выгнал ее из Чехословакии, не я виноват, что погиб отец.
— Ну и?
— Никаких «и».
— Ты просто боишься.
— Бред.
— Что из-за нее накроется Дамаск.
— Вообще-то она живет не в безвоздушном пространстве.
— С тех пор как тебя решили послать за границу, ты постоянно чего-то боишься, ничего больше не пишешь, а если и пишешь, то трижды взвешиваешь каждое слово, чтобы не просочилось ни одной мысли, из-за которой у тебя могут быть неприятности. Боялся из-за Лондона, боялся из-за Стокгольма, теперь — из-за Дамаска.
— Нельзя сменить страну, как меняют белье,— сказал он,— не то...

И она подумала, что весь этот разговор не имеет смысла, он ее не понимает и не хочет понять.

Вокзал, Опера, музей, Ханс второй раз ехал по тому же кольцу. Он спохватился, когда увидел фонтан и концертный зал. «Мы и ездим как разговариваем,— подумал он,— все повторяется». Оба почувствовали усталость. Регина сунула руку к нему в карман, как раньше, в те времена, когда между ними все было хорошо, и мальчик еще не родился, и машины не было, а только две комнатушки под крышей в старом доме.

— Ты ведь тоже вроде бы хотела в Дамаск.

Разумеется, она хотела. Да и кто бы не захотел.

— Она этого не сделает, кто-кто, а она не сделает.

И Ханс договорил:

— Не предаст собственных детей.

Регина вытащила руку из его кармана. «Только не продолжай,— подумала она.— Я все это наизусть знаю: конфронтация и международное положение, и надо же считаться, и надо же принимать во внимание. Ты прав, но ведь есть на свете и любовь, и мечты, и приближение старости, и одиночество».

— Поменьше пафоса! — сказала она.
— Куда уж меньше.

Регина вдруг расхохоталась. Подумать только — мать и этот Якоб Ален в роли классового врага.

Ханс резко нажал на тормоз и остановил машину.

— У вас у всех в голове одни только синие чайки, чертовы синие чайки.

После этого Ханс выложил все, что Регина и без того уже не раз слышала, он будто выступал на собрании, а она этого терпеть не могла. Без уверток, подумала она. Новая интонация, подумала она. Она вышла из машины и ушла, так ничего и не ответив. Глядя вслед отъезжающей машине, она прямо затряслась от злобы. Да пропади он пропадом, этот Дамаск, пропади он пропадом.

По деревне прошел слух, что Элизабет Бош надумала уезжать окончательно и бесповоротно. Завелся у нее один такой из Гамбурга, Лаутенбахов приятель. Все деревенские новости сначала поступали к мяснику, а уж оттуда разносились по домам. Кто-то утверждал, будто бургомистру сверху приказали уволить эту женщину. А Ханса выставят из газеты, вот почему он недавно побывал у матери. Даже на улице было слышно, как он тогда орал. Раймельт знал про все эти пересуды, но не делал ничего, чтобы положить им конец. Если его напрямую спрашивали, он отвечал: «Дело хозяйское». Такая позиция отнюдь не облегчала жизни Элизабет. Лаутенбах со своей стороны отвечал, что его это не касается. Якоб Ален — никакой ему не друг, они просто обменивались марками. Разумеется, от него не укрылось, что между гамбуржцем и Элизабет Бош протянулась такая ниточка, но, в конце концов, люди и сами могли видеть, что женщина каждую неделю получает по бандероли и что вообще она стала какая-то не такая, расфуфыренная, туфли зеленые, губы накрашенные. В общем, не в его вкусе, сказать по правде, но он никому и не собирается навязывать свой вкус. Элизабет больше не показывалась на заседаниях юбилейного комитета. И это лишний раз доказывало, что она послала заявление в Берлин, на самый верх. Одни перестали с ней здороваться, другие, напротив, тайком подсовывали ей что-нибудь лакомое: отборный кусок вырезки, швейцарский сыр, земляничный конфитюр. Было доброе — было и злое, а Элизабет не хотелось ни того, ни другого. Она снова начала запираться у себя в квартире, выходила на улицу, только чтобы запастись самым необходимым, и тем подбрасывала дополнительное топливо в костер сплетен.

Бузина стояла в белом цвету. Хлеба уродились неплохие.

Ханс Бош сидел перед своим главным и витийствовал:

— Эней таскал своего отца у себя на спине. А мне приходится тащить свою мать.

— Вот уж не знал, что у тебя такие амбиции в области античной филологии,— перебил Рудольф, затем он встал, открыл окно, и они услышали скрежет проезжающего мимо трамвая. Рудольф снова сел, взял сигарету, вспомнил, что врач настоятельно советовал ему бросить курить, что каждую неделю он твердо решает последовать совету врача и что так оно будет продолжаться вплоть до... именно, вплоть до.

— Гамбург или Дамаск,— сказал Ханс,— такими случайностями полна жизнь, дорогой мой, какая уж там цепь причин и следствий, просто игра в карты, бессмыслица.

«До этого я бы и сам мог додуматься»,— ответил про себя Рудольф, а взглянув на Ханса, увидел, что у того воспаленные веки и дрожит рука, когда он берет чашку кофе. Еще Рудольф подумал, что последние месяцы нелегко дались Хансу, а возможно, тут сыграли свою роль и семейные неприятности. Во всяком случае поведение Ханса наводило на подобную мысль.

— Ничего, скоро ты избавишься от всего этого,— сказал он Хансу.

— О том и речь.

И Ханс невольно улыбнулся, хотя у него болел живот и вообще он себя прегадко чувствовал с тех пор, как побывал в деревне и поссорился с Региной. Ханс уже несколько дней не был у себя дома, он попросил выделить ему комнату в общежитии шахты, благо, был лично знаком с начальником производства. Он хотел побыть один, он боялся изматывающих перебранок с Региной, которые ни к чему не приводили, кроме новых ссор. «Ты становишься банальным, мой дорогой». «Карьерист» — вот как надо толковать эти слова. А уж доведись ей увидеть его в кабинете у Рудольфа, она непременно сказала бы: «Самооговор». Да что Регина вообще смыслит в жизни? Она,

со своими дурацкими идеалами! А он был просто обязан поставить Рудольфа в известность. Только и всего.

— Моя мать хочет выйти замуж и уехать к мужу в Гамбург,— сказал он и подумал: «Ну, сейчас пойдут расспросы, только держись».

Но Рудольф ничего не стал спрашивать. Он только подумал: «В этой газете я должен пройти решительно через все, вот и через это тоже».

— Уверяю тебя, я ничего об этом не знал.

И вдруг ему почудилось, будто не главный редактор сидит перед ним, а Регина, сидит, ядовито улыбается и говорит: «Это ж надо, какой пыл!»

— Вот, собственно, и все,— сказал он.

А Рудольф на это:

— Шел бы ты лучше домой.

Он, конечно, не мог знать, что Хансу некуда идти, кроме как на улицу или в унылую комнату в общежитии. Клуб журналистов внушал ему страх. Ибо там, как он опасался, к нему в любую минуту мог кто-нибудь подсесть и сказать: «А у твоей матери амуры с одним типом из Гамбурга». Выходя от главного, он еще подумал: «А почему я, собственно, должен считать себя виноватым, если моя мать надумала переехать из Саксонии в Гамбург?»

В тот же вечер он написал матери, что она может делать все, что считает нужным. Лично он переговорил с главным редактором. Для него, Ханса, всегда что-нибудь найдется. И на этом Дамаске свет не сошелся клином. Он же со своей стороны желает ей счастья. И снова ему почудилось, будто у него за спиной стоит Регина и с ядовитой улыбкой говорит: «Ну, таким письмом ты ее добьешь. И сам прекрасно это знаешь». Он хотел разорвать письмо, ибо совсем запутался и уже не различал, где ложь, а где правда. Но в конце концов он все-таки отправил письмо.

Маша даже и не злилась на Херботa. Все было организовано на высшем уровне, достойно, в духе времени. Каждый старался соблюдать приличия, даже его жена, которая почему-то вызывала жалость, когда приехала в общежитие приглашать Машу на новоселье в новый дом. Пять лет каторги, без выходных, то кирпича нет, то цемента, рабочим каждый раз надо что-то сунуть — и вот наконец переезд. Беседа втроем, детки спят, «Покойной ночи, тетя Маша», и «Ты не уйдешь?» — и поцелуи, а потом огонь в камине, и красное вино, и соленые палочки, и конфеты из магазина «Деликатесы». И «Ваше здоровье!», и «Угощайтесь!» Вот за то, что Хербот принял участие в этом фарсе, что он как дурак расселся между ними обеими, Маша его простить не могла. «Дорогой мой партийный кадр,— подумала она,— мой дражайший кадр, я извела свое дитя, а ты доложил об этом жене, после чего вы легли с ней в одну постель, и она простила тебе твое легкомыслие и хочет перейти со мной на «ты». Меня прямо тошнит от этого разгула «коммунистической морали».

Она высидела в гостях полчаса, а может, целый час. Хербот накануне вернулся из Франции. Переговоры о сотрудничестве, он рассказывал, и рассказывал, и не мог остановиться про Монмартр, и Эйфелеву башню, и Пляс де ля Конкорд. Три дня в Париже. Человек с кругозором. Если и дальше так пойдет, быть ему генеральным директором, от Франции недалеко и до Испании, а за проливом — Англия.

«Ну, выпей же что-нибудь».

Тут она опрокинула рюмку, вскочила и стремглав выбежала из дому — по освещенной дорожке, через сад, вскочила на подножку отходящего трамвая, потом зашла в первую попавшуюся дискотеку, только чтобы заглушить мерзостный привкус от камина и свеженаклеенных обоев и Елисейских Полей. А после танцев отправилась незнамо с кем в его берлогу, где и проспала до полудня, хотя к десяти

ей следовало быть у проректора по учебно-воспитательной работе «в связи с вашей успеваемостью». Пусть выгоняют, она будет только рада. Отчисление она воспринимала как освобождение. Непонятно только от чего. Порой, когда она среди ночи вдруг вскакивала, словно спасаясь от преследования, а потом лежала и не могла уснуть, ей думалось, что хорошо бы пожертвовать собой во имя чего-то высокого и чистого.

Элизабет мыла на кухне полы, когда заявилась Маша: «А вот и я. Вещи из общежития забрала, с университетом все кончено, и еще я сделала аборт». Она судорожно вцепилась в мать, плакала, вся пошла красными пятнами, а Элизабет думала: «Господи ты боже мой, где ж мне взять силы, сперва письмо от Ханса, а теперь еще это». Маша даже и не заметила, как худо ее матери, какая она бледная. Где ей было понять, что матери кажется, будто у нее в любую минуту может остановиться сердце.

Этой ночью, выплакавшись на груди у матери, Маша спала крепким сном. Этой ночью Элизабет пошла к маленькому пруду возле заброшенной шахты. Норд-вест нагнал на деревню облако удушливого дыма с электростанции. Элизабет села в грязную, засыпанную выбросами траву, поглядела вниз, но ночь была темная и увидеть воду она не смогла. Элизабет закрыла глаза, не в силах о чем-либо думать, и так и сидела, пока у нее не замерзла спина. Подняться с земли было очень трудно. Она почувствовала себя грузной и неуклюжей и поначалу с трудом переставляла ноги. Не сразу она заметила, что уже давно идет дождь и что одежда у нее промокла.

Этой ночью Элизабет Бош написала два письма. Ректору университета она написала, что всю вину за поведение Маши надо целиком и полностью возложить на нее, Машину мать, это она не занималась дочерью как следует. А Маша всегда была хорошей, послушной девочкой, и она просит не наказывать дочь за упущение матери. Другое письмо она написала главному редактору окружной газеты. Ей неизвестно, писала она, что именно рассказывал ему Ханс о ней и о ее отношениях с одним человеком из Гамбурга. Наверняка много несправедливого. А она вовсе не собирается уезжать из деревни. Опасения ее сына ни на чем не основаны. Завершила она письмо такими словами: «Каждый живет где живет, и это хорошо».

Хотела она написать и третье письмо, в Гамбург, но на это у нее просто не хватило сил.

Еще до конца года Якоб Ален продал свой дом на берегу Эльбы и переехал к брату в Западный Берлин. Случалось, что, испросив визу, он переезжал в восточную часть города, отыскивал тот самый задний двор и немного погодя ехал обратно.

Когда деревня торжественно отмечала свой юбилей, Элизабет Бош стояла у окна за гардиной и кивала проходящим мимо людям, хотя видеть ее с улицы никто не мог. И когда она там стояла, и на лугу гремела музыка, ей вдруг почудилось, что дома, деревья, люди начали расти прямо у нее на глазах. «Боже мой,— подумала она,— как оно все надвигается — и все прямо на меня».

Переводы ВЛАДИСЛАВА ХОДАСЕВИЧА*

Парижский сплин

Из БОДЛЕРА

В час ночи

Кончено! Я один! Ничего больше не слышно, кроме редких извозчичьих пролеток, запоздалых и загнанных. На несколько часов дается мне если не отдых, то хоть тишина. Кончено! Неотвязные человеческие лица исчезли, и я буду страдать только от себя самого.

Кончено! Мне позволено погрузиться в сумрак! Прежде всего — два поворота ключа. Мне сдается, будто от этого увеличится мое одиночество и станут прочней баррикады, теперь отделяющие меня от мира.

Страшная жизнь! Страшный город! Подведем итог дню: видел нескольких писателей, из которых один спросил меня, можно ли проехать в Россию сухим путем (он считал, очевидно, Россию островом); долго и усердно спорил с редактором одного журнала, который на каждое возражение отвечал: «Мы здесь люди честные»; подразумевается, что всеми другими журналами руководят жулики; поздоровался с двумя десятками людей, из которых пятнадцати я не знаю; пожал такое же количество рук, не запасшись перчатками; во время дождя, чтобы убить время, зашел к актриске, которая попросила нарисовать для нее костюм Венеры; поухаживал за директором театра, который на прощанье сказал: «Вы, пожалуй, хорошо сделаете, если обратитесь к Z; это самый тяжеловесный, самый грубый и самый знаменитый из авторов, которых я ставлю; при его помощи вы могли бы чего-нибудь добиться. Повидайте его, а там посмотрим»; похвастался (зачем?) несколькими жалкими подвигами, которых никогда не совершал, и подло отрекся от нескольких гадостей, которые совершил с удовольствием; отказал в легкой услуге другу и дал рекомендательное письмо совершенному олуху; фу, все ли это?

Недовольный всеми и недовольный собой, хотел бы я в тишине и в ночном одиночестве отделаться от всего и вновь обрести немного уважения к себе. Души тех, кого я любил, души тех, кого я воспел, укрепите меня, удалите от меня ложь и растлевающий дух мира; а

Публикация В. ПЕРЕЛЬМУТЕРА

* Переводы были напечатаны в газете «Возрождение», Париж, 1928 год (№ 975, 996, 1000, 1073, 1241).

ты, Господи Боже мой, дай мне сложить несколько хороших стихов, которые доказали бы мне самому, что я не последний из людей, что я не худший из тех, кого презираю.

Зеркало

Безобразный человек входит и смотрится в зеркало.

— Зачем вы смотритесь в зеркало, ведь вам неприятно видеть себя?

Безобразный господин отвечает мне:

— Сударь, согласно бессмертным принципам 1789 года, все люди равны в правах; следственно, я обладаю правом смотреться в зеркало; а с удовольствием или с неудовольствием — это уже дело только моей совести.

С точки зрения здравого смысла я был несомненно прав; но с точки зрения закона и он не ошибался.

Потеря ореола

— Что такое? Вы здесь, дорогой мой? Вы — в таком заведении? Вы, привыкший пить нектар и питаться амброзией? Поистине, есть чему изумиться.

— Дорогой мой, вы знаете, как я боюсь лошадей и экипажей. Только что, когда я поспешно пересекал бульвар, прыгая по грязи сквозь движущийся хаос, где смерть галопом наскакивает разом со всех сторон, мой ореол от резкого движения соскользнул с головы в уличную грязь. У меня не было мужества его поднять. Я рассудил, что лучше потерять знак своего достоинства, чем дать себе переломать кости. Кроме того, сказал я себе, нет худа без добра. Теперь я могу прогуливаться инкогнито, делать гадости и развратничать, как простые смертные. И вот — я здесь, как видите — совершенно такой же, как вы!

— Вам следовало хотя бы сделать объявление насчет ореола или заявить в полицию.

— Нет, даю вам честное слово! Мне здесь хорошо. Узнали меня только вы. А высокое положение мне наскучило. Поэтому я с радостью думаю, как какой-нибудь дрянной поэт подберет его и напялит на голову. Как приятно сделать человека счастливым! Да еще таким, над которым я могу смеяться! Представьте себе X... или Z... А? Вот будет умора!

Дурной стекольщик

Бывают натуры вполне созерцательные и совсем не способные к действию; однако, под влиянием чего-то таинственного и неведомого, они порой действуют с такой стремительностью, на которую сами себя не считают способными. Человек, который, боясь найти у консьержа неприятное письмо, целый час подлым образом топчется перед собственной дверью, не смея выйти; или человек, который две недели бережет письмо нераспечатанным или только через шесть месяцев решается на поступок, который нужно было сделать год тому назад,— такие люди иногда чувствуют, что какая-то неодолимая си-

ла стремительно толкает их к действию, как стрелу из лука. Моралист и врач, притязающие на всеведение, не могут объяснить, откуда столь внезапно находит на эти ленивые и разнеженные души такая безумная воля к действию, и почему, неспособные на самые простые и необходимые вещи, такие души в известную минуту обретают избыток мужества для самых нелепых, а часто и самых опасных поступков.

Один мой приятель, самый безобидный мечтатель на свете, однажды поджег лес, чтобы посмотреть, по его словам, правда ли огонь распространяется так быстро, как это утверждают. Десять раз подряд опыт не удавался; но на одиннадцатый он удался даже слишком.

Другой способен закурить сигарету, стоя возле бочки с порохом — *чтобы увидеть, чтобы узнать, чтобы испытать судьбу,* чтобы заставить себя проявить энергию, чтобы рискнуть, чтобы познать прелесть страха или без всякой цели, по прихоти, от безделья.

Это — род энергии, внезапно бьющей ключом из скуки и вечной задумчивости; и те, в ком он проявляется так повелительно, в общем, бывают, как я сказал, самыми бездеятельными и мечтательными существами на свете.

Человек до того робкий, что опускает глаза даже перед взглядами людей; человек, которому приходится собирать всю свою бедную волю, чтобы войти в кафе или подойти к театральному бюро, в котором сидящие контролеры кажутся ему облеченными величием Миноса, Эака и Радаманта,— такой человек вдруг бросится на шею проходящего старика и станет пламенно целовать его перед изумленной толпой.

Почему? Потому что... потому что это лицо ему показалось неодолимо привлекательным? Может быть, но вполне законно предположить, что он и сам не знает почему.

Я не раз бывал жертвою припадков и порывов, заставляющих верить, что в крови у нас бегают проказливые демоны, заставляя бессознательно выполнять их нелепые прихоти.

Однажды утром проснулся я хмурый, унылый, усталый от праздности и с желанием, как мне казалось, совершить что-нибудь великое, какой-нибудь блистательный подвиг; на свою беду, я открыл окно!

(Заметьте, пожалуйста, что мистификаторский дар, который у некоторых проявляется не как следствие труда или расчета, но по внезапному вдохновению, очень похож, хотя бы своей горячностью, на то, по мнению врачей,— истерическое, по мнению мыслящих несколько лучше, чем врачи,— сатанинское состояние, которое неодолимо толкает на множество опасных или недостойных поступков).

Первый, кого я увидел на улице, был стекольщик, резкий, неприятный крик которого донесся до меня сквозь тяжелый и грязный парижский воздух. Я, впрочем, не мог бы сказать, отчего по отношению к этому бедному человеку я был охвачен такой внезапной и сильной ненавистью.

— Эй, эй! — И я закричал, чтобы он поднялся ко мне. Однако я не без радости думал, что, так как моя комната в шестом этаже, а лестница очень узка,— человеку не без труда удастся совершить это восхождение, и во многих местах он будет задевать стену углами своего хрупкого товара.

Наконец он явился; я тщательно пересмотрел все его стекла и сказал: «Как, у вас нет цветных стекол, розовых, красных, голубых — магических стекол, которые все превращают в рай? Как вам не стыдно! Вы смеете ходить по бедным кварталам, а у вас даже нет

стекол, сквозь которые видится красота жизни!» И я вытолкал его на лестницу, по которой он ворча загромыхал вниз.

Я вышел на балкон, взял цветочный горшок, и, лишь только человек показался в дверях, я уронил свой снаряд прямо ему на спину; от толчка он упал и собственным задом придавил все свое бродячее богатство, издавшее оглушительный звон, точно хрустальный дворец под ударом молнии.

И, охмелев от веселья, я кричал ему бешено: «Красота жизни! Красота жизни!»

Эти нервозные шутки небезопасны, и порой за них можно дорого поплатиться. Но что значат вечные пытки тому, кто в едином миге обрел бесконечное наслаждение?

Отчаяние старухи

Маленькая, сморщенная старушка вся озарилась радостью при виде прелестного ребенка, которому все радовались, которому все хотели нравиться; это было прелестное существо, такое же хрупкое, как старушка, и точно как она — беззубое, безволосое.

И она подошла, желая поулыбаться ему приятной улыбкой.

Но ребенок заметался от ужаса под поцелуями доброй, но дряхлой женщины и наполнил весь дом пронзительным криком.

Тогда добрая старушка удалилась в вечное свое одиночество и плакала в уголке, говоря себе: «Ах, для нас, старых баб, прошло время нравиться даже невинным существам; мы приводим в ужас младенцев, которых хотим любить!»

Собака и духи

— Славный пес, добрый пес, милый песик мой, подойди и понюхай прекрасные духи, купленные у лучшего парфюмера в городе.

И собака, виляя хвостом, что, полагаю, у этих бедных созданий соответствует смеху или улыбке, подходит и с любопытством подносит свой мокрый нос к открытому флакону, потом, вдруг в ужасе отскочив, она лает на меня, точно упрекая.

— Ах, несчастный пес, если бы я дал тебе пакет экскрементов, ты бы нюхал его с наслаждением и, может быть, съел бы. Итак — и ты, недостойный спутник печальной жизни моей, похож на толпу, которой нельзя никогда подносить тонкие духи: они ее злят, ей нужны тщательно выбранные отбросы.

Призвания

В прекрасном саду, где лучи осеннего солнца как будто нежились под небом, уже зеленоватым, где золотые облака проплывали, словно кочующие материки,— четверо славных детей, четыре мальчика, устав, должно быть, играть — разговаривали.

Один говорил: «Вчера меня водили в театр. В больших печальных дворцах, за которыми видны море и небо, мужчины и женщины, тоже важные и печальные, но гораздо более красивые и гораздо лучше одетые, чем те, которых мы видим всюду, разговаривают певучими голосами. Они друг другу грозят, умоляют, приходят в отчаяние и

часто хватаются за кинжалы, висящие у них на поясах. Ах, это очень красиво! Женщины гораздо красивее и величественнее тех, которые ходят к нам в гости, и хотя у них страшный вид от больших пустых глаз и пылающих щек — невозможно их не любить. Страшно, хочется плакать, а все-таки в этом есть удовольствие... А самое замечательное — что хочется быть так же одетым, говорить и делать такие же вещи и разговаривать таким же голосом...»

Другой мальчик, который уже несколько секунд не слушал рассказ товарища и с поразительной неподвижностью всматривался куда-то в небо, внезапно сказал: «Глядите, глядите туда!.. Видите его? Он сидит вон на том облачке, вон на том огненном облачке, которое движется так тихонько. Он тоже как будто глядит на нас».

«Да кто?» — спрашивали остальные.

«Бог! — ответил он совершенно уверенно.— Ах, вот уж он довольно далеко; скоро уж вы его не сможете видеть. Должно быть, он путешествует, чтобы осмотреть все страны. Стойте, вон он плывет за рядом деревьев, которые почти на краю неба... а теперь спускается за колокольню... Ах! больше его не видно!» И мальчик долго смотрел в ту сторону, устремив на черту, отделяющую землю от неба, взоры, в которых сияло неизъяснимое выражение восторга и грусти.

«Вот дурак! Пристал со своим Богом, которого он один видит! — сказал тогда третий, маленький, весь чрезвычайно живой и юркий.— А я вот вам расскажу, как со мной случилось такое, какого с вами никогда не случалось; это поинтересней, чем ваши театры да облака... Несколько дней тому назад мои родители уезжали и взяли меня с собой; в гостинице, где мы остановились, не хватало кроватей; решили, что я буду спать на одной кровати с моей гувернанткой.— Он привлек товарищей к себе и заговорил потише.— Замечательная, знаете, вещь получается, когда спишь не один, а лежишь в постели с гувернанткой и в темноте. Я не спал, а она спала, и я стал водить рукой по ее рукам, по шее, по плечам. У нее руки и шея гораздо толще, чем у других женщин, а кожа такая гладкая, как почтовая бумага или как папиросная. Мне так было приятно, что я долго бы занимался этим, если бы не боялся, что она проснется, а еще — сам не знаю чего. Потом я зарылся головой в ее распущенные волосы; они были густые, как грива, а пахли, честное слово, так же хорошо, как цветы в саду — вот сейчас. Попробуйте при случае сделать то же самое — и вы увидите!»

Пока он рассказывал, глаза у автора этого удивительного открытия была расширены от изумления, которое еще не прошло,— а лучи заходящего солнца, проходя сквозь его пушистые рыжие волосы, точно зажигали в них желтый, как сера, ореол страсти. Легко было угадать, что этот не станет тратить жизнь на поиски Божества в облаках, а много раз найдет его в другом месте.

Наконец, четвертый сказал: «Вы знаете, что мне дома не весело; в театр меня никогда не водят, мой опекун скряга; Богу нет дела ни до меня, ни до моей скуки, и нет у меня гувернантки, чтобы с ней нежничать. Мне часто приходило в голову, что для меня наслаждением было бы все время идти, идти Бог весть куда, и чтобы никого это не тревожило, и чтобы постоянно видеть новые страны. Я никогда не знаю, где я, и всегда думаю, что мне было бы лучше в другом месте, не там, где я нахожусь. И вот, недавно, на ярмарке в соседней деревне, увидел я трех людей, которые живут, как мне бы хотелось жить. Вы-то на них не обратили внимания. Были они высокие, почти черные и очень гордые, хоть и в лохмотьях; у них такой вид, что они ни в ком не нуждаются. Их большие угрюмые глаза так и засверкали, как только они начали играть; это была такая музыка, что от нее хочется то плясать, то плакать, то и плясать и плакать; можно чуть не с ума сойти, если слушать их долго. Один, водя смычком по скрипке, точно рассказывал что-то грустное; другой, ударяя молотком по

струнам маленького рояля, висящего у него на ремне через плечо, как будто подсмеивался над жалобами своего соседа, а третий то и дело с невероятною силою бил в цимбалы. Они так были довольны собою, что продолжали свою дикую музыку, когда толпа уже разошлась. Наконец, собрали свои медяки, взвалили имущество на спины и ушли. Чтобы узнать, где они живут, я прошел далеко за ними, до самого леса, и только тогда узнал, что они не живут нигде.

Один сказал: — Поставить палатку?

— Нет,— отвечал другой,— ночь такая хорошая!

Третий подсчитывал выручку и говорил: — Эти люди не чувствуют музыки, а ихние женщины пляшут, словно медведи. К счастью, месяца не пройдет, как уж мы будем в Австрии; там народ лучше.

— Может быть, нам пойти в Испанию? Скоро осень, уедем от дождей, но глотки промочим все-таки,— сказал опять первый.

Я все запомнил, как видите. Потом они выпили по чашке водки и заснули, обратив лица к звездам. Я хотел было попросить, чтобы они меня взяли с собой и научили играть на их инструментах, но не посмел — потому, должно быть, что трудно бывает решиться на что-нибудь, а еще потому, что боялся, как бы меня не поймали прежде, чем я убегу из Франции».

Не слишком заинтересованный вид остальных трех товарищей заставил меня подумать, что этот малыш есть уже один из НЕПОНЯТЫХ. Я смотрел на него внимательно; в его взоре, в лице было что-то не по возрасту роковое: вообще это отталкивает симпатию, но мою — возбуждало; одно мгновение у меня была даже странная мысль, что я мог бы обрести брата в незнакомом моем двойнике.

Солнце зашло. Настала торжественная ночь. Дети разошлись, каждый отправился бессознательно, смотря по обстоятельствам и случайностям, довершать свою участь, возмущать ближних, тяготеть к славе или к бесчестию.

Искушения, или Эрос, Плутос и Слава

Два великолепных Дьявола и не менее замечательная Дьяволица поднялись прошлой ночью по таинственной лестнице, благодаря которой Ад пользуется бессилием спящего человека и невидимо с ним общается. Они пришли и торжественно стали передо мной, держась прямо, как на эстраде. От всех троих исходил фосфорический свет, и они резко выделялись из ночной тьмы. Вид у них был столь гордый и властный, что я сперва принял их за настоящих богов.

Лицо первого Дьявола было полумужское, полуженское, а в линиях тела его была мягкость античных Вакхов. Его томные, неопределенно темного цвета глаза были похожи на фиалки, еще отягощенные крупными каплями дождя, а полураскрытые губы — на раскаленные курильницы, от которых исходил запах духов; и каждый раз, как он вздыхал, насекомые, пахнущие мускатом, вспыхивали, порхая, в его горячем дыхании.

Вокруг его пурпурной туники обвивалась, как пояс, переливчатая змея, которая, подняв голову, томно обращала к нему огненные глаза свои. На живом поясе висели склянки, полные темных зелий, сверкающие ножи и хирургические инструменты. В правой руке держал он еще одну склянку, с ярко-красной жидкостью и с ярлычком, на котором были написаны странные слова: «Пейте, сие есть кровь моя,

бальзам истинный». А в левой руке была у него скрипка, служащая, несомненно, для выражения его наслаждений и мук и для распространения его безумной заразы на ночных шабашах.

На нежных ногах его висело, влачась, по нескольку звеньев разорванной золотой цепи; они стесняли его движения; тогда он опускал глаза и тщеславно разглядывал ногти на пальцах ног, сверкающие и глянцевые, как хорошо отполированные камни.

Он смотрел на меня своими неисцелимо пронзающими глазами, источающими коварное очарование, и прельстительным голосом говорил: «Если ты хочешь, если ты хочешь, я сделаю тебя властителем душ, всякая живая плоть станет тебе послушней, чем глина послушна ваятелю, и ты познаешь неиссякаемое наслаждение терять себя, чтобы забываться в другом, и привлекать к себе души так, чтобы они сливались с твоею».

И я ответил ему: «Покорно благодарю! Мне нечего делать с этой оравой, которая стоит, конечно, не больше, чем мое бедное я. Хоть мне стыдно кое-что вспоминать — я не хочу забывать ничего; и даже если бы я не знал тебя, старый урод,— твои таинственные ножи, твои подозрительные склянки, цепи, которыми спутаны твои ноги,— все это знаки, достаточно ясно говорящие о неудобствах дружбы с тобой. Оставь свои дары у себя».

У второго Дьявола не было ни этого полутрагического, полусмеющегося выражения, ни этой прелестной вкрадчивости, ни нежной, благоухающей красоты. Это был огромный человек, с толстым безглазым лицом, его тяжелое брюхо свисало на ноги; вся кожа его была позолочена и разрисована, точно татуирована, множеством мелких движущихся картинок, изображающих многочисленные примеры мировой нищеты. Тут были чахлые человечки, *удавившие сами* себя; маленькие, исхудалые, гномы-уродцы, умоляющие глаза которых еще настойчивее выпрашивают милостыню, чем трясущиеся руки; были и старые матери, держащие недоносков у истощенных грудей. Было еще много другого.

Жирный Дьявол постукивал кулаком по огромному чреву — и оттуда доносился протяжный и гулкий звон металла, переходивший в стон многих человеческих голосов. И, бесстыдно показывая испорченные зубы, Дьявол смеялся раскатистым смехом, как смеются известные люди всех стран, когда они слишком хорошо пообедают.

И он сказал мне: «Я могу тебе дать то, что владеет всем, что покупает все, что заменяет все!» И он стукнул по своему чудовищному брюху, звонкий отголосок которого пояснил его грубую речь.

Я с отвращением отвернулся и отвечал: «Для своего блага я не нуждаюсь ни в чьей нищете; и я не хочу богатства, омраченного всеми страданиями, изображенными на твоей коже».

Что касается Дьяволицы, то я бы солгал, если бы не признался, что с первого взгляда нашел в ней некое странное обаяние. Чтобы пояснить это обаяние, всего лучше его сравнить с прелестью увядающих красавиц, которые больше уже не стареют и красота которых сохраняет волнующее очарование развалин. Она была и величественна, и неуклюжа, а ее обведенные синяками глаза все-таки сохраняли притягательную силу. Но всего больше поразила меня тайна ее голоса, который мне напомнил самые нежные контральто — и в то же время отчасти хрип глоток, непрестанно промываемых водкой.

«Хочешь узнать мое могущество? — сказала ложная богиня своим обаятельным и ни на что не похожим голосом.— Слушай!»

И она поднесла к губам огромную трубу, разукрашенную, как ярмарочная дудка, заглавиями газет всего мира, и в эту трубу она крикнула мое имя, которое прогремело в пространстве сотнями тысяч громов и вернулось ко мне, отраженное эхом самой дальней планеты.

«Черт побери! — воскликнул я, наполовину уже покоренный.— Вот это великолепно!» Но, всмотревшись более внимательно в соблазнительную бабищу, я вспомнил, что видел, как она выпивала в компании некоторых знакомых мне дураков; и хриплый звук меди донес до моего слуха смутное представление о продажной трубе.

И тогда я ответил со всем презрением, на какое способен: «Проваливай! Я не создан для того, чтобы жениться на любовнице господ, которых не хочу называть».

Конечно, я имел право гордиться столь мужественным отказом. Но, к несчастью, я проснулся, и вся сила меня покинула. «В самом деле,— сказал я себе,— надо было очень крепко спать, чтобы проявить такую щепетильность. Ах, если бы они могли вернуться, когда я не сплю, я не стал бы так церемониться!»

И я стал призывать их громким голосом, умоляя простить меня, обещая быть бесчестным настолько, насколько это нужно, чтобы заслужить их милости; но, должно быть, я слишком обидел их, потому что они никогда больше не приходили.

Странник

— Кого ты больше всех любишь, загадочный человек? Скажи: отца, мать, сестру, брата?

— У меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата.

— Друзей?

— Вы употребляете слово, смысл которого мне до сих пор непонятен.

— Родину?

— Я не знаю, под какой широтой она находится.

— Красоту?

— Я полюбил бы ее охотно — в божественном и бессмертном образе.

— Золото?

— Я его ненавижу, как вы ненавидите Бога.

— Гм, что же ты любишь, необычайный странник?

— Я люблю облака... летучие облака... вон они... Чудесные облака!

Любезный стрелок

Когда коляска проезжала Булонским лесом, он велел остановиться у тира, сказав, что хотел бы выпустить несколько пуль, чтобы убить Время. Убивать это чудовище — разве это не самое обыкновенное и не самое законное занятие каждого? — И он любезно взял под руку свою дорогую, очаровательную и омерзительную жену, непостижимую женщину, которой обязан был столькими наслаждениями, столькими страданиями и, быть может, большею частию своего гения.

Несколько пуль ударились далеко от назначенной цели; одна попала даже в потолок; и так как прелестное создание безумно хохотало, смеясь над неловкостью своего супруга, он внезапно к ней повернулся и сказал: «Заметьте-ка вон ту куклу, направо, которая задирает нос и глядит так надменно. Ангел мой, *я воображаю, что это вы*». И он закрыл глаза и спустил курок. Кукла была обезглавлена.

Тогда, склонясь перед своей дорогой, перед своей очаровательной, перед своей омерзительной женой, перед своей неизбежной и беспощадной Музой и ей целуя почтительно руку, он прибавил: «О, ангел мой, как я вам благодарен за свою меткость!»

Великодушный игрок

Вчера, в бульварной толпе, я почувствовал на себе взгляд таинственного Существа, с которым всегда хотел познакомиться и которое узнал тотчас, хотя его никогда не видал. Очевидно, у него было такое же желание по отношению ко мне, потому что, проходя мимо, Он сделал мне глазами знак, которому я поспешил повиноваться. Я не отставал от него и вскоре вслед за ним спустился в ослепительное подземное жилище, сверкавшее великолепием, о котором ни одно из надземных обиталищ Парижа не могло бы дать даже приблизительное представление. Мне показалось странным, что я мог так часто проходить мимо этого чудесного подземелья, не подозревая, что здесь находится вход в него. Там царила изящная, хоть и немного тяжелая атмосфера, которая почти сразу заставляла забыть надоевшие ужасы жизни; все там дышало темным блаженством, подобным тому, которое должны были испытывать лотофаги, когда, пристав к зачарованному острову, озаренному светом вечного дня, они почувствовали, как под усыпительные звуки мелодических водопадов рождается в них желание никогда больше не видеть своих пенатов, жен, детей и никогда больше не подыматься на высокие волны моря.

Там были странные мужские и женские лица, отмеченные трагической красотой; мне казалось — я уже видел их в такие времена и в таких странах, которые уже не могу точно вспомнить; они внушали мне скорее братскую близость, нежели страх, который обычно рождается при виде незнакомцев. Если бы я захотел как-нибудь точнее определить странное выражение их взглядов, я сказал бы, что никогда не видал глаз, в которых сильнее сверкали бы — ужас перед скукой и неумирающая жажда ощущать жизнь.

Едва усевшись, мы с хозяином оказались уже давнишними и полнейшими друзьями. Мы поели, выпили сверх всякой меры всевозможных изумительных вин, и — вещь не менее изумительная! — несмотря на то, что прошло несколько часов, мне казалось, что я не более пьян, чем они. Впрочем, наша обильная выпивка время от времени прерывалась игрою в карты, этим сверхчеловеческим наслаждением, и я должен сказать, что я с героической беззаботностью и героической легкостью поставил и проиграл свою душу. Душа есть нечто столь неосязаемое, столь часто ненужное и порой столь стеснительное, что от этого проигрыша я испытал немного меньше волнения, чем если бы на прогулке выронил свою визитную карточку.

Мы не спеша выкурили несколько сигар, несравненный вкус и аромат которых порождал в душе тоску по неведомым странам и радостям; и, опьяненный всеми этими наслаждениями, в порыве фамильярности, которая, казалось, не была ему неприятна, я схватил наполненную до краев чашу и смело воскликнул: «За ваше бессмертное здоровье, старый Козел!»

Мы также поговорили о Вселенной, об ее создании и о будущем разрушении; о великой идее нашего века, то есть о прогрессе и о совершенствовании, а кроме того — вообще о всевозможных человеческих стремлениях. На сей счет Его Высочество оказался неистощим по части легких и совершенно неотразимых шуток; он изъяснялся с таким приятным выговором и шутил с такою непринужденностью, каких мне не случалось встречать ни у кого из самых прославленных мастеров легкой беседы. Он показал мне нелепость различных фило-

софских систем, владевших доныне человеческим мозгом, и даже соблаговолил доверить мне несколько основных принципов, выгоду обладания которыми мне нет смысла делить с кем бы то ни было. Он никоим образом не жаловался на дурную славу, которой пользуется во всех частях света; заверил меня, что сам всех более заинтересован в разрушении *суеверия*, и признался, что за свою собственную власть был испуган только один раз, когда услыхал, как некий проповедник, более тонкий, нежели его собратья, закричал с кафедры: «Дорогие братья мои, никогда не забывайте, когда услышите восхваление прогрессу и просвещению, что самая хитрая уловка дьявола — это уверить вас, будто он вовсе не существует!»

Воспоминание об этом славном ораторе естественно привело нас к разговору об академиях, и необычайный мой сотрапезник заверил меня, что он во многих случаях не преминул направить перо, речь и мысль педагогов, а также что он почти всегда лично, хоть и незримо, присутствует во всех академических собраниях.

Ободренный такой добротой, я спросил у него, что слышно о Боге и давно ли он Его видел. Он ответил мне без затруднения, но с некоторым оттенком печали: «Мы здороваемся при встрече, но — как два старых господина, в которых врожденная вежливость все же не может вполне загасить воспоминаний о давней вражде».

Вряд ли Его Высочество давал когда-нибудь столь продолжительную аудиенцию простому смертному — и я побоялся быть в тягость. Наконец, когда трепетная заря уже осветила стекла, эта преславная личность, воспетая столькими поэтами и обслуживаемая столькими философами, которые, сами того не зная, трудятся во славу ее, мне сказала: «Я хочу, чтоб у вас осталось обо мне хорошее воспоминание, и хочу доказать вам, что я, о котором говорят столько дурного, бываю иногда благодетелем. Чтобы возместить неисцелимую потерю, потерю вашей души, я дарю вам ту ставку, которую вы бы выиграли, если бы удача была на вашей стороне: иными словами, я даю вам силу в течение всей жизни облегчать и побеждать то своеобразное влечение к скуке, которое есть источник всех ваших болезней и всего вашего жалкого прогресса. Никогда не придумаете вы себе желания, которое я не помогу вам осуществить; вы будете царить над своими обыкновенными собратьями; вам будут льстить, даже поклоняться; серебро, золото, бриллианты, волшебные замки сами придут к вам и будут просить взять их; вы будете менять родину и посещать иные страны всякий раз, как вам подскажет воображение; вы без устали будете предаваться сладострастию в очаровательных странах, где всегда тепло и где женщины благоухают, как цветы... И прочее и прочее»,— прибавил он, подымаясь и отпуская меня с доброй улыбкой.

Если бы не страх унизить себя перед столь обширным собранием, я бы охотно упал к ногам этого великодушного игрока, чтобы поблагодарить за неслыханную его щедрость. Но когда я расстался с ним, неутолимое сомнение мало-помалу закралось мне в сердце; я больше не решался верить в столь чудесную доброту, и когда ложился спать, то, все еще по глупой привычке молясь Богу, я несколько раз повторил: «Боже мой! Господи Боже мой, сделай так, чтобы дьявол сдержал свое слово!»

Старый паяц

Куда ни глянь — ширилась, растекалась и веселилась праздничная толпа. Был один из тех праздников, на которых долго строят свои расчеты паяцы, фокусники, владельцы зверинцев и бродячие торговцы, чтобы наверстать трудные времена года.

В такие дни мне сдается, что народ забывает все — и горе и труд; он становится как ребенок. Для ребятишек это день свободы: школь-

ные ужасы отложены на двадцать четыре часа. Для взрослых это перемирие, заключенное с лютыми силами жизни, передышка среди всеобщей при и борьбы.

Даже человек из общества и человек, занятый умственными трудами, нелегко избегает влияния этого народного празднества. Невольно вдыхают они свою долю беспечности. Лично я, как истинный парижанин, никогда не упускаю случая сделать смотр всем балаганам, пестреющим в дни таких празднеств.

Вот и теперь они изо всех сил соперничали друг с другом: они визжали, ревели, рычали. Это было месиво из криков, медного звона и хлопания фейерверков. Шуты и кривляки гримасничали своими загорелыми лицами, заскорузлыми от ветра, дождя и солнца; с развязностью актеров, уверенных в успехе, бросали они словца и шуточки, крепкие и тяжеловесные, как у мольеровских комиков. Геркулесы, гордые непомерностью своих членов, низколобые и плоскоголовые, как орангутанги, величественно растопыривались в своих трико, выстиранных накануне ввиду обстоятельств. Плясуньи, прекрасные, точно феи или принцессы, прыгали и порхали, озаренные фонарями, которые тысячи раз отражались в их юбках, сверкавших искрами.

Все превратилось в сплошной свет, пыль, гам, веселье, сумятицу; одни тратились, другие наживались — все с одинаковой радостью. Дети цеплялись за юбки матерей, выпрашивая какой-нибудь леденец, или вскарабкивались на плечи отцов, чтобы лучше видеть шарлатана, сияющего, как бог. И надо всем, побеждая все запахи, носился масляный чад, который был благовонным курением сего празднества.

В конце, в самом дальнем конце балаганного ряда, словно сам он, стыдясь, изгнал себя из всех этих великолепий, я увидел нищего паяца; горбатый, дряхлый, изнеможенный, развалина человека, он сидел, прислонясь к косяку своего жилища, более нищенского, чем жилище самого жалкого дикаря; два ряда сальных свечей слишком хорошо освещали это убожество.

Всюду веселье, нажива и кутерьма; всюду уверенность в куске хлеба на завтрашний день; всюду бешено кипит жизнь. Здесь — совершенная нищета, нищета, в довершение ужаса, наряженная в комические лохмотья, пестротою которых она обязана более необходимости, нежели искусству. Несчастный! Он не смеялся. Он не плакал, он не плясал, не махал руками и не кричал; никакой песни не пел он, ни веселой, ни заунывной; он не просил о помощи. Он был нем и недвижен. Он все отверг, от всего отрекся. Судьба его совершилась.

Но каким взглядом, глубоким и незабвенным, пробегал он по толпе, по огням, которых прибой останавливался в нескольких шагах от его отталкивающей нищеты! Я почувствовал, что мое горло сжато страшной рукой истерики, и мне казалось, что взор мой застлан теми стремительными слезами, которые не хотят вытечь.

Что делать? К чему спрашивать у несчастного всякие странные вещи, какие чудеса может он показать в этом зловонном сумраке, позади своего драного занавеса? Истинно говорю, я не осмеливался; и пусть причина моей робости вас заставит смеяться — признаюсь, что я побоялся его унизить. Наконец я решился положить мимоходом немного денег на одну из его досок; я надеялся, что он угадает мое намерение, вдруг неизвестно с чего нахлынувшая толпа людей унесла меня далеко от него.

И вот, возвращаясь оттуда, подавленный этим зрелищем, я все хотел разобраться в неожиданно испытанном страдании; и я подумал: «Это я видел прообраз старого литератора, пережившего то поколение, которое он так блистательно развлекал; прообраз старого поэта, без друзей, без семьи, без детей, который опустился от своей нищеты и от неблагодарности публики, к которому в его балаган забывчивая толпа не хочет больше ходить!»

Геройская смерть

Фанчулло был изумительный шут и почти принадлежал к числу друзей Принца. Но людей, по положению предназначенных для комического, роковым образом привлекают важные дела; и хотя может показаться странным, что идеи родины и свободы деспотически овладевают мозгом фигляра, все же Фанчулло в один прекрасный день примкнул к заговору, составленному несколькими недовольными дворянами.

Всюду существуют предатели, доносящие властям на тех беспокойных людей, которые хотят низвергать правителей и преобразовать общество, не спросясь его. Вышеупомянутые синьоры были арестованы и вместе с Фанчулло приговорены к смерти.

Я готов был думать, что Принц был разгневан, найдя своего любимого комедианта в числе восставших. Принц был не лучше и не хуже всякого другого; но чрезвычайная чувствительность во многих случаях делала его более жестоким и деспотическим, нежели все ему подобные. Страстный любитель искусств, впрочем, великолепный знаток, он был воистину ненасытен по части наслаждений. Довольно безразличный в отношении людей и нравственности, истинный художник сам по себе, он не знал более страшного врага, чем Скука; и необычайные усилия, которые он делал, чтобы укрыться от этого всемирного тирана или его победить, несомненно снискали бы ему со стороны какого-нибудь сурового историка прозвание «чудовища»,— если б в его владениях разрешалось писать что бы то ни было, не клонящееся к удовольствию или к изумлению, которое есть одна из самых изысканных форм удовольствия. Великим несчастьем этого Принца было то, что у него никогда не было поприща, довольно обширного для его гения. Бывают маленькие Нероны, которые задыхаются в слишком тесных границах; грядущие века никогда не узнают ни их имен, ни намерений. Непредусмотрительное Провидение дало нашему Принцу способности более обширные, нежели его владения.

Внезапно разнесся слух, что государь желает помиловать всех осужденных; источником этого слуха было объявление о большом представлении, во время которого Фанчулло должен был сыграть одну из своих коронных и лучших ролей и на котором, как говорили, будут присутствовать осужденные дворяне; поверхностные умы прибавляли, что это — явный знак великодушных намерений оскорбленного Принца.

Со стороны человека, равно причудливого как от природы, так и по умыслу, все было возможно: даже добродетель, даже милосердие, в особенности если тут можно было обрести нежданные удовольствия. Но для тех, кто, подобно мне, имели возможность дальше проникнуть в глубину этой любопытной и больной души, бесконечно более вероятным казалось, что Принц хочет испытать цену сценическим дарованиям человека, присужденного к смерти. Он хотел воспользоваться случаем для психологического опыта, который *мог стоить жизни,* и проверить, до какого предела обыкновенные способности актера могут быть изменены исключительным положением, в котором он находится; кроме того, Принц хотел узнать, существует ли в его собственной душе некоторая склонность к милосердию. Этот вопрос так и не удалось выяснить.

Наконец, когда настал день представления, маленький двор развернул все свое великолепие, и тому, кто этого не видал, трудно себе представить, в каком блеске может явиться, ради истинного торжества, привилегированное сословие маленького государства с ограниченными средствами. Торжество не было истинное, и по волшебной роскоши, и по тому скрытому нравственному интересу, который был с ним сопряжен.

Синьор Фанчулло бывал особенно великолепен в немых или малословных ролях, которые часто бывают главными в тех феерических драмах, которых предмет — символическое изображение жизненной тайны. Он вышел на сцену тихонько и с совершенной непринужденностью, что способствовало укреплению доброты и прощения в сердцах благодарных зрителей.

Когда говорят о комедианте: «Хороший комедиант» — этим хотят сказать, что под маской действующего лица можно угадать комедианта, то есть искусство, работу, волю. Поэтому, если бы комедиант стал по отношению к действующему лицу тем, чем лучшие статуи античности, чудесно одушевленные, оживленные, движущиеся и глядящие, стали бы по отношению к общей и неясной идее красоты,— это был бы, конечно, случай исключительный и непредвиденный. Фанчулло в тот вечер был совершенной идеализацией, которую нельзя было не признать живой, правдивой, действительной. Этот шут ходил, двигался, смеялся, плакал, содрогался — с каким-то постоянным ореолом вокруг головы, ореолом, не видимым никому, но видимым мне; причудливым сплавом в нем смешивались лучи Искусства и слава Мученичества. С каким-то особым даром Фанчулло вносил нечто божественное и сверхъестественное в самые невероятные шутовства. Перо мое дрожит, и слезы неостывающего волнения навертываются у меня на глазах, когда я пытаюсь вам описать тот незабываемый вечер. Фанчулло доказал мне решительно, неопровержимо, что хмель Искусства вернее всякого другого набрасывает покров на ужасы бездны; что гений может играть комедию на краю могилы — с веселием, которое не дает ему видеть могилу: ибо он всем существом пребывает в раю, исключающем всякую мысль о смерти и разложении.

Все зрители, как ни были пресыщены и легкомысленны, тотчас поддались всемогущей власти художника. Никто уже не думал о смерти, о горе, о казнях. Каждый беззаботно отдался разнообразию наслаждений, которые представляет великое и живое искусство. Взрывы веселия и восторга, точно долгие и мощные раскаты грома, то и дело сотрясали своды здания. Сам Князь [1], в упоении, присоединил свои рукоплескания к рукоплесканиям двора.

Однако для проницательного взгляда его упоение было не лишено какой-то примеси. Чувствовал ли он, что побеждена его власть деспота? Чувствовал ли, что унижено его искусство устрашать сердца и леденить умы? Показалось ли ему, что у него отнимают надежды и смеются над его ожиданиями? Такие предположения, не вполне доказанные, но и не вовсе недоказуемые, проносились в моем уме, когда я всматривался Принцу в лицо, на котором новая бледность все время ложилась на бледность, ему свойственную, как снег ложится на снег. Губы его сжимались все теснее, глаза сверкали внутренним огнем, похожим на огонь ревности или злопамятства, даже когда он, всем напоказ, рукоплескал талантам своего друга, странного шута, шутившего так хорошо со смертью. Вдруг я увидел, как Его Высочество наклонился к маленькому пажу, сидевшему сзади, и что-то сказал ему на ухо. Проказливая мордочка хорошенького ребенка озарилась улыбкой; потом он проворно вышел из княжеской ложи, как бы для того, чтобы исполнить спешное поручение.

Через несколько минут острый, пронзительный свист перебил Фанчулло в один из лучших его моментов, надорвав разом и уши и сердца. А из того угла залы, откуда раздался этот неожиданный знак неодобрения, стараясь задушить смех, выбежал в коридор ребенок.

Фанчулло, потрясенный, разбуженный посреди своих видений, сначала закрыл глаза, потом почти тотчас же раскрыл их; они были непомерно расширены; потом он открыл рот, как бы судорожно пере-

---

[1] Так у В. Ходасевича *(В. П.)*.

водя дыхание, шатнулся немного вперед, немного назад — и мертвым пал на подмостки.

Действительно ли тот свист, быстрый, как меч, взял себе то, что предназначалось для палача? Предвидел ли сам Принц убийственное действие своей шутки? Позволительно в этом сомневаться. Пожалел ли он о своем милом и неподражаемом Фанчулло? Было бы приятно и пристойно так думать.

Осужденные дворяне в последний раз получили удовольствие видеть комедию. Они умерли в ту же ночь.

С той поры многие мимы, справедливо ценимые в разных странах, приезжали играть при дворе Принца; но ни один из них не сумел ни напомнить чудесный талант Фанчулло, ни снискать равное *благоволение.*

Бодлер перед зеркалом

Существуют города, ставшие неотделимыми от писателей, которые сделали их предметом и темой своих произведений. Для русских читателей классический пример — Петербург Достоевского. Таков Париж Бодлера. Только поэт свои состоянья тоски, связанной для него с Парижем, передал и в дисгармонии знаменитых сонетов, и в предельно четких строках стихотворений в прозе. Бодлер был одним из создателей этого нового жанра. Хотя в России его и развивал Тургенев, тем не менее в нашей литературе удачных произведений этого рода не так много. Когда Бодлер стал у нас популярен благодаря русским символистам в начале века, и эти его сочинения начали переводить. Но до Ходасевича никому не удалось передать по-русски концентрированную горечь сжатых прозаических этюдов великого французского поэта.

Ходасевич работал над переводами в то время, когда сам он писал во многом подобные бодлеровским безнадежные и до предела неприкрашенные стихи о страшном мире европейского города, о «европейской ночи», открывшейся ему в эмиграции. Можно было бы задуматься о чисто литературной родословной стихов о городе, одновременно влекущем и пугающем поэта, о Гонгоре, чей сонет о Мадриде в начале XVII века кончался строкой «Таков Мадрид, а скажем лучше — ад», или о проститутках на улицах Лондона у Уильяма Блейка. Но в памяти прежде всего возникают еще два облика Парижа: роман конца XIX века «Inferno» («Ад») Августа Стриндберга (столько значившего для Блока) и проза, письма и стихи о Париже первого десятилетия нашего века Райнера Мария Рильке, в ту пору работавшего в Париже секретарем скульптора Родена. И в письмах, и в прозаических «Записках Мальте Лауридса Бригге» Рильке передает потрясение, пережитое им, когда, среди пугавшего его своей огромностью и фабричной массовостью всего (вплоть до смертей, переставших быть частным делом одного человека) Парижа, он прочитал одно из стихотворений в прозе Бодлера — то, которое кончается обращением к Богу. Сейчас, когда мы располагаем изумительным по точности и подлинности переводом этих текстов, сделанных Ходасевичем, нельзя не подивиться словам Рильке о французском оригинале: для Рильке это — молитва русского человека, задыхающаяся, прерывистая, мучительная.

В самом французском языке стихотворений в прозе Бодлера, в названиях месяцев, введенных при революции, в бытовых подробностях отпечаталась судьба Франции и ее столицы. Ходасевичу пришлось пережить у себя на родине много сходного, до того как он принял мучительное решение эмигрировать. Позднее он напишет:

Нет, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала,
И Вергилия нет за плечами.
Только есть одиночество в раме
Говорящего правду стекла.

Дантов ад (где в первой песне поэт встречается с пантерой, и спутником его был Вергилий) вспоминается Ходасевичу на парижском чердаке, когда он в зеркальном стекле видит, как он переменился.

Мне кажется, что и в бодлеровские стихотворения в прозе Ходасевич (как за двадцать лет до него Рильке) гляделся как в зеркало. Он узнавал себя в измученности и напряженной наблюдательности Бодлера. Детали могли не совпадать, но дело не в подробностях и в частностях. Ходасевич переводил не просто близкие ему по духу тексты — он встретился с подобием собственного пережитого опыта. Оттого-то зеркало, в котором по-русски отразился бодлеровский «Сплин», так поразительно верно.

Бодлеру самому довелось быть открывателем Эдгара По, переводам которого он посвятил часть жизни. За это он был вознагражден: гениальный венгерский поэт начала века Ади перевел некоторые сонеты Бодлера с точностью, которая кажется почти сверхъестественной. К таким же чудесам перевоплощения на другом языке смело можно отнести и стихотворения в прозе, мрачную и сдержанную силу которых русский читатель впервые почувствует, прочитав их в зеркальном отражении у Ходасевича. Если сам Париж у Бодлера — зеркало его «Сплина», то Ходасевич сличал друг с другом город и поэта, переводил одного в другого. Подлинник был в нем самом.

ВЯЧ. В. ИВАНОВ

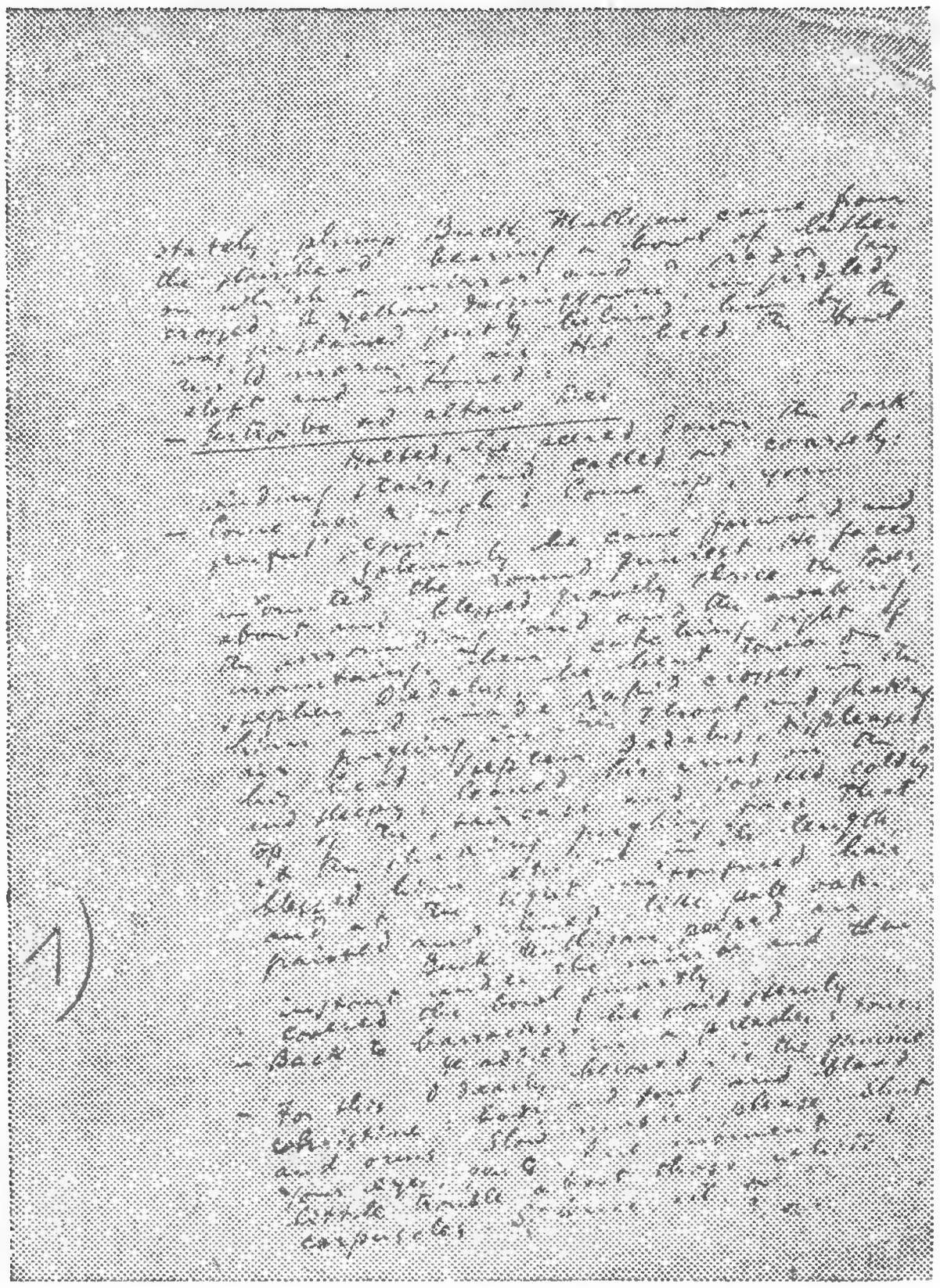
ДЖЕЙМС ДЖОЙС

Улисс

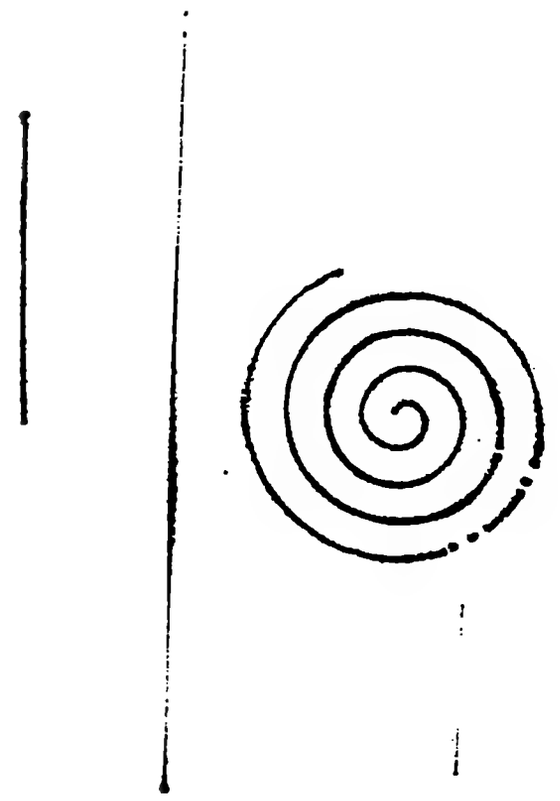
РОМАН

Перевод с английского В. ХИНКИСА и С. ХОРУЖЕГО

Джойс в возрасте 20 лет (1904)



Первая страница рукописи (первый эпизод)



«Символ Джойса». К. Брынкуши (1929)

© 1984 The Trustees of the Estate of James Joyce.

Д. С. ЛИХАЧЕВ

Слово к читателю

Я думаю, мою устную речь следовало бы потом отредактировать. Я говорю с ошибками и без знаков препинания — так, в сущности, пишет Джойс.

Мне кажется, не следует себя обманывать и думать, что Джойс найдет себе массового читателя. Он не найдет себе такого массового читателя. Но тем не менее наличие главного его произведения на языке, на котором все читают в нашей стране, обязательно нужно. Обязательно нужно, потому что Джойс — это явление культуры, уникальное, как сейчас говорят, единичное, неповторяемое; «Улисса» нельзя повторить в истории культуры. Джойс не может иметь своей школы, но он оказывает колоссальное влияние на литературу и культуру всего мира. На многих языках Джойс имеется, он должен быть и по-русски.

Почему «Улисс» не может быть прочитан массовым читателем? Потому что не может быть и массового читателя, который бы мог подслушать наши мысли. Ведь мы все мыслим так, как пишет Джойс, мы мыслим без знаков препинания, иногда неупорядоченно — «потоком сознания», хотя мне это выражение не совсем нравится. Лучшее и адекватное выражение наши мысли находят в прозе Джойса. Но при этом очень важно помнить, что это мысли, поток мыслей, поток сознания, свойственный высокоинтеллектуальному человеку. Не следует думать, что каждый из нас способен мыслить как Джойс. Речь идет только о способе мысли, о способе нагромождения ассоциаций, о способе роста этих ассоциаций, их сцеплений. Проза Джойса существует независимо от сюжета — сюжет в традиционном понимании здесь отсутствует,— но его проза никак от этого не страдает и уж тем более не упрощается. Наоборот, проза его потому и сложна, что это мысли, строй мыслей гениального человека. В чем его гениальность? Наверное, в умении услышать мысли человека, а в этом нуждается каждый,— во введении собственных мыслей в какой-то такой поток, какой уподобляется потоку мыслей самого Джойса.

Достаточно ли хорошо сделан перевод? Перевод Джойса не может быть переводом буквалистским. Вообще я против буквалистских переводов. Переводы Пастернаком Шекспира — это не буквалистские переводы. Совершенно ясно, что это переводы конгениальные. Создать конгениальный перевод Джойса, может быть, не менее трудно, чем перевод Шекспира, потому что самый характер его прозы очень сложный и он теснейшим образом связан с английским языком. Значит, нужно обрести адекватное мышление на русском языке, которое бы одновременно подходило к тому, что говорит Джойс, и вместе с тем было бы возможно на русском языке. Здесь в свои права вступают отличия языковых стихий. Ведь то, что возможно по-английски, невозможно по-русски — и наоборот. А у Джойса это языковая стихия. И это очень важно. Ведь вода может идти по водопроводу, она может течь в реке, она может волноваться в море. Это все разная вода. Поток воды, движущийся у Джойса, очень широк и неуправляем. Он подчиняется законам своего языка. Ведь вода больше всего вода в море, но она меньше всего вода в водопроводе. И проза Джойса — это высокоинтеллектуальная «вода в море», которая сама собой является. Язык — это, конечно, не только грамматические формы, с которыми Джойс обращается очень вольно, и это не знаки препинания. Знаки препинания отсутствуют в нашем сознании, когда мы говорим или когда мы мыслим. Но тем не менее это крепкая морская вода.

Джойс не замкнут в традициях, даже в традициях своего языка. И это делает его очень интернациональным, как это ни странно. С одной стороны, это проза английская, именно английская. А с другой — это способ мышления, который характерен для человеческого сознания вообще. И независимо от того, много или мало читателей найдет себе Джойс в нашей стране, он должен быть в закромах нашей культуры. Обязательно должен быть. К нему должны обращаться те, кто пишет, и те, кто думает, то есть читатель может быть очень избранный, даже немногочисленный, но чрезвычайно значительный, чрезвычайно важный для нашей культуры.

Появление перевода «Улисса» Джойса на русском языке — безусловно, культурное событие. Конечно, это не событие уличного порядка, которое приковывает к себе всеобщее внимание. Но это событие культуры. Ведь и культура по существу не массовое явление, хотя и уходит своими корнями в глубину масс.

Подготовлена или не подготовлена русская литература к восприятию Джойса? Так, может быть, не следует ставить вопрос. Но у нас есть свои Джойсы. И если задуматься над тем, кто собственно у нас является аналогом Джойса, то по частям мы можем найти ответ. В «Обломове» Гончарова, особенно на первых страницах. Мы можем найти это у Алексея Ремизова, отчасти у Лескова, в его прозе, у Андрея Белого. Проза Андрея Белого с его «симфониями», хотя это очень непохоже на «Улисса», тем не менее по своему характеру — такое же культурное явление, не рассчитанное на массового читателя, но очень важное, без которого культура не может обходиться.

И вот сейчас издается «Улисс» — издается не на месячное чтение, не на годичное, издается на сотню лет. Второй перевод будет очень трудно сделать. Но то, что

сделано, является подвигом переводчика. Не только потому, что переводчик не мог рассчитывать на быстрое и легкое издание «Улисса», но потому, что перевод «Улисса» невозможно сделать, не будучи влюбленным в стихию английской прозы, именно в ее стихию. Потому что проза «Улисса» такая же стихия, как морская стихия, как стихия волн, обладающая определенными закономерностями движения, в какой-то мере предсказуемыми, а в какой-то степени непредсказуемыми. Стихия прозы «Улисса»... она всегда неожиданна. И интерес к «Улиссу» строится не на интересе сюжета или интриги, а на интересе, который имеет мысль сама по себе, мысль прозаическая. Она может вызывать сочувствие, сочувственное внимание, может вызывать отталкивание. Но все это происходит в очень высоких сферах сознания и сверхсознания, не только сознания отдельного человека, но сознания литературы, которое, безусловно, с моей точки зрения, существует. А это сознание очень высокого порядка.

Постараемся отнестись к прозе Джойса без предубеждения. Отвергнем все наши привычки в чтении. Будем внимательны. В конце концов культура человека определяется не столько тем, что он сам говорит, сколько его умением слушать, умением понимать.

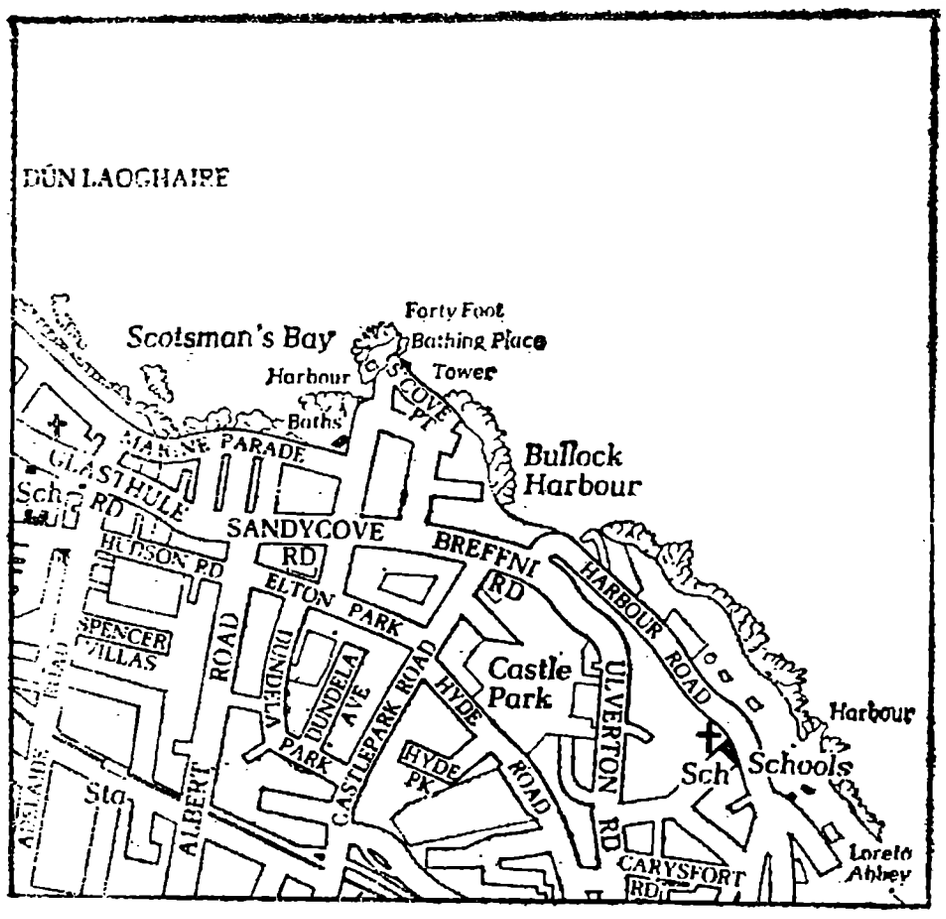
Все остальное читатель найдет в примечаниях к роману.

21 июня 1988 года
Комарово

Запись Е. ГЕНИЕВОЙ

I

1



Сановитый, жирный Бык Маллиган возник из лестничного проема, неся в руках чашку с пеной, на которой накрест лежали зеркальце и бритва. Мягкий утренний ветерок слегка вздымал полы его желтого распоясанного халата. Он поднял чашку перед собою и возгласил:

— Introibo ad altare Dei[1].

Остановясь, он вгляделся вниз, в сумрак винтовой лестницы, и грубо крикнул:

— Выходи, Клинк! Выходи, иезуит несчастный!

Торжественно он проследовал вперед и взошел на круглую орудийную площадку. Обернувшись по сторонам, он с важностью троекратно благословил башню, окрестный берег и пробуждающиеся горы. Потом, увидев Стивена Дедала, наклонился к нему и начал быстро крестить воздух, издавая булькающие звуки и покачивая головой. Стивен Дедал, недовольный и заспанный, облокотясь на последнюю ступеньку, холодно смотрел на длинное, лошадиное лицо, благословлявшее его с бульканьем и покачиванием, и бестонзурную шевелюру, белесую, словно окрашенную под светлый дуб.

Бык Маллиган заглянул под зеркальце и тут же опять прикрыл чашку.

— По казармам! — скомандовал он сурово.

И пастырским голосом продолжал:

— Ибо сие, о возлюбленные мои, есть истинная христина, тело и кровь, душу из меня вон. Музыку медленней, пожалуйста. Господа, закройте глаза. Минуту. Маленькая заминка, знаете, с белыми шариками. Всем помолчать.

Он устремил взгляд искоса вверх, издал долгий, протяжный призывный свист и замер, напряженно прислушиваясь. Белые ровные зубы кой-где поблескивали золотыми крупинками. Златоуст. Резкий ответный свист дважды прозвучал в тишине.

[1] И подойду к жертвеннику Божию *(лат.). (Здесь и далее прим. перев.)*

— Спасибо, старина,— живо откликнулся он.— Так будет чудненько. Можешь выключать ток!

Он соскочил с площадки и с важностью поглядел на своего зрителя, собирая у ног складки просторного халата. Жирное затененное лицо и тяжелый овальный подбородок напоминали средневекового прелата, покровителя искусств. Довольная улыбка показалась у него на губах.

— Смех да и только! — сказал он весело.— Это нелепое твое имя, как у древнего грека!

Ткнув пальцем с дружелюбной насмешкой, он отошел к парапету, посмеиваясь. Стивен Дедал, поднявшись до конца лестницы, устало побрел за ним, но, не дойдя, уселся на край площадки и принялся наблюдать, как тот, пристроив на парапете зеркальце и обмакнув в пену помазок, намыливает шею и щеки.

Веселый голос Быка Маллигана не умолкал:

— У меня тоже нелепое — Мэйлахи Маллиган, два дактиля. Но тут звучит что-то эллинское, правда ведь? Что-то солнечное и резвое, как сам бычок. Мы непременно должны поехать в Афины. Поедешь, если я раздобуду у тетушки двадцать фунтов?

Он положил помазок и в полном восторге воскликнул:

— Это он-то поедет? Изнуренный иезуит!

Оборвал себя и начал тщательно бриться.

— Послушай, Маллиган,— промолвил Стивен негромко.

— Да, моя радость?

— Долго еще Хейнс будет жить в башне?

Бык Маллиган явил над правым плечом свежевыбритую щеку.

— Кошмарная личность, а? — сказал он от души.— Этакий толстокожий сакс. Он считает, что ты не джентльмен. Эти мне гнусные англичане! Их так и пучит от денег и от запоров. Он, видите ли, из Оксфорда. А знаешь, Дедал, у тебя настоящий оксфордский стиль. Он все никак тебя не раскусит. Нет, лучшее тебе имя придумал я: Клинк, острый клинок.

Он выбривал с усердием подбородок.

— Всю ночь он бредил про какую-то черную пантеру,— проговорил Стивен.— Где у него ружье?

— Совсем малый спятил,— сказал Маллиган.— А ты перетрусил не на шутку?

— Еще бы,— с жаром произнес Стивен, чувствуя волну страха.— В кромешном мраке, с каким-то незнакомцем, который стонет и бредит, что надо застрелить пантеру. Ты спасал тонущих. Но я, знаешь ли, не герой. Если он тут останется, я ухожу.

Бык Маллиган глядел, насупясь, на бритву, покрытую мыльной пеной. Соскочив со своего возвышения, он торопливо стал рыться в карманах брюк.

— Драла! — пробормотал он сквозь зубы.

Вернувшись к площадке, он запустил руку в верхний карман Стивена и сказал:

— Позвольте одолжиться вашим сморкальником, вытереть нашу бритву.

Стивен покорно дал ему вытащить и развернуть напоказ, держа за угол, измятый и нечистый платок. Бык Маллиган заботливо вытер лезвие. Вслед за этим, разглядывая платок, он объявил:

— Сморкальник барда! Новый оттенок в палитру ирландского стихотворца: сопливо-зеленый. Почти ощущаешь вкус, правда?

Он снова поднялся к парапету и бросил долгий взгляд на залив. Ветерок шевелил белокурую, под светлый дуб, шевелюру.

— Господи! — сказал он негромко.— Как верно названо море у Элджи*: великая нежная мать! Сопливо-зеленое море. Яйцещемя-

---

* Здесь и далее звездочкой отмечены места, поясняемые в комментариях.

щее море. *Эпи ойнопа понтон*[2]. Ах, эти греки, Дедал! Надо бы мне тебя обучить. Ты должен прочесть их в подлиннике. *Талатта! Талатта!*[3] Наша великая и нежная мать. Иди сюда и взгляни.

Стивен встал и подошел к парапету. Перегнувшись, он посмотрел вниз на воду и на почтовый пароход, выходящий из гавани Кингстауна.

— Наша могущественная мать! — произнес Бык Маллиган.

Внезапно он отвел взгляд от моря и серыми рыскающими глазами посмотрел Стивену в лицо.

— Моя тетка считает, ты убил свою мать,— сказал он.— Поэтому она бы мне вообще запретила с тобой встречаться.

— Кто-то ее убил,— сумрачно бросил Стивен.

— Черт побери, Клинк, уж на колени ты бы мог стать, если умирающая мать просит,— сказал Бык Маллиган.— Я сам гиперборец* не хуже тебя. Но это ж подумать только, мать с последним вздохом умоляет стать на колени, помолиться за нее — и ты отказываешься. Нет, что-то в тебе зловещее...

Оборвал себя и начал намыливать другую щеку. Всепрощающая улыбка тронула его губы.

— Но бесподобный комедиант! — шепнул он тихонько.— Клинк, бесподобнейший из комедиантов.

Он брился плавно и осмотрительно, в истовом молчании.

Стивен, поставив локоть на шершавый гранит, подперев лоб ладонью, неподвижно смотрел на обтерханные края своего черного лоснистого рукава. Боль, что не была еще болью любви, саднила сердце его. Во сне, безмолвно, она явилась ему после смерти, ее иссохшее тело в темных погребальных одеждах окружал запах воска и розового дерева, а дыхание, когда она с немым укором склонилась над ним, веяло сыростью могильного тлена. Поверх ветхой манжеты он видел море, которое сытый голос превозносил как великую и нежную мать. Кольцо залива и горизонта заполняла тускло-зеленая влага. Белый фарфоровый сосуд у ее смертного одра заполняла тягучая зеленая желчь, которую она с громкими стонами извергала из своей гниющей печени в приступах мучительной рвоты.

Бык Маллиган заново обтер бритву.

— Эх, пес-бедолага!* — с участием вздохнул он.— Надо бы выдать тебе рубашку да хоть пару сморкальников. А как те штаны, что купили с рук?

— Как будто впору,— отвечал Стивен.

Бык Маллиган атаковал ложбинку под нижней губой.

— Смех да и только,— произнес он довольно.— Верней будет, с ног. Дознайся, какая там пьянь заразная таскала их. У меня есть отличная пара, серые, в узкую полоску. Ты бы в них выглядел потрясающе. Нет, кроме шуток, Клинк. Ты очень недурно смотришься, когда прилично одет.

— Спасибо,— ответил Стивен.— Если они серые, я их не могу носить*.

— Он их не может носить,— сказал Бык Маллиган своему отражению в зеркале.— Этикет — значит этикет. Он мать родную убил, но серые брюки ни за что не наденет.

Он сложил аккуратно бритву и легкими касаньями пальцев ощупал гладкую кожу.

Стивен перевел взгляд с залива на жирное лицо с мутно-голубыми бегающими глазами.

— Этот малый, с кем я сидел в «Корабле» прошлый вечер,— сообщил Бык Маллиган,— уверяет, у тебя п. п. с. Он в желтом доме работает у Коннолли Нормана*. Прогрессивный паралич со слабоумием!

---

[2] По винноцветному морю *(греч.)**.

[3] Море! Море! *(греч.)**.

Он описал зеркальцем полукруг, повсюду просверкав эту весть солнечными лучами, уже сияющими над морем. Изогнутые бритые губы, кончики блестящих белых зубов смеялись. Смех овладел всем его сильным и ладным телом.

— На, полюбуйся-ка на себя, горе-бард! — сказал он.

Стивен наклонился и глянул в подставленное зеркало, расколотое кривой трещиной. Волосы дыбом. Что видит взор идущих мимо.* Кто мне выбрал это лицо? Эту паршивую шкуру пса-бедолаги? Оно тоже спрашивает меня.

— Я его стянул у служанки из комнаты,— поведал Бык Маллиган.— Ей в самый раз такое. Тетушка ради Мэйлахи всегда нанимает неказистых. Не введи его во искушение. И зовут-то Урсула*.

Снова залившись смехом, он убрал зеркальце из-под упорного взгляда Стивена.

— Ярость Калибана, не видящего в зеркале своего отражения*,— изрек он.— Как жалко, Уайльд не дожил на тебя поглядеть!

Отступив и показывая на зеркало, Стивен с горечью произнес:

— Вот символ ирландского искусства. Треснувшее зеркало служанки*.

Неожиданно и порывисто Бык Маллиган подхватил Стивена под руку и зашагал с ним вокруг башни, позвякивая бритвой и зеркальцем, засунутыми в карман.

— Грех тебя так дразнить, правда, Клинк? — сказал он дружески.— Видит Бог, в голове у тебя побольше, чем у них всех.

Еще выпад отбит. Скальпель художника страшит его, как меня — докторский. Хладная сталь пера.

— Треснувшее зеркало служанки! Ты это скажи тому олуху из Оксфорда да вытяни из него гинею. Он весь провонял деньгами и считает, что ты не джентльмен. А у самого папаша набил мошну, сбывая негритосам слабительное, а может, еще на каких делишках. Эх, Клинк, если бы мы с тобой действовали сообща, уж мы бы кое-что сделали для нашего острова. Эллинизировали бы его*.

Рука Крэнли*. Его рука.

— И подумать только, ты вынужден побираться у этих свиней. Я один-единственный понимаю, что ты за человек. Почему же ты так мало мне доверяешь? Из-за чего все воротишь нос? Из-за Хейнса? Да пусть только пикнет, я притащу Сеймура, и мы ему закатим трепку еще похлеще, чем досталась Клайву Кемпторпу.

Крики юных богатеньких голосов в квартире Клайва Кемпторпа. Бледнолицые:* держатся за бока от хохота, хватаются друг за друга, ох, умора! Обри, бережно весть эту ей передай!* Сейчас помру! В изрезанной рубашке, вьющейся лентами по воздуху, в съехавших до полу штанах, он, спотыкаясь, скачет вокруг стола, а за ним Эйдс из Магдалины* с портновскими ножницами. Мордочка ошалелого теленка, позолоченная вареньем. Не надо, не сдирайте штаны! Не набрасывайтесь на меня, как бешеные!

Крики из распахнутого окна вспугивают вечер во дворе колледжа. Глухой садовник в фартуке, замаскированный лицом Мэтью Арнольда, продвигается по темному газону с косилкой, вглядываясь в танцующий рой травинок.

Нам самим* ... новое язычество... *омфал*.[4]

— Ладно, пусть остается,— сказал Стивен.— Ничего с ним особенного, разве что ночью.

— Раз так, в чем же дело? — наседал Бык Маллиган.— Давай рожай. Я ведь с тобой начистоту. Что у тебя такое против меня?

Они остановились, глядя туда, где тупая оконечность мыса Брэй-Хед покоилась на воде, словно голова спящего кита. Стивен осторожно высвободил руку.

---

[4] Пуп; пуп земли *(греч.)*.

— Ты хочешь, чтобы я сказал тебе? — спросил он.

— Да, в чем там дело? — повторил Бык Маллиган.— Я ничего не припоминаю.

Говоря это, он в упор посмотрел на Стивена. Легкий ветерок пробежал по его лицу, вороша светлую спутанную шевелюру и зажигая в глазах серебряные искорки беспокойства.

Стивен, удручаясь собственным голосом, сказал:

— Ты помнишь, как я пришел к тебе домой в первый раз после смерти матери?

Бык Маллиган, мгновенно нахмурившись, отвечал:

— Как? Где? Убей, не могу припомнить. Я запоминаю только идеи и ощущения*. Ну и что? Чего там стряслось, бога ради?

— Ты готовил чай,— продолжал Стивен,— и пошел на кухню за кипятком. Из гостиной вышла твоя мать и с ней кто-то из визитеров. Она спросила, кто у тебя.

— Ну? — не отступал Бык Маллиган.— А я что сказал? Я уже все забыл.

— А ты сказал,— ответил Стивен ему,— «Да так, просто Дедал, у которого мамаша подохла».

Бык Маллиган покраснел и стал казаться от этого моложе и привлекательней.

— Я так сказал? — переспросил он.— И что же? Что тут такого?

Нервным движением он стряхнул свое замешательство.

— А что, по-твоему, смерть,— спросил он,— твоей матери, или твоя, или, положим, моя? Ты видел только, как умирает твоя мать. А я каждый день вижу, как они отдают концы и в Ричмонде, и в Скорбящей, да после этого из них делают крошево в анатомичке. Это и называется подох, ничего больше. И не о чем говорить. Ты вот не соизволил стать на колени и помолиться за свою мать, когда она просила тебя на смертном одре. А почему? Да потому, что в тебе эта проклятая иезуитская закваска, только она проявляется наоборот. По мне, тут одна падаль и пустая комедия. Ее лобные доли уже не действуют. Она называет доктора «сэр Питер Тизл»* и хочет нарвать лютиков с одеяла. Уж не перечь ей, вот-вот все кончится. Ты сам не исполнил ее предсмертную просьбу, а теперь дуешься на меня, что я не скулил, как наемный плакальщик от Лалуэтта. Абсурд! Допустим, я и сказал так. Но я вовсе не хотел оскорбить память твоей матери.

Его речь вернула ему самоуверенность. Стивен, скрывая зияющие раны, оставленные словами в его сердце, как можно суше сказал:

— Я и не говорю, что это оскорбляет мою мать.

— Так что же тогда? — спросил Бык Маллиган.

— Это оскорбляет меня,— был ответ.

Бык Маллиган круто повернулся на каблуках.

— Нет, невозможный субъект! — воскликнул он.

И пошел прочь быстрым шагом вдоль парапета. Стивен остался на месте, недвижно глядя на мыс и на спокойную гладь залива. Море и мыс сейчас подернулись дымкой. В висках стучала кровь, застилая взор, и он чувствовал, как лихорадочно горят его щеки.

Громкий голос позвал снизу, из башни:

— Маллиган, вы где, наверху?

— Сейчас иду,— откликнулся Бык Маллиган.

Он обернулся к Стивену и сказал:

— Взгляни на море. Что ему до всех оскорблений? Бросай-ка лучше Лойолу*, Клинк, и двигаем вниз. Наш сакс поджидает уже свой бекон.

Голова его задержалась на миг над лестницей, вровень с крышей.

— И не хандри из-за этого целый день. У меня же семь пятниц на неделе. Оставь скорбные думы.

Голова скрылась, но мерный голос продолжал, опускаясь, доноситься из лестничного проема:

Не прячь глаза и не скорби
Над горькой тайною любви,
Там Фергус правит в полный рост,
Владыка медных колесниц. *

В мирном спокойствии утра тени лесов неслышно проплывали от лестничного проема к морю, туда, куда он глядел. У берега и мористей водная гладь белела следами стремительных легких стоп. Море в дымке, с грудью белой. Попарные сплетения ударений. Рука, перебирающая струны арфы, рождает сплетения аккордов. Словно белые волны, слова, сливаясь, мерцают в дымке прилива.

Облако медленно наползает на солнце, и гуще делается в тени зелень залива. Он был за спиной у него, сосуд горьких вод*. Песня Фергуса. Я пел ее, оставшись дома один, приглушая долгие сумрачные аккорды. Дверь к ней была открыта: она хотела слышать меня. Безмолвно, с жалостью и благоговением, я приблизился к ее ложу. Она плакала на своем убогом одре. Над этими словами, Стивен: над горькой тайною любви.

Где же теперь?

Ее секреты в запертом ящичке: старые веера из перьев, бальные книжечки с бахромой, пропитанные мускусом, убор из янтарных бус. Когда она была девочкой, у ее окошка висела на солнце клетка с птицей. Она видела старика Ройса в представлении «Свирепый Турка» и вместе со всеми смеялась, когда он распевал:

Открою вам,
Что рад бы сам
Я невидимкой стать.

Мимолетные радости, заботливо сложенные, надушенные мускусом.

Не прячь глаза и не скорби.

Сложены в памяти природы*, вместе с ее детскими игрушками. Скорбные воспоминания осаждают его разум. Стакан воды из крана на кухне*, когда она шла к причастию. Яблоко с сахаром внутри, испеченное для нее на плите в темный осенний вечер. Ее изящные ногти, окрашенные кровью вшей с детских рубашонок.

Во сне, безмолвно, она явилась ему, ее иссохшее тело в темных погребальных одеждах окружал запах воска и розового дерева, ее дыхание, когда она склонилась над ним с неслышными тайными словами, веяло сыростью могильного тлена.

Ее стекленеющие глаза уставились из глубин смерти, поколебать и сломить мою душу. На меня одного. Призрачная свеча освещает ее агонию. Призрачные блики на искаженном мукой лице. Громко раздается ее дыхание, хриплое, прерывающееся от ужаса, и, став на колени, все молятся. Взгляд ее на мне, повергнуть меня. Liliata rutilantium te confessorum turma circumdet: iubilantium te virginum chorus excipiat[5].

Упырь! Трупоед!

Нет, мать. Отпусти меня. Дай мне жить.

— Эгей, Клинк!

Голос Быка Маллигана раздался певуче в глубине башни, приблизился, долетев от лестницы, позвал снова. Стивен, еще содрогаясь от вопля своей души, услышал теплый, щедрый солнечный свет и в воздухе за своей спиной дружеские слова:

— Будь паинькой, спускайся, Дедал. Завтрак готов. Хейнс извиняется за то, что мешал нам спать. Все улажено.

---

[5] Да окружат тебя лилиями венчанные сонмы сияющих исповедников веры, и хоры ликующих дев да возрадуются тебе *(лат.)*.

— Иду,— сказал Стивен, оборачиваясь.

— Давай, Христа ради,— говорил Маллиган.— И ради меня, и ради всеобщего блага.

Его голова нырнула и вынырнула.

— Я ему передал про твой символ ирландского искусства. Говорит, очень остроумно. Вытяни из него фунт, идет? То бишь, гинею.

— Мне заплатят сегодня,— заметил Стивен.

— В школьной шарашке? — осведомился Маллиган.— А сколько? Четыре фунта? Одолжи нам один.

— Как угодно,— отвечал Стивен.

— Четыре сверкающих соверена! — вскричал с восторгом Бык Маллиган.— Устроим роскошный выпивон на зависть всем раздруидам. Четыре всемогущих соверена.

Воздев руки, он затопал по каменным ступеням вниз, фальшиво распевая с лондонским простонародным акцентом:

Веселье будет допоздна,
Мы хлопнем виски и вина,
В день Коронации
Мы славно покутим!
Веселье будет допоздна,
И все мы покутим!*

Лучи солнца веселились над морем. Забытая никелевая чашка для бритья поблескивала на парапете. Почему я должен ее относить? Может, оставить тут на весь день, памятником забытой дружбе?

Он подошел к ней, подержал с минуту в руках, осязая ее прохладу, чувствуя запах липкой пены с торчащим в ней помазком. Так прежде я носил кадило в Клонгоузе*. Сейчас я другой и все-таки еще тот же. Опять слуга. Прислужник слуги*.

В мрачном сводчатом помещении внутри башни фигура в халате бодро сновала у очага, то скрывая, то открывая желтое его пламя. Мягкий дневной свет падал двумя снопами через высокие оконца на вымощенный плитами пол, и там, где снопы встречались, плыло, медленно вращаясь, облако дыма от горящего угля и горелого жира.

— Этак мы задохнемся,— заметил Бык Маллиган.— Хейнс, вы не откроете дверь?

Стивен поставил бритвенную чашку на шкафчик. Долговязый человек, сидевший на подвесной койке, направился к порогу и отворил внутреннюю дверь.

— А у вас есть ключ? — спросил голос.

— Ключ у Дедала,— отозвался Бык Маллиган.— Черти лохматые, я уже задыхаюсь!

Не отрывая взгляда от очага, он взревел:

— Клинк!

— Ключ в скважине,— сказал Стивен, подходя ближе.

Ключ с резким скрежетом дважды повернулся в замке, и тяжелая наружная дверь впустила долгожданные свет и воздух. Хейнс остановился в дверях, глядя наружу. Стивен придвинул к столу свой чемодан, поставив его торчком, и уселся ждать. Бык Маллиган кинул стряпню на блюдо рядом с собой. Потом отнес блюдо и большой чайник к столу, поставил и вздохнул с облегчением.

— Ах, я вся таю,— произнес он,— как сказала свечка, когда... Но — тсс! Про это не будем. Клинк, проснись! Подавай хлеб, масло, мед. Присоединяйтесь, Хейнс. Кормежка готова. Благослови, Господи, нас и эти дары твои. Черт побери, молока нет!

Стивен достал из шкафчика масленку, хлеб и горшочек с медом. Бык Маллиган, усевшись, вскипел внезапным негодованием.

— Что за бардак?— возмутился он.— Я ж ей сказал — прийти в начале девятого.

— Можно и без молока обойтись,— сказал Стивен.— В шкафчике есть лимон.

— Да пошел ты со своими парижскими замашками! — отверг Бык Маллиган.— Я хочу молочка из Сэндикоува.

Хейнс, направляясь к ним от дверей, сообщил:

— Идет ваша молочница с молоком.

— Благодать божия! — воскликнул Бык Маллиган, вскакивая со стула.— Присаживайтесь. Наливайте чай. Сахар в пакете. А с треклятой яичницей я больше не желаю возиться.

Он кое-как раскромсал стряпню на блюде и раскидал ее по трем тарелкам, приговаривая:

— In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.[6]

Хейнс сел и принялся разливать чай.

— Кладу всем по два куска,— сказал он.— Слушайте, Маллиган, какой вы крепкий завариваете!

Бык Маллиган, нарезая хлеб щедрыми ломтями, замурлыкал умильным старушечьим голоском:

— Как стану я чай заваривать, уж так заварю, говаривала матушка Гроган*. А стану нужду справлять, уж так справлю!

— Боже правый, вот это чай,— сказал Хейнс.

Бык Маллиган, нарезая хлеб, так же умильно продолжал:

— *Уж такой мой обычай, миссис Кахилл,* это она говорит. А миссис Кахилл на это: *Ахти, сударыня, только упаси вас Господи делать оба дела в одну посудину.*

На кончике ножа он протянул каждому из сотрапезников по толстому ломтю хлеба.

— Это же фольклор,— сказал он очень серьезно,— это для вашей книги, Хейнс. Пять строчек текста и десять страниц комментариев насчет фольклора и рыбообразных божеств Дандрама. Издано сестрами-колдуньями в год великого урагана*.

Он обернулся к Стивену и, подняв брови, спросил его с крайней заинтересованностью:

— Не можете ли напомнить, коллега, где говорится про посудину матушки Гроган, в «Мабиногионе» или в упанишадах?*

— Отнюдь не уверен,— солидно отвечал Стивен.

— В самом деле? — продолжал Бык Маллиган прежним тоном.— А отчего же, будьте любезны?

— Мне думается,— сказал Стивен, не прерывая еды,— этого не найти ни в «Мабиногионе», ни за его пределами. Матушка Гроган, по всей вероятности, состоит в родстве с Мэри Энн.

Бык Маллиган расплылся от удовольствия.

— Прелестно! — произнес он сюсюкающим и слащавым голосом, показывая белые зубы и жмурясь довольно.— Вы так полагаете? Совершенно прелестно!

Затем, вдруг нарочито нахмурясь, он хрипло, скрипуче зарычал, рьяно нарезая новые ломти:

На старуху Мэри Энн
Ей плевать с высоких стен,
Но, задравши свой подол... *

Набив рот яичницей, он жевал и мычал.

В дверях, заслоняя свет, появилась фигура женщины.

— Молоко, сэр!

— Заходите, сударыня,— сказал Маллиган.— Клинк, подай-ка кувшин.

Старушка вошла и остановилась оксло Стивена.

— Славное утречко, сэр,— сказала она.— Слава Богу.

— Кому-кому? — спросил Маллиган, поглядев на нее.— Ах да, конечно!

---

[6] Во имя Отца и Сына и Святого Духа *(лат.)*.

Стивен, протянув руку за спину, достал из шкафчика молочный кувшин.

— Наши островитяне,— заметил Маллиган Хейнсу как бы вскользь,— нередко поминают сборщика крайней плоти*.

— Сколько, сэр? — спросила старушка.

— Одну кварту,— ответил Стивен.

Он смотрел, как она наливает в мерку, а оттуда в кувшин, густое белое молоко, не свое. Старые сморщенные груди. Она налила еще мерку с избытком. Древняя и таинственная, она явилась из утреннего мира, быть может, вестницей. Наливая молоко, она расхваливала его. В сочных лугах, чуть свет, она уже доила, сидя на корточках, ведьма на поганке, скрюченные пальцы проворны у набухшего вымени. Мычанием встречала ее привычный приход скотинка, шелковая от росы. Бедная старуха, шелковая коровка — такие прозвища давались ей в старину. Старуха-странница, низший род бессмертных, служащая своему захватчику и своему беззаботному обманщику, познавшая измену обоих, вестница тайны утра. Служить или укорять, он не знал; однако гнушался заискивать перед нею.

— И впрямь прекрасное, сударыня,— согласился Бык Маллиган, наливая им в чашки молоко.

— Вы, сэр, отведайте,— сказала она.

Уступая ей, он сделал глоток.

— Если бы все мы могли питаться такой вот здоровой пищей,— объявил он звучно,— в этой стране не было бы столько гнилых зубов и гнилых кишок. А то живем в болоте, едим дешевую дрянь, а улицы вымощены пылью, навозом и чахоточными плевками.

— А вы, сэр, на доктора учитесь? — спросила старушка.

— Да, сударыня,— ответил Бык Маллиган.

— Вон оно как,— сказала она.

Стивен слушал, храня презрительное молчание. Она покорно внимает зычному голосу своего костоправа и врачевателя, меня она знать не знает. Голосу, который отпустит ей грехи и помажет для погребения ее тело, кроме женских нечистых чресл, сотворенное из плоти мужской не по подобию Божию, в добычу змею. И тому голосу, что сейчас заставляет ее умолкнуть, с удивлением озираясь.

— Вы понимаете, что он говорит? — осведомился у нее Стивен.

— Это вы по-французски, сэр? — спросила старушка Хейнса.

Хейнс с апломбом обратил к ней новую тираду, еще длинней.

— Это по-ирландски,— объяснил Бык Маллиган.— Вы гэльский знаете?

— Я так и думала по звуку, это ирландский,— сказала она.— А вы не с запада *, сэр?

— Я англичанин,— ответил Хейнс.

— Он англичанин,— повторил Бык Маллиган,— и он считает, в Ирландии надо говорить по-ирландски.

— Нет спору, надо,— согласилась старушка,— мне и самой стыд, что не умею на нашем языке. А люди умные говорят, язык-то великий.

— Великий — это не то слово,— заявил Бык Маллиган.— Он абсолютно великолепен. Плесни нам еще чайку, Клинк. Не хотите ли чашечку, сударыня?

— Нет, сэр, спасибо,— отвечала старушка, повесив на руку бидон и собираясь идти.

Хейнс обратился к ней:

— А счет у вас есть? Маллиган, надо бы заплатить, верно?

Стивен снова наполнил чашки.

— Счет, сэр? — неуверенно переспросила она.— Это значит: семь дней по пинте по два пенса это семь раз по два это шиллинг два пенса да эти три дня по кварте по четыре пенса будет три кварты это выходит шиллинг. Шиллинг да там один и два всего два и два, сэр.

Бык Маллиган вздохнул и, отправив в рот горбушку, густо намазанную маслом с обеих сторон, вытянул вперед ноги и начал рыться в карманах.

— Платить подобает с любезным видом,— сказал, улыбаясь, Хейнс.

Стивен налил третью чашку, слегка закрасив ложечкой чая густое, жирное молоко. Бык Маллиган выудил из кармана флорин и, повертев его в пальцах, воскликнул:

— О, чудо!

Он пододвинул флорин по столу к старушке, приговаривая:

— Радость моя, для тебя
Все, что имею, отдам*.

Стивен вложил монету в ее нежадную руку.

— За нами еще два пенса,— заметил он.

— Это не к спеху, сэр,— уверяла она, убирая монету. — Совсем не к спеху. Всего вам доброго, сэр.

Поклонившись, она ушла, напутствуемая нежным речитативом Быка Маллигана:

— Я бы с восторгом весь мир
К милым повергнул стопам.

Он обернулся к Стивену и сказал:

— Серьезно, Дедал. Я совсем на мели. Беги в свою школьную шарашку да принеси оттуда малость деньжонок. Сегодня бардам положено пить и пировать. Ирландия ожидает, что в этот день каждый выполнит свой долг *.

— Что до меня,— заметил Хейнс, поднимаясь,— то я должен сегодня посетить вашу национальную библиотеку.

— Сперва поплавать,— заявил Бык Маллиган.

Он обернулся к Стивену и самым учтивым тоном спросил:

— Не сегодня ли, Клинк, день твоего ежемесячного омовения?

И пояснил, обращаясь к Хейнсу:

— Оный нечистый бард имеет правило мыться один раз в месяц.

— Всю Ирландию омывает Гольфстрим,— промолвил Стивен, поливая хлеб струйкой меда.

Хейнс отозвался из угла, легким узлом повязывая шейный платок под открытым воротом спортивной рубашки:

— Я буду собирать ваши изречения, если вы позволите.

Обращено ко мне. Они моются, банятся, оттираются. Жагала срам у*. Совесть. А пятно все на месте*.

— Это отлично сказано, что треснувшее зеркало служанки — символ ирландского искусства.

Бык Маллиган, толкнув Стивена ногой под столом, задушевно пообещал:

— Погодите, Хейнс, вот вы еще послушаете его о Гамлете.

— Нет, я в самом деле намерен,— продолжал Хейнс, обращаясь к Стивену.— Я как раз думал на эту тему, когда пришло это ветхое создание.

— А я что-нибудь заработаю на этом? — спросил Стивен.

Хейнс рассмеялся и сказал, снимая мягкую серую шляпу с крюка, на котором была подвешена койка:

— Чего не знаю, того не знаю.

Неторопливо он направился к двери. Бык Маллиган перегнулся к Стивену и грубо, с нажимом прошипел:

— Не можешь без своих штучек. Для чего ты это ему?

— А что? — возразил Стивен.— Задача — раздобыть денег. У кого? У него или у молочницы. По-моему, орел или решка.

— Я про тебя ему уши прожужжал,— не отставал Бык Маллиган,— а тут извольте, ты со своим вшивым злопамятством да замогильными иезуитскими шуточками.

— У меня нет особой надежды,— заметил Стивен,— как на него, так и на нее.

Бык Маллиган трагически вздохнул и положил руку Стивену на плечо.

— Лишь на меня, Клинк,— произнес он.

И совсем другим голосом добавил:

— Честно признаться, я и сам считаю, ты прав. На хрена они, кроме этого, сдались. Чего ты их не морочишь, как я? Пошли они все к ляду. Надо выбираться из этого бардака.

Он встал, важно распустил пояс и совлек с себя свой халат, произнося отрешенным тоном:

— И был Маллиган разоблачен от одежд его.

Содержимое карманов он выложил на стол со словами:

— Вот тебе твой сморкальник.

И, надевая жесткий воротничок и строптивый галстук, стыдил их и укорял, а с ними и запутавшуюся часовую цепочку. Руки его, нырнув в чемодан, шарили там, покуда он требовал себе чистый носовой платок. Клянусь богом, мы же обязаны поддерживать репутацию. Желаю бордовые перчатки и зеленые башмаки*. Противоречие. Я противоречу себе? Ну что же, значит, я противоречу себе*. Ветреник Малахия. Его говорливые руки метнули мягкий черный снаряд.

— И вот твоя шляпа, в стиле Латинского Квартала.

Стивен поймал ее и надел на голову. Хейнс окликнул их от дверей:

— Друзья, вы двигаетесь?

— Я готов,— отозвался Бык Маллиган, идя к двери.— Пошли, Клинк. Кажется, ты уже все доел после нас.

Отрешенный и важный, проследовал он к порогу, не без прискорбия сообщая:

— И, пойдя вон, плюхнулся с горки*.

Стивен, взяв ясеневую тросточку, стоявшую у стены, тронулся за ним следом. Выйдя на лестницу, он притянул неподатливую стальную дверь и запер ее. Гигантский ключ сунул во внутренний карман.

У подножия лестницы Бык Маллиган спросил:

— А ты ключ взял?

— Да, он у меня,— отвечал Стивен, перегоняя их.

Он шел вперед. За спиной у себя он слышал, как Бык Маллиган сбивает тяжелым купальным полотенцем верхушки папоротников или трав.

— Кланяйтесь, сэр! Да как вы смеете, сэр!

Хейнс спросил:

— А вы платите аренду за башню?

— Двенадцать фунтов,— ответил Бык Маллиган.

— Военному министру,— добавил Стивен через плечо.

Они приостановились, покуда Хейнс разглядывал башню. Потом он заметил:

— Зимой унылое зрелище, надо думать. Как она называется, Мартелло?

— Их выстроили по указанию Билли Питта,— сказал Бык Маллиган,— когда с моря угрожали французы. Но наша — это омфал.

— И какие же у вас идеи о Гамлете? — спросил у Стивена Хейнс.

— О нет! — воскликнул страдальчески Бык Маллиган.— Я этого не выдержу, я вам не Фома Аквинат, измысливший пятьдесят пять причин. Дайте мне сперва принять пару кружек.

Он обернулся к Стивену, аккуратно одергивая лимонный жилет:

— Тебе ж самому для такого надо не меньше трех, правда, Клинк?

— Это уж столько ждет,— ответил тот равнодушно,— может и еще подождать.

— Вы разжигаете мое любопытство,— любезно заметил Хейнс.— Тут какой-нибудь парадокс?

— Фу!— сказал Маллиган.— Мы уже переросли Уайльда и парадоксы. Все очень просто. Он с помощью алгебры доказывает, что внук Гамлета — дедушка Шекспира, а сам он призрак собственного отца.

— Как-как? — переспросил Хейнс, показывая было на Стивена.— Вот он сам?

Бык Маллиган накинул полотенце на шею наподобие столы патера и, корчась от смеха, шепнул на ухо Стивену:

— О, тень Клинка-старшего! Иафет в поисках отца!*

— Мы по утрам усталые,— сказал Стивен Хейнсу.— А это довольно долго рассказывать.

Бык Маллиган, снова зашагавший вперед, воздел руки к небу.

— Только священная кружка способна развязать Дедалу язык,— объявил он.

— Я хочу сказать,— Хейнс принялся объяснять Стивену на ходу,— эта башня и эти скалы мне чем-то напоминают Эльсинор. «Выступ утеса грозного, нависшего над морем»*, не так ли?

Бык Маллиган на миг неожиданно обернулся к Стивену, но ничего не сказал. В этот сверкнувший безмолвный миг Стивен словно увидел свой облик, в пыльном дешевом трауре, рядом с их яркими одеяниями.

— Это удивительная история,— сказал Хейнс, опять останавливая их.

Глаза, светлые, как море под свежим ветром, еще светлей, твердые и сторожкие. Правитель морей, он смотрел на юг, через пустынный залив, где лишь маячил смутно на горизонте дымный плюмаж далекого пакетбота да парусник лавировал у банки Маглинс.

— Я где-то читал богословское истолкование,— произнес он в задумчивости.— Идея Отца и Сына. Сын, стремящийся к воссоединению с Отцом.

Бык Маллиган немедля изобразил ликующую физиономию с ухмылкою до ушей. Он поглядел на них, блаженно разинув красивый рот, и глаза его, в которых он тут же пригасил всякую мысль, моргали с полоумным весельем. Он помотал туда-сюда болтающейся башкой болванчика, тряся полями круглой панамы, и запел дурашливым, бездумно веселым голосом:

Я юноша странный, каких поискать,
Отец мой был птицей, еврейкою— мать.
С Иосифом-плотником жить я не стал,
Бродяжничал и на Голгофу попал.

Он предостерегающе поднял палец:

А кто говорит, я не бог, тем плутам
Винца, что творю из воды, я не дам.
Пусть пьют они воду, и тайна ясна,
Как снова я воду творю из вина.

Быстрым прощальным жестом он подергал за Стивенову тросточку и устремился вперед, к самому краю утеса, хлопая себя по бокам, как будто плавниками или крыльями, готовящимися взлететь, и продолжая свое пение:

Прощай же и речи мои запиши,
О том, что воскрес я, везде расскажи.
Лечу, коль скоро я бог,
Мне плоть не помеха, я на небо... Прощай же, дружок! *

Выделывая антраша, он подвигался на их глазах к сорокафутовому провалу, махая крылоподобными руками, легко подскакивая, и шляпа ветреника колыхалась на свежем ветру, доносившем до них его отрывистые птичьи крики.

Хейнс, который посмеивался весьма сдержанно, идя рядом со Стивеном, заметил:

— Мне кажется, тут не надо смеяться. Он сильно богохульствует. Впрочем, я лично не из верующих. С другой стороны, его веселье как-то придает всему безобидность, не правда ли? Как это у него называется? Иосиф-плотник?

— Баллада об Иисусе-шутнике,— буркнул Стивен.

— Так вы это раньше слышали? — спросил Хейнс.

— Каждый день три раза, после еды,— последовал сухой ответ.

— Но вы сами-то не из верующих? — продолжал расспрашивать Хейнс.— Я хочу сказать: верующих в узком смысле слова. Творение из ничего, чудеса, Бог как личность.

— Мне думается, у этого слова всего один смысл,— сказал Стивен.

Остановясь, Хейнс вынул серебряный портсигар с мерцающим зеленым камнем. Нажав на пружину крышки большим пальцем, он раскрыл его и протянул Стивену.

— Спасибо,— отозвался тот, беря сигарету.

Хейнс взял другую себе и снова защелкнул крышку. Спрятав обратно портсигар, он вынул из жилетного кармана никелированную трутницу, тем же манером раскрыл ее, прикурил и, заслонив язычок пламени ладонью, подставил Стивену.

— Да, конечно,— проговорил он, когда они пошли дальше.— Вы либо веруете, либо нет, верно? Лично я не смог бы переварить идею личного Бога. Надеюсь, вы ее не придерживаетесь?

— Вы видите во мне,— произнес Стивен мрачно и недовольно,— пример ужасающего вольнодумства.

Он шел, выжидая продолжения разговора, держа сбоку ясеневую тросточку. Ее кованый наконечник легко чертил по тропинке, поскрипывая у ног. Мой дружочек следом за мной, с тоненьким зовом: Стиииии-вии! Волнистая линия вдоль тропинки. Они пройдут по ней вечером, затемно возвращаясь. Он хочет ключ. Ключ мой, я плачу аренду. Но я ем хлеб его, что горестен устам*. Отдай и ключ. Все отдай. Он спросит про него. По глазам было видно.

— В конечном счете...— начал Хейнс.

Стивен обернулся и увидал, что холодный взгляд, смеривший его, был не таким уж недобрым.

— В конечном счете, мне кажется, вы способны достичь свободы. Похоже, что вы сами себе господин.

— Я слуга двух господ,— отвечал Стивен,— или, если хотите, госпож, англичанки и итальянки.

— Итальянки? — переспросил Хейнс.

Полоумная королева, старая и ревнивая. На колени передо мной.

— А некто третий,— продолжал Стивен,— желает, чтобы я был у него на побегушках.

— Итальянки? — спросил снова Хейнс.— Что это значит?

— Британской империи,— пояснил Стивен, покраснев,— и Римской святой соборной и апостольской церкви.

Прежде чем заговорить, Хейнс снял с нижней губы приставшие крошки табака.

— Вполне понимаю вас,— спокойно заметил он.— Я бы даже сказал, для ирландца естественно так думать. Мы в Англии сознаем, что обращались с вами несправедливо. Но повинна тут, видимо, история.

Гордые полновластные титулы прозвучали в памяти Стивена победным звоном медных колоколов: et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam[7] — неспешный рост, вызревание догматов и обрядов, как его собственных заветных мыслей, химия звезд. Апостольский символ в мессе папы Марцеллия *, голоса сливаются в мощное

---

[7] И во едину святую соборную и апостольскую церковь (*лат.*).

утверждающее соло, и под их пение недреманный ангел церкви воинствующей обезоруживал ересиархов и грозил им. Орды ересей в скособоченных митрах разбегаются наутек: Фотий *, орава зубоскалов, средь коих и Маллиган, Арий *, воевавший всю жизнь против единосущия Сына Отцу, Валентин *, что гнушался земным естеством Христа, и хитроумный ересиарх из Африки, Савеллий *, по чьим утверждениям Отец Сам был собственным Сыном. Слова, которые только что сказал Маллиган, зубоскаля над чужеземцем. Пустое зубоскальство. Неизбежная пустота ожидает их, всех, что ткут ветер *: угрозу, обезоруживанье и поражение несут им стройные боевые порядки ангелов церкви, воинство Михаила, в пору раздоров всегда встающее на ее защиту с копьями и щитами.

Браво, бис! Продолжительные аплодисменты. Zut! Nom de Dieu![8]

— Я, разумеется, британец,— продолжал голос Хейнса,— и мыслю я соответственно. К тому же мне вовсе не хочется увидеть свою страну в руках немецких евреев. Боюсь, что сейчас это главная опасность для нашей нации.

Двое, наблюдая, стояли на краю обрыва — делец и лодочник.

— Плывет в Баллок.

Лодочник с неким пренебрежением кивнул на север залива.

— Там будет саженей пять,— сказал он. — Туда его и вынесет после часу, когда прилив начнется. Нынче девятый день.

Про утопленника. Парус кружит по пустынной бухте, поджидая, когда вынырнет раздутый мешок и обернет к солнцу солью беленное вспученное лицо. А вот и я.

Извилистой тропкой они спустились к неширокому заливчику. Бык Маллиган стоял на камне без пиджака, отшпиленный галстук струился по ветру за плечом. Поблизости от него юноша, держась за выступ скалы, медленно по-лягушачьи разводил зелеными ногами в студенистой толще воды.

— А брат с тобой, Мэйлахи?

— Да нет, он в Уэстмите, у Бэннонов.

— Все еще? Мне Бэннон прислал открытку. Говорит, подцепил себе там одну молоденькую. Фотодевочка, он ее так зовет.

— Заснял, значит? С короткой выдержкой?

Бык Маллиган уселся снять башмаки. Из-за выступа скалы высунулось красное отдувающееся лицо. Пожилой мужчина вылез на камни, вода блестела на его лысине с седоватым венчиком, вода струилась по груди, по брюху, капала с черных мешковатых трусов.

Бык Маллиган посторонился, пропуская его, и, бросив взгляд на Хейнса и Стивена, ногтем большого пальца набожно перекрестил себе лоб, уста и грудную клетку.

— А Сеймур опять в городе,— сказал юноша, ухватившись снова за выступ. — Медицину по боку, решил в армию.

— Да иди ты,— хмыкнул Бык Маллиган.

— На той неделе уже в казарму. А ты знаешь ту рыженькую из Карлайла, Лили?

— Знаю.

— Прошлый вечер на пирсе с ним обжималась. У ее папаши денег чертова пропасть.

— Может, она залетела?

— Это ты Сеймура спроси.

— Сеймур — кровопускающий офицер! — объявил Бык Маллиган.

Кивнув самому себе, он стянул с ног брюки, выпрямился и изрек избитую истину:

— Рыжие бабы блудливы как козы.

Встревоженно оборвав, принялся щупать свои бока под вздувшейся от ветра рубашкой.

---

[8] Проклятье! К черту! *(франц.)*

— У меня нет двенадцатого ребра *,— возопил он. — Я Übermensch [9]. Беззубый Клинк и я, мы сверхчеловеки.

Он выпутался из рубашки и кинул ее к вороху остальной одежды.

— Здесь залезаешь, Мэйлахи?

— Ага. Дай-ка местечко на кровати.

Юноша в воде оттолкнулся назад и в два сильных, ровных гребка выплыл на середину заливчика. Хейнс с сигаретой присел на камень.

— А вы не будете? — спросил Бык Маллиган.

— Попозже,— отвечал Хейнс.— После завтрака не сразу.

Стивен повернулся идти.

— Я ухожу, Маллиган,— сказал он.

— А дай-ка тот ключ, Клинк,— сказал Бык Маллиган,— мою рубашку прижать.

Стивен протянул ему ключ. Бык Маллиган положил его на ворох одежды.

— И двухпенсовик на пинту. Кидай туда же.

Стивен кинул два пенса на мягкий ворох. Одеваются, раздеваются. Бык Маллиган, выпрямившись, сложив перед грудью руки, торжественно произнес:

— Крадущий у бедного дает взаймы Господу. Так говорил Заратустра *.

Жирное тело нырнуло в воду.

— Еще увидимся,— сказал Хейнс, повернувшись к уходящему Стивену и улыбаясь необузданности ирландцев.

Бычьих рогов, конских копыт и улыбки сакса *.

— В «Корабле»,— крикнул Бык Маллиган. — В полпервого.

— Ладно,— ответил Стивен.

Он шел по тропинке, что вилась вверх.

Liliata rutilantium.
Turma circumdet.
Iubilantium te virginum.

Седой нимб священника за скалой, куда тот скромно удалился для одевания. Сегодня я не буду здесь ночевать. Домой идти тоже не могу.

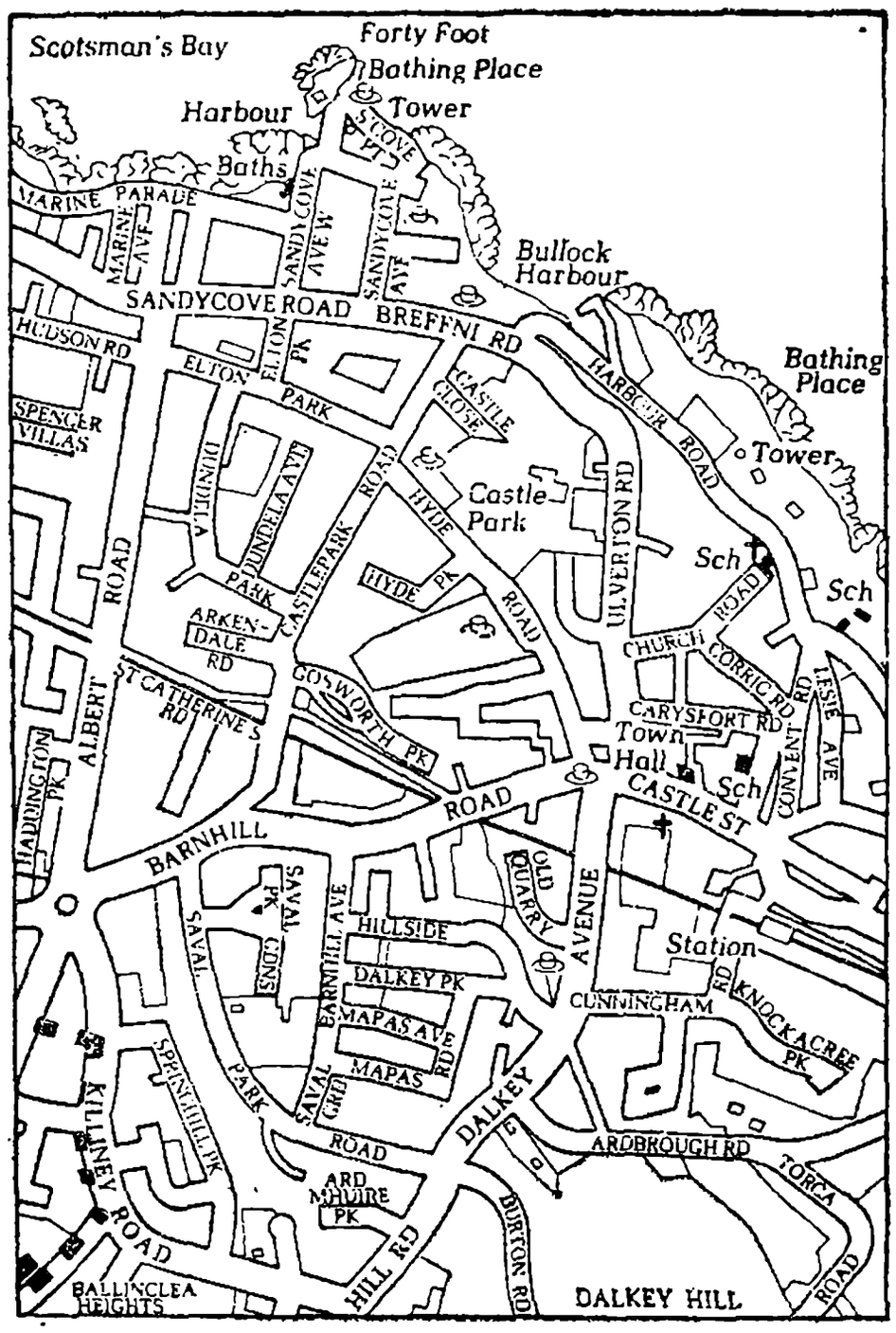
Зов, протяжный и мелодичный, донесся до него с моря. На повороте тропинки он помахал рукой. Голос донесся снова. Лоснящаяся темная голова, тюленья, далеко от берега, крутлая.

Захватчик.

---

[9] Сверхчеловек *(нем.)*.

2



— Кокрейн, ты скажи. Какой город послал за ним?

— Тарент, сэр.

— Правильно. А потом?

— Потом было сражение, сэр.

— Правильно. А где?

Мальчуган с пустым выражением уставился в пустоту окна.

Басни дочерей памяти*. Но ведь чем-то и непохоже на басни памяти. Тогда — фраза, сказанная в сердцах, шум Блейковых крыл избытка*. Слышу, как рушатся пространства, обращаются в осколки стекло и камень, и время охвачено синебагровым пламенем конца*. Что же нам остается?

— Я позабыл место, сэр. В 279 году до нашей эры.

— Аскулум,— бросил Стивен, заглянув в книгу с рубцами кровопролитий.

— Да, сэр. И он сказал: еще одна такая победа — и мы погибли.

Вот эту фразу мир и запомнил. Утеха для скудоумных. Над усеянной телами равниной, опершись на копье, генерал обращается с холма к офицерам. Любой генерал к любым офицерам. А те внимают.

— Теперь ты, Армстронг,— сказал Стивен.— А каков был конец Пирра?

— Конец Пирра, сэр?

— Я знаю, сэр. Спросите меня, сэр,— вызвался Комин.

— Нет, ты обожди. Армстронг. Ты что-нибудь знаешь о Пирре?

В ранце у Армстронга уютно притаился кулек с вялеными фигами. Время от времени он разминал их в ладонях и отправлял потихоньку в рот. Крошки, приставшие к кожице на губах. Подслащенное мальчишеское дыхание. Зажиточная семья, гордятся, что старший сын во флоте. Виксо-роуд*, Долки.

— О Пирре, сэр? Пирр — это пирс.

Все засмеялись. Визгливый, злорадный смех без веселья. Армстронг обвел взглядом класс, дурашливая ухмылка на профиле. Сейчас еще сильней засмеются, знают, что у меня власти нет, а плату их папаши внесли.

— Тогда объясни,— сказал Стивен, касаясь плеча мальчугана книжкой,— что это такое, пирс.

— Ну, пирс, сэр,— тянул Армстронг.— Такая штука над морем. Вроде как мост. В Кингстауне пирс, сэр.

Кое-кто засмеялся снова, без веселья, но со значением. Двое на задней парте начали перешептываться. Да. Они знали: никогда не изведав, никогда не были невинны. Все. Он с завистью оглядел их лица. Эдит, Этель, Герти, Лили. Похожи на этих: дыхание у них тоже сладкое от чая с вареньем, браслеты звякают во время возни.

— Кингстаунский пирс,— повторил Стивен.— Да, несбывшийся мост.

Их взгляды смутились от его слов.

— Как это, сэр? — спросил Комин.— Мост, он же через реку.

Хейнсу в его цитатник. Не для этих ушей. Вечером, среди пьянки и пустословия, пронзить, словно пирс воду, ровную гладь его ума. А что в том? Шут при господском дворе, благоволимый и презираемый, добился от господина милостивой похвалы. Почему все они выбрали эту роль? Не только ведь ради ласки и поощрения. Для них тоже история — это сказка, давно навязшая в ушах, а своя страна — закладная лавка.

Разве Пирр не пал в Аргосе от руки старой ведьмы, а Юлия Цезаря не закололи кинжалом? Их уже не изгнать из памяти. Время поставило на них свою мету и заключило, сковав, в пространстве, что занимали уничтоженные ими бесчисленные возможности *. Но были ль они возможны, если их так и не было? Или то лишь было возможным, что состоялось? Тките, ветра ткачи.

— Сэр, а расскажите нам что-нибудь.

— Ага, сэр, про привидения.

— Где мы остановились тут? — спросил Стивен, открывая другую книгу.

— «Оставь рыданья»,— сказал Комин.

— Ну, давай, Талбот.

— А историю, сэр?

— Потом,— сказал Стивен.— Давай, Талбот.

Смуглый мальчуган раскрыл книгу и ловко приладил ее за укрытием своего ранца. Он начал читать стихотворение, запинаясь и часто подглядывая в текст:

Оставь рыданья, о пастух, оставь рыданья,
Ликид не умирал, напрасна скорбь твоя,
Хотя над ним волны сомкнулись очертанья...*

Тогда это должно быть движением, актуализация возможного как такового *. Фраза Аристотеля сложилась из бормотанья ученика и поплыла вдаль, в ученую тишину библиотеки Святой Женевьевы, где он читал, огражден от греховного Парижа, вечер за вечером. Рядом хрупкий сиамец штудировал учебник стратегии. Вокруг меня насыщенные и насыщающиеся мозги — пришпиленные под лампочками, слабо подрагивающие щупиками,— а во тьме моего ума грузное подземное чудище, неповоротливое, боящееся света, шевелит драконовой чешуей. Мысль — это мысль о мысли. Безмятежная ясность. Душа — это, неким образом, все сущее: душа — форма форм *. Безмятежность нежданная, необъятная, лучащаяся: форма форм.

Талбот твердил:

И дивной властию того, кто шел по водам,
И дивной властию...

— Можешь перевернуть,— сказал Стивен безразлично.— Я ничего не вижу.

— Чего, сэр? — спросил простодушно Талбот, подаваясь вперед.

Его рука перевернула страницу. Он снова выпрямился и продолжал, как будто припомнив. О том, кто шел по водам. И здесь лежит его тень, на этих малодушных сердцах, и на сердце безбожника, на его устах, на моих. Она и на снедаемых любопытством лицах тех, что предложили ему динарий. Кесарево кесарю, а божие богу. Долгий взгляд темных глаз, загадочные слова, что без конца будут ткаться на кроснах церкви. Да.

Отгадай загадку, будешь молодец:
Зернышки посеять мне велел отец.

Талбот закрыл книжку и сунул ее в ранец.

— Все уже? — спросил Стивен.

— Да, сэр. В десять хоккей, сэр.

— Короткий день, сэр. Четверг.

— А кто отгадает загадку? — спросил Стивен.

Они распихивали учебники, падали карандаши, шуршали страницы. Сгрудившись вместе, защелкивали и затягивали ранцы, разом весело тараторя:

— Загадку, сэр? Давайте я, сэр.

— Я, дайте я, сэр.

— Какую потрудней, сэр.

— Загадка такая,— сказал Стивен.

Кочет поет.
Чист небосвод.
Колокол в небе
Одиннадцать бьет.
Бедной душе на небеса
Час улетать настает.

— Отгадайте, что это.

— Чего-чего, сэр?

— Еще разок, сэр. Мы не расслышали.

Глаза их расширились, когда он повторил строчки. Настала пауза, а потом Кокрейн попросил:

— Скажите отгадку, сэр. Мы сдаемся.

Стивен, чувствуя подкативший к горлу комок, ответил:

— Это лис хоронит свою бабку под остролистом.

Нервически рассмеявшись, он встал, и эхом ему нестройно раздались их возгласы разочарования.

В дверь стукнули клюшкой, и голос из коридора прокричал:

— Хоккей!

Они кинулись как оголтелые, боком выскакивая из-за парт, перемахивая через сиденья. Вмиг комната опустела, и из раздевалки послышался их гомон и грохот клюшек и башмаков.

Сарджент, единственный, кто остался, медленно подошел, протягивая раскрытую тетрадь. Его спутанные волосы и тощая шея выдавали явную неготовность, слабые глаза в запотевших очках глядели просяще. На блеклой бескровной щеке расплылось чернильное пятно в форме финика, еще свежее и влажное, как след слизня.

Он подал тетрадку. Наверху страницы было выведено: «Примеры». Дальше шли цифры вкривь и вкось, а внизу имелся корявый росчерк с загогулинами и с кляксой. Сирил Сарджент: личная подпись и печать.

— Мистер Дизи велел все снова переписать и показать вам, сэр.

Стивен потрогал края тетрадки. Что толку.

— Ты уже понял, как их решать? — спросил он.

— С одиннадцатого до пятнадцатого,— отвечал Сарджент.— Мистер Дизи сказал, надо было списать с доски, сэр.

— А сам теперь сможешь сделать?

— Нет, сэр.

Уродлив и бестолков: худая шея, спутанные волосы, пятно на щеке — след слизня. Но ведь какая-то любила его, выносила под сердцем, нянчила на руках. Если бы не она, мир в своей гонке давно подмял бы его, растоптал, словно бескостого слизня. А она любила его жидкую слабосильную кровь, взятую у нее самой. Значит, это и есть настоящее? * Единственно истинное в жизни? В святом своем рвении пламенный Колумбан * перешагнул через тело матери, простершейся перед ним. Ее не стало: дрожащий остов ветки, по-

паленной огнем, запах розового дерева и могильного тлена. Она спасла его, не дала растоптать и ушла, почти не коснувшись бытия. Бедная душа улетела на небеса — и на вересковой пустоши, под мерцающими звездами, лис, горящие беспощадные глаза, рыжим и хищным духом разит от шкуры, рыл землю, вслушивался, откидывал землю, вслушивался и рыл, рыл.

Сидя с ним рядом, Стивен решал задачу. Он с помощью алгебры доказывает, что призрак Шекспира — это дедушка Гамлета. Сарджент глядел искоса через съехавшие очки. Из раздевалки — стук клюшек; с поля — голоса и глухие удары по мячу.

Значки на странице изображали чопорный мавританский танец, маскарад букв в причудливых шляпах квадратов и кубов. Подача руки, поворот, поклон партнеру: вот так: бесовские измышленья мавров. И они уже покинули мир, Аверроэс * и Моисей Маймонид *, мужи, темные обличьем и обхожденьем, ловящие в свои глумливые зеркала смутную душу мира, и тьма в свете светит, и свет не объемлет ее *.

— Ну как, понял? Сможешь сам сделать следующий?

— Да, сэр.

Вялыми, неуверенными движениями пера Сарджент списал условие. То и дело медля в надежде помощи, рука его старательно выводила кривые значки, слабая краска стыда проступала сквозь блеклую кожу щек. Amor matris [10], родительный субъекта и объекта. Она вскормила его своей жидкой кровью и свернувшимся молоком, скрывала от чужих взоров его пеленки.

Таким был я, те же косые плечи, та же нескладность. Детство мое, сгорбясь подле меня. Ушло, и не коснуться его, пускай хоть раз, хоть слегка. Мое ушло, а его потаенно, как наши взгляды. Тайны, безмолвно застывшие в темных чертогах двух наших сердец,— тайны, уставшие тиранствовать: тираны, мечтающие быть свергнутыми.

Пример был решен.

— Вот видишь, как просто,— сказал Стивен, вставая.

— Ага, сэр, спасибо,— ответил Сарджент.

Он промокнул страницу и отнес тетрадь к парте.

— Бери свою клюшку и ступай к ребятам,— сказал Стивен, направляясь к дверям следом за нескладной фигуркой.

— Ага, сэр.

В коридоре послышалось его имя, его окликали с поля:

— Сарджент!

— Беги, мистер Дизи тебя зовет,— поторопил Стивен.

Стоя на крыльце, он смотрел, как увалень семенит к полю битвы, где голоса затеяли крикливую перебранку. Их разделили на команды, и мистер Дизи возвращался, шагая через метелки травы затянутыми в гетры ногами. Едва он дошел до школы, как снова заспорившие голоса позвали его назад. Он обернул к ним сердитые седые усы.

— Ну что еще? — прокричал он несколько раз, не слушая.

— Кокрейн и Холлидей в одной команде, сэр,— крикнул ему Стивен.

— Вы не обождете минутку у меня в кабинете,— попросил мистер Дизи,— пока я тут наведу порядок.

Он озабоченно зашагал по полю обратно, строго покрикивая своим старческим голосом:

— В чем дело? Что там еще?

Пронзительные их крики взметнулись разом со всех сторон от него; фигурки их обступили его кольцом, а слепящее солнце выбеливало мед его плохо выкрашенной головы.

---

[10] Любовь матери *(лат.)*.

Прокуренный застоялый дух царил в кабинете, вместе с запахом кожи вытертых тускло-желтых кресел. Как в первый день, когда мы с ним рядились тут. Как было в начале, так и ныне. Сбоку стоял подносик с монетами Стюарта, жалкое сокровище ирландских болот *: и присно. И в футляре для ложек, на выцветшем алом плюше, двенадцать апостолов, проповедовавших всем языкам *: и во веки веков.

Торопливые шаги по каменному крыльцу, в коридоре. Раздувая редкие свои усы, мистер Дизи остановился у стола.

— Сначала наши небольшие расчеты.

Он вынул из сюртука перетянутый кожаной ленточкой бумажник. Раскрыв его, извлек две банкноты, одну — из склеенных половинок, и бережно положил на стол.

— Два,— сказал он, вновь перетягивая и убирая бумажник.

Теперь в хранилище золотых запасов. Ладонь Стивена в неловкости блуждала по раковинам *, лежавшим грудой в холодной каменной ступке: волнистые рожки, и каури, и багрянки, а эта вот закручена, как тюрбан эмира, а эта — гребешок святого Иакова *. Добро старого пилигрима, мертвые сокровища, пустые ракушки.

Соверен, новенький и блестящий, упал на мягкий ворс скатерти.

— Три,— сказал мистер Дизи, вертя в руках свою маленькую копилку.— Очень удобная штучка. Смотрите. Вот сюда соверены. Тут шиллинги, полукроны, шестипенсовики. А сюда — кроны. Смотрите.

Он высыпал на ладонь два шиллинга и две кроны.

— Три двенадцать,— сказал он.— По-моему, это правильно.

— Благодарю вас, сэр,— отвечал Стивен, с застенчивой поспешностью собирая деньги и пряча их в карман брюк.

— Не за что,— сказал мистер Дизи.— Вы это заработали.

Рука Стивена, освободившись, вернулась снова к пустым ракушкам. Тоже символы красоты и власти. Толика денег в моем кармане: символы, запятнанные алчностью и нищетой.

— Не надо их так носить,— предостерег мистер Дизи.— Где-нибудь вытащите и потеряете. Купите лучше такую же штуковину. Увидите, как это удобно.

Отвечай что-нибудь.

— У меня она часто будет пустовать.

Те же место и час, та же премудрость: и я тот же. Вот уже трижды. Три петли вокруг меня. Ладно. Я их могу разорвать в любой миг, если захочу.

— Потому что вы не откладываете,— мистер Дизи поднял вверх палец.— Вы еще не знаете, что такое деньги. Деньги — это власть. Вот поживете с мое. Уж я-то знаю. «Если бы молодость знала». Как это там у Шекспира? «Набей потуже кошелек».

— Яго,— пробормотал Стивен.

Он поднял взгляд от праздных ракушек к глазам старого джентльмена.

— Он знал, что такое деньги,— продолжал мистер Дизи,— он их наживал. Поэт, но в то же время и англичанин. А знаете, чем англичане гордятся? Какие самые гордые слова у англичанина?

Правитель морей. Холодные, как море, глаза смотрели на пустынную бухту — повинна история,— на меня и мои слова, без ненависти.

— Что над его империей никогда не заходит солнце.

— Ха! — воскликнул мистер Дизи.— Это совсем не англичанин. Это сказал французский кельт *.

Он постукал своей копилкой о ноготь большого пальца.

— Я вам скажу,— объявил он торжественно,— чем он больше всего хвастает и гордится: «Я никому не должен».

Надо же, какой молодец.

— «Я никому не должен. Я за всю жизнь не занял ни у кого ни шиллинга». Вам понятно такое чувство? «У меня нет долгов». Понятно?

Маллигану девять фунтов, три пары носков, пару обуви, галстуки. Каррэну * десять гиней. Макканну * гинею. Фреду Райену * два шиллинга. Темплу * за два обеда. Расселу гинею, Казинсу * десять шиллингов, Бобу Рейнольдсу полгинеи, Келеру * три гинеи, миссис Маккернан* за пансион, пять недель. Малая моя толика бессильна.

— В данный момент нет,— ответил Стивен.

Мистер Дизи от души рассмеялся, пряча свою копилку.

— Я так и думал,— сказал он весело.— Но когда-нибудь вам придется к нему прийти. Мы народ щедрый, но справедливость тоже нужна.

— Я боюсь этих громких слов,— сказал Стивен,— они нам приносят столько несчастий.

Мистер Дизи вперил суровый взгляд туда, где над камином пребывали дородные стати мужчины в клетчатом килте: Альберт Эдуард, принц Уэльский.

— Вы меня считаете старым замшелым тори,— молвил его задумчивый голос.— Со времен О'Коннелла * я видел три поколения. Я помню голод *. А вы знаете, что ложи оранжистов * вели агитацию против унии за двадцать лет до того, как этим стал заниматься О' Коннелл, причем попы вашей церкви его клеймили как демагога? У вас, фениев, короткая память.

Вечная, славная и благоговейная память. Алмазная ложа в Арме великолепном, заваленная трупами папистов. При оружии, в масках, плантаторы хриплыми голосами дают присягу. Черный север и истинная голубая библия. Берегись, стриженые *.

Стивен сделал легкое движение.

— В моих жилах тоже кровь бунтарей,— продолжал мистер Дизи.— По женской линии. Но прямой мой предок — сэр Джон Блэквуд, который голосовал за унию. Все мы ирландцы, и все потомки королей *.

— Увы,— сказал Стивен.

— Per vias rectas[11],— твердо произнес мистер Дизи.— Это его девиз. Он голосовал за унию и ради этого натянул ботфорты и поскакал в Дублин из Нижнего Ардса *.

Трала-лала, трала-лала.
На Дублин путь кремнист.

Деревенщина-сквайр в седле, лоснящиеся ботфорты. Славный денек, сэр Джон! Славный денек, ваша честь!.. День-денек... День-денек... Ботфорты болтаются, трусят в Дублин. Трала-лала, трала-лала, трусят.

— Кстати, это напомнило мне,— сказал мистер Дизи.— Вы бы могли оказать мне услугу, через ваши литературные знакомства. У меня тут письмо в газету. Вы не присядете на минутку, я бы допечатал конец.

Он подошел к письменному столу у окна, подвинул дважды свой стул и перечел несколько слов с листа, заправленного в пишущую машинку.

— Присаживайтесь. Прошу меня извинить,— сказал он через плечо.— *Законы здравого смысла*. Одну минутку.

Вглядываясь из-под косматых бровей в черновик возле своего локтя и бормоча про себя, он принялся тукать по тугим клавишам машинки, медленно, иногда отдуваясь, когда приходилось возвращать валик, чтобы стереть опечатку.

---

[11] Прямым путем (*лат.*).

Стивен бесшумно уселся в присутствии августейшей особы. Развешанные по стенам в рамках, почтительно застыли изображенья канувших в Лету лошадей, уставив кверху кроткие морды: Отпор лорда Гастингса, Выстрел герцога Вестминстерского, Цейлон герцога Бофора, взявший Парижский приз в 1866 году. На седлах легкие жокеи в чутком ожиданье сигнала. Он следил за их состязанием, поставив на королевские цвета, и сливал свои крики с криками канувших в Лету толп.

— Точка,— дал указание клавишам мистер Дизи.— *Однако скорейшее разрешение этого важного вопроса...*

Куда Крэнли меня привел, чтобы разом разбогатеть, таскались за его фаворитами средь грязью заляпанных breков, орущих букмекеров у стоек, трактирной вони, месива под ногами. Один к одному на Честного Мятежника, на остальных десять к одному! Мимо жуликов, мимо игроков в кости мы спешили вслед за копытами, картузами и камзолами, и мимо мяснолицей зазнобы мясника, жадно всосавшейся в апельсин.

Пронзительные крики донеслись с поля и трель свистка.

Еще гол. Я среди них, в свалке их борющихся тел, на турнире жизни. Ты хочешь сказать, тот маменькин сынок, заморыш со слегка осовелым видом? Турниры. На каждый толчок время отвечает новым толчком, и так без конца. Турниры, грязь и рев битв, застывшая предсмертная блевотина убитых, вопль копий, наживленных кровавыми человечьими кишками.

— Готово,— произнес мистер Дизи, вставая с места.

Он подошел к столу, скрепляя вместе свои листки. Стивен тоже поднялся.

— Я тут все выразил в двух словах,— сказал мистер Дизи. — Это насчет эпидемии ящура. Взгляните бегло, пожалуйста. Вопрос бесспорный.

Позволю себе вторгнуться на ваши уважаемые столбцы. Прес-ловутая политика невмешательства, которая столь часто в нашей истории. Наша скототорговля. Судьба всех наших старинных промыслов. Ливерпульская клика, похоронившая проект Голуэйского порта*. Европейские конфликты. Перевозки зерна через узкие проливы. Завидная невозмутимость ведомства земледелия. Не грех вспомнить классиков. Кассандра. От женщины, не блиставшей добродетелью *. Перейдем к сути дела.

— Я выражаюсь напрямик, вы согласны? — спросил мистер Дизи у читавшего Стивена.

Эпидемия ящура. Известен как препарат Коха. Сыворотка и вирус. Процент вакцинированных лошадей. Эпизоотии. Императорские конюшни в Мюрцштеге, Нижняя Австрия. Квалифицированные ветеринары. Мистер Генри Блэквуд Прайс. Любезное предложение беспристрастной проверки. Законы здравого смысла. Вопрос чрезвычайно важен. Взять быка за рога в прямом и переносном смысле. Позвольте поблагодарить за предоставленную возможность.

— Я хочу, чтобы это напечатали и прочли,— сказал мистер Дизи. — Вот увидите, при следующей же вспышке они наложат эмбарго на ирландский скот. А болезнь излечима. И ее лечат. Как пишет мне родственник, Блэквуд Прайс, в Австрии специалисты научились бороться с ней и надежно вылечивают. Они предлагают приехать к нам. Я пробую найти ходы в ведомстве. Сейчас попытаюсь привлечь газеты. Но всюду столько препятствий... столько интриг... закулисных происков, что...

Подняв указательный палец, он, прежде чем продолжать, погрозил им стариковато в воздухе.

— Помяните мои слова, мистер Дедал,— сказал он. — Англия в когтях у евреев. Финансы, пресса: на всех самых высоких постах. А это признак упадка нации. Всюду, где они скапливаются, они выса-

сывают из нации соки. Я это наблюдаю не первый год. Ясно как божий день, еврейские торгаши уже ведут свою разрушительную работу. Старая Англия умирает.

Он быстро отошел в сторону, и глаза его засветились голубизной, оказавшись в столбе солнечного света. Он оглянулся по сторонам.

— Умирает,— повторил он,— если уже не умерла.

И крики шлюх глухой порой,
Британия, ткут саван твой*.

Глаза его, расширенные представшим видением, смотрели сурово сквозь солнечный столб, в котором он еще оставался.

— Но торгаш,— сказал Стивен,— это тот, кто дешево покупает и дорого продает, будь он еврей или не еврей, разве нет?

— Они согрешили против света,— внушительно произнес мистер Дизи.— У них в глазах — тьма. Вот потому им и суждено быть вечными скитальцами по сей день.

На ступенях парижской биржи златокожие люди показывают курс на пальцах с драгоценными перстнями. Гусиный гогот. Развязно и шумно толпятся в храме *, под неуклюжими цилиндрами зреют замыслы и аферы. Все не их: и одежда, и речь, и жесты. Их выпуклые медлительные глаза противоречили их словам, а жесты были пылки, но незлобивы, хотя они знали об окружающей вражде и знали, что их старания тщетны. Тщетно богатеть, запасать. Время размечет все. Богатство, запасенное у дороги, его разграбят и пустят по рукам. Глаза их знали годы скитаний и знали, смиренные, о бесчестье их крови.

— А кто нет? — спросил Стивен.

— Что вы хотите сказать? — не понял мистер Дизи.

Он сделал шаг вперед и остановился у стола, челюсть косо отвисла в недоумении. И это мудрая старость? Он ждет, пока я ему скажу.

— История,— произнес Стивен,— это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться.

На поле снова крики мальчишек. Трель свистка: гол. А вдруг этот кошмар даст тебе пинка в зад?

— Пути Господни неисповедимы,— сказал мистер Дизи.— Вся история движется к единой великой цели, явлению Бога.

Стивен, ткнув пальцем в окошко, проговорил:

— Вот Бог.

Урра! Эх! Фью-фьюйть!

— Как это? — переспросил мистер Дизи.

— Крик на улице *,— отвечал Стивен, пожав плечами.

Мистер Дизи опустил взгляд и некоторое время подержал пальцами переносицу. Потом поднял взгляд и переносицу отпустил.

— Я счастливей вас,— сказал он.— Мы совершили много ошибок, много грехов. Женщина принесла грех в мир. Из-за женщины, не блиставшей добродетелью, Елены, сбежавшей от Менелая, греки десять лет осаждали Трою. Неверная жена впервые привела чужеземцев на наши берега, жена Макморро * и ее любовник О'Рурк, принц Брефни. И Парнелла погубила женщина *. Много ошибок, много неудач, но только не главный грех. Сейчас, на склоне дней своих, я еще борец. И я буду бороться за правое дело до конца.

Право свое, волю свою
Ольстер добудет в бою*.

Стивен поднял руку с листками.

— Так, значит, сэр...— начал он.

— Сдается мне,— сказал мистер Дизи,— что вы не слишком за-

держитесь на этой работе. Вы не родились учителем. Хотя, возможно, я ошибаюсь.

— Скорее, я ученик,— сказал Стивен.

А чему тебе тут учиться?

Мистер Дизи покачал головой.

— Как знать? Ученик должен быть смиренным. Но жизнь — великий учитель.

Стивен опять зашуршал листками.

— Так насчет этого...— начал он.

— Да-да,— сказал мистер Дизи.— Я дал вам два экземпляра. Желательно, чтобы напечатали сразу.

Телеграф. Айриш Хомстед.

— Я попробую,— сказал Стивен,— и завтра вам сообщу. Я немного знаком с двумя редакторами.

— Вот и хорошо,— живо откликнулся мистер Дизи.— Вчера вечером я написал письмо мистеру Филду, Ч. П. [12]. Сегодня в гостинице «Городской герб» собрание Ассоциации скотопромышленников. Я его попросил огласить мое письмо в этом собрании. А вы попробуйте через ваши газеты. Это какие?

— «Ивнинг телеграф»...

— Вот и хорошо,— повторил мистер Дизи.— Не будем же терять времени. Мне еще надо написать ответ тому родственнику.

— Всего доброго,— сказал Стивен, пряча листки в карман.— Благодарю вас.

— Не за что,— отозвался мистер Дизи, принимаясь рыться в бумагах у себя на столе.— Я сам люблю, хоть и стар, скрестить с вами копья.

— Всего доброго, сэр,— повторил Стивен, кланяясь его склоненной спине.

Он вышел на крыльцо через открытые двери и зашагал под деревьями по гравиевой дорожке, слыша звонкие голоса и треск клюшек. Львы покойно дремали на постаментах, когда он проходил мимо через ворота, беззубые чудища. Что ж, помогу ему в его баталии. Маллиган даст мне новое прозвище: быколюбивый бард *.

— Мистер Дедал!

Нагоняет меня. Надеюсь, не с новым письмом.

— Одну минутку!

— Да, сэр,— отозвался Стивен, поворачивая обратно к воротам.

Мистер Дизи остановился, запыхавшись, дыша прерывисто и тяжело.

— Я только хотел добавить,— проговорил он.— Утверждают, что Ирландия, к своей чести, это единственная страна, где никогда не преследовали евреев. Вы это знаете? Нет. А вы знаете почему?

Лицо его сурово нахмурилось от яркого света.

— Почему же, сэр? — спросил Стивен, пряча улыбку.

— Потому что их сюда никогда не пускали,— торжественно объявил мистер Дизи.

Ком смеха и кашля вылетел у него из горла, потянув за собой трескучую цепь мокроты. Он быстро повернул назад, кашляя и смеясь, размахивая руками над головой.

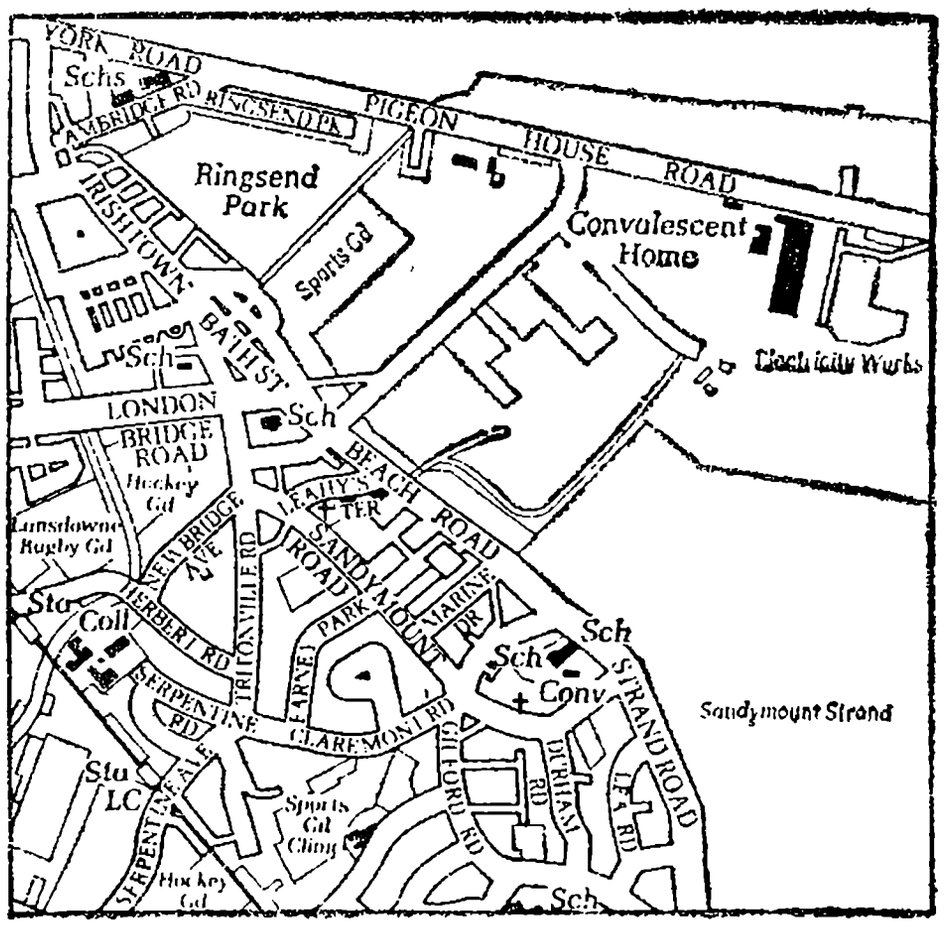
— Их никогда сюда не пускали,— еще раз прокричал он сквозь смех, топая по гравию дорожки затянутыми в гетры ногами.— Вот почему.

Сквозь ажур листьев солнце рассыпало на его велемудрые плечи пляшущие золотые звездочки и монетки.

---

[12] Члену парламента.

3



Есть неизбежная модальность зримого. Хотя бы это, если не больше, говорят моей мысли мои глаза. Я здесь, чтобы прочесть отметы сути вещей*: всех этих водорослей, мальков, подступающего прилива, вон того ржавого сапога. Сопливо-зеленый, серебряно-синий, ржавый: цветные отметы. Пределы прозрачности. Но он добавляет: в телах*. Значит, то, что тела, он усвоил раньше, чем что цветные. Как? А стукнувшись башкой* об них, как еще. Осторожно. Он лысый был и миллионер*, maestro di color che sanno[13]. Предел прозрачного в. Почему в? Прозрачное, непрозрачное. Если можно сквозь это просунуть пятерню, это ворота, если нет, дверь. Закрой глаза и смотри.

Стивен, закрыв глаза, прислушался, как хрустят хрупкие ракушки и водоросли у него под ногами. Так или иначе, ты сквозь это идешь. Иду, шажок за шажком. За малый шажок времени сквозь малый шажок пространства. Пять, шесть: это Nacheinander[14]! Совершенно верно, и это — неизбежная модальность слышимого. Открой глаза. Нет. Господи! Если я свалюсь с утеса грозного, нависшего над морем, неизбежно свалюсь сквозь Nebeneinander[15]! Отлично передвигаюсь в темноте. На боку ясеневая шпага. Постукивай ею: они так делают. Ноги мои в его башмаках и его штанинах, nebeneinander. Звук твердый: выковано молотом демиурга Лоса*. Не в вечность ли я иду по берегу Сэндимаунта? Хруп-крак-скрип-скрип. Ракушки, деньги туземцев. Магистр Дизи в них дока.

> Не придешь ли в Сэндимаунт,
> Дороти-кобылка?

Смотри, вырисовывается ритм. Полный четырехстопник, шаги ямбов. Нет, галоп: *роти кобылка.*

Теперь открой глаза. Открываю. Постой. А вдруг все исчезло за это время? Вдруг я открою и окажусь навеки в черноте непрозрачного. Дудки! Если умею видеть — буду видеть.

Что ж, смотри. Было на месте и без тебя; и пребудет, ныне и присно и во веки веков.

Они осторожно спустились по ступеням с Лихи-террас, Frauenzimmer[16]; и по отлогому берегу косолапили вяло, в илистом увязая песке. Как я, как Элджи, стремятся к нашей могучей матери. У номера первого шверно болталась акушерская сумка, другая тыкала в песок большим зонтиком. На денек выбрались из слободки. Миссис Флоренс Маккейб, вдовица покойного Пэтка Маккейба с Брайд-стрит, горько оплакиваемого. Одна из ее товарок выволокла меня, скулящего, в жизнь. Творение из ничего. Что у нее в сумке? Выкидыш с обрывком пуповины, закутанный в рыжий лоскут. Пуповины всех идут в прошлое, связуют единым кабелем всю плоть. Вот почему монахи —

---

[13] Учитель тех, кто знает* *(итал.)*. Данте. Ад, IV, 131.
[14] Друг за другом *(нем.)*, здесь: последовательность.
[15] Друг подле друга *(нем.)*, здесь: рядоположность.
[16] Бабы *(нем.)*.

мистики *. Будете ли как боги *? Всмотритесь в свои омфалы. Алло. Клинк на проводе. Соедините с Эдемом. Алеф, альфа *: ноль, ноль, единица.

Супруга и сподручница Адама Кадмона *: Хева *, обнаженная Ева. У нее не было пупка. Всмотрись. Живот без изъяна, выпуклый тугокожий щит, нет, ворох белой пшеницы, восточной и бессмертной, сущей от века и до века. Лоно греха.

В лоне греховной тьмы и я был сотворен, не рожден. Ими, мужчиной с моим голосом, с моими глазами и женщиной-призраком с дыханием тлена. Они сливались и разделялись, творя волю сочетателя. Прежде начала времен Он возжелал меня и теперь уж не может пожелать, чтобы меня не бывало. С Ним lex eterna [17]. Так это и есть божественная сущность, в которой Отец и Сын единосущны? Где-то он, славный бедняга Арий, чтобы с этим поспорить? Всю жизнь провоевал против единочрезвеликоеврейскосущия. Злосчастный ересиарх! Испустил дух в греческом нужнике* — эвтанасия*. В митре с самоцветами, с епископским посохом, остался сидеть на троне, вдовец вдовой епархии, с задранным омофором и замаранной задницей.

Ветерки носились вокруг, пощипывая кожу преизрядно. Вот они мчатся, волны. Белогривые морские кони, храпящие, взнузданные свежим ветром скакуны Мананаана *.

Не забыть про его письмо в газету. А после? В «Корабль», в полпервого. И кстати, будь с деньгами поаккуратней, как примерный юный кретин. Да, надо бы.

Шаги его замедлились. Здесь. Идти к тете Саре или нет? Глас моего единосущного отца. Тебе не попадался брат твой, художник Стивен? Нет? А ты не думаешь, что он у своей тетушки Салли на Страсбург-террас? Не мог залететь повыше, а? А а а а скажи-ка нам, Стивен, как там дядюшка Сай? Это слезы божьи, моя родня по жене! Детки на сеновале. Пьяненький счетоводишка и его братец-трубач. Достопочтенные гондольеры*. А косоглазый Уолтер папашу величает не иначе как сэром! Да, сэр. Нет, сэр. Иисус прослезился* — и не диво, ей-ей!

Я дергаю простуженный колокольчик их домика с закрытыми ставнями — и жду. Они опасаются кредиторов, выглядывают из-за угла иль выступа стены*.

— Это Стивен, сэр.

— Впускай его. Впускай Стивена.

Отодвигают засов, Уолтер меня приветствует:

— А мы тебя за кого-то приняли.

На обширной постели дядюшка Ричи, о подушках и одеяле, простирает дюжее предплечье над холмами колен. Чистогруд. Омыл верхний пай.

— День добрый, племянничек. Садись и гуляй.

Откладывает дощечку, на которой составляет счета своих издержек, для глаз мистера Недотеппи и мистера Тристрама Тэнди*, сочиняет иски и соглашения, пишет повестки Duces Tecum [18]. Над лысиной, в рамке мореного дуба, «Requiescat» [19] Уайльда. Обманчивый свист его заставляет Уолтера вернуться.

— Да, сэр?

— Бражки Ричи и Стивену, скажи матери. Она где?

— Купает Крисси, сэр.

Та любит с папочкой поваляться. Папочкина крошка-резвушка.

— Нет, дядя Ричи...

---

[17] Вечный закон *(лат.)*.

[18] «Берешь с собой» *(лат.)* — повестка о явке в суд с представлением каких-либо документов или предметов.

[19] «Покойся» *(лат.)*.

— Зови просто Ричи. К чертям сельтерскую. От нее тупеешь. Виски!

— Нет, дядя Ричи, правда...

— Да садись, черт дери, не то как двину сейчас.

Уолтер тщетно косит глазами в поисках стула.

— Ему не на что сесть, сэр.

— Ему некуда свою опустить, болван. Тащи сюда чиппендейловское кресло. Хочешь перекусить? И брось тут свои ужимки. Поджарить ломоть сала с селедкой? Точно нет? Тем лучше. В доме шаром покати, одни пилюли от поясницы.

All'erta![20]

Насвистывает из aria di sortita[21] Феррандо*. Грандиознейший номер, Стивен, во всей опере. Слушай.

Вновь раздается его звучный свист с мелодичными переходами, шумно вырывается воздух, могучие кулаки отбивают такт по ватным коленям.

Этот ветер мягче.

Распад в домах: у меня, у него, у всех. В Клонгоузе ты сочинял дворянским сынкам, что у тебя один дядя судья, а другой — генерал. Оставь их, Стивен. Не здесь красота. И не в стоячем болоте библиотеки Марша, где ты читал пожелтевшие пророчества аббата Иоахима. Для кого? Стоглавая чернь на паперти. Возненавидевший род свой бежал от них в чащу безумия, его грива пенилась под луной, глаза сверкали, как звезды. Гуигнгнм с конскими ноздрями. Длинные, лошадиные лица. Темпл, Бык Маллиган, Лиса Кемпбелл, Впалые Щеки. Отче аббат, неистовый настоятель, что за обида так разожгла им головы? Пафф! Descende, calve, ut ne amplius decalveris[22]. С венчиком седых волос на голове, обреченной карам, вижу его себя коловыляющим вниз на солею (descende!), сжимающим дароносицу, василискоглазым. Слезай, лысая башка! У рогов жертвенника хор эхом повторяет угрозу, гнусавую латынь попов-лицемеров, грузно шлепающих в своих сутанах, отонзуренных, умащенных и холощеных, тучных от тучной пшеницы*.

А может быть, вот в эту минуту священник где-то рядом возносит дары. Динь-динь! А через две улицы другой запирает их в дарохранительницу. Дон-дон! А третий в часовне пресвятой девы заправляется всем причастием в одиночку. Динь-динь! Вниз, вверх, вперед, назад. Досточтимый Оккам думал об этом, непобедимый доктор. Английским хмурым утром чертячья ипостась щекотала ему мозги. Когда он опускал свою гостию и становился на колени, он слышал, как второй звонок его колокольчика сливается с первым звонком в трансепте (он поднимает свой), а поднимаясь, слышал (теперь я поднимаю), как оба колокольчика (он становится на колени) звенят дифтонгом.

Кузен Стивен, вам никогда не бывать святым. Остров святых*. Ведь ты был прямо по уши в святости, а? Молился Пресвятой Деве, чтобы нос был не такой красный. Молился дьяволу на Серпентайн авеню, чтобы дородная вдова впереди еще повыше задрала бы юбки из-за луж. O si, certo![23] Продай за это душу, продай, за крашеные тряпки, подоткнутые бабенкой. И еще мне порасскажи, еще! На верхней площадке трамвая в Хоуте, один, вопил в дождь: «Голые бабы! Голые бабы!» Что скажешь про это, а?

Про что, про это? А для чего еще их выдумали?

А не набирал что ни вечер по семи книг, прочесть из каждой по две страницы? Я был молод. Раскланивался сам с собой в зеркале,

---

[20] Будь на страже! *(итал.)*.

[21] Прощальная ария *(итал.)*.

[22] Спустись, плешивец, чтобы вовсе не оплешивел* *(лат.)*.

[23] О да, бесспорно! *(итал.)*

пресерьезно выходил на аплодисменты, поразительное лицо. Ура отпетому идиоту! Урря! Никто не видел — никому не рассказывай. Собирался написать книги, озаглавив их буквами. А вы прочли его «Ф»? Конечно, но я предпочитаю «К». А как изумительна «У». О да, «У»! Припомни свои эпифании на зеленых овальных листах, глубочайше глубокие, копии разослать в случае твоей кончины во все великие библиотеки, включая Александрийскую. Кому-то предстояло их там прочесть через тысячи лет, через махаманвантару*. Как Пико делла Мирандола. Ага, совсем как кит. Читая одну за одной страницы одинокого однодума кого уж нет не одну сотню лет будто сливаешься заодно с тем одиночкой который однажды...*

Зернистый песок исчез у него из-под ног. Ботинки снова ступали по склизким скрипучим стеблям, острым раковинам, визгливой гальке, что по несметной гальке шелестит*, по дереву, источенному червями, обломкам Армады. Топкие окошки песка коварно подстерегали его подошвы, смердя сточными водами, яма с морской травой, истлевшей на холодном огне морского свечения, под кучей людского праха. Он осторожно обходил их. Пивная бутылка торчала по пояс в вязком песочном тесте. Часовой: остров смертельной жажды. Поломанные обручи у самой воды, на песке хитрая путаница почерневших сетей, подальше задние двери с каракулями мелом и выше по берегу веревка с двумя распятыми на ней рубахами. Рингсенд: вигвамы бронзовых шкиперов и рулевых. Раковины людей.

Он остановился. Прошел уже поворот к тете Саре. Так что, не иду туда? Похоже, нет. Кругом ни души. Он повернул на северо-восток и через более твердую полосу песка направился в сторону Голубятни*.

— Qui vous a mis dans cette fichue position?

— C'est le pigeon, Joseph [24].

Патрис, отпущенный на побывку, лакал теплое молоко со мной в баре Макмагона. Сын дикого гуся*, Кевина Игена Парижского*. Отец мой был птицей, он лакал lait chaud [25] розовым молодым языком, пухлая мордочка, как у кролика. Лакай, lapin[26]. Надеется выиграть в gros lots [27]. О женской природе он читал у Мишле. Но он мне должен прислать «La Vie de Jésus» [28] мсье Лео Таксиля. Одолжил какому-то другу.

— C'est tordant, vous savez. Moi, je suis socialiste. Je ne crois pas en l'existence de Dieu. Faut pas le dire à mon père.

— Il croit?

— Mon père, oui.

Schluß [29]. Лакает.

Моя шляпа в стиле Латинского Квартала. Клянусь Богом, мы же обязаны поддерживать репутацию. Желаю бордовые перчатки. А ты ведь учился, верно? Чему только, ради всех чертей? Ну как же: эфхабе. Физика-химия-биология. А-а. Съедал на грош mou en civet [30], мяса из котлов фараоновых*, втиснувшись между рыгающими извозчиками. Скажи этак непринужденно: когда я был в Париже, знаете, Буль-Миш*, я там имел привычку. Да, привычку носить с собой старые билеты, чтобы представить алиби, если обвинят в каком-нибудь

---

[24] — Кто же тебя привел в это аховое положение?
— Да голубь, Иосиф* *(франц.)*.
[25] Теплое молоко *(франц.)*.
[26] Кролик *(франц.)*.
[27] Лотерея *(франц.)*.
[28] «Жизнь Иисуса» *(франц.)*.
[29] — Знаете, прямо обхохочешься. Я сам социалист. Я в существование Бога не верю. Только отцу моему не говорите.
— А он верует?
— Отец-то, да *(франц.)*.
Закончили *(нем.)*.
[30] Похлебка из легких *(франц.)*.

убийстве. Правосудие. В ночь на семнадцатое февраля 1904 года арестованного видели двое свидетелей. Это сделал другой: другой я *. Шляпа, галстук, пальто, нос. Lui, c'est moi [31]. Похоже, что ты не скучал там.

Гордо вышагивая. А чьей походке ты пробовал подражать? Забыл: кто-то, лишенный состояния. В руках перевод от матери, восемь шиллингов, и перед самым носом швейцар захлопывает дверь почты. Зубы ломит от голода. Encore deux minutes[32]. Посмотрите на часы. Мне нужно получить. Fermé [33]. Наемный пес! Ахнуть в него из дробовика, разнести в кровавые клочья по всем стенкам человечьи клочья медные пуговицы. Клочья фррр фррр щелк — все на место. Не ушиблись? О нет, все в порядке. Рукопожатие. Вы поняли, о чем я? О, все в порядке. Пожатопожатие. О, все в полном порядке.

Ты собирался творить чудеса, да? В Европу миссионером, по стопам пламенного Колумбана. На небе Фиакр и Скот даже из кружек пролили, покатываясь с громолатиносмеху на своих табуретках: Euge! Euge! [34] Нарочно коверкая английский, сам тащил чемодан, носильщик три пенса, по скользкому причалу в Ньюхейвене. Comment? [35] Привез знатные трофеи: «Le Tutu» [36], пять истрепанных номеров «Pantalon Blanc et Culotte Rouge»[37], голубая французская телеграмма, показать как курьез:

— Нать умирает возвращайся отец.

Тетка считает ты убил свою мать. Поэтому запретила бы.

За тетку Маллигана бокал
Мы выпьем дружно до дна.
В семье приличья свято блюдет
У Ханнигана она *.

Ноги его зашагали в неожиданном гордом ритме по песчаным ложбинкам, вдоль южной стены из валунов. Он гордо глядел на них, мамонтовы черепа тесаного камня. Золотистый свет на море, на валунах, на песке. Там солнце, гибкие деревца, лимонные домики.

Париж просыпается, поеживаясь, резкий свет солнца заливает его лимонные улицы. Дух теплых хлебцев и лягушино-зеленого абсента, фимиамы парижской заутрени, ласкают воздух. Шутник встает с постели жены любовника своей жены, хлопочет хозяйка в платочке, в руке у ней блюдце с уксусной кислотой. У Родо Ивонна и Мадлен подновляют свои помятые прелести, сокрушая золотыми зубами chaussons [38], рты у них желтые от pus [39] из flan breton [40]. Мелькают мимо лица парижских Парисов, их угодников, которым на славу угодили, завитых конквистадоров.

Полуденная дрема. В пальцах, черных от типографской краски. Кевин Иген катает начиненные порохом сигареты, потягивая зеленое зелье, как Патрис белое. Кругом нас обжоры яро запихивают себе в глотки наперченные бобы. Un demi setier! [41] Струя кофейного пара над блестящим котлом. По его знаку она подходит ко мне. Il est irlandais. Hollandais? Non fromage. Deux irlandais, nous, Irlande, vous savez? Ah, oui! [42] Она решила, что вы хотите голландского сыру. На по-

---

[31] Он — это я* *(франц.)*.
[32] Еще без двух минут *(франц.)*.
[33] Закрыто *(франц.)*.
[34] Хорошо! Хорошо! *(лат.)*
[35] Как? *(франц.)*
[36] «Балетная пачка» *(франц.)*.
[37] «Белые панталоны и красные рейтузы» *(франц.)*.
[38] Слоеные пирожки *(франц.)*.
[39] Гной *(франц.)*.
[40] Бретонское пирожное *(франц.)*.
[41] Полчашечки! *(франц.)*
[42] Он ирландец. Голландский? Не сыр. Мы двое ирландцев, Ирландия, понимаете? А, да-да! *(франц.)*

слетрапезное, слышали это слово? Послетрапезное. Я знал одного малого в Барселоне, такой, со странностями, он всегда это называл послеграпезным. Ну что же, slainte![43] Над мраморными столиками смешенье хмельных дыханий, урчащих рыл. Его дыхание нависает над нашими тарелками в пятнах соуса, меж губ — зеленые следы абсента. Об Ирландии, о Далькассиях *, о надеждах и заговорах, потом об Артуре Гриффите *, АЭ, поймандре, добром пастыре душ. Чтобы и я с ним впрягся в одно ярмо, наши преступления — наше общее дело. Вы сын своего отца. Я узнаю голос. Испанские кисти на его бумазейной рубахе в кроваво-красных цветах трепещут от его тайн. Мсье Дрюмон *, знаменитый журналист, знаете, как он назвал королеву Викторию? Старая желтозубая ведьма. Vieille orgesse c dents jaunes[44]. Мод Гонн *, изумительная красавица, «La Patrie»[45], мсье Мильвуа *, Феликс Фор *, знаете, как он умер? Эти сластолюбцы. Фрекен, bonne à tout faire[46], растирает мужскую наготу в бане в Упсале. Moi faire, говорит, tous les messieurs[47]. Только не этому мсье, я говорю. Этакий распутный обычай. Баня — дело интимное. Я даже брату бы не позволил, родному брату, это сущий разврат. Зеленые глаза, вижу вас. Чую абсент. Развратные люди.

Голубым смертоносным огоньком разгорается фитиль меж ладоней. Рыхлые волокна табака занимаются; пламя и едкий дым освещают наш угол. Грубые скулы под его фуражкой ольстерского боевика. Как бежал главный центр *, подлинная история. Переоделся новобрачной, представляете, фата, флердоранж, и укатил по дороге на Малахайд. Именно так, клянусь. Об ушедших вождях*, о тех, кого предали, о безумных побегах. Переодетые, пойманные, сгинувшие — их больше нет.

Отвергнутый влюбленный. В ту пору, надо вам сказать, я был этакий деревенский здоровяк, как-нибудь покажу карточку. Клянусь, был таким. Влюбленный, ради ее любви он прокрался с полковником Ричардом Берком *, таном своего клана, к стенам Клеркенуэллской тюрьмы и сквозь туман видел, припав к земле, как пламя мщения швырнуло их вверх. Обращаются в осколки стекло и камень. В веселом городе Париже скрывается он, Иген Парижский, и никто не разыскивает его, кроме меня. Его дневные пристанища, обшарпанная печатня, его три трактирчика, да логово на Монмартре, где коротает он недолгие ночные часы, на рю де ла Гутт-д'Ор, дорогое убранство по стенам — засиженные мухами лица ушедших. Без любви, без родины, без жены. А она себе поживает тепло и мило без своего изгнанника, эта мадам на рю Жи-ле-Кер, с канарейкой и двумя франтами-постояльцами. Щечки с пушком, полосатая юбка, игривость как у молоденькой. Отвергнутый и неунывающий. Скажите Пэту, вы меня видели, хорошо? Я как-то пробовал приискать ему, бедняге, работу. Mon fils[48], солдат Франции. Я его учил петь «Ребята в Килкенни лихие удальцы» *. Знаете эту старую песню? Я научил ей Патриса. Старый Килкенни: святой Канис *, замок Стронгбоу на Норе *. А мотив такой: э-эй. За руку Нэппер Тэнди взял меня.

Э-эй, ребята
В Килкенни...

Слабая, высохшая рука на моей руке. Они забыли Кевина Игена, но не он их. Воспомню тебя, о Сионе.

Он подошел ближе к морю, сырой песок облепил подошвы. Свежий ветер приветно пахнул в лицо, буйный ветер, напоенный луча-

---

[43] Будем здоровы! *(ирл.)*
[44] Старая людоедка с желтыми зубами *(франц.)*.
[45] «Родина» *(франц.)*.
[46] Прислуга за все *(франц.)*.
[47] Моя делать... все господа *(франц.)*.
[48] Мой сын *(франц.)*.

ми, бередящий, как струны, буйные нервы. Я что, собрался идти до самого маяка? Он резко остановился, ноги тут же начали вязнуть. Назад.

Повернув, он оглядел берег к югу, ноги снова начали вязнуть, в новых лунках. Вон башня, холодная сводчатая комната ждет. Снопы света из окон безостановочно движутся, медленно и безостановочно, как вязнут ноги в песке, ползут к сумеркам по полу - циферблату. Синие сумерки, опускается ночь, синяя глубокая ночь. В сводчатой темноте они ждут, их отодвинутые стулья и мой чемодан-обелиск, вокруг стола с оставленными тарелками. Кому убирать? Ключ у него. Я не буду спать там сегодня ночью. Безмолвная башня с закрытой дверью погребла в себе их слепые тела, сахиба — охотника на пантер и его пойнтера. Зов безответен. Он вытащил увязшие ноги и двинулся назад вдоль дамбы из валунов. Все берите, владейте всем. Со мной шагает душа моя, форма форм. Так в лунные стражи * торю я тропу над черно-серебристыми скалами, слыша искусительный поток Эльсинора.

Поток догоняет меня. Отсюда мне видно. Тогда возвращайся дорогой на Пулбег, от воды подальше. Он пробрался по скользким водорослям, через осоку, и уселся на скальный стул, пристроив тросточку в расселину.

Вздувшийся труп собаки валялся на слое тины. Перед ним — лодочный планшир, потонувший в песке. Un coche ensablé [49], назвал Луи Вейо * прозу Готье *. Эти грузные дюны — язык, принесенный сюда приливом и ветром. А там каменные пирамиды мертвых строителей, садки злобных крыс. Там прятать золото. Попробуй. У тебя есть. Пески и камни. Обремененные прошлым. Игрушки сэра Лута *. Берегись, как бы не получить по уху. Я свирепый великан, тут валуны валяю и по костям гуляю. Фу-фу-фу. Чую, ирландским духом пахнет.

Точка, увеличиваясь на глазах, неслась на него по песчаному пространству: живая собака. О боже, она набросится на меня? Уважай ее свободу. Ты не будешь ничьим господином и ничьим рабом. У меня палка. Сиди спокойно. Подальше наискось бредут к берегу из пенистого прилива чьи-то фигуры, две. Две марии *. Надежно запрятали ее в тростниках *. Ку-ку. Я тебя вижу. Нет, собаку. Бежит обратно к ним. Кто?

Ладьи лохланнов* причаливали тут к берегу в поисках добычи, кровавоклювые носы их низко скользили над расплавленным оловом прибоя. Датчане-викинги, бармы томагавков блестят на груди у них, как храбрый Мэйлахи носил на шее обруч золотой *. Стая кашалотов прибилась к берегу в палящий полдень, пуская фонтаны, барахтаясь на мели. И тут, из голодного города за частоколом — орда карликов в кургузых полукафтаньях, мой народ, с мясницкими ножами, бегут, карабкаются, кромсают куски зеленого, ворванью пропахлого мяса *. Голод, чума и бойни. Их кровь в моих жилах, их похоти бурлят во мне. Я шел среди них по замерзшей Лиффи *, другой я, подменыш, среди плюющихся смолой костров. Не говорил ни с кем; и со мной никто.

Собачий лай приближался, смолкал, уносился прочь. Собака моего врага. Я стоял неподвижно, безмолвный, бледный, затравленный. Terribilia meditans [50]. Лимонный камзол, слуга фортуны *, посмеивался над моим страхом. И это тебя манит, собачий лай их аплодисментов? Самозванцы: прожить их жизни. Брат Брюса*, Томас Фицджеральд *, шелковый рыцарь, Перкин Уорбек *, лжеотпрыск Йорка, в бело-розовых шелковых штанах, однодневное диво, и Лэмберт Симнел *, со свитой карлов и маркитантов, венчаный поваренок. Все по-

---

[49] Повозка в песке *(франц.)*.
[50] Ужасное помышляя *(лат.)*.

томки королей. Рай для самозванцев и тогда и теперь. Он спасал утопающих, а ты боишься визга дворняги. Но придворные, что насмехались над Гвидо* в Ор-сан-Микеле, были у себя в доме. В доме... На что нам твоя средневековая заумь! Сделал бы ты как он? Рядом была бы лодка, спасательный буй. Natürlich [51], для тебя специально. Сделал бы или нет? Человек, утонувший девять дней назад возле Мейденрок. Сейчас ждут всплытия. Скажи-ка начистоту. Я хотел бы. Я попытался бы. Я слабовато плаваю. Вода холодная, мягкая. Когда я окунул голову в таз, в Клонгоузе. Ничего не вижу! Кто там за мной? Скорей обратно, скорей! Видишь, как быстро прилив прибывает со всех сторон, как быстро заполняет все ложбинки песка, цвета шелухи от бобов какао? Если бы под ногами была земля. И все равно я хочу, чтобы его жизнь была его, а моя — моей. Утопленник. Его человечьи глаза кричат мне из ужаса его смерти. Я... Вместе с ним на дно... Я не мог ее спасти. Вода — горькая смерть — сгинул.

Женщина и мужчина. Вижу ее юбчонки. Похоже, подоткнуты.

Их пес суетился возле осыпающейся грядки песка, рыскал вокруг, обнюхивая со всех сторон. Ищет что-то, потерянное в прошлой жизни. Внезапно он помчался, как заяц, уши назад, погнавшись за тенью низко летящей чайки. Резкий свист мужчины ударил в его вислые уши. Он повернул и помчался назад, приблизился, мелькающие лапы перешли на рысцу. В червленом поле олень бегущий, цвета природного, без рогов. У кружевной кромки прилива остановился, упершись передними копытами, насторожив уши к морю. Задравши морду, облаял шумные волны, стада моржей. Они подползали к его ногам, закручиваясь кольцами, вспенивая, каждая девятая, белый гребень, разбиваясь, расплескиваясь, издалека, из дальнего далека, волны и волны.

Сборщики моллюсков. Они зашли в воду, нагнувшись, окунули свои мешки, вытащили, вышли обратно. Пес с визгом подбежал к ним, вскинулся на них лапами, потом опустил лапы на песок, потом снова вскинул их на хозяев с немой медвежеватою лаской. Оставленный без взаимности, он потрусил следом за ними на сухое, и тряпка волчьего языка краснопыхтела из пасти. Пятнистое его тело трусцой выдвинулось вперед, потом вдруг припустило телячьим галопом. Собачий труп лежал у него на пути. Он остановился, обнюхал, обошел кругом, братец, обнюхал тщательней, сделал еще один обход, быстро, по-собачьи, обнюхивая всю грязную шкуру дохлого пса. Песий череп, песий нюх, глаза в землю, движется к единой великой цели. Эх, пес-бедолага! Здесь лежит тело пса-бедолаги.

— Падаль! Живо оттуда, псина!

Присмирев от окрика, он вернулся, и несильный пинок босой хозяйской ноги швырнул его, сжавшегося на лету, за грядку песка. Подался обратно, описав вороватую кривую. Не видит меня. У края дамбы задержался, посуетился, обнюхал валун и помочился на него, задрав заднюю ногу. Потрусил вперед, задрал снова заднюю ногу и быстро, коротко помочился на необнюханный валун. Простые радости бедняков. Потом задние лапы стали раскидывать песок; потом передние принялись грести, рыть. Что-то он тут хоронит, бабку свою. Он вгрызался в песок, разгребая, раскидывая; остановился, прислушался, снова принялся рыть яростными когтями, но вскоре перестал, леопард, пантера, зачатый в прелюбодействе, пожирающий мертвых.

После того как он меня разбудил этой ночью, тот же самый сон или? Постой. Открытая дверь. Квартал проституток. Припомни. Гарун-аль-Рашид. Ага, постепенькаю. Тот человек вел меня и говорил что-то. Я не боялся. У него была дыня, он ее поднес мне к лицу. Улыбался; плод пахнул сливками. Таков обычай, сказал он. Входи. Красный ковер расстелен. Увидишь кто.

---

[51] **Конечно *(нем.)*.**

Взвалив на плечи мешки, тащились они, краснокожие египтяне. Цыгане. Его посинелые ноги в подвернутых штанах шлепали по сырому липучему песку, темнокирпичный шарф охлестнул небритую шею. Женской походкой она семенит за ним: разбойник и его девка. Добыча их болтается у нее за спиной. Босые ноги ее облеплены песком, осколками ракушек, волосы распушились вокруг обветренного лица. За своим господином его сподручница — в град столичный. Когда ночь скроет изъяны тела, она зазывает, закутанная в темную шаль, из подворотни, где гадят псы. Дружок ее угощает двух королевских стрелков у О'Локлина на Блэкпиттс. А подружка, это по их блатной музыке. маруха, потому что «Эх, фартовая маруха». Белизна дьяволицы под ее вонючими тряпками. В ту ночь на Фамболли-лейн: смердящая сыромятня.

Эх, фартовая маруха,
На молодчика присуха!
Маркоташки-голубки,
Выйди в ночку под дубки.

Безотрадное наслаждение*, так это называет пузатый Аквинат, frate porcospino[52]. Адам непадший* покрывал и не ведал похоти. Пускай распевает: *Маркоташки-голубки.* Язык ничуть не хуже, чем у него. Речь монахов, четки бормочут у поясов; блатная речь, литое золото брякает в карманах.

Проходят мимо.

Покосились на мою Гамлетову шляпу. Если бы я тут вдруг оказался голым? Я не гол. Через пески всего мира*, на запад, к закатным землям их путь, за ними пламенный меч солнца. Она влачит, шлеппит, тащит, транспортирует, трашинит бремя свое. Прилив по пятам за ней, влекомый луной на запад. Приливы с мириадами островов у нее внутри, кровь, не моя, *ойнопа понтон,* винноцветное море. Се раба лунная*. Во сне влажный знак будит ее в урочный час, восстать побуждая с ложа. Брачное ложе, детское ложе, ложе смерти в призрачном свете свечей. Omnis caro ad te veniet[53]. Грядет он, бледнолицый вампир*, сверкают глаза сквозь бурю, паруса, крылья нетопыря, кровавят море, уста к ее лобзающим устам.

Так. Пришпилим-ка этого молодца, а? Где грифель мой. Уста ее в лобзанье. Нет. Надо, чтоб были двое. И склей их вместе. Уста к ее лобзающим устам.

Его губы ловили и лобзали бесплотные губы воздуха: уста к тому, чем породила. Иила, лоно всех могила. Уста округлились, но выпускали одно дыхание, бессловесно: ооииааа: рев рушащихся водопадом планет, шарообразных, раскаленных, ревущих: прочь-ппроочь-ппроочь-ппроочь. Бумаги мне. Деньги, разрази их. Письмо старины Дизи. Вот. Благодарю за предоставленную возможность оторвать свободный клочок. Повернувшись к солнцу спиной и низко склонившись к каменному столу, он принялся строчить слова. Второй раз забываю взять чистые бланки в библиотеке.

Тень его лежала на скале, над которою он склонился, оканчиваясь. А почему не бесконечна, не до самой дальней звезды? Они темны там, за пределами света, тьма в свете светит, дельта Кассиопеи, миры. Мое «я» сидит здесь с ясеневым жезлом жреца, в заемных сандалиях, днем возле свинцово-серого моря, незримо, в лиловой ночи движется под эгидою загадочных звезд. Я отбрасываю от себя эту оконеченную тень, неизбежные человечьи очертания, призываю ее обратно. Будь бесконечна, была бы она моей, формой моей формы? Кто здесь видит меня? Кто прочтет где-нибудь и когда-нибудь слова, что я написал? Значки по белому полю. Кто-нибудь и кому-нибудь,

---

[52] Брат-дикобраз *(итал.)**.
[53] ...к Тебе прибегает всякая плоть *(лат.)*. Псалтирь, 63, 3.

твоим самым сладкозвучным голосом. Добрый епископ Клойнский извлек храмовую завесу из своей пасторской шляпы: завесу пространства с цветными эмблемами *, вышитыми по ее полю. Постой, подумай. Цветные на плоском: да, именно. Я вижу плоское, а мыслю расстояние, вблизи, вдали, а вижу плоское, на восток, сзади. Ага, понятно! Внезапно падает и застывает в стереоскопе. Щелк — и весь фокус. Вам кажутся темными мои слова. Тьма в наших душах, этого вам не кажется? Сладкозвучней. Наши души, стыдом язвимые за наши грехи, еще теснее льнут к нам, как женщина, льнущая к возлюбленному, теснее, еще теснее.

Она доверяется мне, у нее нежная рука, глаза с длинными ресницами. Куда только, шут меня возьми, я ее тащу за завесу? В неизбежную модальность неизбежной зримости. Она, она, она. Что она? Дева у витрины Ходжеса Фиггиса * в понедельник, искала одну из тех алфавитных книг, что ты собирался написать. Ты в нее так и впился взглядом. Запястье продето в плетеную петлю зонтика. Живет в Лисон-парке*, на чувствах и розовых лепестках, литературная дама. Рассказывай, Стиви: просто уличная. Клянусь, она носит эти уродские пояса с резинками и желтые чулки, штопанные толстой шерстью. Поговори про яблочные пирожки, piuttosto[54]. И где твой разум?

Коснись меня. Мягкий взгляд. Мягкая мягкая мягкая рука. Я одинок здесь. О, коснись меня скорее, сейчас. Что это за слово, которое знают все? Я здесь один, я тих. Я печален. Коснись же, коснись меня.

Он растянулся навзничь на острых скалах, засунув в карман карандаш и исписанный клочок, надвинув на глаза шляпу. Это в точности жест Кевина Игена, когда он устраивается вздремнуть, посубботствовать. Et vidit Deus. Et erant valde bona[55]. Алло! Бонжур, добро пожаловать, рады вам, как майским цветам *. Под ее укрытием, сквозь павлиньих подрагиванье ресниц, он глядел на южнеющее солнце. Тут как в раскаленной печи. Час Пана *, полуденный отдых фавна. Средь соконалитых змеерастений, млекоточивых плодов, где широко раскинулись листья на бронзовоцветных водах. Боль далеко.

Не прячь глаза и не скорби.

Взор его поскорбел над тупоносыми башмаками, быка обносками, nebeneinander. Он сосчитал вмятины на покоробленной коже, в которой удобно гнездилась прежде нога другого. Нога, что мерно пристукивала по земле, неприятная мне нога. Ты был, однако, в восторге, когда башмачок Эстер Освальт подошел тебе, знакомая девица в Париже. Tiens, quel petit pied![56] Верный друг, братская душа: любовь Уайльда, та, что назвать себя не смеет*. Его рука, рука Крэнли. Теперь он бросит меня. А чья вина? Каков я есть. Каков я есть. Все или ничего.

Длинными упругими петлями струился поток из озера Кок, зелено-золотистым заполняя песчаные лагуны, набирая силу, струясь. Этак моя тросточка уплывет. Подожду. Нет, минует, ударяясь в низкие скалы, завиваясь в воронки, минуя. Давай лучше побыстрей с этим делом. Слушай: четырехсловная речь волн — сиссс суссс пыссс фсс. Ярое дыхание вод средь морских змеев, вздыбленных коней, скал. Они плещутся в чашах скал: плеск — плям — плен: пленены в бочках. И, иссякая, речь их стихает. Они льются, журча, широко разливаясь, неся гроздья пены, распускающиеся цветы.

Он видел, как под закипающим приливом извиваются водоросли, истомленно поднимая и колебля слабо противящиеся руки, задирая подолы, в шепчущих струях колебля и простирая вверх робкие серебристые ростки. День за днем, ночь за ночью, захлестнуты — вздыб-

---

[54] Скорее *(итал.)*.
[55] И увидел Бог... и вот, хорошо весьма *(лат.)*. Бытие, 1, 31.
[56] Смотри-ка, какая маленькая нога! *(франц.)*

маются — опадают вновь. Боже, они устали; и под шепот струй к ним, вздыхают. Святому Амвросию * внятны были эти вздохи волн и ветвей, ждущих, жаждущих исполнения своих сроков: diebus ac noctibus iniurias patiens ingemiscit [57]. Без цели собраны, без пользы отпущены; склонятся вперед — вернутся назад: ткацкий станок луны. Как они, истомленная, под взглядами любовников, сластолюбивых мужчин, нагая женщина, сияющая в своих чертогах, влачит она бремя вод.

Там будет саженей пять. Отец твой спит на дне морском, над ним саженей пять *. В час, он сказал. Найден утопленник. Полный прилив на Дублинской отмели. Гонит перед собой наносы гальки, случайные ракушки, широкие стаи рыбы. Труп, выбеленный солью, всплывает из отката, покачивается к берегу, едет-едет сам-сам, самец. Вон он. Цепляй живо. Тащи. Хотя над ним волны сомкнулись очертанья. Готово, наш. Полегче теперь.

Мешок трупных газов, сочащийся зловонной жижей. Стайка мальков, отъевшихся на рыхлом лакомстве, стрелой вылетает через щели его застегнутой ширинки. Бог стал человеком человек рыбой рыба гагарой гагара периной. Дыханьями мертвых дышу я живой, ступаю по праху мертвых, пожираю мочой пропитанную требуху от всех мертвых. Мешком переваленный через борт, он испускает смрад своей зеленой могилы, лепрозная дыра носа храпит на солнце.

Морской сюрприз, соль высинила карие глаза. Морская смерть, мягчайшая из всех, ведомых человеку*. Древний отец Океан. Парижский приз * — остерегайтесь подделки. Рекомендуем проверить. Мы получили огромное удовольствие.

Ступай. Пить хочется *. Собираются облака. А тучи где-нибудь есть, нет? Гроза. Сверкая, он низвергается, гордая молния разума *, Lucifer, dico, qui nescit occasum [58]. Нет. В шляпе, с посохом бреду, башмаки стучат *. Его-мои башмаки. Куда? В закатные земли, в страну вечернюю. Вечер обретет себя.

Он взял тросточку за эфес, сделал ею легкий выпад, еще в нерешительности. Да. Вечер обретет себя во мне — без меня. Все дни приходят к концу. Кстати, на той неделе, когда там во вторник самый длинный день. Несет нам радость новый год, о мать*, тарам-пам-пам. Благородному поэту Лаун-Теннисону. Già [59]. Старой желтозубой ведьме. И мсье Дрюмону, благородному журналисту. Già. А зубы у меня совсем плохие. Почему, интересно? Пощупай. Этот тоже шатается. Скорлупки. Надо бы, наверно, к зубному на эти деньги, а? И тот. И там тоже. Беззубый Клинк, сверхчеловек. Почему это, интересно, или, может, тут что-то кроется?

Платок мой. Он забрал. Помню. А я назад не забрал?

Рука тщетно пошарила в карманах. Нет, не забрал. Лучше другой купить.

Он аккуратно положил сухую козявку, которую уколупнул в носу, на выступ скалы. Желающие пусть смотрят.

Позади. Кажется, кто-то есть.

Он обернулся через плечо, взирая назад. Пронося в воздухе высокие перекладины трех мачт, с парусами, убранными по трем крестам салингов, домой, против течения, безмолвно скользя, безмолвный корабль.

(Продолжение следует)

---

[57] Денно и нощно, претерпевая несправедливости, стенает *(лат.)*.
[58] Люцифер, говорю я, который не знает падения *(лат.)*.
[59] Уже *(итал.)*.

Комментарии

По первоначальному замыслу «Улисс» должен был стать небольшим рассказом для сборника «Дублинцы» и называться «День мистера Блума в Дублине». Но постепенно рассказ о Блуме в сознании писателя соединился с повествованием о Стивене Дедале, главном персонаже «Портрета художника». Задуманный как небольшое произведение, «Улисс» по мере работы над ним разросся до огромной книги в 700 страниц.

Непосредственно над текстом «Улисса» Джойс работал с 1914 по 1922 г. попеременно в главных европейских городах своего добровольного изгнания (в 1904 г. Джойс покинул Ирландию) — Цюрихе, Триесте, Париже. С марта 1918 г. по август 1920 г. роман печатался в нью-йоркском журнале «Литтл ревью», а в виде отдельной книги вышел ограниченным тиражом в 1922 г. в Париже в издательстве Сильвии Бич «Шекспир и компания» и сразу же породил горячие споры. О том, сколь бурно принимали текст, читатель узнал из предыдущего номера журнала, где была напечатана статья Т. С. Элиота «Уллис», порядок и миф».

Джойс мечтал об идеальном читателе, который посвятит всю свою жизнь чтению, изучению, расшифровке «Улисса». Не без иронии и даже некоторого злорадства он говорил, что насытил свой текст таким количеством загадок, что ученые, комментаторы, критики, литературоведы будут до скончания своих дней биться над их разгадкой.

В самом деле, существующие комментарии к «Улиссу» по объему немногим меньше самого романа. С другой стороны, каким бы исчерпывающим ни казался тот или иной комментарий, идеальным он никогда не станет. Дело здесь в природе самого романа. Какие-то места все равно останутся «темными», и, напротив, одна расшифрованная аллюзия нередко порождает другую, а весь процесс начинает напоминать цепную реакцию.

Есть, правда, и еще один путь — читать роман вообще без каких-либо объяснений и толкований. Надо сказать, что на Западе существует и такая практика. Впрочем, как показывают свидетельства даже англоязычных читателей, многое в романе при такой подаче текста остается непонятным, загадочным.

Задача комментария, очевидно, в том, чтобы помочь читателю не изучить роман, но прочитать его, встретиться с автором и совершить свою «одиссею» по «Улиссу» Джойса. Поэтому комментатор сразу оговаривает, что не стремится объяснять все, что требует объяснений, но постарается предоставить в распоряжение читающего свод необходимых сведений, без наличия которых какой-нибудь из ярусов этого многопланового текста вообще не будет «работать».

Есть и еще один аспект, который следует учитывать при комментировании — личность самого Джойса. С одной стороны, Джойс, следуя заветам высокопочитаемого им Флобера, постарался максимально устраниться из своего произведения, заняв объективную, как бы безоценочную позицию. Но с другой стороны, он насытил роман многочисленными фактами из собственной жизни. Конечно, «Улисс» не автобиографический роман на манер «Портрета художника в юности», хотя связь между этими произведениями очевидна и постоянно должна учитываться при чтении «Улисса». Напротив, в «Улиссе» весьма существенна разница между Стивеном Дедалом и Джойсом.

Большая часть комментария традиционно падает на долю джойсовской географии. «Я хочу,— писал Джойс,— столь подробно и объемно представить Дублин на страницах моего романа, чтобы, если город вдруг исчезнет с лица земли, его можно было бы восстановить по моей книге». Действительно, «Улисс» — настоящая энциклопедия Дублина и дублинской жизни начала века. Улицы, парки, театры, библиотеки, пабы, редакции газет, больницы — все это в избытке присутствует на страницах книги. Конечно, Джойс в первую очередь занят не физической реконструкцией города, но духовной и даже философской. Поэтому он сознательно выбирает те географические названия, которые могут получить дополнительное толкование. Но все равно читающему для ориентации в джойсовском Дублине полезно представлять себе географию города. Однако комментировать все географические реалии невозможно, да и не нужно. Гораздо полезнее в данном случае будет карта той части Дублина или его пригородов, где происходит действие того или иного эпизода — по ней можно проследить пути героев, в первую очередь Стивена и Блума. Полезными могут стать и фотографии мест действия, прототипов основных героев.

Но как бы ни была важна физическая карта города, еще важнее «карта» человеческой жизни, чьи символы — рождение, встречи, разлуки, драмы, трагедии — весьма существенны для Джойса и придают книге философский характер.

Путеводителем по этой универсальной карте отчасти может стать схема, которую Джойс продиктовал своему первому комментатору С. Гилберту. По этой схеме каждый эпизод имеет аналог в «Одиссее»: в рукописи эпизоды носили названия по именам главных героев поэмы и местам действия, и мы их воспроизводим. Большинство эпизодов имеет аналогию с каким-нибудь органом человеческого тела (а все вместе они символизируют тело человека). У всех эпизодов есть и некий сквозной семантический стержень-лейтмотив. Джойс говорил по этому поводу, что каждому эпизоду соответствует какое-нибудь искусство, причем понятие «искусство» он употреблял расширительно, в средневековом значении, иными словами, включал в искусство и науки. «Искусства» эпизодов, соединившись в симфонию книги, должны символически представить, по замыслу автора, духовно-интеллектуальную жизнь человека.

Каждому эпизоду дан свой цвет-лейтмотив. Формально он корреспондирует символическим цветам католической мессы, но, по сути своей, это спектр красок, цветов жизни.

У каждого эпизода есть и свое время, и свое место действия. Сложившись вместе, «часы» «Улисса» представят День жизни человека, а отдельные места города не только сам Дублин, но и Город вообще.

Все эпизоды имеют свою особую повествовательную технику — иными словами эта гигантская книга-символ должна объять историю повествовательного искусства.

Как можно увидеть из сказанного, комментарий к «Улиссу» поневоле становится не только фактическим, но опорным и толковательным. Комментатор полностью отдает себе отчет в том, что суждения по целому ряду мест в «Улиссе» могут быть и другими.

Оливер Гогарти (1878—1957)

I. Телемак

Роман состоит из трех частей. Первая часть — «Телемахида» (три начальных эпизода книги) — прелюдия к рассказу о дне мистера Блума. Ее надо воспринимать как мост между «Портретом» и «Улиссом». Из «Портрета» мы узнаем, что Стивен получил образование в иезуитском колледже, собирался принять сан. Однако, пережив кризис веры, он принимает решение покинуть Ирландию, уехать во Францию, где собирается овладеть писательским мастерством, выковать в кузнице своей души «несотворенное сознание моего народа». Последняя фраза романа — дневниковая запись Стивена, где он обращается за помощью к великому искуснику Дедалу, которого считает своим духовным отцом: «Древний отче, древний мастер, будь мне опорой ныне и присно и во веки веков».

Между концом «Портрета» и началом «Улисса» проходит, по-видимому, около года. Стивен снова в Дублине, куда его вызвала телеграмма о тяжелом состоянии умирающей матери. Смерть матери привела семью Дедалов на грань морального и материального краха, отношения Стивена с отцом, и без того сложные, теперь зашли в тупик. Внутренне Стивен считает, что у него нет дома и нет отца. Он — наследник, Телемак, отправляющийся на поиски отца и дома. Бык Маллиган — Антиной, самый дерзкий из многочисленных женихов Пенелопы: пользуясь отсутствием Одиссея, он пытается стать хозяином в его доме. Но как Телемак получает наставление от Афины, явившейся ему в образе Ментора, так и Стивен вспоминает о своем намерении, увидев старую молочницу, символ Ирландии.

Место действия—башня Мартелло. Как и Стивен Дедал, Джойс жил в этой башне со своими друзьями — Сэмюэлом Френчем и студентом-медиком, дублинским острословом, будущим поэтом Оливером Сент-Джоном Гогарти (который и послужил прототипом для Быка Маллигана). Башни — типичный атрибут ирландского ландшафта. И все же не только биографические и географические мотивы толкали Джойса на выбор такого места действия. Башня Мартелло — символически дельфийский храм, средоточие мира, омфал, место нахождения оракула. Однако у Джойса оракул не истинный — это насмешник и богохульник Бык Маллиган. Истинным оракулом может стать Стивен, но для этого ему нужно совершить свою «духовную одиссею».

Первые три эпизода не имеют, по замыслу Джойса, аналогии ни с каким органом, поскольку Стивен — это стихия духа, интеллекта. Его речь, внешняя и внутренняя, переполнена цитатами.

Искусство эпизода — теология. Здесь в прямой и скрытой форме содержатся многочисленные пародии не только на обряды католической мессы (например, чашка для бритья соотносится с чашей, потиром, в котором во время службы происходит таинство пресуществления; лестница в башне пародийно сопоставляется со ступенями алтаря, белые шарики — иронический намек

Башня Мартелло

на таинство превращения вина в кровь Христову). Многие слова Быка Маллигана отсылают читателя к ритуалам «черной мессы» (например, «ибо сие... есть истинная христина...» — то есть женское тело, которое во время «черной мессы» становится алтарем). И наконец, все описанное в первом эпизоде должно иметь символическое соответствие акту творения земли и всего сущего Богом.

В «потоке сознания» Стивена, в словах Маллигана постоянно возникают различные святые и деятели церкви.

Символические цвета эпизода — белый, желтый, золотой. Это не только цвета облачений священника в этот день недели, но и цвет морской пены, солнца, цвета первых мгновений творения мира.

Комментария требуют и имена эпизода. Имя главного героя, Стивена Дедала, заставляет вспомнить и первого христианского мученика Стефана (I в.), и зодчего, построившего лабиринт для царя Крита Миноса.

Первая буква первой части романа — «Телемахиды» — «S» (Stately), второй — «Странствий Одиссея» — «M» (Mr Leopold Bloom), третьей — «Возвращения домой» — «P» (Preparatory). Эти буквы, с одной стороны, символизируют главных героев — рефлектирующего, сосредоточенного на себе Стивена, сосредоточенного на Молли Блума и Молли, сосредоточенной на Блуме (П — Польди, уменьшительное от Леопольд). С другой стороны, S, M, P — это традиционные обозначения трех составных частей силлогизма: S — логическое подлежащее, M — средний термин, P — логическое сказуемое. В конце семнадцатого эпизода в первом издании «Улисса» стояла большая жирная точка, традиционное обозначение для Q. E. D.— Quod erat demonstrandum — «что и требовалось доказать» (лат.) Время действия — 8 часов утра.

Как верно названо море у Элджи... — Маллиган вспоминает образ из стихотворения английского поэта, одной из центральных фигур европейского авангарда конца века Элджернона Чарльза Суинберна (1837—1909) «Триумф времени» (1866).

Винноцветное — эпитет, часто употребляемый по отношению к морю в «Одиссее».

Море! Море! — торжествующий возглас десяти тысяч греческих наемников, спасшихся от персов — см. Ксенофонт (ок. 434 — 355 до н. э.), «Анабасис», IV, VII, 24.

...гипербореец — по греческой легенде гиперборейцы — народ, живший в стране вечной весны и молодости. Однако Джойс употребляет это понятие в ином смысле — так, как оно интерпретируется Ницше в его труде «Воля к власти». В I части («Антихрист») гипербореец — это «сверхчеловек», тот, кто стоит над толпой, не подвластный традиционным этическим нормам.

...пес-бедолага — Маллиган не случайно называет Стивена псом: в кельтской мифологии пес — «хранитель тайны».

Если они серые, я их не могу носить — Стивен носит траур по матери, которую похоронил 26 июня 1903 г.

Коннолли Норман (1853 — 1908) — известный ирландский врач-психиатр, разработавший новые, более прогрессивные формы лечения душевных заболеваний.

Что видит взор идущих мимо — строка из стихотворения Роберта Бернса (1759 — 1796) «Насекомому, которое поэт увидел на шляпе нарядной дамы во время церковной службы» (1796), перев. С. Я. Маршака.

И зовут-то Урсула — Маллиган употребляет имя Урсула иронически. Урсула — христианская святая-девственница.

Ярость Калибана... — несколько измененная цитата из предисловия Оскара Уайльда (1854—1900) к роману «Портрет Дориана Грея» (1891).

...символ ирландского искусства. Треснувшее зеркало служанки — парафраза эссе Уайльда «Закат лжи» (1889).

Эллинизировали бы его — понятие «эллинизация» было введено в обиход известным английским писателем, поэтом, эссеистом, теоретиком искусства Мэтью Арнольдом (1822 — 1888), к фигуре которого часто обращается в «Улиссе» Джойс. К началу XX в. «эллинизация» в этике и эстетике декадентов стала означать чувственное, гедонистическое отношение к жизни. Сам же Мэтью Арнольд превратился для декадентов в символ викторианского филистера.

Крэнли — друг Стивена в «Портрете». К тому же эту фамилию носил монах кармелитского ордена лорд-канцлер Ирландии Томас Крэнли (1337 — 1417). Таким образом, в однофамильце Крэнли символически соединяются Церковь и Государство, от которых так мучительно пытается освободиться Стивен.

Бледнолицые — на ирландском просторечии англичане (по контрасту с румяными, краснолицыми ирландцами). То, что вспоминают Стивен и Маллиган, происходило, однако, не в Ирландии, а в Англии, в Оксфорде.

...бережно весть эту ей передай — строка из популярной американской песенки «Весть эту маме моей передай» (1897) Чарльза Хэрриса, в которой описывается смерть сына на поле брани.

...из Магдалины — имеется в виду колледж св. Магдалины в Оксфорде.

Нам самим — девиз ирландских патриотов-шинфейнеров, осознавших себя как движение в 90-х гг. Свою задачу они видели в возрождении ирландского языка и культуры. В 1905 г. движение возглавил Артур Гриффит (1872 — 1922), и оно приняло политический характер. Целью стало достижение политической независимости страны.

Я запоминаю только идеи и ощущения — Маллиган воспроизводит одно из положений английского философа Дэвида Хартли (1705 — 1769), разработавшего механическую концепцию человеческой психики.

Сэр Питер Тизл — пожилой добросердечный и сентиментальный джентльмен, персонаж «Школы злословия» (1777) Ричарда Бринсли Шеридана (1751 — 1816).

Бросай-ка... Лойолу... — св. Игнатий Лойола (1491 — 1556) — основатель «общества Иисуса» — ордена иезуитов.

Не прячь глаза и не скорби... — строки из стихотворения У. Б. Йейтса «Кто вслед за Фергусом» (перев. Г. Кружкова).

...сосуд горьких вод — ср. Числа, 5, 18, где говорится об испытании священником женщины, подозреваемой в прелюбодеянии.

...в памяти природы — английский теософ Альфред Перси Синнет (1840 — 1921) называл память природы универсальной, считая, что она хранит все мысли, образы, чувства.

Стакан воды из крана на кухне... — перед причастием не разрешается принятие пищи.

Веселье будет допоздна... — уличная баллада, популярная в 1902 г. в Ирландии во время коронации Эдуарда VII.

Клонгоуз — иезуитская школа, где учился Стивен.

Прислужник слуги — Стивен вспоминает себя, когда он прислуживал во время мессы в Клонгоузе священнику, «Божьему слуге».

Матушка Гроган — персонаж песенки неизвестного ирландского автора «Нед Гроган».

Это же фольклор... десять страниц комментариев насчет фольклора и рыбообразных божеств Дандрама... — ирония в адрес Ирландского литературного возрождения. Рыбообразные божества, видимо, иронически должны ассоциироваться с форморианами, мрачными морскими гигантами, легендарными великанами, населявшими древнюю Ирландию. Дандрам — типичный пример обыгрывания многозначности географических названий у Джойса. В Дандраме, в шестидесяти пяти милях от Дублина, находится знаменитая Тропа Гигантов. Есть и еще один Дандрам, где сестра У. Б. Йейтса Элизабет организовала в 1903 г. издательство Дан Эмер Пресс. В издательстве должны были печататься ограниченным тиражом на сделанной вручную бумаге произведения Йейтса, а также книги других ирландских авторов. Вторая сестра поэта, Лили, занималась здесь художественной вышивкой. С другой стороны, *сестры* — это и ведьмы из «Макбета» Шекспира (ср. акт I, сц. 3), а *год великого урагана* — драматическое событие в ирландской истории. В 1839 г. небывалый по силе январский шторм уничтожил сотни домов, после чего вошло в привычку говорить «это было до великого урагана» или же «это случилось после великого урагана».

«Мабиногион» — название сборника прозаических валлийских преданий, опубликованного в 1888 г. *Упанишады* — индуистские труды геологического и философского характера о природе мира и человека. Упоминание этих книг — намек на теософские увлечения Йейтса, Джорджа Уильяма Рассела, писавшего под псевдонимом АЭ, и других ирландских поэтов и писателей начала века.

На старуху Мэри Энн... — анонимная ирландская песенка двусмысленного содержания.

Сборщик крайней плоти — то есть Бог.

А вы не с запада... — к 1900 г. ирландский язык был практически забыт в стране. На нем продолжали говорить только на западе Ирландии.

Радость моя, для тебя... — строки из стихотворения Суинберна «Жертва» (1871).

Ирландия ожидает, что в этот день каждый выполнит свой долг — несколько измененные слова лорда Нельсона при Трафальгаре (1805): «Англия ожидает...»

Жагала сраму — в сознании филолога Стивена всплывают слова Agenbite of inwit, которые на среднеанглийском означают «угрызения совести». Слова Agenbite of inwit совершенно непонятны современному английскому читателю. К тому же это название средневекового труда (1340), в котором описываются различные пороки и добродетели.

А пятно все на месте — см. Шекспир, «Макбет», акт V, сц. 1.

Желаю бордовые перчатки и зеленые башмаки — намек на моду, бытовавшую среди декадентов конца XIX в.

Я противоречу себе?.. — см. Уолт Уитмен (1819 — 1892), «Песня о себе» (1855, 1891 — 1892), перев. К. И. Чуковского.

И пойдя вон, плюхнулся с горки — ироническая аллюзия на евангельский текст (ср. Евангелие от Матфея, 26, 75: «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: „прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня". И выйдя вон, плакал горько»).

Иафет в поисках отца — название романа популярного английского писателя и морского офицера капитана Фредерика Мэрриета (1792 — 1848), рассказывающего о приключениях найденыша, ищущего своего отца. С другой стороны, Иафет — младший сын Ноя и легендарный прародитель многих народов, в том числе и греков.

Выступ утеса грозного, нависшего над морем... — см. Шекспир, «Гамлет», акт I, сц. 4 (перев. Б. Пастернака).

Я юноша странный... — вариации на тему баллады Оливера Гогарти «Песнь веселого Иисуса, правда, несколько саркастическая», официально запрещенная в Дублине в 1904 г.

...хлеб его, что горестен устам — ср. «Но горестен устам чужой ломоть» (Данте, «Рай», песнь XVII, перев. М. Лозинского).

Месса папы Марцеллия — произведение итальянского композитора Джованни да Палестрины (1525 — 1594), написанное в связи со смертью папы Марцеллия, прожившего только 22 дня после своей интронизации.

Фотий, Арий, Валентин, Савеллий — Стивен вспоминает видных церковных мыслителей, предложивших свои в некоторых случаях «еретические» толкования Святой Троицы, в частности, недогматическое осмысление идеи Сына и Отца.

Неизбежная пустота ожидает их, всех, что ткут ветер... — ироническая парафраза библейского текста. Ср. Книга Исаии, 19, 9: «И будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен».

У меня нет двенадцатого ребра — то есть Маллиган «сверхчеловек». Двенадцатого ребра не было у первого человека Адама.

Крадущий у бедного дает взаймы Господу. Так говорил Заратустра. Ср. Книга Притчей Соломоновых, 19, 17: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу...» Заратустра — древнеиранский религиоз-

ный реформатор (предп. VI в. до н. э.), герой произведения Ницше «Так говорил Заратустра» (1883).

Бычьих рогов, конских копыт и улыбки сакса — ср. с ирландской пословицей «Бойся бычьих рогов, конских копыт и улыбки англичанина».

II. Нестор

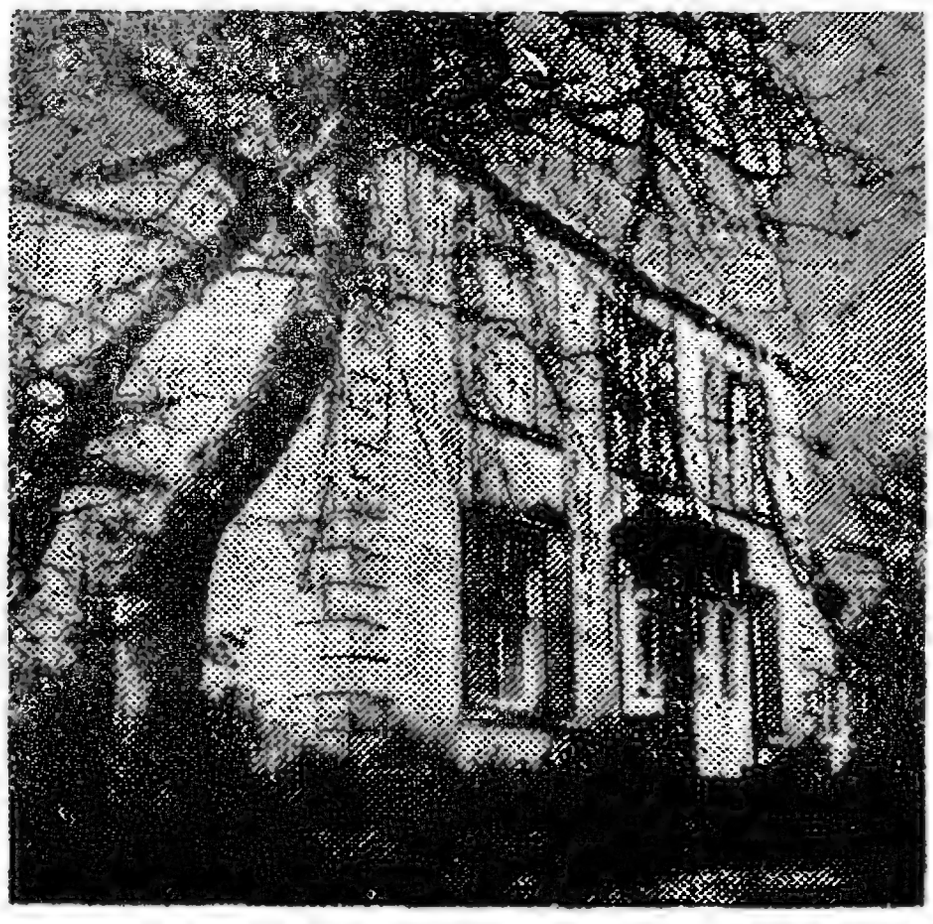
Первая остановка Телемака в его странствиях — у мудрого старца Нестора, которому у Джойса иронически соответствует мистер Дизи, директор школы в Долки, где учительствует Стивен. Мистер Дизи — воплощение обывательской мудрости и рассудительности. Как Нестор — «укротитель коней», так и у мистера Дизи увлечение — лошади, скачки, что видно из убранства его кабинета. Отсюда символ этого эпизода — лошади, благородные гуингнмы, которые должны служить йеху.

Поскольку искусство эпизода — история, весь текст насыщен многочисленными историческими аллюзиями. Не случайно обращение Стивена к английскому поэту У. Блейку (1757 — 1827), к его мистическому толкованию истории, ее природы и ее истины. Эпизод открывается уроком истории в школе. Исторические реминисценции занимают важное место в рассуждениях мистера Дизи, который со времен О'Коннелла «видел три поколения» (ср. о Несторе: «Был, говорят, он царем, повелителем трех поколений»). Симпатии мистера Дизи на стороне англичан. На это отчасти указывает и его имя, фонетически восходящее к «Дизи акту» (1860), земельному законодательству, ограничившему права ирландских землевладельцев и обеспечивавшему, напротив, права англичан.

Время действия — 10 часов утра. Цвет эпизода — коричневый; как и зеленый, это один из национальных цветов Ирландии.

Басни дочерей памяти — см. «Видение Страшного суда» (1793 — 1820) Уильяма Блейка.

Школа в дублинском пригороде Долки, где учительствовал Джойс и его герой Стивен Дедал.



...шум Блейковых крыл избытка — контаминация двух цитат из «Прорицаний Ада» и «Бракосочетания Неба и Ада» (ок. 1790): «Дорога избытка ведет ко дворцу мудрости» и «Ни одна птица не воспаряет слишком высоко, если взлетает на своих крыльях».

...рушатся пространства... время охвачено сине-багровым пламенем конца — Блейк постоянно предсказывал, что «мир... поглотит пламя» (см. «Бракосочетание Неба и Ада»). В сознании Стивена прорицание Блейка соединяется с видением гибели Трои, а из апокалипсического видения встает вопрос о природе истории.

Вико-роуд — фамилия известного итальянского историка и философа Дж. Вико (1668 — 1744), создателя циклической концепции исторического процесса, которая очень занимала Джойса, не случайно ассоциируется с названием улицы в Долки.

...сковав, в пространстве... бесчисленные возможности — парафраза отрывков из сочинений Аристотеля «Метафизика» и «Поэтика», где разбираются различия между поэзией и историей.

Оставь рыданья... — строки из поэмы Джона Мильтона (1608 — 1674) «Ликид».

...это должно быть движением, актуализация возможного как такового — ср. Аристотель, «Физика», III, 1.

... душа — форма форм — ср. Аристотель, «О душе».

Значит, это и есть настоящее? — Стивен вспоминает слова Крэнли о материнской любви как самом подлинном чувстве в мире, погрязшем в пороке — ср. «Портрет», гл. V.

Колумбан (543 — 615) — ирландский святой, миссионер, проповедник. По преданию, он оставил мать, несмотря на ее мольбы.

Аверроэс (1126 — 1198) — испано-арабский философ, врач. Его комментарии к трудам Аристотеля послужили основой для большинства средневековых схоластов. *Моисей Маймонид (1135 — 1204)* — ученый-талмудист, философ. Как и Аверроэс, оказал серьезное воздействие на средневековую христианскую мысль. Отсюда и дальнейшая ассоциация Стивена *«тьма в свете светит, и свет не объемлет ее»*, представляющая собой, в свою очередь, ироническую парафразу евангельского текста.

...подносик с монетами Стюарта... сокровище ирландских болот... — Яков II Стюарт пытался утвердиться в Ирландии, когда был свергнут с трона в Англии в 1688 г. Потерпел поражение в ирландских болотах.

...в футляре для ложек... двенадцать апостолов, проповедовавших всем языкам... — на черенках ложек мистера Дизи изображены двенадцать апостолов. В Деяниях святых апостолов (10 — 11) Бог вменил в обязанность апостолам проповедовать всем народам.

Ладонь Стивена в неловкости блуждала по раковинам... Раковина — столь же часто повторяющийся символ-лейтмотив в «Несторе», как «чаша» в «Телемаке». Для Стивена раковина — символ красоты и подлинной власти в отличие от монет, символа, запятнанного кровью и горем. Раковина — часто встречающийся атрибут и

образ «Улисса». В эзотерическом смысле раковина — тело, лишенное души. Исторические даты, битвы — это пустые раковины, в которые ученые тщетно пытаются влить жизнь их воображения, иными словами, для художника Стивена — истинную жизнь.

Гребешок святого Иакова — реликвия, находящаяся в святилище Иакова в Компостелле (Испания), месте паломничества христиан в средние века.

Французский кельт — комментаторы затрудняются сказать, кого имел в виду Джойс.

Каррэн, Казинс, Келер, Маккернан — дублинские друзья Джойса.

Макканн, Темпл — персонажи, встречающиеся в «Портрете художника» (см. гл. V).

Фред Райен — ирландский экономист и писатель, сотрудничал с журналом «Дана», который был основан в 1904 г.

Дэниэл О'Коннелл (1775 — 1847) — видный ирландский политический деятель, боровшийся за права католиков, противник унии с Англией. Ирландцы называли его «Освободитель».

Я помню голод — имеется в виду голод 1846 — 1848 гг., последствия которого для Ирландии были трагическими.

Оранжисты — сторонники английского короля Вильгельма III Оранского, который в 1688 г. изгнал из Англии католическую династию Стюартов.

Стриженые — прозвище ирландских повстанцев 1798 года, которые носили короткую стрижку в знак симпатии к французской революции. Позднее так стали называть в Ирландии всех мятежников.

Все мы ирландцы и все потомки королей — распространенное речение, бытующее среди ирландцев.

Прямым путем — девиз сэра Джона Блэквуда (1722 — 1799), который был подкуплен англичанами и проголосовал за унию.

...из Нижнего Ардса — в Нижнем Ардсе находился лагерь оранжистов.

Ливерпульская клика, похоронившая проект Голуэйского порта — в 50-е годы XIX в. группа английских и ирландских энтузиастов решила превратить Голуэйский порт на западном побережье Ирландии в трансатлантический, что решило бы многие экономические проблемы — в частности, вопрос о доставке зерна в страну в военное время. Однако проект не был осуществлен.

От женщины, не блиставшей добродетелью — то есть Елены Троянской.

И крики шлюх глухой порой... — см. Блейк, «Изречения Невинности».

Развязно... толпятся в храме... — парафраза евангельского текста о менялах в храме.

Крик на улице — парафраза слов из Книги Притчей Соломоновых — ср. 1, 20 — 21: «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой».

...жена Макморро — Дизи вспоминает первое завоевание Ирландии норманнами, косвенной причиной которого стала любовная связь короля Макморро.

И Парнелла погубила женщина — Чарльз Стюарт Парнелл (1842 — 1891) — вождь ирландского освободительного движения, сторонник гомруля — права Ирландии на политическое самоуправление. Одной из причин поражения Парнелла было сопротивление католического духовенства, поддержавшего капитана О'Ши, который обвинил Парнелла в сожительстве с его женой Китти О'Ши.

Право свое волю свою Ольстер добудет в бою — Ольстер в числе шести ирландских северных провинций и графств, настроенных проанглийски, яростно сопротивлялся гомрулю. Приведенные слова — боевой клич оранжистов.

Быколюбивый бард — многозначный образ. С одной стороны, он отсылает к Гомеру: спутники Одиссея нарушили покой священных быков бога Гелиоса. С другой стороны, «быком» называли и Аквината.

III. Протей

Время действия — 11 часов утра. После урока в школе Стивен идет по берегу в Сэндимаунте в сторону устья реки Лиффи, и постепенно в нем крепнет уверенность, что он не пойдет на назначенную встречу с Маллиганом.

В сознании Стивена переплетаются образы внешнего мира (берег, ловцы моллюсков, собака), воспоминания об утре в башне Мартелло, разговор с Маллиганом и Хейнсом, урок в школе, беседа с мистером Дизи, а также и более далекие воспоминания (детство, Париж), всплывают цитаты, образы из прочитанных книг.

Цвет эпизода — зеленый: цвет моря, лунного света, абсента и, наконец, что самое важное, национальный цвет Ирландии. Зеленый цвет — это и «цвет» эпифаний, коротких прозаических произведений Стивена, которые он собирался писать на больших зеленых листьях.

Данный эпизод соответствует четвертой песни «Одиссеи». Центральный образ — вечно изменчивое море, что подводит читателя к пониманию символа-лейтмотива эпизода — прилива, изменений, метаморфоз. Недаром и живые существа, и неодушевленные предметы, попадающие в «поток сознания» Стивена, подвергаются непрерывным метаморфозам. Собака, сопровождающая ловцов моллюсков, превращается в зайца, оленя, медведя, волка, теленка, пантеру, леопарда. Тросточка Стивена — то меч, то жезл авгура, то посох пилигрима. «Меняется» и Маллиган. В эпизоде он упоминается несколько раз — при ассоциации со Свифтом («длинное лошадиное лицо...»), нашествием викингов, с утопленником. Помимо прямых ассоциаций есть и скрытые — с геральдическим оленем (олень по-английски «buck», а именно так по-английски звучит прозвище Маллигана), со щеголем («buck» по-английски и «щеголь»; ср. «обноски щеголя»).

Есть и несколько явных текстуальных намеков на «Одиссею» — Протей живет на острове Фарос, у устья Нила. Греки называли Фарос островом «неутолимого голода» — ср. у Джойса «остров неутолимой жажды».

Искусство эпизода — филология, что соответствует занятиям Стивена. Поэтому очень важное место занимают в тексте шекспировские аллюзии, в частности, тема Гамлета, восходящая к одной из основных

Сэндимаунт Стрэнд. Справа видна электростанция Пиджен-хаус («Голубятня»).

тем «Улисса» — теме отца и сына. Цитаты из «Гамлета» постоянно вплетаются во внутренний монолог Стивена: «Пощипывая кожу преизрядно», «Ага, совсем как кит», «В чернь с серебром одетый», «Где грифель мой?» Тема Гамлета связывается и с утопленником, а также — путем сложнейших ассоциаций — с темой матери («Я не мог спасти ее. Воды: горькая смерть»).

Из других литературных ассоциаций наиболее существенны цитаты из Суинберна, в творчестве которого тема вечно меняющегося моря играет важную роль.

Часто Стивен мысленно обращается к Джонатану Свифту (1667 — 1745), хотя ни разу прямо не называет его, ограничиваясь многочисленными намеками и аллюзиями. Ассоциации начинаются с библиотеки Марша, расположенной в ограде собора св. Патрика, деканом которого был Свифт. Есть намеки на сумасшествие Свифта в конце жизни. Гуингнмы отсылают к «Гулливеру». Обращает на себя внимание одна фраза эпизода, «Кузен Стивен, вы никогда не будете святым», которая становится понятной лишь в связи со Свифтом и отсылает к словам английского поэта Джона Драйдена, обращенным к Свифту: «Кузен, вы никогда не будете поэтом».

Через сопоставление Стивена с аббатом-мистиком Иоахимом Флорским («отче аббат»; ок. 1145 — ок. 1202) «неистовый настоятель» ассоциируется с учеными-схоластиками. Стивен подумывает стать миссионером в Европе, пойдя по стопам «неистового Колумбана». Другой ирландский святой, Фиакр (VII в.), изображается расшивающим на небе пиво. Иронические характеристики даны и другим отцам церкви и видным церковным деятелям — Аквинат назван «косопузым», иронически описываются и «последний схоласт» — итальянский философ Джованни Пико делла Мирандола (1436 — 1494), и «непобедимый доктор» — английский философ и богослов XIV в. Уильям Оккам (ок. 1285 — 1349).

Из философов более позднего времени в «Протее» «фигурирует» Джордж Беркли (1685 — 1750), ирландец по происхождению, с 1734 г. епископ Клойна («добрый епископ Клойнский»). Влияние Беркли чувствуется в философском зачине эпизода, одном из самых трудных и темных мест. Стивен идет сквозь пространство, в котором предметы расположены один подле другого. Пространство — непреодолимая модальность видимого. Но он движется и во времени. Время — это непреодолимая модальность слышимого. Модальность — категория формальной логики, выражающая степень достоверности суждения. Возможно также, что начало эпизода восходит к Аристотелю.

В «Протее» постоянно меняется отношение Стивена к истории и Ирландии. В этом эпизоде Ирландию олицетворяет скрывающийся в Париже фений *Кевин Иген.* Упоминаются и другие исторические личности: *Ричард Берк,* который по поручению фениев приобрел в Бирмингеме оружие для готовящегося восстания, но был арестован и посажен в Клеркенуэллскую тюрьму в Лондоне в 1867 г. (единомышленники Берка произвели взрыв — «вдребезги стекла, рушатся стены»); *Артур Гриффит (1842 — 1922)* — видный ирландский политический деятель, основатель организации «Объединенные ирландцы» (1902); *Далькассии* — ирландская династия X в., правившая страной в пору ее независимости. *Лохланны* — старинное название

норвежцев, которые в середине IX в. сражались с датскими викингами за власть в Ирландии. *Лэмберт Симнел (1477 — 1534)* выдавал себя за убитого сына короля Англии Эдуарда IV, коронован в Дублине под именем Эдуарда VI (1487), в том же году взят в плен англичанами. Однако король Генрих VII простил его и сделал своим придворным поваренком. *Перкин Уорбек (1474 — 1499)* — еще один самозванец, выдававший себя за незаконного сына Ричарда III, был выдвинут ирландскими повстанцами. Уорбек был казнен Генрихом VII. *Томас Фицджеральд (1513 — 1537)* поднял в 1534 г. в Дублине восстание против английского владычества. Прозвище «шелковый рыцарь» он получил из-за шелкового лоскута, который его приверженцы носили на шлеме.

Все время меняется и язык эпизода. Джойс широко использует средневековые архаизмы, современный сленг, слова, заимствованные из других языков — древнегреческого, латинского, французского, немецкого,— и занимается дерзким, но очень оригинальным словотворчеством.

Я здесь, чтобы прочесть отметы сути вещей — немецкий теософ, мистик Якоб Беме (1575 — 1624) полагал, что акт постижения есть акт противопоставления. Эти мысли развиты им в его труде «Отметы вещей» (изд. 1647).

Пределы прозрачности... в телах — имеется в виду теория зрения Аристотеля, изложенная в его труде «О чувствах и чувственном» и «О душе».

...стукнувшись башкой... — Аристотель доказывал существование тел так же, как это после него делал известный английский филолог Сэмюэл Джонсон (1709—1784). Биограф Джонсона Джеймс Босуэлл (1740 — 1795) писал, что, стремясь доказать реальность существования предмета, Джонсон с размаху ударил ногой по камню.

Он лысый был и миллионер... — речь идет об Аристотеле. Цитата из «Ада» Данте — *учитель тех, кто знает* — также относится к Аристотелю.

...выковано молотом демиурга Лоса — см. Блейк, «Книга Лоса» (1795), 1, 9 — 10.

...монахи-мистики — среди францисканцев существовал обычай странствовать, связавшись веревкой наподобие пуповины. Отсюда название этой части ордена — кордельеры (от франц. corde — веревка).

Будете ли как боги? — парафраза слов Сатаны из Книги Бытия, 3, 4 — 5 («И сказал змей жене: нет, не умрете; но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши и вы будете как боги, знающие добро и зло»).

Алеф, альфа — первые буквы еврейского и греческого алфавитов.

Адам Кадмон — то есть совершенный человек. Описан Еленой Блаватской (1831 — 1891) в теософском труде «Изида без покрова» (1886). В этом же труде описывается *Хева* или Шеба (по-евр. «жизнь») — один из вариантов произношения имени Евы. По каббалистическим представлениям у Евы не было пупка, потому что она была рождена не от женщины.

Испустил дух в греческом нужнике... — видимо, речь идет об Арии (см. коммент. к «Телемаку»), который умер от рака кишечника. Его враги считали, что такая смерть была послана ему в наказание за его ереси.

Эвтанасия (греч.) — блаженная кончина.

...скакуны Мананаана — то есть волны (Мананаан Мак-Лир — ирландский бог моря).

Достопочтенные гондольеры — образ навеян комической оперой «Гондольеры» (1889) У. Гилберта (1836 — 1911) и А. Салливана (1842 — 1900).

Иисус прослезился — самый короткий стих в Библии (см. Евангелие от Иоанна, 11, 35).

...выглядывают из-за угла иль выступа стены — ср. Шекспир, «Макбет», акт I, сц. 6.

Мистер Тристрам Тэнди — имя представляет контаминацию имен ирландского революционера Нэппери Тэнди (1740 — 1803?) и героя Лоуренса Стерна Тристрама Шенди.

Феррандо — персонаж оперы Дж. Верди «Трубадур» (1852).

Спустись, плешивец, чтобы вовсе не оплешивел — слова, приписываемые аббату Иоахиму Флорскому, а также восходящие к Четвертой книге Царств, 2, 23 — 24.

...тучных от тучной пшеницы — см. Второзаконие, 32, 13 — 14: «Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, Маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов Васанских и козлов, и тучною пшеницею...»

Остров святых — средневековое название Ирландии, данное ей из-за важной религиозной роли, которую играла ирландская церковь в западном мире.

Махаманвантара — на санскрите «великий год», одно из теософских понятий истории.

Читая одну за одной страницы... — этот отрывок является иронической стилизацией эссе английского писателя Уолтера Пейтера (1839 — 1894) «Пико делла Мирандола», которое вошло в его сборник «Ренессанс» (1873).

...визгливой гальке, что по несметной гальке шелестит... — ср. Шекспир, «Король Лир», акт IV, сц. 6.

Голубятня — разговорное название электростанции на берегу Дублинского залива. Здесь Джойсу, как и в других случаях, важна словесная игра, содержащаяся в этом географическом названии.

Кто же тебя привел в это аховое положение... — цитата из книги французского писателя Лео Таксиля (1854 — 1907) «Жизнь Иисуса» (1884), в которой высмеиваются абсурдные, с точки зрения автора, сюжеты евангельских преданий.

Дикие гуси — название ирландских революционеров-изгнанников.

...мяса из котлов фараоновых... — ср. Исход, 16, 3.

Буль-Миш — бульвар Сен-Мишель в Париже на левом берегу Сены, место, где располагались артистические кафе.

В ночь на семнадцатое февраля 1904 года... — Стивен вспоминает сообщение об

убийстве, которое он видел в газете «Айриш таймс». В тексте упоминалась дублинская Стивен-стрит, отсюда у него слова: *«Это сделал другой: другой я».*

Он — это я — ироническая парафраза знаменитых слов Людовика XIV: «Государство — это я».

За тетку Маллигана... — пародия на песню ирландского поэта Перси Френча (1854 — 1920) «Тетка Маллигана».

Мсье Дрюмон — Эдуар Адольф Дрюмон (1844 — 1917), французский издатель, журналист, антидрейфусар.

Мод Гонн (1866 — 1953) — знаменитая ирландская красавица, революционерка, актриса, художница. В 1921 г. Мод Гонн была первым представителем Свободного Ирландского государства в Париже.

...мсье Мильвуа — Люсьен Мильвуа (1850 — 1918), французский журналист, издатель.

Феликс Фор (1841 — 1899) — президент Французской республики (1895 — 1899). Умер от удара. Злые языки говорили, что причиной были его многочисленные любовные истории.

Как бежал главный центр — имеется в виду один из ведущих деятелей общества фениев Джеймс Стивен (1824 — 1901). Его выдал шпион, Стивен был арестован, но сумел бежать в Америку.

Об ушедших вождях... — ср. стихотворение английского поэта Роберта Браунинга (1812 — 1889) «Ушедший вождь» (1845). Стихотворение посвящено Вордсворту, в нем Браунинг сетует, что Вордсворт изменил революционным идеалам своей молодости.

«Ребята в Килкенни лихие удальцы» — популярная ирландская песня неизвестного автора.

Святой Канис (ум. ок. 599) — ирландский святой. Город Килкенни назван в его честь.

...замок Стронгбоу на Норе — Стронгбоу («Тугой лук») — прозвище норманнского вождя Ричарда де Клера, возглавившего в 1170 г. завоевание Ирландии. Его замок находится вблизи Килкенни.

...о Сионе — ср. Псалтирь, 136, 1: «При реках Вавилона, там сидели мы, и плакали, когда вспоминали о Сионе».

Так в лунные стражи... — ср. Шекспир, «Гамлет», акт I, сц. 4.

Луи Вейо (1813 — 1883) — французский журналист, известный язвительностью своих характеристик.

Теофиль Готье (1811 — 1872) — французский поэт, критик, романист, романтик, гедонист, презиравший филистерскую мораль.

Игрушки сэра Лута — Лут — легендарный гигант, видимо выдуманный самим Джойсом.

Две марии — Дева Мария, мать Иисуса Христа, и Мария Магдалина, присутствовавшие при распятии.

Надежно запрятали ее в тростниках — аллюзия на библейский текст о младенце Моисее. Ср. Исход, 2, 2 — 3.

...как храбрый Мэйлахи носил на шее обруч золотой — фраза восходит к стихотворению Томаса Мура «Вспомни, Эрин, былую славу свою». Имеется в виду золотой воротник, который в знак победы над врагом король Ирландии Мэйлахи снял с шеи Томара, датского военачальника.

Стая кашалотов прибилась к берегу... бегут, карабкаются, кромсают куски зеленого, ворванью пропахлого мяса — в 1331 г. в Дублине был ужасный голод. По преданию, в это время к берегу Дублинского залива прибило рыб необычайной величины, которых жители убивали на пропитание.

Я шел... по замерзшей Лиффи... — в 1338 г. с декабря по начало февраля в Ирландии стояли небывалые холода, и река Лиффи неожиданно замерзла.

...слуга фортуны... — в «Гамлете» Розенкранц и Гильденстерн называют себя «приближенными» фортуны.

Брат Брюса — Эдвард Брюс (? — 1318) — младший брат Роберта Брюса (1274 — 1329), короля Шотландии, отстоявшего в бою независимость Шотландии. В 1314 г. Эдвард вторгся в Ирландию, надеясь освободить ее от англичан, был «избран» королем Северной Ирландии, но позднее убит ирландцами как самозванец.

Но придворные, что насмехались над Гвидо... — ср. с новеллой из «Декамерона» Дж. Боккаччо, в которой идет речь об итальянском поэте, друге Данте Гвидо Кавальканти (ок. 1250 — 1300). Гвидо любил бродить, размышляя, по кладбищу, за что подвергался насмешкам со стороны придворных.

Безотрадное наслаждение — по классификации, приведенной Фомой Аквинским в его труде «Summa Theologica», один из грехов. По средневековой легенде, у Аквината был огромный живот, отсюда его прозвище. *Дикобразом* его называли за остроту ума и умение вести споры.

Адам непадший... — по Библии, первый человек не ведал похоти.

Через пески всего мира... — парафраза последнего абзаца поэтической драмы Перси Биши Шелли «Эллада» (1821).

Се раба лунная — ср. Евангелие от Луки, 1, 38: «Тогда Мария сказала: се, Раба Господня...»

Грядет он, бледнолицый вампир... — как будет ясно позже из текста, это строка из собственного стихотворения Стивена, которое, в свою очередь, представляет собой парафразу последней строфы стихотворения «Моя печаль на море», переведенного с ирландского Дугласом Хайдом (1860 — 1949) для его сборника «Любовные песни Коннахта».

...завесу пространства с цветными эмблемами... — ср. Исход, 26, 31 — 35: «И сделай завесу из голубой, пурпурной и червленой шерсти...»

Ходжес Фиггис — дублинский книготорговец.

Живет в Лисон-парке — речь идет об Эмме Клири, девушке, в которую Стивен был влюблен в «Портрете художника».

...рады вам, как майским цветам — строчка из ирландской песенки (слова и музыка Дана Салливана).

Под ее укрытием... Час Пана — парафраза эклоги Стефана Малларме (1842 — 1898) «Отдых фавна» (1878).

...любовь Уайльда, та, что назвать себя не смеет — строчка из стихотворения друга

Уайльда лорда Альфреда Дугласа «Две любви». Эта строка фигурировала и в речи Уайльда на судебном процессе, когда он был обвинен в гомосексуализме. Давая объяснение этой строки, Уайльд сказал, что теперь искреннюю привязанность двух людей одного пола, такую, что существовала в древности, полагают порочной. По ассоциации в «потоке сознания» Стивена возникает Крэнли.

Святой Амвросий (ок. 340 — 397) — епископ миланский, один из наиболее почитаемых отцов церкви, композитор, поэт.

Отец твой спит на дне морском... — см. Шекспир, «Буря», акт I, сц. 2.

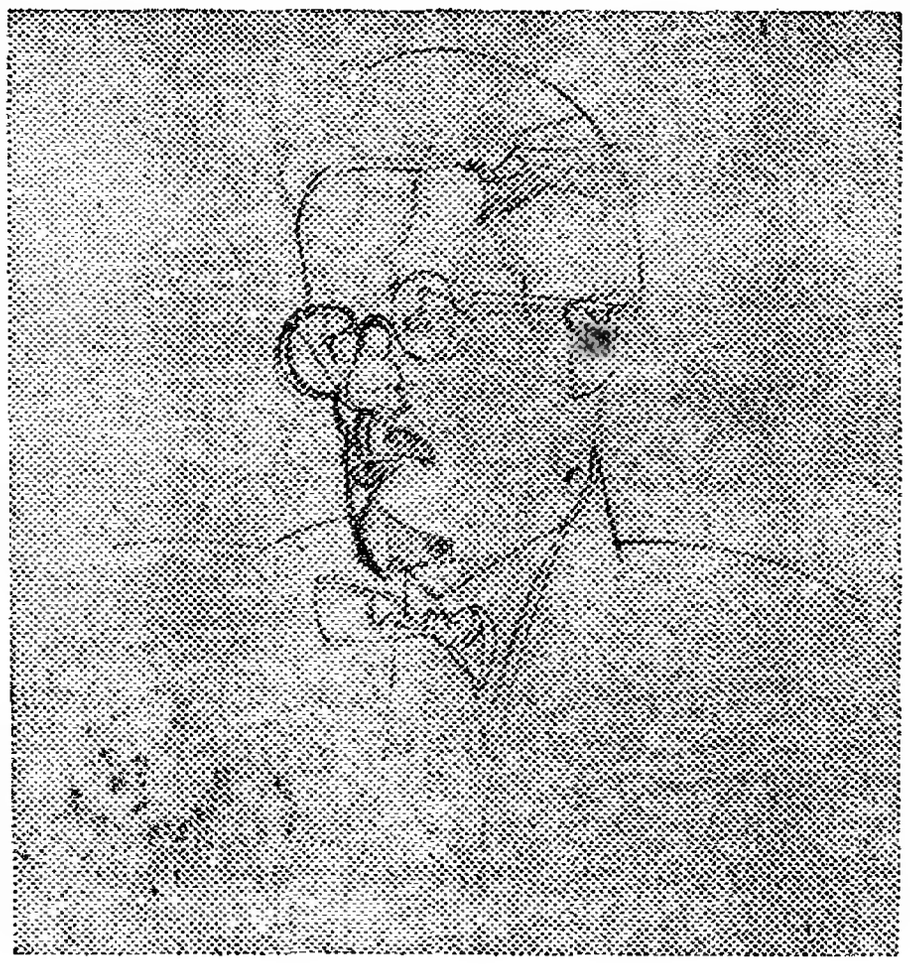
Морская смерть, мягчайшая из всех, ведомых человеку — Тиресий предсказывает Одиссею самую легкую из смертей («Одиссея», песнь XI).

Парижский приз — самый крупный приз на скачках во Франции. Но Джойсу важна и игра слов: «парижский приз» звучит почти так же, как «приз Париса», из-за которого и началась Троянская война.

Пить хочется — ср. Евангелие от Иоанна, 19, 28: «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду».

Сверкая, он низвергается, гордая молния разума — имеется в виду Люцифер, носитель света (ср. Евангелие от Луки, 10, 18: «...Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию»).

В шляпе, с посохом бреду, башмаки стучат — см. Шекспир, «Гамлет», акт IV, сц. 5, перев. Б. Пастернака.



Джойс. Рисунок Уиндема Льюиса, 1921.

Несет нам радость новый год, о мать... — из стихотворения английского поэта-викторианца лорда Альфреда Теннисона (1809 — 1892) «Королева мая» (1833). Отношение Джойса к Теннисону было весьма скептическим, что видно из пародийного обыгрывания его фамилии ниже в тексте — Лаун-Теннисон.

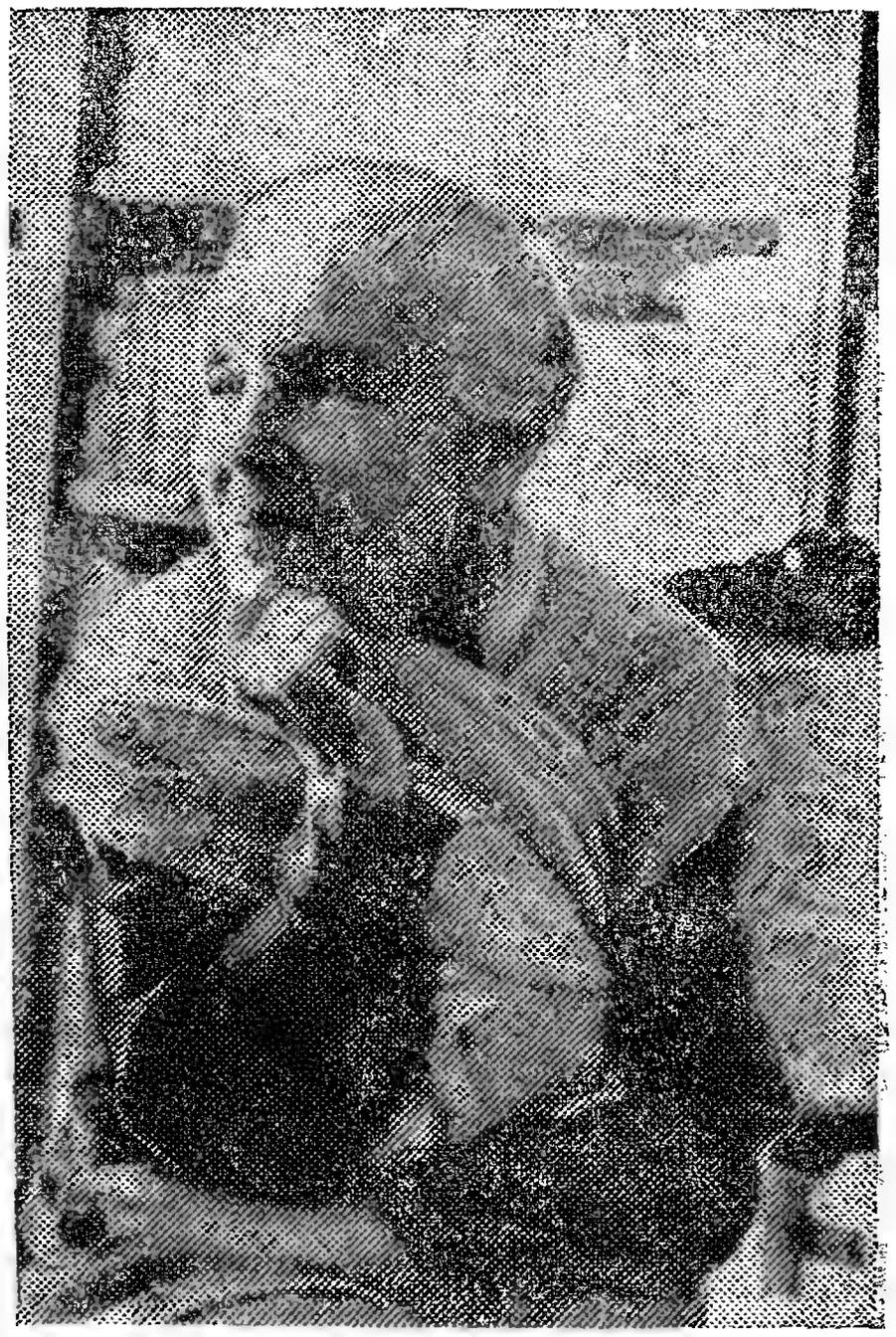
Е. ГЕНИЕВА

Публицистика

ЦЕЦИЛИЯ КИН

ИЗ ХРОНИКИ КОМИНТЕРНА

Несколько итальянских страниц



Больше света! — *предсмертные слова Гёте.*

Сто лет тому назад, 14 июля 1889 года, в Париже открылся конгресс, на котором был основан 2-й Интернационал. Вскоре увидела свет известная Эрфуртская программа Социал-демократической партии Германии, которая долгое время служила образцом для других социалистических партий Европы. (Германская партия существует с 1875-го, французская — с 1879-го, австрийская — с 1888 года.)

1892 год. В Италии идет подготовка к съезду, который состоялся в Генуе и открылся 14 августа. Завершается длительный процесс, начатый еще при жизни Маркса — с эпохи 1-го Интернационала.

Генуэзская программа в основном отвечала требованиям исторического момента. Конечной целью она объявляла преобразование капиталистического общества в социалистическое. Было принято название: Партия итальянских трудящихся. Через год, на съезде в Реджо-Эмилии, к этому названию добавилось слово с о ц и а л и с т и ч е с к а я; партия окончательно и, так сказать, официально включалась в международное социалистическое движение. Первым итальянским марксистом считается Антонио Лабриола (1843—1904), а лидером партии стал Филиппо Турати (1857—1932). Для обоих высшим моральным и политическим учителем и судьей был Фридрих Энгельс, очень связанный с итальянским движением.

Итальянский социализм с самого начала носил ярко выраженный эволюционистский и гуманитарный характер. Большинство руководителей основанной в 1892 году партии воспитывались на философии позитивизма. Однако идеи научного социализма, утвердившиеся в общеевропейской политической мысли, имели огромное значение и для Италии. Кульминация приходится на пятилетие 1890—1895 годов, когда Энгельс с поразительным тактом и терпением руководил итальянским социалистическим движением. В конце прошлого века именно социалистическая партия Италии выступала носителем высоких этических ценностей. Даже противникам деятели этой партии импонировали своей серьезностью, компетентностью, бескорыстием, самоотверженностью. Внутри партии существовали два течения: «реформистское» и «непримиримое» — принято говорить, что существовали «две души итальянского социализма». К началу XX века социалистическая партия была единственной в Италии организованной политической партией современного типа. В программе-минимум давалось теоретическое обоснование всех преобразований, за которые пролетариату предстояло бороться (политические, экономические, административно-налоговые). Но программа-максимум — построение социалистического общества.

Между тем приближались трудные времена. 7 июля 1912 года открылся съезд в Реджо-Эмилии; партия могла бы праздновать свое двадцатилетие, но произошли резчайшие столкновения между течениями. В «Правде» от 15 июля 1912 года в статье В. И. Ленина «Съезд итальянских социалистов», в частности, говорилось: «Внутренняя борьба в итальянской социалистической партии приняла особенно острые формы в последние годы. Сначала было два основных направления: революционеры и реформисты... Эти два основные направления, существующие в том или ином виде во в с е х социалистических партиях, выделили в Италии еще два крайних направления, которые совсем уходили прочь от социализма и вели поэтому к отделению

от рабочей социалистической партии»[1]. В этой же статье Ленин подробно, называя имена, писал о синдикалистах, о реформистах, об исключении крайне правых.

На съезде в Реджо-Эмилии из партии были исключены четыре видных ее деятеля, занимавших крайне правые позиции. Особенно настаивал на их исключении Бенито Муссолини, в то время принадлежавший к «революционным группам». На съезде Муссолини поразил воображение делегатов эффектной речью и был избран в состав руководства. Вскоре его назначили директором (главным редактором) центрального органа — «Аванти!», и он возглавил крайне левое крыло партии. Пройдет немногим более двух лет — и выступившего за участие Италии в первой мировой войне Муссолини под восклицания «Иуда!», «Ты продался буржуазии!» исключат из партии.

Итальянская социалистическая партия, в отличие от немецкой, французской и многих других, никогда не голосовала за военные кредиты. Ее официальной формулой было: «не присоединяться, не саботировать», она поддерживала контакты с меньшинством в других партиях, оставшимся нейтральным, и с партиями, не голосовавшими за войну. Итальянские социалисты принимали участие в Циммервальдской конференции в сентябре 1915-го и в Кинтальской — в апреле 1916 года. Хотя лозунг Ленина о превращении империалистической войны в гражданскую и не был принят этими конференциями, их значение в истории международного рабочего движения общепризнано.

Свержение монархии в России в феврале 1917-го и «десять дней, которые потрясли мир» создали совершенно новую ситуацию. 18 ноября 1917 года во Флоренции в частном доме состоялось тайное совещание, на которое прибыло около двадцати делегатов самых влиятельных итальянских социалистических групп. Среди них были секретарь партии и один из ее основателей Костантино Лаццари (1857—1927), редактор газеты «Аванти!» Джачинто Менотти Серрати (1876—1926) и двое молодых людей, через три года ставших основателями коммунистической партии: Амадео Бордига (1889—1970) и Антонио Грамши (1891—1937). О том, что произошло в Петрограде, они знают мало, но знают самое главное: у власти в России — большевики, которые, по предложению Ленина, теперь называют себя коммунистами. Началась новая историческая эпоха.

Во время войны, бросив вызов цензуре, Серрати печатает в «Аванти!» манифест Циммервальдской конференции. В Кинтале он один из всей итальянской делегации поддержал предложение Ленина выйти из 2-го Интернационала и основать 3-й Интернационал. Серрати пользовался любовью и популярностью в партии. Он не теоретик, но он революционер и человек, никогда не крививший душой. Паоло Сприано, автор многотомной «Истории Итальянской коммунистической партии», пишет*, что Серрати был воспитан на идеях позитивизма и любимым его учителем оставался Филиппо Турати, хотя он часто и очень резко критиковал Турати. И когда в 1918-м Серрати арестовали (было «смутное время»), он повторил перед военным судом знаменитую фразу Турати, которую тот произнес в 1898 году, во время разгула реакции: «Можете сделать со мной что хотите, но Карла Маркса вы у меня не отнимете... У меня есть все, на что может надеяться скромный боец: вера». Вера — великий политический и психологический фактор революционного движения. Серрати глубоко верил в революцию и верил в то, что надо во что бы то ни стало сохранять единство партии.

Вскоре после тайного собрания во Флоренции представители различных итальянских социалистических групп стремятся установить как можно более тесные контакты с русскими коммунистами. Антонио Грамши убежден, что партию Ленина не постигнет трагическая судьба Парижской коммуны. Свою первую статью об Октябре молодой Грамши озаглавит: «Революция против Капитала». Звучит парадоксально, но имеется в виду «Капитал» Маркса, согласно которому революция должна произойти в промышленно развитой стране.

Вскоре после начала первой мировой войны Ленин поставил вопрос о необходимости создания 3-го Интернационала. 1 ноября 1914-го был опубликован манифест ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия». А после победы революции началась практическая подготовка. Весной 1918-го при ЦК РКП(б) была создана Федерация иностранных групп, проводившая большую работу среди военнопленных, находившихся в Советской России. В конце декабря 1918 года Ленин писал Г. В. Чичерину о необходимости готовить Учредительный конгресс Коммунистического Интернационала. В январе 1919-го в Москве на совещании представителей ряда коммунистических и левосоциалистических партий принимается воззвание, призывающее к скорейшему созданию 3-го Интернационала. Вечером второго марта 1919-го в Кремле начинается конференция, а четвертого марта она называет себя уже I Учредительным конгрессом 3-го Интернационала. Присутствуют 52 делегата из различных стран.

Первого мая 1919 года в Турине выходит первый номер «журнала социалистической культуры», названного «Ордине нуово» («Новый порядок»). Его создают четверо молодых социалистов: Антонио Грамши, Анджело Таска (1892—1960), Умберто Терначини (1895—1983) и Пальмиро Тольятти (1893—1964) и их единомышленники — рабочие и интеллектуалы.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 407.

* Паоло Сприано скончался в сентябре 1988 года.

Внутри итальянской социалистической партии идет непрерывная фракционная борьба. Осенью 1919-го почти одновременно Грамши в Турине и Бордигу в Неаполе посещают люди, желающие установить с итальянскими группами контакты от имени 3-го Интернационала, один из посланцев встречается с Серрати. 1 октября выходит первый номер двухмесячного журнала «Иль комуниста». Подзаголовок: «Журнал 3-го Интернационала». Там публикуются важные документы Коминтерна, а также тексты Ленина, Троцкого, Бухарина, Луначарского, Радека, Варги, Клары Цеткин.

Практически невозможно в рамках журнальной статьи хотя бы перечислить фракции и группы, споривщие по вопросам философии, теории научного социализма и практики, иногда споривщие не вполне цивилизованно, так как примешивались личные симпатии и антипатии, сказывалась разница характеров и приоритетов.

Весной 1920 года в Москву из Италии отправлялись многочисленные делегации: люди, представляющие разные фракции в социалистической партии, синдикалисты, кооператоры, парламентарии. Шла подготовка ко II конгрессу Коминтерна, Ленин в четырнадцати работах, печатавшихся на многих языках в журнале «Коммунистический Интернационал», разъяснял вопросы теории, поправлял, спорил, воспитывал. Особенно важна книга Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», в которой содержалась, в частности, резкая полемика с экстремизмом Бордиги.

II конгресс Коминтерна торжественно открылся в Петрограде 19 июля 1920 года; приехало 217 делегатов из различных стран. Сприано пишет, что никто из итальянцев не был «облечен полномочиями» и что вообще атмосфера была нервной. «Несомненно, большевики мало знали о положении в Итальянской социалистической партии и обо всех ее течениях,— утверждает он.— Было большое доверие к партии в целом и к Серрати, которого Ленин ценил еще с военного времени»[2]. Также несомненно, что руководство партии и лично Серрати знали, какой будет центральная тема конгресса: исключение реформистов из новых руководящих органов. Но надеялись, что оно не будет проведено безоговорочно и немедленно. Однако произошло именно так. После торжественного открытия в Петрограде, где выступил с докладом Ленин, все отправились в Москву, где заседания были продолжены до 7 августа 1920 года.

«Идейные, тактические, организационные принципы пролетарской партии нового типа, всесторонне разработанные в трудах Ленина и в его тезисах об основных задачах II конгресса Коминтерна, были кратко сформулированы в специальном документе, известном как «21 условие» приема в Коммунистический Интернационал»[3].

Цитирую некоторые условия: «3. Классовая борьба почти во всех странах Европы и Америки вступает в фазу гражданской войны. При таких условиях коммунисты не могут питать доверия к буржуазной законности. Они обязаны повсюду создавать параллельный нелегальный аппарат, который в решающую минуту мог бы помочь партии исполнить свой долг перед революцией. Во всех тех странах, где коммунисты вследствие осадного положения или исключительных законов не имеют возможности вести всю работу легально, необходимо сочетание легальной и нелегальной работы».

«7. Партии, желающие примкнуть к Коммунистическому Интернационалу, обязаны признать необходимость полного и абсолютного разрыва с реформизмом и с политикой «центра» и пропагандировать этот разрыв в самых широких кругах членов партии. Без этого невозможна последовательная коммунистическая политика.

Коммунистический Интернационал безусловно и ультимативно требует этого разрыва в кратчайший срок. Коммунистический Интернационал не может мириться с тем, чтобы заведомые оппортунисты, как, например, Турати, Каутский, Гильфердинг, Хилквит, Лонге, Макдональд, Модильяни и пр., имели право считаться членами 3-го Интернационала. Это привело бы к тому, что 3-й Интернационал в сильной степени уподобился бы погибшему 2-му Интернационалу».

«16. Все постановления съездов Коммунистического Интернационала, как и постановления его Исполнительного Комитета, обязательны для всех партий, входящих в Коммунистический Интернационал. Коммунистический Интернационал, действующий в обстановке обостреннейшей гражданской войны, должен быть построен гораздо более централизованно, чем это было во 2-м Интернационале. При этом Коммунистический Интернационал и его Исполнительный Комитет во всей своей работе, разумеется, обязаны считаться со всем многообразием условий, при которых приходится бороться и действовать различным партиям, и выносить общеобязательные решения лишь по таким вопросам, по которым такие решения возможны».

«17. В связи со всем этим все партии, желающие входить в Коммунистический Интернационал, должны носить название: Коммунистическая партия такой-то страны (секция 3-го Коммунистического Интернационала). Вопрос о названии является не только формальным, но и большой важности политическим вопросом. Коммунистический Интернационал объявил решительную борьбу всему буржуазному миру и всем желтым социал-демократическим партиям. Необходимо, чтобы каждому рядовому труженику была совершенно ясна разница между коммунистическими пар-

---

[2] Paolo Spriano. Storia del Partito comunista italiano I. Da Bordiga a Gramsci. Torino, 1967, p. 66.

[3] «В. И. Ленин и Коммунистический Интернационал». М., 1970, с. 56.

тиями и старыми официальными «социал-демократическими» или «социалистическими» партиями, которые предали знамя рабочего класса»[4].

Решение о «21 условии» было принято 6 августа 1920 года, а через три недели, 21 августа, Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала обратился к итальянцам с длинным письмом. Оно было адресовано ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ И ВСЕМ ЧЛЕНАМ ИТАЛЬЯНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ВСЕМ РЕВОЛЮЦИОННЫМ ПРОЛЕТАРИЯМ ИТАЛИИ. Письмо начиналось словами «Дорогие товарищи», и в нем было сказано, что ИККИ считает не только своим правом, но и своим долгом, своей прямой обязанностью «с полной пролетарской откровенностью» обратить внимание на некоторые недочеты в политике партии. Цитируем:

«Борющийся пролетариат отнюдь не заинтересован в том, чтобы дипломатически и бюрократически скрывать и покрывать те грехи и ошибки, которые делают его организации. Мы все заинтересованы не в том, чтобы говорить друг другу комплименты, а в том, чтобы учиться на опыте движения всех стран и народов за освобождение труда.

Итальянский пролетариат и его партия идут в первых рядах международной атаки на капитал. Ваша партия одна из первых примкнула к 3-му Интернационалу. Тем более необходима здесь абсолютная ясность тактической линии. Тем более необходимо возможно скорее преодолеть то вредное сопротивление, которое возникает из вольных и невольных ошибок партии».

Потом — подробный анализ международной обстановки и обстановки в Италии, соотношения сил в Италии. Исполком Коминтерна исходит из того, что революция в Италии созрела, а буржуазия «лихорадочно организует свои силы, вооружается. А другой рукой — через реформистов — она пытается разложить, деморализовать итальянский пролетариат. Опасность велика. Если итальянская буржуазия окрепнет еще немного, она покажет вам зубы». Затем следует анализ того, как поведут себя другие страны Антанты в случае революции в Италии. «Английские рабочие революционизируются. Французская буржуазия не посмеет послать свои войска для «усмирения» пролетарской революции в Италии. А если она рискнет послать их, она на этом сломит себе шею». И дальше:

«Совершенно ясно, что нигде в мире победа пролетариата теперь невозможна без страданий и лишений для рабочих. Разве Советская Россия не терпит в течение трех лет блокаду?

Если революция не произойдет вскоре и в других странах, возможно, что и итальянскому пролетариату придется пройти такой же тяжелый и крестный путь, каким идет пролетариат России со времени Великой Октябрьской революции 1917 года.

Но гораздо больше шансов за то, что путь итальянской революции окажется не таким трудным. Советской России долго приходилось бороться одной против всего буржуазного мира. Итальянская пролетарская революция во всяком случае будет уже не одна.

Рабочий класс Италии изумительно единодушен — итальянский пролетариат целиком стоит за революцию. На свои регулярные войска итальянская буржуазия рассчитывать не может. В решающую минуту эти войска перейдут на сторону восставших. Сельские рабочие — за революцию. Большая часть крестьян — за революцию. Слово за итальянской рабочей партией». Продолжаем цитировать: «В Италии теперь все главнейшее для победоносной истинно народной, великой пролетарской революции — налицо. Это надо понять. Из этого надо исходить. Это констатирует 3-й Интернационал. Дальнейшее должны определять сами итальянские товарищи».

Цитируем конец письма:

«Приближаются решающие бои. Италия будет страной Советов. Итальянская партия будет коммунистической партией. Итальянский пролетариат будет лучшим отрядом международной пролетарской армии.

Да здравствует Коммунистическая партия Италии!

Да здравствует Итальянская Советская Республика!

Да здравствует пролетарская революция в Италии!»

Теперь обращаемся к итальянским источникам. Во время II конгресса Коминтерна — а также за несколько дней до начала работы конгресса и затем после его окончания — итальянская делегация во многих случаях выглядела далеко не лучшим образом. Достаточно сказать, что по решающим вопросам: о том, есть ли в Италии предреволюционная ситуация, а также о том, каково соотношение сил внутри социалистической партии,— итальянцы вольно или невольно вводили в заблуждение большевиков и персонально председателя Коминтерна Зиновьева.

Итальянцы в основном выступали с левых, часто крайне левых позиций, то и дело воздерживались от голосования, если что-либо казалось им «недостаточно революционным» (по аграрному вопросу, по колониальному вопросу и т. д.). При этом отчаянно спорили друг с другом и (Сприано пишет о парадоксе) объединились, лишь узнав, что в ленинских тезисах, подготовленных ко II конгрессу, содержался прямо касающийся их параграф: «17. По отношению к Итальянской социалистической партии II конгресс 3-го Интернационала находит в основе своей правильной ту критику этой партии и те практические предложения, которые изложены, как предложения Национальному совету Итальянской социалистической партии, от имени Туринской секции этой партии в журнале

---

[4] «В. И. Ленин и Коммунистический Интернационал», с. 250—254.

«Новый порядок» («L'Ordine Nuovo») от 8-го мая 1920 г. и которые вполне соответствуют всем основным принципам 3-го Интернационала»[5]. Далее говорилось, что II конгресс предлагает Итальянской социалистической партии созвать экстренный съезд для выработки верного курса.

Текст, поддержанный Лениным, написал Антонио Грамши[6], и в нем содержалась резкая критика реформизма. Но на конгрессе один за другим начали выступать итальянские делегаты, которые с разными аргументами, поскольку у всех были различные позиции, но все дружно протестовали против того, что поддержана туринская группа. Серрати позднее признался, что в разговорах с русскими и в публичных выступлениях он сам, а не только другие, не вполне точно характеризовал положение в Италии. Страна действительно после войны переживала острый кризис. Популярность России действительно была колоссальной. Итальянская партия присоединилась к Коминтерну на своем съезде в Болонье, но это было до «21 условия». И говорить о предреволюционной обстановке в Италии оснований не было. Итальянцы, твердившие о ней, принимали желаемое за реальность.

После II конгресса в итальянской партии произошли серьезнейшие события. В октябре в Реджо-Эмилии оформилась реформистская фракция, а в ноябре в Имоле — коммунистическая. В январе 1921 года был созван конгресс социалистической партии в Ливорно. К тому времени отношения между Исполкомом Коминтерна и итальянской партией чрезвычайно обострились.

Обратимся к стенографическому отчету конгресса в Ливорно[7], как к основному документу, жертвуя многими оттенками и выделяя лишь самое главное. ИККИ прислал на конгресс своих представителей. Главным был болгарин Христо Кабакчиев. Присутствовало много иностранных делегаций, но коммунисты кричали «Долой! Долой!», если гости принадлежали к партиям, не примкнувшим к Коминтерну.

Представлены были три главные фракции: «унитарные коммунисты» (лидер — Серрати), «чистые коммунисты» — так называли себя социалисты, образовавшие фракцию в Имоле (лидер — Бордига), и «кончентрационисти», то есть «реформисты» (лидер — Филиппо Турати). У первой фракции было 98 000 голосов, у второй 58 000, у третьей 14 000. Исполком Коминтерна не сомневался в том, что в партии, которая примет 21 условие, окажутся социалисты и коммунисты, а реформисты останутся в меньшинстве. Но произошло иначе. Коммунисты образовали новую партию, а Серрати, при всех своих резчайших спорах с реформистами, не смог порвать с ними.

Конгресс в Ливорно — высокая трагедия. Вообще невозможно понять все, что происходило в те годы, если не исходить из главного. Главное в том, что все действующие лица этой трагедии верили в идеалы революции и социализма. Во имя этих идеалов они жили, боролись, готовы были приносить любые жертвы. Так было в России, так было и в других странах — в Германии, в Италии, везде. Но пути к социализму они представляли по-разному. В Ливорно (да и до него в период II конгресса и позднее) итальянские социалисты просили дать им возможность самим определять свою стратегию.

Серрати утверждал, что итальянцы исключат из социалистической партии реформистов, но сделают это тогда, когда сочтут целесообразным. Впоследствии он вернется в Коминтерн, но в 1921 году он и его партия (он был фактическим лидером партии) не просто не хотели, а психологически не могли пойти на разрыв с теми, кто были их учителями: с Турати, с Лаццари... И они считали, что ИККИ несправедлив по отношению к итальянцам, которые не запятнали себя голосованием за военные кредиты, и в то же время идет на уступки французским и другим социалистам.

Итальянская партия — мы уже говорили об этом — была создана и существовала под лозунгом гуманитарного социализма. Турати воспитывал партию на идее, что насилие — з л о. Насилие применяет буржуазия, а пролетариат, олицетворяющий идеалы д о б р а,— против насилия. Это выглядело почти евангельской проповедью, но старшее поколение, те, кто основал партию в далеком 1892 году, свято в это верили. Они шли в тюрьмы и были готовы на любые личные жертвы (и доказали это), но насилие отвергали. Это была правда, в которую они верили и вели себя в соответствии со своими убеждениями.

Но коммунисты исповедовали другую, свою правду — необходимость создания строго централизованной, строго дисциплинированной партии (в 21 условии говорилось о необходимости почти военной дисциплины и, как мы цитировали, о необходимости создания параллельно легальной и нелегальной организации — там, где этого требует обстановка). Все это диктовалось убеждением, что мировая революция неотвратима и близка. Если не завтра, то уж послезавтра без сомнения. Эта убежденность диктовала тактику, на которую в Ливорно большинство не согласилось.

Мы говорим о высокой трагедии, потому что относимся с глубоким уважением к памяти всех революционеров, живших и умерших под своими знаменами. Попытаемся понять острую горечь, с которой Владимир Ильич Ленин и после Ливорно, и еще через год говорил не только об итальянской социалистиче-

---

[5] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 199.

[6] "L'Ordine Nuovo": 1919-1920, Антонио Грамши. «Ордине нуово». М., 1957, с. 157 (без подписи).

[7] Resoconto stenografico del XVII Congresso Nazionale del Partito Socialista Italiano. Livorno, 15-20 gennaio, 1921, Edizioni Avanti!, Roma, 1962.

ской партии, но лично о Серрати. Почему? Может быть, именно потому, что знал его хорошо, верил ему и уважал его. А потом, когда произошло то, что произошло, именно поведение Серрати было воспринято как измена. Никогда не выражая сомнения в личной честности, скажем, Каутского или Филиппо Турати, но зная определенно, что они придерживаются противоположной политической платформы, он говорил о них беспощадно: сто раз лично честные и порядочные, но объективно — политические противники. Другое дело Серрати: долгое время Ленин считал его единомышленником. А поэтому разочарование было особенно сильным. Психологически это ясно.

Психологически ясна и субъективная драма Джачинто Менотти Серрати, его колебания, противоречия. Когда после раскола в Ливорно развернулась невероятная по остроте полемика между коммунистами и социалистами, Грамши нашел «этикетку», которая как бы соответствовала позиции итальянской социалистической партии: он именовал ее «Цирк Барнум» (это был знаменитый цирк), а можно было сказать «Балаган». Крайняя степень сарказма, к которой он не раз обращался.

Впоследствии Серрати вернулся в Коминтерн, открыто признав, что его позиция в Ливорно была самой серьезной ошибкой, какую он совершил в жизни. А вскоре Серрати умер, и Антонио Грамши писал, что никогда не было у итальянского рабочего класса более л ю б и м о г о лидера, чем Серрати. Так надо ли было все время твердить о Цирке Барнум?

Филиппо Турати был человеком кристальной чистоты. В Ливорно он, признав неотвратимость разрыва, сказал, что отказывается называть коммунистов врагами. Только — противниками, временными противниками, потому что расстаться навсегда немыслимо. Может быть, меня уже не будет с вами, говорил Турати, но когда-нибудь вы скажете, что все могло бы сложиться иначе. А речь Лаццари, которого тоже знал и уважал Владимир Ильич? Там, на конгрессе, от имени социалистической молодежи выступал Секондино Транкуилли (1900—1978) и призывал «порвать чучело единства». А Лаццари, видимо глубоко потрясенный, отвечал ему: «С этой трибуны выступал симпатичный юноша, который дошел до того, что в заключение своей речи назвал «чучелом» то единство, во имя которого мы боролись сорок лет и создали партию — сильную, влиятельную, с которой хозяева нашей страны вынуждены считаться и перед которой завтра капитулируют».

Секондино Транкуилли принял литературное и партийное имя Иньяцио Силоне. (Его роман «Фантамара» на Первом съезде советских писателей называли одним из произведений революционной литературы уже после того, как он был исключен из коммунистической партии за то, что не согласился с доктриной Сталина, проводившей знак равенства между фашистами и социалистами.) От коммунистов в Ливорно выступал Терначини.

Через год после II конгресса Коминтерна состоялся III, и Терначини от имени итальянской делегации (в этом участвовали также немцы и австрийцы) предложил поправки к Тезисам о тактике Интернационала — настолько радикальные и экстремистские, что выступил Ленин и начал свою речь так: «Товарищи! К моему большому сожалению, я должен ограничиться самообороной. Я говорю — к большому сожалению, потому что после ознакомления с речью тов. Терначини и с поправками, внесенными тремя делегациями, мне очень хотелось бы перейти в наступление, ибо против взглядов, которые защищали Терначини и эти 3 делегации, необходимы, собственно говоря, наступательные действия. Если конгресс не будет вести решительного наступления против таких ошибок, против таких «левых» глупостей, то все движение осуждено на гибель. Таково мое глубокое убеждение. Но мы — организованные и дисциплинированные марксисты. Мы не можем удовлетворяться речами против отдельных товарищей. Нам, русским, эти левые фразы уже до тошноты надоели».

«Очень важно относиться критически к своим ошибкам...— говорил Ленин.— Во многих странах мы не научились даже тому, как овладевать руководством. Мы победили в России потому, что на нашей стороне было не только бесспорное большинство рабочего класса (во время выборов в 1917 году с нами было подавляющее большинство рабочих против меньшевиков), но и потому, что половина армии, непосредственно после захвата нами власти, и $^{9}/_{10}$ крестьянской массы в течение нескольких недель перешли на нашу сторону; мы победили потому, что приняли не нашу аграрную программу, а эсеровскую и осуществили ее на практике. Наша победа в том и заключалась, что мы осуществили эсеровскую программу; вот почему эта победа была так легка. Разве у вас, на Западе, могут быть подобные иллюзии? Смешно! Сравните же конкретные экономические условия, тов. Терначини и все вы, подписавшие предложение о поправках!»

И наконец: «Мы не должны скрывать наши ошибки перед врагом. Кто этого боится, тот не революционер. Наоборот, если мы открыто заявим рабочим: «Да, мы совершили ошибки», то это значит, что впредь они не будут повторяться и что мы лучше сумеем выбрать момент. Если же во время самой борьбы на нашей стороне окажется большинство трудящихся,— не только большинство рабочих, но большинство всех эксплуатируемых и угнетенных,— тогда мы действительно победим»[8].

Эта речь была произнесена 1 июля 1921 года, после Ливорнского конгресса прошло немногим более пяти месяцев. В Ливорно в состав ЦК из группы «Ор-

[8] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, с. 23—33.

дине нуово» были избраны Грамши и Террачини, «Ордине нуово» объявили одним из партийных органов, а главным, центральным органом партии стал двухнедельный журнал «Иль комуниста». На первом заседании делегатов, покинувших конгресс социалистической партии и отправившихся из театра Гольдони в театр Сан-Марко, чтобы оформить создание коммунистической партии Италии, секции 3-го Интернационала, председательствовал Кабакчиев. Был принят МАНИФЕСТ, адресованный всем трудящимся Италии. Длинный манифест, в котором нет ни слова об угрозе фашизма. Ни слова.

Это поразительно и очень страшно. На конгрессе социалистической партии, до раскола, о фашистской угрозе тоже почти не говорили. Кто-то говорил, но бегло, вскользь, между прочим. Говорили о самых высоких материях (в партии было много профессоров экстра-класса), ругали «клерикалов», ругались между собой, доходило до скандалов и до драк — чего только не происходило на конгрессе в Ливорно. Но никто не думал и не говорил о том, что сквадристы Муссолини уже рвутся к власти. Кабакчиев вел себя, мягко говоря, не слишком цивилизованно, и лейтмотивом его речей были обвинения в оппортунизме. Турати выступал два раза. Мы уже знакомы с его проповедью отказа от насилия. Он тоже не вполне отдавал себе отчет в реальности фашистской угрозы. Не видел ее и Лаццари, то есть поколение, создававшее эту партию. Но не видели и другие, молодые, те, кто потом ушел в театр Сан-Марко. И Турати сказал, что никогда ни один буржуазный суд, даже военный трибунал, не были такими свирепыми, как выступавшие на этом конгрессе в Ливорно.

Но один раз он все-таки произнес слово «фашизм». Цитирую речь Турати: «Мы слишком много боремся против самих себя, мы слишком часто помогаем своим врагам: мы создаем фашизм, Партито пополаре (первая в истории Италии католическая партия.— *Ц. К.*), пугаем, запугиваем сверх меры, прокламируем с исключительной наивностью — даже вопреки правилам конспирации — подготовку к заключительному акту... Мы создаем контрреволюцию, и, друзья мои, не всегда будет возможным пользоваться зонтиком под именем Турати». В стенограмме: смех, одобрения. Турати закончил словами «Да здравствует социализм!», и была овация. Но раскол остается расколом, трагедия остается трагедией.

Через три года после раскола, 15 марта 1924 года, Грамши опубликовал в «Ордине нуово» статью под заголовком «Против пессимизма», важную и сложную. И горечь, и — вопреки всему — чувство гордости. Цитируем: «Мы были — надо сказать это — вовлечены в стихию происходивших событий. Мы были, того не желая, одним из аспектов всеобщего распада итальянского общества, превратившегося в раскаленное горнило. Все традиции, все исторические формирования, все идеи перемешивались, порой не сохраняя ничего. Нам оставалось одно утешение, и мы за него крепко держались: нас никто не спасал. Мы имели право утверждать, что предвидели с математической точностью все эти катаклизмы, в то время как другие успокаивали себя самыми наивными, самыми идиотскими иллюзиями. Это единственное, чем мы можем оправдывать нашу деятельность после Ливорно»[9].

В Москве первый том избранных статей и речей Тольятти, изданный Политиздатом[10], открывается важнейшим материалом: «Формирование руководящей группы Итальянской коммунистической партии в 1923—1924 годах». Это своего рода монтаж: Тольятти написал как бы введение, разделенное на пункты, а потом привел тексты своих писем, адресованных в те годы Грамши, Террачини и еще одному коммунисту — Мауро Скоччимарро. К каждому из писем Тольятти написал короткое предисловие. В предисловиях — богатая информация о положении в итальянской партии и в Коминтерне. Введение, критичное и самокритичное, состоит из девяти пунктов. Это осмысление пережитого опыта, о себе Тольятти пишет в третьем лице. Большое значение имеют оценки личных взаимосвязей и взаимоотношений между теми, кто войдет в состав новой руководящей группы.

Тольятти подробно пишет о конгрессе в Ливорно (на котором он не присутствовал и не был избран в состав ЦК). Он подчеркивает, что суждения об этом конгрессе противоречивы: успех или неуспех. И продолжает: «Был найден и сейчас впервые публикуется отрывок из работы Грамши, в которой он утверждает, что «раскол в Ливорно (отрыв большинства итальянского пролетариата от Коммунистического Интернационала) безусловно явился самым большим триумфом реакции». Примерно так же выражалась Клара Цеткин, которая критически отзывалась и о стиле Кабакчиева.

Теперь будем ссылаться на этот том произведений Тольятти, а также на уже не раз цитированную «Историю Итальянской коммунистической партии» Паоло Сприано. Предварительно надо заметить, что на III и IV конгрессах Коминтерна, которыми руководил Ленин, итальянцы (Бордига, Террачини) чуть ли не обвиняли ИККИ в умеренности. Вернее сказать, Бордига прямо обвинял, а именно он был лидером партии.

Весной 1923 года Бордига из тюрьмы (фашизм — у власти, арестовывают многих и часто) прислал товарищам предложение обратиться к партии с манифестом и порвать с Коминтерном,— есте-

---

[9] Цитирую по: Paolo Spriano. Storia del Partito comunista italiano I. Da Bordiga a Gramsci. Torino, 1967, p. 121.

[10] Пальмиро Тольятти. Избранные статьи и речи, т. 1 (1923 — октябрь 1956 года). М., 1965.

ственно, Бордига выступал с экстремистски-левых позиций. Тольятти пишет о себе в третьем лице: «Удивление, с которым Тольятти встретил это предложение о разрыве, однако, не явилось еще отправным пунктом для политического отхода от старого руководства партии. Оно скорее поставило Тольятти в положение, из которого он не видел выхода».

Дальше — письма Тольятти к Грамши, к Террачини, характеристика многих руководителей и активистов партии, жалобы на Коминтерн, который проявлял большую гибкость и теперь желал слияния и примирения с социалистами. (Грамши в это время — представитель итальянской партии в Москве. Партия неизменно имела в Москве своего представителя, но они довольно часто менялись и не все были такого высокого морального и интеллектуального уровня, как Грамши и Террачини.) Письма Тольятти и его последующие примечания к этим письмам чрезвычайно интересны. И драгоценны с психологической, человеческой точки зрения.

Напоминаю, что основателями «Ордине нуово» были Грамши, Террачини, Таска, Тольятти. Но из этого не следует, что все они были личными друзьями. Они были в тот момент по многим вопросам единомышленниками и основывались на «туринском опыте». Турин — город-символ, крупнейший промышленный центр (предприятия ФИАТ). Туринские рабочие традиционно являлись — являются и сегодня — передовым отрядом итальянского пролетариата. Но неверно представлять себе группу «Ордине нуово» как содружество. Грамши был близок с Террачини, никогда не был близок с Таской, и его отношения с Тольятти не были «братскими». Это один из мифов, в которые верили — я и сама свято верила — до середины 60-х годов, когда были опубликованы в Италии некоторые документы.

Многие руководители социалистической и коммунистической итальянской партии были наделены политическим талантом и по праву вошли в историю итальянского и международного революционного движения. Но гении рождаются не каждый день. Грамши был гением, одним из лучших умов XX века. И, будучи сыном этого века, он не мог не оказаться также жертвой страстей, не мог не разделять каких-то, порой серьезнейших, заблуждений. Не станем рисовать все идиллически, это было бы неправдой. Но правда то, что этот гениальный человек славен не только мощным интеллектом, но и подлинным благородством. И что судьба его оказалась поистине трагической.

Мы не пишем историю группы «Ордине нуово» и не можем рассказывать о взаимоотношениях, контрастах, противоречиях — политических и личных — внутри этой группы. А также об отношениях ее членов с Амадео Бордигой, сильной и яркой личностью, человеком, совершенно убежденным в своей правоте и тогда, когда он совершал фантастические ошибки. Фантастические потому, что весь склад его мышления был схоластическим, и Бордига нагромождал одну абстракцию на другую, втягивая товарищей по партии в свои политические игры. Хотя слово «игры» не означает здесь политиканства, оно означает фанатизм, ведущий к головокружительным провалам и ошибкам. (Еще раз напоминаю в этой связи о ленинской работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».)

Тольятти, как он сам признает, испытывал сильное влияние Бордиги. В то же время отношения Тольятти с Анджело Таской с самого начала были формальными, товарищескими, но отнюдь не дружескими. Впрочем, Таску многие (даже Грамши) упрекали за «интеллигентский снобизм». Таска начал политическую деятельность раньше, чем другие его товарищи из группы «Ордине нуово» и, возможно, считал их еще неопытными.

Тольятти пишет, что в первое время (после Ливорно) «представление о партии было скорее представлением об организации военного, а не политического типа, но военной организации старого образца, бездушной, основанной на чистом подчинении и, следовательно, на почти сверхчеловеческой способности «вождя» или ограниченной руководящей группы заниматься всем, откликаться на любые события соответствующими распоряжениями и отдавать в нужный момент все необходимые «директивы» и приказы». В конце концов (вскоре после Ливорно) многим стало ясно, что так продолжать немыслимо. «Многие были против этой линии, но молчали». В марте 1922 года состоялся II съезд Итальянской коммунистической партии и состав ЦК несколько изменился, в частности Тольятти был избран в ЦК. Но лидером оставался Бордига, а через несколько месяцев после этого съезда представителем итальянской партии в Исполкоме Коминтерна был направлен Грамши.

Перечислять все сектантские ошибки коммунистической партии Италии в те годы невозможно, их было слишком много. Один пример: еще в первые месяцы 1921-го спонтанно возникло широкое народное движение «Ардити дель пополо» (народные смельчаки). Это были вооруженные группы, готовые дать отпор фашистским сквадристам, «рыцарям дубинки». И давали отпор. Это были смелые и самоотверженные люди, представители народных масс, стремившиеся преградить путь фашизму. Но коммунистическая партия не только не поддержала «Ардити дель пополо», а даже запретила своим членам вступать в отряды. Почему? Потому что они возникли сами по себе, а не по инициативе, тем более не под руководством партии. Тольятти пишет: «Это было серьезной ошибкой сектантского схематизма». Комментировать, наверное, излишне.

Все это Пальмиро Тольятти писал несколько десятилетий спустя, после второй мировой войны, после краха фашизма,— фашисты захватили власть, как

известно, в октябре 1922 года. И воздадим Тольятти должное, процитировав один важный его текст, включенный в изданный на русском двухтомник его работ: «Я считаю, что было бы большой и серьезной ошибкой при изложении истории рабочего движения и особенно партии, членом и руководителем которой состоял и состоишь, утверждать и пытаться доказать, что эта партия и ее руководство всегда поступали правильно, наилучшим образом. В этом случае в конечном счете получается изображение непрерывного триумфального шествия. А подобное изображение глубоко неверно, оно далеко от действительности и опровергается этой действительностью. Ведь ни одна из рабочих коммунистических партий, кроме русских большевиков, не имела во главе Ленина».

Но Ленина больше нет, и после его смерти меняется ход мировой истории. Положение всех коммунистических партий тесно связано с развитием событий в России. Внутри итальянской партии очень серьезные разногласия. Бордига атакует Коминтерн буквально по всем вопросам стратегии и тактики, он все еще — лидер партии, но фактически начинается период «междуцарствия». ИККИ еще раньше хотел избавиться от Бордиги и просил Грамши возглавить партию, но Грамши отказался, не желая быть нелояльным по отношению к Бордиге. Итальянцы дискутировали с ИККИ по многим вопросам, но с разных позиций: не только «слева» (Бордига), но и «справа» (Таска)...

В Италии фашисты производят аресты. Грамши не может выехать из Москвы, так как ордер на арест выдан и на него. Личные взаимоотношения внутри руководства компартии (им удается даже из тюрем общаться друг с другом) обострены из-за различия многообразных позиций. Грамши остается в Москве с мая 1922-го по декабрь 1923-го, потом он в Вене. В мае 1924-го в Комо почти нелегально собираются высшие руководители итальянской партии. Все понимают, что необходим какой-то решительный поворот, хотя Зиновьев предупреждал, что все-таки надо порывать с Бордигой.

Четыре конгресса Коминтерна проходили при жизни Ленина. Во второй половине июня 1924-го созывается V конгресс. После II конгресса, провозгласившего, что повсеместно существует революционная обстановка, прошло четыре года. В России советская власть укрепилась, но в Европе никаких удавшихся революций не произошло.

В Италии фашисты совершили преступление, вызвавшее потрясение во всем цивилизованном мире: среди белого дня в мае 1924 года фашисты похитили и зверски убили депутата парламента, друга Турати — Джакомо Маттеотти, который бесстрашно разоблачал выходки террористов и бесчинства во время выборов. Режим зашатался. Грамши был избран депутатом парламента и из-за «кризиса Маттеотти» не поехал на конгресс Коминтерна. Впервые в Советскую Россию в составе большой итальянской делегации приехал Тольятти. В Москве уже были Бордига, Террачини, Серрати, который представлял «терцини» (социалистов, желавших непременно вернуться и вернувшихся в ряды Интернационала). В составе делегации был и Таска.

К моменту открытия V конгресса Интернационала «русский вопрос» — речь идет о внутренней ситуации в РКП(б) после смерти Ленина — казался более или менее разрешенным. Явно возросло влияние Сталина. Председатель Коминтерна Зиновьев призывает к «интегральному ленинизму», то есть к борьбе против крайне правых, но также и крайне левых. Зиновьев вежливо предупреждает Бордигу: «Бордига нам дорог, но Интернационал еще более дорог». Сприано пишет, что «Бордига одновременно — побежденный и победитель конгресса».

Итальянская партия готовится к своему III съезду, который приходится провести за границей. Выбирают Лион. III съезд Итальянской коммунистической партии, секции 3-го Интернационала, с точки зрения организации — в условиях слежки и фашистских преследований — считают «шедевром»: около семидесяти делегатов, кто с фальшивыми паспортами, кто вообще без паспорта, через 11 разных пунктов пересекают границу. Съезд продолжается с 20 по 26 января 1926 года в условиях строжайшей конспирации. Из Москвы приезжает один из секретарей ИККИ — швейцарец Жюль Эмбер-Дро, который был и в Ливорно, и вообще, так сказать, курировал итальянскую партию. В Лионе Грамши делает доклад, а Бордига — контрдоклад. Выступали и Серрати и Таска. Генеральным секретарем партии избирается Грамши. Уступив уговорам Грамши, Бордига соглашается войти в состав ЦК, представляя левую группу. Входят также Террачини, Таска, Тольятти (вся группа «Ордине нуово»), Серрати. «Русский вопрос», судя по всем источникам, в Лионе не дебатировался. Эмбер-Дро всех успокаивал. Номинально Коминтерн еще возглавлял Зиновьев, хотя фактически — уже Бухарин и Сталин.

Тольятти направлен представителем итальянской партии в ИККИ. Роковой 1926 год. В Москве с 18 по 31 декабря 1925 года проходил XIV съезд ВКП(б), а в январе 1926-го всем секциям было разослано официальное письмо с просьбой «не переносить дискуссию по русскому вопросу в ряды Интернационала», и все как будто с этим согласились. Многие западные исследователи, в том числе коммунист Джулиано Прокаччи, заявляют (цитируем Прокаччи): «XIV съезд начал новый курс в истории СССР. Доминирующей фигурой станет Сталин, и сталинизм все больше будет превращаться в официальную идеологию Советского государства»[11]. Луиджи Лон-

[11] Paolo Spriano. Storia del Partito comunista italiano II. Gli anni della clandestinità. Torino, 1969, p. 3.

го так говорил об этом периоде, отвечая на вопросы Карло Салинари:

«...Именно в период моего пребывания в Москве обозначились самые резкие контрасты в позициях большевистских руководителей. Контрасты, которые, разумеется, вызвали отклик и нашли отражение также в дебатах в Коминтерне. Именно в 1926 году обострилась борьба против троцкизма и приняла очень жесткие формы в партийных ассамблеях. Как ты помнишь, по касательной полемика затронула также и Коминтерн». Салинари: «Но разве не было решения самой русской партии не переносить в Коминтерн и в братские партии внутренние споры?» Лонго: «Такое решение было действительно принято на XIV съезде большевистской партии, но осталось на бумаге, потому что разногласия внутри русской партии касались не только проблем построения социализма в СССР, но также и проблем мировой революции, организации и руководства Коминтерна. Кроме того, тот факт, что Зиновьев, председатель Коммунистического Интернационала и столько лет его бессменный руководитель, начал склоняться к тезисам Троцкого, делал еще более трудной и деликатной позицию руководства Коминтерна, которое подозревали в том, что оно разделяет позицию своего президента. Поэтому она (деятельность руководства ИККИ) постоянно вызывала замечания или возражения со стороны членов русской делегации, дисциплинированно подчинявшихся указаниям своего Политбюро»[12].

Добавим, что начиная с весны 1925 года в работе руководящих органов Коминтерна стал принимать активное участие Сталин, понимая, как считает итальянский исследователь-коммунист Джузеппе Берти, что «нельзя разбить Троцкого в России, не сокрушив также его международный авторитет».

Цитируем текст Берти, его предисловие к архивам Анджело Таски: «Сталин понимал, что стать наследником Ленина означало не только стать его наследником в России. Хотя отныне СССР пошел по пути построения социализма в одной стране и хотя Сталин считал русский фактор решающим и придавал меньше значения подчинявшемуся Коминтерну, он все же отдавал себе отчет, что для того, чтобы единолично возглавлять руководство коммунистическим движением в России, надо было быть признанным главой мирового коммунистического движения. Отсюда особенно острый интерес Сталина к Коминтерну в период от 1925 до 1929 года. Разбив Троцкого, разбив Зиновьева, разбив, наконец, и Бухарина, после 1929 года Сталин приступает к «новому курсу». Он продолжает руководить, но через других лиц (Молотов, Мануильский, Пятницкий, Кусинен и — позднее — Димитров и Тольятти), сверху, на расстоянии. Иначе говоря, с 1925 года Итальянская коммунистическая партия стала иметь дело с новым вождем»[13].

Теперь мы возвращаемся к расширенному VI пленуму ИККИ, проходившему в Москве с 17 февраля 1926 года. Итальянскую делегацию возглавлял Тольятти. В нее входило несколько человек, в том числе с правом совещательного голоса Джузеппе Берти, который в те годы представлял в Москве Итальянскую коммунистическую молодежную организацию. 21 февраля Тольятти собрал свою делегацию для того, чтобы предварительно посоветоваться. После того как он зачитал по-итальянски своим товарищам тезисы доклада Зиновьева, Бордига заявил, что им подготовлены «другие тезисы», а по прочитанным тезисам он не желает высказываться. И тут же встал и ушел.

Джузеппе Берти предполагает, что, по всей вероятности, Тольятти в тот же вечер сообщил о происшедшем Сталину. Во всяком случае, вечером их известили, что Сталин на следующий день встретится с итальянцами и ответит на все их вопросы. Эта знаменитая встреча состоялась 22 февраля 1926 года. Председательствовал Тольятти. Кроме итальянцев присутствовала Фанни Езерская, польская коммунистка, работавшая секретарем Розы Люксембург, а после ее убийства — секретарем Клары Цеткин, Литвинова, затем — в советском представительстве в Риме. Езерская очень дружила с итальянцами, которые уважали ее и любили. На встрече она переводила. Присутствовал там и ныне здравствующий, живущий в Москве К. В. Кобылянский.

Протокол, включенный в архив Таски, занимает семь страниц. Задавали вопросы несколько человек, но больше и острее всех — Бордига. Если верить Берти, накануне вечером Бордига отправился к Троцкому и беседовал с ним «до зари». Приведем лишь один вопрос, заданный Бордигой: «Думает ли товарищ Сталин, что развитие русской революции и внутренние проблемы русской партии связаны с развитием международного пролетарского движения?» Сталин: «Такого вопроса мне никогда не задавали. Я не мог себе даже представить, что коммунист может обратиться ко мне с таким вопросом. Да простит вас бог, что вы это сделали».

Бордига, однако, продолжал задавать свои вопросы. Знаменитая встреча обросла мифами, но мы основываемся на протоколе, не упоминая ни о каких мифах. На другой день Бордига выступил и на пленуме ИККИ, вызвав на себя огонь. Бухарин три четверти своего выступления посвятил полемике с ним. Тольятти безуспешно пытался несколько сгладить остроту ситуации. Другие делегации тоже реагировали, особенно германская, в составе которой были представлены раз-

---

[12] Luigi Longo—Carlo Salinari. Dal socialfascismo alla guerra di Spagna. Milano, 1976, p. 17-18.

[13] Istituto Giangiacomo Feltrinelli. ANNALI anno ottavo 1966. Milano, 1966, p. 258.

личные фракции с их бесчисленными проблемами. Вообще в тот период братские партии очень интересовались делами друг друга и активно в них вмешивались. А Паоло Сприано, который всей этой истории уделил много внимания, писал, хорошо зная своих персонажей, их личные качества и образ действий, что «Амадео Бордига всегда соответствует самому себе, то есть остается „бордигиано"».

Летом 1926 года борьба внутри ЦК ВКП(б) еще более обострилась. На пленуме ЦК в июле отвергаются все предложения оппозиции, Троцкий еще остается в составе Политбюро, но Зиновьев уже выведен, и его дальнейшее пребывание в ИККИ — под вопросом. Иностранная буржуазная печать следит за событиями в России с вниманием и злорадством, противники коммунизма надеются на развал, а коммунисты глубоко встревожены. И вот 14 октября 1926 года Грамши по поручению Политбюро своей партии составляет и отправляет в Москву письмо, адресованное ЦК ВКП(б). Письмо решительное, подробное, очень ясное и глубоко трагическое. Подтверждается, что итальянская партия решительно поддерживает линию б о л ь ш и н с т в а (то есть Сталина). Однако потом следует такой текст: «Товарищи, на протяжении девяти лет мировой истории вы были для революционных сил всех стран организующим и вдохновляющим фактором. Роль, которую вы играли, по широте и глубине не знает себе равной в истории человеческого рода. Но сегодня вы разрушаете сотворенное вами, вы деградируете и рискуете аннулировать руководящую роль партии СССР, завоеванную благодаря стимулирующему толчку, данному Лениным». Затем Грамши пишет, что русские коммунисты, «со страстью и яростью» погрузившиеся в свои проблемы, как будто забывают о том, чем они являются для всего движения.

И дальше: «Это, дорогие товарищи, мы хотели вам сказать, как братья и друзья, хоть мы и младшие братья. Товарищи Зиновьев, Троцкий, Каменев внесли большой вклад в наше революционное воспитание, они не раз очень энергично и строго поправляли нас, они принадлежат к числу наших учителей. Мы обращаемся в особенности к ним, считая, что они больше всех ответственны за создавшееся положение. Но мы хотим быть уверенными в том, что большинство ЦК Компартии СССР не собирается злоупотреблять своей победой и не намерено предпринимать излишних мер. Единство нашей братской русской партии необходимо для развития и триумфа всех международных революционных сил. Во имя этой необходимости каждый коммунист и интернационалист должен быть готов принести любые жертвы. Вред, причиненный какой-либо ошибкой внутри объединившейся партии, легко исправим. Вред от раскола или от продолжительного периода втайне зреющего раскола может быть непоправимым и смертельным.

С коммунистическим приветом
Политбюро ИКП»[14].

Письмо получает находящийся в Москве Тольятти, который с ним решительно не согласен и 18 октября пишет длинный ответ, адресованный лично Грамши, состоящий из пяти пунктов и мотивирующий ошибочность позиции Политбюро итальянской партии. Главное обвинение заключается в том, что итальянцы, обращаясь к большинству и к оппозиции в ЦК ВКП(б), не делают между ними различия. Хотя они и считают оппозиционеров «больше всех ответственными за создавшееся положение», но все-таки поставили тех и других на одну доску. Тольятти возражает против слов «больше всех», поскольку получается, что и большинство в чем-то несет ответственность. Затем (цитирую письмо Тольятти): «Выражение «но мы хотим быть уверенными в том, что большинство ЦК Компартии СССР не собирается злоупотреблять своей победой и не намерено предпринимать излишних мер» недостаточно определенно, допускает и нежелательное истолкование: «хотим быть — значит, в этом не уверены».

Грамши решительно не согласился с доводами Тольятти и послал ему резкое письмо. Обмен письмами был предан гласности в 1964 году в журнале «Ринашита», партийном органе, основанном Тольятти. Тогдашнему директору «Ринашиты» Феррари, видимо отвечая на его вопрос, Тольятти написал об обстоятельствах всего этого дела. Цитируем: «Во всяком случае, я передал письмо Николаю Бухарину, возглавлявшему тогда делегацию большевистской партии в Исполкоме Интернационала и, конечно, в Секретариате. Думаю, что Бухарин довел это письмо до сведения Политбюро большевистской партии. Что до Секретариата Интернационала, он решил послать в Италию одного из своих представителей, чтобы лучше информировать Политбюро итальянской партии относительно создавшегося положения».

Тольятти поясняет, что ИККИ направил в Италию Жюля Эмбера-Дро. Его послали с целью разъяснить ИКП положение «и убедить в необходимости бороться против течения Троцкого — Зиновьева. В Москве боялись, как бы ИКП не перешла на троцкистские позиции». Насколько он помнит, ЦК ИКП занял противоположную, не троцкистскую, позицию, но «не одобрил методы руководства советской коммунистической партии».

Именно потому, что Грамши придавал исключительное значение встрече с представителем ИККИ и всему этому вопросу, он поехал на нелегальное собрание своего ЦК (в лесу, в окрестностях Генуи). Но в поезде полицейский чин ему вежливо посоветовал вернуться в Рим. Грамши боялся навести полицию на след товарищей и вернулся. Собрание длилось с 1 по 3 ноября, многие члены ЦК не смогли приехать из-за положения в стране.

[14] "Rinascita", Roma, 30 maggio, 1964

Сприано — уже не в многотомной «Истории...», а в одной опубликованной позже и основанной на документах книге («Грамши в тюрьме и партия»)[15] — пишет о том, как в то самое время, когда Антонио Грамши 31 октября поехал на встречу с Эмбером-Дро, пятнадцатилетний мальчик совершил покушение на Муссолини, фашисты озверели и решили более не считаться с положением о неприкосновенности депутатов парламента. 8 ноября Антонио Грамши был арестован в Риме и заключен в тюрьму. 5 декабря его отправляют в ссылку в Устику, где он вместе с Бордигой и другими товарищами организует школу для ссыльных. Бордиге удается связаться с оставшимися на воле коммунистами, они готовят план побега Антонио Грамши, но 20 января 1927-го на Грамши надевают кандалы и увозят в миланскую тюрьму Сан-Витторе. Готовится громкий процесс. Грамши, Террачини и другие руководители партии — главные обвиняемые. Их судит военный трибунал (процесс продолжается с 28 мая по 4 июля 1928 года). Прокурор цинично заявляет, что мозгу Грамши «надо лет на двадцать помешать работать», его приговаривают к 20 годам 4 месяцам и 5 дням тюремного заключения. Террачини — к еще более длительному сроку.

Сохранились бессмертные «Тюремные тетради» и «Письма Грамши из тюрьмы», он писал их близким, они подвергались тюремной цензуре. В тетрадях, как и в письмах, неоднократно, как лейтмотив, проходит одна мысль. Грамши считает, что он «осужден не только трибуналом Муссолини». А кем, кроме трибунала Муссолини? Все окружено мраком, высказываются различные предположения. До сих пор неизвестно, насколько серьезно желало в те годы советское правительство (если вообще желало) добиться освобождения Грамши в обмен на кого-либо или по другим каналам. Есть много гипотез, и, как выражается Сприано, «все гипотезы правдоподобны».

Мы еще вернемся к теме Антонио Грамши, одному из стольких трагических сюжетов истории XX века, а пока — о том, что происходило в Коминтерне и в ИКП после ареста Грамши, Террачини и многих других.

В Москве с 17 июля по 1 сентября 1928 года проходит VI конгресс Коминтерна. Один из руководителей ИКП Джорджо Амендола писал: «В начале 1928 года отношения с Коммунистическим Интернационалом были хорошими. Тольятти за год своего пребывания в Москве в качестве представителя ИКП при Коминтерне завоевал сильную позицию, и линия Лионского конгресса естественно вписывалась в направление, принятое Коммунистическим Интернационалом после того, как был удален Зиновьев и руководить Коминтерном стал Бухарин. На работе VII пленума ИККИ, разумеется, не мог не сказаться разрыв, происшедший в советской партии, между блоком оппозиционеров (Троцкий, Зиновьев, Каменев) и большинством ЦК, объединившимся вокруг Сталина. Сыграл свою роль и выбор позиции, сделанный Тольятти после драматически прервавшейся переписки с Грамши»[16].

Звучит почти идиллически. Потом Амендола описывает ход конгресса, решительно провозгласившего, что на первый план выдвигается задача борьбы против социал-демократии. При этом он замечает, что итальянская делегация была шокирована грубостью и примитивностью некоторых выступлений и формулировок. Основной доклад на конгрессе сделал Бухарин. Выступление Тольятти — от имени итальянской делегации — очень интересно. Во-первых, Тольятти четко говорит о фашизме, ничего не упрощая и не схематизируя. Во-вторых, касаясь положения в итальянской партии, Тольятти осторожно, но недвусмысленно характеризует кадровые проблемы всего Интернационала. Он заверяет, что итальянцы организационно покончили с бордигианством и т. д. И далее: «Если что-либо из опыта внутренней жизни нашей партии в период между V и VI конгрессами можно считать универсальным, то это вывод: формирование руководящего центра партии должно отвечать политической линии партии и происходить на основе открытой политической борьбы, коль скоро она оказывается необходимой. Признаем, что в некоторых случаях этому правилу не следовали, а заменяли его методом беспринципной борьбы и компромиссов между различными группами. В этом таится опасность. Если мы хотим найти девиз для формирования руководящих центров наших партий, нам следует обратиться к последним словам умиравшего Гёте: «Больше света!» Авангард пролетариата не может бороться во мраке. Генеральный штаб революции не может формироваться в беспринципной фракционной борьбе»[17].

В эти же дни, когда заседал конгресс, была опубликована важная статья Тольятти «По поводу фашизма». Приближалось время «социал-фашизма» и связанных с этим событий в международном движении. Этот период будут называть словом п о в о р о т, словом, которое в то время приобретет зловещее значение. Грамши и Террачини — в тюрьме. Таска, член делегации, остается в Москве как очередной представитель своей партии в Коминтерне. Амендола горько упрекает Тольятти за такое решение и отзывается о Таске исключительно резко. Амадео Бордига — в ссылке. 1 сентября 1928 года VI конгресс принимает Программу Коммунистического Интернационала.

VI конгресс Коминтерна — цитирую Советский Энциклопедический Словарь — «определил тактическую линию компар-

[15] P a o l o S p r i a n o. Gramsci in carcere e il Partito. Roma, 1977.

[16] G i o r g i o A m e n d o l a. Storia del Partito comunista italiano 1921-1943. Roma, 1978, p. 135.

[17] P a l m i r o T o g l i a t t i. Opere 2. Roma, 1972, p. 440.

тий, исходя из перспективы пролетарской революции как непосредственной задачи дня».

Можно ли проводить параллель между благородными иллюзиями 1920 года и тем, что происходило на VI конгрессе восемь лет спустя? Такую параллель, я убеждена, проводить никак нельзя. Что касается речи Тольятти, в которой он цитирует предсмертные слова Гёте «Больше света!», то эту речь ему не дали произнести до конца под тем предлогом, что он исчерпал время для выступления. «Кому-то» речь не понравилась до такой степени, что не все даже было включено в стенографический отчет, и полный текст выступления Тольятти был помещен только в «Ордине нуово», печатавшемся тогда в Париже. На папиросной бумаге, чтобы легче было провозить нелегально в Италию. На это в Исполкоме ИККИ закрыли глаза, важно было не допустить появления полного текста в официальных изданиях Коминтерна.

Все в том же 1928 году в германской партии произошли печальные события — почти мелодрама, о которой пишут буквально все итальянские исследователи. Выбираем один источник [18]— книгу Альдо Агости «Коммунистический Интернационал». Произошло следующее. В городе Гамбурге руководитель местной организации Витторф, попросту говоря, украл из партийной кассы 1850 марок. Этот Витторф был «человеком Тельмана», который узнал о том, что случилось, но предпочел скрыть. Насколько известно, Тельман сам внес украденные деньги в кассу и надеялся, что продолжения этой истории не последует. Однако каким-то образом о подробностях ее узнали работники из другой, не тельмановской фракции, и среди них — пользовавшийся большим авторитетом Гуго Эберлейн (один из руководителей «Союза Спартака», член ЦК, делегат I, IV и VII конгрессов Коминтерна, в 1935—1937 годах — член Интернациональной контрольной комиссии).

Гамбургская организация исключила Витторфа из партии, но Эберлейн и другие потребовали срочно созвать заседание ЦК. Оно состоялось 26 сентября 1928 года. Подтвердили исключение Витторфа, но серьезные обвинения были предъявлены и самому Тельману. История произошла еще весной, Тельман объяснял свои действия тем, что не хотел наносить ущерб репутации партии. Но противники заявляли, что Тельман руководствовался интересами своей фракции, и сочли все настолько серьезным, что подавляющим большинством (сам Тельман тоже голосовал за это!) решили отстранить Тельмана от руководства партией до окончательного выяснения всех обстоятельств.

Узнав о том, что произошло, Сталин послал в Германию двух представителей ИККИ в качестве эмиссаров, но отменить решение от 26 сентября им не удалось. VI конгресс давно закончился, и многие деятели Коминтерна поехали отдыхать в Крым или на Кавказ. В Москве не было ни Бухарина, ни Мануильского, ни Пятницкого, ни Белы Куна, ни Эмбера-Дро. 6 октября Сталин собрал на совещание тех руководителей ИККИ, кто был в Москве, всего несколько человек. Оно вошло в анналы под названием странного заседания. На «странном заседании» Тельмана, правда, осудили, но на посту руководителя партии оставили, а главный удар направили против тех, кто хотел «использовать гамбургский инцидент во фракционных целях».

Как раз в этот день Тольятти пишет Таске, который заменяет заболевшую Камиллу Раверу на посту представителя итальянской партии в ИККИ, сверхконфиденциальное, но в то же время сверхосторожное письмо. Излагает суть дела, но настойчиво просит ни в коем случае не ввязываться во всю эту историю. Тольятти объясняет, что речь идет о фракционной борьбе, что «с моральной точки зрения» поведение Тельмана, конечно, следует осудить, однако... Таска дает слово «ни в коем случае» не ввязываться.

Между Таской и Тольятти начинается почти лихорадочный обмен письмами. Немцы пишут тому и другому. Обстановка внутри Коминтерна становится все напряженнее. Конечно, в основе всего этого — русский вопрос: взаимоотношения между Сталиным — Бухариным — «левой оппозицией» и т. д. Но Таска, обещавший не ввязываться, уже 4 ноября пишет своей партии, что обстановка очень накаленная и что он, Таска, разобрался в том, что произошло в Германии.

Разобрался или не разобрался, но суждения его беспощадны. Вообще после «странного заседания» произошел общий взрыв морального негодования. Потом многие перестали негодовать и протестовать, но не все (например, не Эмбер-Дро). 14 декабря Таска пишет своим товарищам откровенное письмо, смысл которого заключается в том, что он не намерен больше придерживаться традиционной итальянской тактики: маневрировать, спорить по пустякам, тянуть, искать компромиссы.

Некоторое время Тольятти как будто даже поддерживал Таску, но потом все решительно переменилось. Почему? Дело в том, что из Москвы приехал представитель ИККИ и рассказал следующее. 19 декабря 1928 года Сталин открыл заседание Президиума ИККИ, посвященное «немецкому вопросу», выступил лично и в самой резкой форме напал на Эмбера-Дро и на Таску (прежде всего — на Эмбера-Дро), обвинил их в оппортунизме и т. д. Почти все проголосовали за предложения Сталина. Лишь Клара Цеткин проголосовала против, а Таска воздержался. Его это, однако, не спасло, так как на том же заседании представитель Коммунистического Интернационала молодежи обвинил Таску, будто тот «пытается натравить итальянскую партию на Коминтерн».

[18] Aldo Agosti. La Terza Internazionale. Storia documentata III. Roma, 1979.

Таска еще раньше просил заменить его в Москве кем-нибудь другим, и партия согласилась. Эмбер-Дро тоже заявил, что не желает оставаться в Москве и уезжает к себе в Швейцарию. 15 января 1929-го Таска приходит попрощаться с Кларой Цеткин. а потом вместе с Эмбером-Дро наносит прощальный визит Бухарину, которого они оба глубоко уважают. Через два дня, 17 января, Таска уезжает из Москвы и перед отъездом обращается с письмом в Политический секретариат Коминтерна. Он требует, чтобы был исправлен текст протокола заседания 19 декабря, когда «товарищ Сталин фальсифицировал его (Таски) мысль и высказывания». Никакой реакции на это письмо не последовало.

Из Берлина 20 января 1929 года Таска направляет письмо Исполкому своей партии, в котором подводит итоги своего московского опыта и мотивирует свои поступки. Многие исследователи отмечали, что, как правило, «интеллигентский снобизм» не позволял Таске признавать собственные ошибки. По существу, он не признал их также и на этот раз. Приводим целиком один пункт этого письма:

«5. Все упирается в Сталина. ИККИ не существует. ЦК ВКП(б) не существует. Сталин — «учитель и хозяин», который решает все. Находится ли он на высоте подобной ситуации? В состоянии ли он нести такую ужасающую ответственность? Мой ответ предельно ясен: Сталин неизмеримо ниже ее. Перечитайте всю его продукцию: вы не найдете ни одной собственной идеи. Он без зазрения совести пережевывает идеи, украденные у других, и преподносит их нам в этой своей схематической форме, создавая иллюзию силы мысли, которой нет. Идеи для него — это пешки, которые он двигает, чтобы выигрывать одну партию за другой. Некоторые в Москве растроганно думают, что Сталин «поступает как Ленин», который не раз выхватывал у противников аргументы и инициативу. Такого мнения придерживается даже... Дан в берлинском журнале меньшевиков. Сравнивать с Лениным хотя бы в этом плане — провокация и угодничество. Ленин часто вырывал аргументы из рук противников и иногда ими пользовался, чтобы проводить в жизнь принципы, которым он сам следовал, аргументы, которые были полезными, а порой и необходимыми (как в случае определения политики по отношению к крестьянам).

Порой это было удобно, так как противники включали некоторые положения в свои программы, а потом так и оставляли неосуществленными, потому что у них не хватало мужества для претворения их в жизнь. Во всяком случае «материалы», полученные таким образом, не были чужеродными, они ассимилировались, интегрировались в новой революционной системе. Сталин — плагиатор, потому что не может им не быть, потому что в интеллектуальном плане он посредствен и бесплоден, и потому, что он втайне завидует интеллектуальному превосходству Троцкого, Бухарина и других, чего он им простить не в состоянии. Он пользуется их идеями от раза к разу, от случая к случаю, в зависимости от обстоятельств. А потом, присвоив себе эти идеи, переходит в атаку против обворованных, ибо для него важны не принципы, но монополия на власть. Благодаря такой политике и таким методам Сталин в России — это знаменосец контрреволюции, человек, уничтожающий — пока у него есть свобода рук — дух и завоевания Октябрьской революции. Между Сталиным и Лениным лежит пропасть. Я считаю самым большим несчастьем, какое могло случиться в Советской России после смерти Ленина,— то, что вся власть сосредоточилась в руках Сталина. Русская партия и все мы дорого заплатим за то, что не посчитались с точными указаниями Ленина о нем. Сегодня Сталин зажал в кулак не только русскую партию, но весь Интернационал. И вопиющая диспропорция между такой властью и качествами, необходимыми, чтобы осуществлять ее, вызовет серию конвульсий, которые могут стать роковыми для Революции. Таким я вижу положение дел. Моя душа трепещет и не хочет смириться»[19]. Напоминаем дату: 20 января 1929 года. Поразительно!

В гостинице «Люкс» на Тверской улице, где живут иностранные товарищи, работающие в Коминтерне, еще никого не арестовывают, до этого остается несколько лет. Таска едет в Париж и пишет громадный доклад, который 28 февраля 1929 года обсуждает ЦК итальянской партии. Тольятти очень резко критикует Таску, заявив, в частности, что за три месяца пребывания в Москве Таска не мог сам все это продумать, значит, использовал «разные сплетни». И что вообще Таска еще со времен Ливорно вел себя сомнительно, а теперь полностью разоблачил свою суть. Еще до «обвинительного акта» Тольятти на том заседании ЦК ИКП Таска сам признал некоторые ошибки. Однако в основном и в главном он настаивал на своей правоте. Сприано пишет, что этот доклад — самый серьезный и выстраданный документ из всего когда-либо написанного Таской.

Прения были такими жесткими, что Таска предложил, чтобы его вывели из состава Политбюро итальянской партии. Его, однако, не вывели, только решили не распространять текст его доклада, о котором Сприано пишет, что еще в начале 1929 года Таска сумел сделать исключительно важный «фотографический снимок» — при том, что, конечно же, он не мог рассчитывать, что его позицию разделят другие. Цитируем Сприано: «Сам тон высказанных им соображений, их серьезность показывают, что он хотел сделать предупреждение. Если бы суждения Таски были приняты, это означало

---

[19] Istituto Giangiacomo Feltrinelli. ANNALI anno ottavo, cit., p. 670.

бы, что в отношениях с международным движением сожжены все мосты». Он добавляет, что сегодняшних читателей «потрясает острота и точность многих соображений Таски, корректность анализа, отказ от догм и от схем».

В Москве с 3 по 19 июля 1929 года заседает X расширенный пленум ИККИ. Идут гораздо дальше того, что было сказано на VI конгрессе. Именно во время этого пленума говорят о социал-фашизме как порождении социал-демократии. Бела Кун доходит до того, что утверждает: фашизм Муссолини родился из идей социал-демократов. С докладами на пленуме выступают Куусинен и Мануильский. Куусинен говорит: «У фашистов и у социалистов одинаковые цели; разница только в девизах и в методах». Кроме двух докладчиков и Белы Куна на пленуме выступают Лозовский, Молотов, Тельман и другие. В унисон. Итальянцы фактически находятся на скамье подсудимых. В частности, им не могут простить, что они до сих пор терпят в своих рядах Таску. Этого мало: Куусинен в заключительном слове спрашивает Тольятти, долго ли они будут проявлять такой же «такт» по отношению к Таске, какой проявляли по отношению к Троцкому. Итальянцы впервые беспрекословно подчиняются. Сприано и другие пишут об исключительно нервной атмосфере X пленума.

Через тридцать лет, в статье «Некоторые проблемы истории Коммунистического Интернационала», опубликованной в «Ринашите» в июле — августе 1959 года, а потом включенной в собрание сочинений, Тольятти напишет: «Самой серьезной ошибкой было, по моему мнению, определение социал-демократии как социал-фашизма; ошибочными были и вытекавшие отсюда политические последствия»[20]. Но это через тридцать лет. А в то время итальянская партия, как и другие, безропотно подчинилась. Тольятти возвращается в Париж, где находится заграничный центр партии, и повторяет все формулы. И позицию Коминтерна, отождествлявшего социалистов с фашистами, поддерживают все, кроме троих. Эти трое: Альфонсо Леонетти, Пьетро Трессо и Паоло Равайоли. Они несогласны и открыто возражают. Конец 1929 года знаменует начало нового периода истории революционного движения.

В первые два месяца 1930 года возникают серьезные противоречия, приведшие к расколу в руководстве Итальянской коммунистической партии. В Политбюро большинство возглавляет Тольятти. Меньшинство — трое перечисленных выше и находившийся в Швейцарии Транкуилли (Иньяцио Силоне). Созывают расширенный пленум ЦК ИКП, Тольятти обвиняет троих — так они и вошли в историю партии как «трое» — в «политической деградации и полной деморализации». И их исключают из партии. Разбираться во всех подробностях сейчас немыслимо. Факт тот, что ИККИ подтверждает исключение троих. Позднее исключат и Силоне, и примерно в этот же период — Амадео Бордигу. Известно, как относились ко всем этим событиям Троцкий, а также находящиеся в тюрьме Террачини и Антонио Грамши.

Террачини считает (все документировано, но мы не даем сносок), что Политбюро и ЦК ИКП «поддались панике», поскольку впервые в рядах партии возникло ясно выраженное недовольство руководством Тольятти. Он отказывается понимать, почему вдруг так быстро стали исключать из партии достойных коммунистов. И вообще Умберто Террачини против поворота в линии Коминтерна и, в частности, в позиции итальянской компартии. Грамши находится в тюрьме Тури (в Бари), и с ним происходит много странных, как он выражался, событий. Одно — очень важное. «Трое» были исключены из партии 9 июня 1930 года. Через шесть дней, 16 июня, Антонио Грамши посетил в тюрьме его брат Дженнаро, не член партии. Он рассказал Антонио обо всем, что произошло. Потом отправился в Париж и сообщил партийному центру, что Антонио «одобряет самые суровые меры». Так было принято считать. Но в 1966 году вышла серьезная и ответственная книга «Жизнь Антонио Грамши», автор которой, Джузеппе Фиори, лично говорил с Дженнаро. И узнал сенсационные вещи. Цитирую:

«Дженнаро сказал мне, что они могли говорить свободно, но недолго. «Я сказал брату то, что должен был сказать. Антонио был потрясен. Он разделял линию Леонетти, Трессо и Равайоли, осуждал их исключение и отвергал новую линию Коминтерна, с которой, по его мнению, Тольятти согласился слишком поспешно»[21]. На вопрос Фиори, почему Дженнаро дал неверную информацию Центру в Париже, Дженнаро ответил, что боялся. Боялся, что «Антонио Грамши смогут тоже обвинить в оппортунизме и исключить из партии». Сказал ли Дженнаро всю правду Джузеппе Фиори, воспроизвел ли ее точно?

Но мы имеем также свидетельства бывшего президента Республики, социалиста Сандро Пертини, который познакомился с Грамши в тюрьме Тури ди Бари. Одно из них приведено в книге «Живой Грамши», составленной племянницей Грамши. Пертини пишет: «В то время мы, социалисты, были для коммунистов «социал-фашистами». Но не для Грамши»[22]. И потом подробно — об одиночестве Грамши, о том, как он был изолирован от других коммунистов-заклю-

---

[20] Palmiro Togliatti. Opere 6. Roma, 1984, p. 396.

[21] Giuseppe Fiori. Vita di Antonio Gramsci. Bari, 1966, p. 91-92.

[22] GRAMSCI VIVO nelle testimonianze dei suoi contemporanei a cura di Mimma Paulesu Quercioli. Milano, 1977, p. 210.

ченных, которые мыслили настолько догматично, что были просто не в состоянии понять своего лидера. Да кроме того, и очень мелко и плохо вели себя по отношению к Антонио Грамши — не только лидеру их партии, но и тяжело больному человеку. Пертини подчеркивает одиночество Грамши и горечь, которую вызывало у него отношение коллектива.

Формально, конечно, Тольятти и другие писали и говорили все, что в таких случаях положено. Но невозможно забыть лейтмотив: «Я осужден не только трибуналом Муссолини». А в 1933 году, в период тяжелой депрессии, Грамши вписал в «Тюремные тетради» несколько страниц, названных «Автобиографические заметки». Там есть страшное место: Грамши зашифрованно, усложненно, но все же достаточно отчетливо пишет о том, что мог бы избежать некоторых испытаний, если бы кто-то, кто имел возможность, избавил бы его от них. Он пишет в этом месте об аморальной, ложногероической фразеологической концепции... Мы не знаем, о ком он пишет. Но это 1933 год, это торжество сталинской теории «социал-фашизма», это серия трагедий.

Эрнст Генри написал замечательное письмо, адресованное И. Г. Эренбургу. Цитируем: «Слова Сталина были таким же приказом Коминтерну, как его указания Красной Армии или НКВД. Они разделили рабочих друг от друга как бы баррикадой. Помните? Старые социал-демократические рабочие повсюду были не только оскорблены до глубины души, они были разъярены. Этого коммунистам они не простили. А коммунисты, стиснув зубы, выполняли приказ о «смертном бое». Приказ есть приказ, партийная дисциплина — дисциплина. Везде, как будто спятив с ума, социал-демократы и коммунисты неистовствовали друг против друга на глазах у фашистов... Отказался Сталин от теории социал-фашизма только в 1935 году, но было уже поздно — Гитлер смеялся и над коммунистами и над социал-демократами»[23].

В 1935 году состоялся последний — VII конгресс Коминтерна, на котором Димитров произнес доклад «Наступление фашизма и задачи Коммунистического Интернационала в борьбе за единство рабочего класса против фашизма», а с содокладом выступил Пальмиро Тольятти. С кошмаром социал-фашизма было наконец покончено.

15 мая 1943 года, в разгар войны, Президиум ИККИ принял решение о роспуске Коминтерна. О том, что случилось в 1937—1938 годах и позднее, во время войны, все мы знаем. Знаем также, что чистая утопия — размышлять об исторических событиях, употребляя при этом если бы ... Иначе говоря, существовали ли альтернативы, можно ли было делать иные выборы и избежать многих трагедий, личных и коллективных. И все-таки сам Тольятти говорил в «Лекциях о фашизме», что установление фашистского режима в Италии не было неизбежностью, что альтернативы существовали. Исходя из посылки если бы, с болью думаешь о бесконечных расколах, о том же Ливорно, о многом другом.

Есть точка зрения, по которой раскол в Ливорно был трагическим и в чем-то глубоко ошибочным, но в чем-то главном — оправданным, потому что была создана партия, которая потом героически, самоотверженно, с верой в конечное торжество сражалась, принося огромные жертвы. Но можно подойти к этому иначе: а что, если бы эта партия оказалась еще сильнее и влиятельнее, не допустив раскола? А что, если бы можно было избежать фашизма и в Италии и в Германии? Но не станем углублять эту мысль: абстракция.

Нельзя, однако, закончить оптимистической нотой и вообразить, что после VII конгресса Коминтерна, при всем его историческом значении, тот же Тольятти с его огромным умом, опытом и пониманием диалектики, вдруг приобрел самостоятельность и свободу действий. Достаточно прочитать хотя бы то, что он писал по поводу процессов над оппозициями в СССР, или знать, что он, скажем мягко, санкционировал в Испании во время гражданской войны. Читать 4-й том произведений Тольятти (1935—1944) страшно.

Не станем цитировать. Вспомним слова великого поэта:

Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться,
Другим — кончать Голгофой.

Как вы, я — часть великого
Перемещенья сроков,
И я приму ваш приговор
Без гнева и упрека.

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века[24].

Закончим эту статью рассказом о том, кто как умер. Антонио Грамши умер мученически, оставив Италии и человечеству гениальные прозрения «Тюремных тетрадей». Терначини был исключен своими товарищами из партии за очередной «уклон», но потом был восстановлен и жил долго, подписал Конституцию Итальянской Республики. Таска кончил плохо и двусмысленно. Он стал французским гражданином, но его поведение во время войны давало повод для подозрений в коллаборационизме. С одной стороны, помогал деятелям бельгийского Сопротивления; с другой стороны, печатался в коллаборационистской французской газете. Амадео Бордига, исключенный из партии, создателем которой был, всегда оставался антифашистом и догматиком. Вернуться в ИКП он не пожелал.

Мы сказали о Бордиге и о троих основателях «Ордине нуово». Четвертый — Пальмиро Тольятти.

---

[23] «Дружба народов», 1988, № 3, с. 234—235.

[24] Б. Пастернак. Лейтенант Шмидт. «Советский писатель», 1965, с. 302.

Сотни страниц посвящены тому, был ли Тольятти «искренним сталинистом», либо вынужден был поступать так, как поступал. Когда в Италии после краха фашизма были впервые изданы «Тюремные тетради» Грамши, по личному указанию Тольятти они подверглись тщательной партийной цензуре. И еще более строгой — «Письма из тюрьмы», когда многие имена (например, Бордига) просто вычеркивались, в лучшем стиле того времени. Но в главном Тольятти, вернувшись в Италию, повел себя как мудрый государственный деятель.

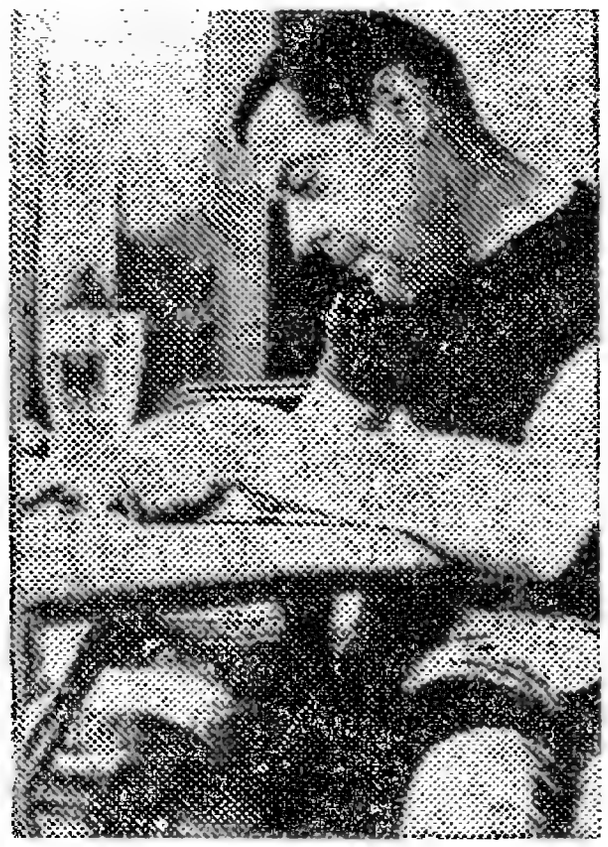
Его программой было создание «партии нового типа», и он этого добился. Еще об одном мы не имеем права забывать. О том, что летом 1964-го он не поехал отдыхать в горы, как привык, а отправился в Советский Союз — фактически, чтобы помочь Никите Сергеевичу Хрущеву правильно разобраться в сложных вопросах взаимоотношений с братскими партиями. Они так и не увиделись: во время выступления перед пионерами в Артеке Тольятти стало плохо: апоплексический удар. Он умер 21 августа 1964 года, его тело на самолете увезли в Рим, и его хоронила вся партия.

Был опубликован документ, подготовленный для встречи с Хрущевым, документ, который он так и не успел вручить. Он вошел в анналы как «Ялтинский мемориал», а «Правда» напечатала его как «Памятную записку». Такой документ мог написать только человек недюжинного ума, выдающегося политического таланта, имеющий очень много грехов на совести, но многое перенесший и много сделавший для партии. Дальнейшая история Итальянской коммунистической партии, после смерти Тольятти, тоже непроста и нелегка. Современникам трудно быть беспристрастными: да или нет, хорошо или плохо. А между тем лучше, пожалуй, говорить: да и нет, хорошо и плохо, потому что добро и зло дьявольски переплетены. Наш долг состоит в том, чтобы говорить правду, как мы ее видим и понимаем, ничего не упрощая, не подгоняя под заранее составленную схему. Это трудно. Но необходимо и обязательно — с политической точки зрения и потому, что этого требует этический долг.

Антирубрика

ЖАК ПРЕВЕР

БАЛАДАР



Перевод с французского ВАЛЕНТИНЫ ЖУКОВОЙ

Французский поэт Жак Превер (1900—1977) давно завоевал у наших читателей любовь и признание.

Его стихи, то саркастические и беспощадные, то грустные, задумчивые и тревожные, то забавные и просто смешные — а зачастую беспощадные, грустные и смешные одновременно,— словно обращены непосредственно к нам, лично к каждому из нас. Они приглашают и заставляют нас вместе с их автором негодовать, печалиться и мечтать, но еще больше — размышлять. В фантасмагорических превращениях персонажей его притч, в невероятных происшествиях, которые случаются у него с людьми, предметами, птицами и деревьями, в калейдоскопе неожиданных метафор и ассоциаций, блистательных каламбуров и острот явственно слышится любовь к людям, ностальгия по чистым человеческим отношениям между людьми, нежность к детям и птицам, любовь к природе. И тревога за будущее. Этот любитель гротеска и парадокса, этот изобретатель шутовских проделок, этот анархиствующий смутьян — он ведь на редкость серьезный и вдумчивый художник, озабоченный бедами современности, стремящийся разобраться в механизме социального неустройства жизни, в законах искусства, проникнуть в извечную тайну бытия, в загадку человеческого удела. Превер умеет вывернуть наизнанку любую привычную ситуацию, вытащить наружу, на всеобщее осмеяние, упирающийся идиотизм и абсурдность повседневности, глупость общепринятых установлений и догм. Неповторимую тональность придает голосу Превера его неизбывное презрение к буржуазии, к бездуховности лавочников, к тупости «начальства». За кажущейся простотой преверовских стихов — которая, если приглядеться внимательней, по сути своей вовсе и не простота, а скорее доходчивость и доступность лишь верхнего их слоя,— пульсирует напряженная творческая мысль. И его, казалось бы, непритязательные по форме верлибры — это взвешенная и выверенная стиховая система, плод неустанной работы мастера над словом и ритмом, плод поисков оптимальных решений организации поэтического образа.

К высотам мастерства Жак Превер шел поначалу тропинками юношеского увлечения экспериментами сюрреалистов, затем, в период Народного фронта, вместе с единомышленниками из группы «Октябрь»,— через работу в политической песне, в революционном агиттеатре, потом, в содружестве с композиторами, шансонье, режиссерами,— через работу в эстрадной песне и в кинематографе.

Свою первую книгу стихов «Слова» Жак Превер, уже широко известный поэт-песенник и сценарист, выпустил в 1946 году. Затем последовали «Истории» (1946), «Зрелище» (1951), «Дождь и вёдро» (1955), «Всякая всячина» (1966), «Вещи и прочие вещи...» (1972), «Деревья» (1976), затем, посмертно, «Ночное солнце» (1980).

В 1984 году в издательстве «Галлимар» вышла книга «Пятое время года» («La cinquième saison»), еще один сборник преверовских текстов, не публиковавшихся в книгах при жизни поэта. В ней был напечатан «Баладар» (Baladar), перевод которого следует ниже. Этот сценарий был написан в 50-е годы для мультфильма, который так и не был поставлен.

Мы найдем здесь все те приметы творческого облика Жака Превера, которые уже знакомы нам по его стихам и песням. С неистощимой фантазией и юмором использует поэт поистине безграничные возможности, заложенные в жанре мультипликации. Он словно переключает свои излюбленные приемы в иную технику — и все его остроумнейшие словесные находки, будучи переведены в зрительный ряд, обретают новую жизнь, становятся видимыми, предметными и, при всей своей условности и сказочности,— реальными, а игра слов превращается в столь же изобретательную и остроумную игру выраженных этими словами образов — живых существ, сти-

© Editions Gallimard, 1984

хий природы, вещей и предметов. И еще раз — наглядно и весело — зло посрамлено, а добро торжествует.

Сейчас у читателя состоится новая встреча с озорным, лиричным и мудрым искусством Жака Превера. Каждая такая встреча — праздник.

МОРИС ВАКСМАХЕР

Пляж в Бретани.
Вдали виден маяк.

Растянувшись на песке, здоровенный детина в поношенных брюках и свитере храпит с сильным подсвистыванием. Лицо его уродливо и грозно.

Два морских ежика, повиснув на кончиках его усов и напевая, качаются в ритме этого храпа.

Спящего окружили восемь раковин.

Человек зевает. Зевок заразителен, и раковины одна за другой с мелодичным звучанием открываются.

Слишком сильно раскачавшись, один из ежиков срывается и, описав в воздухе дугу, с большой высоты плюхается прямо на глаз спящего и вцепляется ему в веко. Здоровенный детина, взревев, просыпается. Испуганные раковины вмиг захлопываются,

кляк

и прыгают в море

хлюп.

За ними — морские ежи.

Встав на ноги, человек начинает кричать:

— Баладар! БАЛАДАР!

В соседней деревне стекла вылетают из рам, церковный колокол дает трещину, окна захлопываются и...

...Океан
Лодка

Маленький БАЛАДАР ловит сардин для Большого БАЛАДАРА ... и вдруг слышит его страшные вопли. Малыш дергает за удочку и вытаскивает рыбку...

Это совсем еще малек в черном школьном фартучке, с лицом отличника и крестиком на груди. Рыбка умоляет мальчика отпустить ее.

Растроганный БАЛАДАР бросает ее в море, и в этот миг... ...вдалеке огромная рыба-отец приподнимает линию горизонта... дррр... и подплывает, чтобы поблагодарить Маленького БАЛАДАРА, пощадившего малька-сына. Рыба-отец с маленькой бородкой и в сюртуке выглядит очень респектабельно.

Приплывают другие рыбы. Высунувшись из воды, они подхватывают и торжественно переносят Маленького БАЛАДАРА на пляж, тут-то громила хватает его за уши и, раскрутив, бросает в сторону деревни.

Возмущенные рыбы молча созерцают эту сцену.

Большой БАЛАДАР кидается в погоню за малышом.

Бородатая рыба бросает в воду камень, по поверхности расходятся круги; вытащив два первых круга из воды, рыба мастерит велосипед и устремляется за Большим БАЛАДАРОМ.

У дома Большого БАЛАДАРА...

расположенного рядом с огромным заброшенным заводом, где когда-то делали консервы из сардин, малыш БАЛАДАР падает рядом с собачьей конурой и достает из кармана кусок сахара.

Из конуры раздаются звуки, напоминающие страшное рычание, высовывается огромное щупальце, хватает сахар и исчезает. Малыш входит в дом.

Интерьер — бретонский.

Кровать в нише, стол, часы.

На стене — морской пейзаж, рядом с картиной — закупоренная бутылка с корабликом внутри.

Маленький БАЛАДАР садится и плачет.

В окне появляется щупальце и протягивает ему носовой платок.

Большой БАЛАДАР подбегает к дому и свистит в два пальца.

Из конуры вылезает огромный осьминог в ошейнике и «служит» по-собачьи.

Здоровенный детина входит в дом, осьминог преданно следует за ним.

Большой БАЛАДАР хватает малыша и ведет его на завод, где выстроились в ряд сотни пустых консервных банок.

Громила разъярен: он берет малыша за ногу и тащит его за собой.

Маленький БАЛАДАР бьется головой об пол. Бум. Бум... Консервные банки начинают позвякивать.

Сильный дробный стук.

Здоровенный детина и Маленький БАЛАДАР возвращаются восвояси.

Войдя в дом, Большой БАЛАДАР, с самого начала этой истории жевавший жвачку, сплевывает ее на стену,

ПЛЮХ,

а затем бросает туда же малыша, который повисает, приклеившись к стене. Теперь он совсем приуныл.

Осьминог, распластавшись на столе, читает газету. Большой БАЛАДАР отщипывает у «читателя» одно щупальце, делает из него хлыст и бьет им беднягу, тот молниеносно откупоривает два десятка бутылок, выливает их содержимое в чан и подает его громиле...

Большой БАЛАДАР выпивает все до дна, ложится на кровать и, мертвецки пьяный, засыпает.

Осьминог достает из ящика свечи, берет по одной в каждое щупальце и, присосавшись к потолку, повисает наподобие люстры, затем чиркает спичкой и зажигает свечи. Слышно, как храпит Большой БАЛАДАР, а издалека доносится вой корабельных сирен.

На дворе рыба в сюртуке подставляет к стене лестницу, которую освещает луч маяка, рыба потихоньку взбирается наверх и перочинным ножичком проделывает дырку в стене.

В доме:

безграничная тоска.

Часы бьют двенадцать раз, затем устало зевают и снова начинают бить, чтобы скоротать время.

Приклеенный жвачкой малыш БАЛАДАР раскачивается, подражая маятнику. Стрелки преображаются в спицы, и часы начинают сосредоточенно вязать.

Осьминог снимает нагар со свечек, а на картине уже плещется море:

Разыгрывается настоящая буря, сильная волна бьет прямо в лицо Маленького БАЛАДАРА, и он, сорвавшись со стены, падает вниз.

Малыш смотрит на картину и видит, как респектабельная рыба, перешагнув через раму, дружески приветствует его.

Вода, выплескиваясь из картины, постепенно заливает комнату, слышится грохот бури, завывание ветра и так далее.

Осьминог тихо посмеивается и протягивает рыбе штопор; рыба откупоривает бутылку с корабликом.

Кораблик оживает, выбирается из бутылки и кругами плавает по комнате.

Члены экипажа, что-то выкрикивая, размахивают беретами.

Дверь отворяется, и бурный поток вырывается наружу, унося с собой Маленького БАЛАДАРА, отбивающие время часы, рыбу и кораблик, который, вырастая на глазах, уплывает в море, освещенное маяком и доброжелательными морскими звездами.

Дом, крайне опечаленный расставанием с БАЛАДАРОМ, плачет, потом стаскивает с кровати покрывало и машет им, как платком, на прощание.

Почувствовав холод, Большой БАЛАДАР просыпается, видит, что дом опустел, и в ярости срывает со стены волынку, затем выходит в лунную ночь, чтобы в музыке излить свое негодование.

Поднимается день, он чистит сперва свои туфли, затем зубы.

На пляже Большой БАЛАДАР в полном одиночестве то со злостью, то печально играет на волынке.

Но издалека доносится мелодия, заглушающая эти тоскливые звуки.

Большой БАЛАДАР хочет заиграть еще громче, шея у него надувается, и одна вена лопается, он откладывает в сторону волынку и завязывает узел на вене.

Чужая мелодия звучит все громче и громче.

Далеко-далеко, на шотландском побережье, какой-то шотландец играет на волынке.

Сидя рядом с волынщиком, три очень музыкальные собаки подпевают в такт:

Уу, уу, уу... и так далее.

Шотландец слышит волынку Большого БАЛАДАРА и, рассердившись, нагибается за камнем.

Та же идея приходит в голову БАЛАДАРА.

Каждый бросает свой камень...

Два камня над морем.

Они встречаются и приветствуют друг друга

один — по-французски

другой — по-шотландски...

и следуют дальше.

Один из камней на лету пробивает тучу, на которой, лениво возлежа, расположился играющий на лире ангел.

Туча, съеживаясь, опускается.

На морской глубине:

одна из рыб, прогуливаясь, показывает другой приближающуюся к морю тучу.

Рыба: «Мне кажется, скоро пойдет дождь!»

Подняв воротнички пиджаков, рыбы быстро исчезают.

Рассерженный ангел торопливо карабкается в небесные выси, неистово наигрывая на своей лире.

Камень Большого БАЛАДАРА долетает до Шотландии и попадает волынщику прямо в лоб.

Волынщик сражен насмерть.

Камень, брошенный шотландцем, попадает в волынку БАЛАДАРА и, отскочив, летит назад...

... прямо в глаз ангелу, поднимающемуся вверх...

...тот роняет лиру.

Лира падает.

Кит подхватывает ее на лету.

Лира застревает у кита поперек горла. Заточенная в животе кита прехорошенькая маленькая сирена встает со своего ложа из водорослей и отчаянно, словно это решетка клетки, сотрясает струны лиры.

Музыка.

Изумленная и очарованная сирена наигрывает прекрасную и печальную мелодию, которую прерывает...

...похоронный вой собак шотландца.

Кит исчезает.

Появляется ангел (с повязкой на глазу), за ним — два ангела-служителя с носилками.

Они укладывают на них шотландца и снова взлетают.

Почтовый голубь, увидев летящий траурный кортеж, роняет чемодан и осеняет себя крестом.

Собачьего воя больше не слышно.

На пляже — Большой БАЛАДАР наедине со своей волынкой.

Ему снова хочется помузицировать.

Но возмущенная отвратительной мелодией, которую слишком долго ее заставляли играть, волынка меняется с БАЛАДАРОМ ролями и начинает играть на нем самом.

То есть она обхватывает БАЛАДАРА и, припав к его уху, вдувает в него звуки, раздувшийся БАЛАДАР тут же взмывает вверх вместе с мелодией, а довольная волынка бежит к родственникам, чтобы рассказать о своем подвиге.

У волынок — великая радость и маленький концерт.

Они братаются с рыбками, и каждый по-своему поет.

Затем рыбы под командованием волынок берут приступом город.

И каждый находит себе место:

пила-рыба и меч-рыба — у столяра,

скат — у парикмахера,

а омар — в табачной лавке становится резальщиком сигарет.

На заброшенном консервном заводе появляется вывеска — МУЗЕЙ,— и рыбы приходят сюда любоваться пустыми банками, как любуются саркофагами в Лувре.

Счастливейший...

...осьминог расположился в одном из домов по-хозяйски.

Одним щупальцем он накачивает воду из колонки, другим — бреется...

...от маяка прикуривает трубку,

звонит в колокола,
распределяет почту,
выбивает коврики
и делает все это одновременно, с умилительной согласованностью в движениях.

Далеко в океане малыш БАЛАДАР в форменной капитанской фуражке ходит взад-вперед по мостику своего корабля и подает команды матросам-пингвинам в форме морских пехотинцев.

(Смешанный грохот каблуков и ружейных прикладов.)

Вдруг малыш БАЛАДАР поднимает глаза и кричит «Папа!».

Над кораблем, надутый до отказа и отчаянно жестикулируя, пролетает Большой БАЛАДАР.

Пингвины бросают свои ружья и спасаются бегством.

(Шум крыльев и стук убегающих вслед за пингвинами ружей.)

Большой БАЛАДАР захватывает корабль.

Охваченный ужасом малыш прыгает в море и цепляется за хвост кита, на котором уже расположилась летающая рыба; она моется в тазике под струей, бьющей из головы кита.

Малыш здоровается с ней.

В этот момент

Маленький БАЛАДАР слышит очень печальное и красивое, похожее на гавайское, пение.

Летающая рыба с видом знатока прищелкивает языком и, обняв Маленького БАЛАДАРА, учтиво подводит его к пленной сирене.

Чтобы понравиться ей, Маленький БАЛАДАР показывает карточные фокусы, а кит хохочет до слез.

От этого струны лиры выгибаются, сирена выходит на волю, БАЛАДАР берет ее на руки, а летающая рыба переносит их на спину кита.

Идиллия.

Сирена поет. На струе, которую выбрасывает кит, летающая рыба откладывает яйцо, затем взлетает, исчезает из виду и возвращается с маленьким ружьем.

БАЛАДАР стреляет в яйцо на глазах у покоренной сирены. Он стреляет снова и снова; когда разбивается первое яйцо, из него выскакивает летающая рыбка, она тоже откладывает яйцо, выстрел — и появляется другая летающая рыбка, в свою очередь откладывающая яйцо, из которого... и так далее.

Настоящий маленький фейерверк, и балет китов, прибывших на праздник.

Вне себя от счастья БАЛАДАР ломает ружье — трах! — нежно обнимает сирену, ловит летающую рыбку и, как лепестки ромашки, ощипывает ее чешуйки.

Несчастная, но преданная и безропотная рыбешка монотонным и сдавленным голосом отсчитывает:

«Любит, не любит, к сердцу прижмет».

Так они и приплывают к родной деревне, где кит высаживает их на берег.

Волынки и рыбы в восторге.

Вечером на балконе дома
сирена поет, и вся деревня собралась послушать ее.

Глухой зритель забирается на кота, тянет его за хвост, кот выгибает спину, и тутой на ухо слушатель оказывается на уровне балкона.

Слегка ощипанная летающая рыба играет в карты с осьминогом, тот проигрывает; он набрал слишком много козырей...

Наступает ночь, подобно пиратскому судну к деревне незаметно подплывает корабль, на берег высаживается Большой БАЛАДАР в сопровождении двух отвратительных типов в фуражках с двумя маленькими дырочками для рогов (типы похожи на полицейских, только четвероногих). Под покровом ночи они, перешептываясь, входят в дом.

Летающая рыба, спрятавшаяся в баке для белья, высовывает голову и прислушивается.

Ночь.

Три зловещих типа хватают сирену и Маленького БАЛАДАРА.

Нападают на остальных обитателей дома (действуя именем закона).

Раннее утро, несчастная сирена посажена на цепь в подвале консервного завода, двери которого открыты настежь, Большой БАЛАДАР всячески запугивает ее, заставляя петь.

Сирена поет. Скорее рыдает.

Все рыбы просыпаются и, надев фуражки, как завороженные бегут на завод.

Как только они входят, дверь за ними захлопывается, надсмотрщики набрасываются на них и запирают в консервные банки для сардин.

Других бедняжек заставили плести рыболовные сети, делать крючки или гребни из панцирей несчастных морских черепах, которые дрожат от холода без своей брони.

Сидя у входа на завод, Большой БАЛАДАР с наслаждением курит толстую сигару.

В будке сидит охранник.

Приближается траурное шествие.

Это похороны сардины (маленький жестяной катафалк). За катафалком, который тащат два морских конька, волынка играет похоронный марш, за ней идет погруженная в глубокий траур семья.

Большой БАЛАДАР громко смеется и с издевательской ухмылкой посылает им вслед два кольца дыма, которые цепляются за катафалк.

Рыбы возмущены.

Осьминог вылезает из конуры, отдает свой фартук Большому БАЛАДАРУ и гордо удаляется.

Похоронная процессия движется дальше, поднимается на небольшую возвышенность, морские коньки устали, покойник выходит из своей банки и любезно подталкивает катафалк. Семья аплодирует.

Среди рыб зреет бунт.

Большой БАЛАДАР забаррикадировался и просит подкрепления.

Появляются воинские части: рогатые четвероногие.

Пленную сирену по-прежнему охраняет надсмотрщик, она печально смотрит на Маленького БАЛАДАРА, прикованного к стене большой цепью.

За окном кто-то посвистывает.

Надсмотрщик просовывает голову сквозь решетку: летающая рыба снаружи завязы-

вает узлом его рога. Появляется рыба-торпеда (электрический скат) и бьет надсмотрщика по голове.

При каждом ударе глаза разбойника преображаются в электрические лампочки, которые мигают не переставая.

Убежденный, что заметил собрата, маяк передает ответный сигнал, сняв при этом шляпу, ее поля — не что иное, как парапет, за который в отчаянии уцепился смотритель маяка, жалобно вскрикивающий от страха, будто его раскачивают на качелях.

Чрезвычайно элегантный скат склоняется перед сиреной и достает из кармана часы.

Дзынь — и цепь, на которую были посажены пленники, быстро подсоединяется к часам, затем прыгает в жилетный карман ската.

Освобожденная сирена призывает к восстанию, малыш БАЛАДАР зовет восставших за собой...

... и мятеж начинается.

Под прикрытием каракатиц, выпускающих чернильные облака, рыба-молот взламывает дверь консервного завода.

Осьминог набрасывает на надсмотрщиков лассо.

Сардины-медсестры ухаживают за ранеными, тех, кого по несчастью задели чернила каракатиц, оживляют с помощью тампона-промокашки, и они снова обретают прежнюю окраску.

На консервном заводе омары, пользуясь клешнями, как открывалками, освобождают своих маленьких родичей. Осьминог отобрал у тюремщика ключи от банок с сардинами и сам вскрывает их одним поворотом щупальца.

Хор освобожденных сардин, сельдей и омаров,

пение прерывает топот копыт. Все бросаются к окнам.

На улице силы порядка во главе с Большим БАЛАДАРОМ, в ужасе уцепившимся за холку жандарма-быка, убегают прочь.

Летающая рыба подхватывает угря и бросается в погоню.

Пролетает над беглецами, обгоняет их, порхая вблизи маяка, достает угря и начинает играть на нем, как на флейте.

Маяк, который был не кем иным, как морским змеем (чего и следовало ожидать), завороженно покачивает головой и, с оглушительным шумом выскочив из воды, устремляется за летающей рыбой; догнав беглецов, он с большим удовольствием проглатывает Большого БАЛАДАРА вместе с его парнокопытной полицией, выплевывает шпоры и снова с большим шумом плюхается в море.

Конец

Критика

Протоиерей
АЛЕКСАНДР МЕНЬ

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ДИАЛОГУ

О романе Грэма Грина «Монсеньор Кихот»

Действие романов Грэма Грина нередко происходит в краях, далеких от его родины. Это объясняется не просто тем, что писатель много путешествовал, или его любовью к экзотике. Грина притягивают те районы земли, где героев легче всего поставить в экстремальную ситуацию, где особенно бросаются в глаза язвы нашего столетия: произвол и цинизм политиков, бесправие, нищета, невежество. Когда же он обращается к Европе, то обычно выбирает напряженные, кризисные моменты ее истории («Ведомство страха», «Десятый» и др.). При этом он далек от мысли, что драматизм жизни обусловлен исключительно внешними, политическими и общественными факторами. С какой бы страной он ни связывал судьбу своих героев — с Англией или Францией, Мексикой или Вьетнамом,— на первом месте у него стоят вечные вопросы о добре и зле, долге и компромиссе, мужестве и избрании жизненного пути. Он всегда готов срывать маски с фальшивых авторитетов и умеет находить героизм там, где его меньше всего ожидаешь найти.

Новая книга Грина переносит нас в Испанию 70-х годов, которая после смерти генералиссимуса Франко стоит на распутье. Коммунисты вышли из подполья. Церковь, уже при Франко ставшая на путь оппозиции деспотизму, все более склоняется в пользу демократических преобразований. Но сторонники жесткого режима все еще рвутся к власти, создавая атмосферу подозрительности и страха.

К восприятию «Монсеньора Кихота» наш читатель в какой-то степени уже подготовлен недавними выступлениями Грина в Москве, когда он много раз публично выражал надежду на возможность не только диалога, но и сотрудничества между христианами и коммунистами. Говорил он об этом с улыбкой, сознавая, что высказывает идею, непривычную для советской аудитории (ведь речь шла о традиционно конфронтирующих мировоззрениях). Парадоксальность его заявлений усугублялась еще и тем, что Грин, католик (пусть и свободомыслящий), критиковал равно и марксистов и Ватикан.

В таком же парадоксальном ключе построена его книга «Монсеньор Кихот», одновременно и философская, и немного озорная.

Надо заметить, что Грин, говоря о серьезных вещах, как правило, уклоняется от серьезного тона. Трудно отделаться от впечатления, что он хочет любой ценой избежать ложного пафоса и для этого использует как камуфляж иронию, сатиру, юмор, подчас даже грубоватый, прячась за парадоксами, как то издавна было принято в английской литературе.

Вероятно, в этом заключен один из ответов на вопрос, почему «Монсеньор Кихот» представляет собой своеобразную параллель к эпопее Сервантеса. Именно Сервантес с удивительным искусством раскрыл величие своего «благородного безумца», рассматривая его сквозь призму иронии.

Можно найти и другую причину того, что патроном своей книги Грин избрал Сервантеса.

Фигуры Рыцаря Печального Образа и его оруженосца иногда толкуются как «литературный миф», как символ двух противоречивых ликов одной души (подобно Фаусту и Мефистофелю у Гёте). Отправляя в путешествие священника и коммуниста, которые считают себя потомками героев Сервантеса, Грэм Грин дает понять, что их связывает глубокое родство, гораздо большее, чем кажется на первый взгляд.

Монсеньор Кихот — простодушный и кроткий старик, склонный, однако, к независимым мыслям, сомнениям и нестандартным поступкам. Во многом он напоминает персонажа другого английского романа — миссионера из книги Арчибалда Кронина «Ключи Царства», хотя характер веры у них разный. У кронинского отца Чишхолма она коренится в выстраданном духовном опыте; у отца Кихота ее в большей степени определяет верность призванию и долгу. Оба священника — «неудобные люди» в глазах своего начальства, оба находятся с ним не в ладах, но оба до конца сохраняют верность Церкви.

Верен своей партии и мэр-коммунист Санчо, невзирая на то, что его тоже периодически охватывают сомнения. Как и подобает потомку Санчо Пансы, он трезвее и практичнее отца Кихота, но все же в нем слишком много идеализма, чтобы быть точным двойником своего предка. Не случайно в глухом, провинциальном городке единственным человеком, который ему душевно близок, оказывается, как ни стран-

но, католический священник. Они постоянно спорят и поддевают друг друга, но этот спор идет на равных, поскольку оба находятся в сходном положении и оба в каком-то смысле ощущают себя аутсайдерами.

За смешной и печальной историей двух друзей, пустившихся, как некогда герои Сервантеса, навстречу приключениям, в романе стоит раздумье о людях, исповедующих «две веры», осевые для нашей эпохи.

Разумеется, Грэм Грин знает, что кроме этих «двух вер» существует немало и других религиозных. политических и философских доктрин. В его собственных книгах изображаются подчас самые экстравагантные культы, вроде водуизма. Но он знает и то, что по сей день христианство и марксизм остаются ведущими и наиболее влиятельными учениями, хотя бы по числу своих приверженцев.

Следует сразу оговориться: марксистский атеизм интересует писателя-католика больше как учение, а не как политическая система, принятая в том или ином государстве. Точно так же и христианство не исчерпывается для него системой католических церковных институтов. Хотя в романе к месту и не к месту поминаются имена Ленина, Сталина, Троцкого, главным остается противостояние идей, а не политическая реальность социальных структур.

К этим структурам Грин в лучшем случае относится весьма прохладно и с большой долей скептицизма. Церковных и партийных функционеров он обычно наделяет чванством, нетерпимостью, узостью взглядов и черствостью. Из книг Грина можно заключить, что при господстве политических бонз и клерикальных чиновников лучше всего живется законопослушным бескрылым обывателям, ловким проходимцам и бюрократам.

Спору нет, в этом заключена печальная доля правды, но отнюдь не вся правда. Иначе у христианства и марксизма было бы куда меньше умных, убежденных и жертвенных последователей.

Объективность требует признать, что две ведущие мировые силы обладают мощной притягательностью, что идеи их намного богаче, чем может показаться при чтении незатейливых перепалок отца Кихота и мэра Санчо.

Понимают это, по-видимому, и сами герои романа. Когда речь заходит о сути дела, Санчо, задумавшись, вынужден согласиться, что эмблемы обеих «вер», его и Кихота, каждая по-своему, «символизируют протест против несправедливости». Хотя он напоминает монсеньору о разделяющей их «глубокой пропасти», Грин ни на минуту не дает забыть, что на противоположных ее краях стоят люди, которые понимают и любят друг друга.

Вместо анафемы — протянутая рука.

Вместо «образа врага» — «образ друга».

Думается, подобный подход подсказан Грину тем небывалым прежде сотрудничеством христиан и марксистов-оппозиционеров, с которыми он познакомился в странах Латинской Америки. Он наверняка читал известный документ чилийской компартии, в котором сказано, что Церковь «много сделала для защиты преследуемых и страдающих, став голосом тех, кто лишен права голоса, кто подвергается гонениям со стороны тирании. Ее действия создали условия, способствующие нынешнему сотрудничеству христиан и марксистов во имя Чили и ее народа, и помогают созданию основ для творческого и плодотворного существования в будущем».

Грину, видимо, знакомы и взгляды тех коммунистов, которые считают, что у «христиан есть основания, чтобы участвовать в движении за демократические перемены и содействовать построению более справедливого общества».

С другой стороны, писатель хорошо знает о так называемом «богословии освобождения», которое было популярно среди латиноамериканских католиков в 60—70-е годы. Именно идеи «богословия освобождения» звучат в эпилоге романа Грина «Комедианты». При погребении повстанцев гаитянский священник-метис говорит: «Церковь живет в мире, она часть мирских страданий, и, хотя Христос осудил ученика Своего, отсекшего ухо рабу первосвященника, сердца наши с теми, кого муки людские побуждают к насилию. Церковь против насилия, но равнодушие она осудит еще суровее. На насилие может подвигнуть любовь, от равнодушия же этого ждать нельзя. Одно — есть несовершенство милосердия, другое — совершенный облик себялюбия...»

Грин убежден, что именно «протест против несправедливости», стремление защитить страдающих создает мост между марксистами и христианами. Эта мысль писателя подтверждается опытом европейского Сопротивления, а православным людям она понятна по опыту Отечественной войны, когда они, словно забыв о недавних трагических событиях — о гибели сотен тысяч верующих, жертв сталинского террора,—сохранили дух солидарности, сражались и трудились вместе со своими неверующими согражданами.

Герои «Монсеньора Кихота» постепенно приходят к выводу, что оба они живут верой, в частности, верой в лучшее будущее, хотя каждый понимает его на свой лад, что в той и другой «партии» есть как истинные последователи, так и те, кто использует ее для удовлетворения своего властолюбия, карьеризма или для того, чтобы сбросить с себя груз ответственности. Монсеньор уважает искренность взглядов своего спутника. Мало того, в мечтах он представляет себе, «как будет крепнуть их дружба и углубляться взаимопонимание, и даже наступит такой момент, когда их столь разные веры придут к примирению».

Что это? Очередной парадокс Грэма Грина? Или еще одна попытка сблизить евангельское учение и марксизм? Такие попытки действительно существовали, и Грину они известны. Наши читатели могли познакомиться с ними через книгу Хьюлетта Джонсона «Христиане и коммунизм», изданную в русском переводе в 1957 году. Покойного настоятеля Кентерберийского собора настолько увлекла эта идея тождества двух доктрин, что в своей книге он дошел до весьма странного утверждения, будто

Иисус Христос лишь провозгласил нравственный идеал, а Сталин осуществил его на практике...

Но даже если оставить в стороне подобные эксцентричности, вызвавшие в Англии настоящий шок, и взять идею в ее умеренной форме, Грин вряд ли целиком ее разделяет. Он прежде всего имеет в виду общие черты «двух вер» и возможность их конвергенции в жизненной практике.

И все же ради сближения марксизма и христианства Грину, быть может невольно, приходится упрощать и то и другое. Разбросанные по книге цитаты из «Манифеста Коммунистической партии» и трудов Отцов Церкви нехарактерны и маловыразительны. И едва ли верна аналогия между «Манифестом», христианской классикой и обветшалыми рыцарскими романами, которые читают и которым верят одни чудаки.

В рассуждениях отца Кихота совсем не заметны те перемены, которые произошли в католическом христианстве после II Ватиканского Собора (может быть, этим подчеркнута провинциальность монсеньора?). Нравственные доктрины по-прежнему заключены для него в прокрустово ложе нудной казуистики. Болезненная и трудная проблема регуляции рождаемости выглядит в дискуссиях друзей почти фарсом. Не желая, видимо, чтобы его сочли безоговорочным апологетом Церкви, Грин вкладывает в уста отца Кихота мало убедительных доводов и не отдает преимущества ни одной из спорящих сторон.

В результате, хочет того Грин или не хочет, коренное различие христианства и марксистского атеизма в романе почти стирается.

Остается только поверхностное сходство. И здесь и там — вера в будущее; и здесь и там — мечта о лучшей участи для людей; и здесь и там — столкновение между бюрократами и энтузиастами.

В действительности дело обстоит куда сложнее.

Можно принять точку зрения писателя, считающего, что в обоих случаях мы имеем дело с определенной суммой верований. Ведь как нельзя эмпирически доказать реальность Высшего Начала и грядущего Царства Божия, так нет эмпирических доказательств неизбежности наступления на Земле светлого будущего. История скорее, напротив, свидетельствует, что тирания и варварство возвращаются вновь и вновь с неизменным упорством.

И если Грин называет христианство и марксизм «верами», это не значит, что он умаляет их роль и ценность. Именно интуитивная вера рождает различные формы мировоззрений, для которых уже потом люди подыскивают обоснование и подтверждают их научными и логическими аргументами. Даже для естествознания вера оказывается важной предпосылкой. Эйнштейн, в частности, подчеркивал, что нельзя изучать природу, не веря в то, что она рационально устроена.

Люди обычно уподобляются слепцам из индийской притчи, которые пытались определить, что такое слон, ощупывая отдельные части его тела. Ни интуиция, ни эмпирическое, ни логическое знание не могут охватить во всей полноте Многомерную Реальность. Отсюда и разнообразие, противоречивость, расхождение верований.

При честном диалоге каждая из сторон должна отчетливо видеть эти расхождения. Иначе возникает путаница, которая мало способствует взаимопониманию.

Марксистский атеизм выступает как «посюсторонняя», секулярная идеология. Он со всей определенностью ограничивает бытие природными и общественными силами и их отражением в человеческом сознании. В этом пункте он по существу не отличается от других видов атеизма, один из которых описан Грином в романе «Сила и слава». Его герой, мексиканский лейтенант, подобно гонимому им священнику, имеет свою веру, хотя и атеистическую. «Есть мистики,— читаем мы в романе,— которые говорят, что имели опыт непосредственной близости Бога. Он (лейтенант.— А. М.) тоже был мистиком, но его опыт говорил о пустоте — он был совершенно уверен в том, что есть лишь гибнущий, остывающий мир и человеческие существа, развившиеся из животных безо всякой цели». Однако в отличие от такого пессимистического атеизма марксистский атеизм цели не отрицает. Он верит в возможность достижения справедливого порядка, который будет способствовать раскрытию всех положительных начал в человеке. В этой вере — его главная надежда и источник сил для борьбы.

Христианство обладает иным видением. Оно исповедует веру в то, что Последняя Реальность — это не бездушная материя, случайным образом породившая разум, и даже не холодная далекая Первопричина мира, а Бог Живой, с Которым человек связан незримыми узами. Оно утверждает, что как тело человека воспроизводит основные элементы Вселенной, так и его бессмертный дух есть отображение Духа Мирового. Высшее достоинство человека, согласно Библии, определяется не только тем, что он есть образ и подобие Творца, но и тем, что Бог явлен людям в лице Христа, через Которого Он возвышает их до Себя. Впереди христианство видит эсхатологическую цель — конечное преображение человечества и мироздания, «новое небо и новую землю». Величайшей динамической силой на пути к этой цели Евангелие провозглашает любовь.

Всякое убеждение, всякая идея вообще, согласно традиционному марксистскому тезису, проверяется практикой, что вполне приложимо и к христианству, к религии. Но «практика» религии реализуется прежде всего во внутреннем духовном, нравственном опыте человека. Именно в том, что радикально отличает нас от животных.

Вот почему христианство сосредоточено на личности человека, имеющей для него абсолютную ценность. А полнота бытия личности невозможна без свободы.

Здесь Грэм Грин нащупывает наконец специфику христианской веры. В полном согласии с фундаментальными идеями Библии его отец Кихот настаивает на важности свободного выбора, перед которым поставлен человек. Это то смелое волевое решение, или «риск веры», о котором гово-

рил в своих «Мыслях» Блез Паскаль. Бог выше «пропаганды»; Он не «навязывает» Себя. Он ждет от сынов человеческих веры, которая тождественна безусловному доверию Его воле. Тот, кто религиозен лишь под влиянием страха, еще не познал подлинной библейской веры. Потому-то отцу Кихоту кажется столь отталкивающей мысль о религии, «зацикленной» на идее небесного возмездия. Он считает, что «править с помощью страха» — недостойно Творца. «Господь Бог,— говорит он,— вполне бы мог предоставить это гитлерам и сталинам. Я верю, что смелость — это добродетель. Я не верю, что трусость — тоже добродетель».

Издавна люди задавались вопросом, почему, если Бог существует, Он не явил Себя с полной очевидностью, чтобы подавить неверящих Ему Своим необоримым могуществом. Но в глазах потомка Дон Кихота это стало бы величайшим посягательством на человеческую свободу. Насилием, столь же противным подлинной вере, как и неопровержимые научные или логические аргументы, от которых некуда деваться...

Священник видит сон: Христос сходит с креста и вынуждает Своих палачей в ужасе склониться перед Ним. Отец Кихот ощущает такую возможность как гнетущий кошмар. И хотя для многих подобный исход Голгофы был бы самым желанным, герой Грина отшатывается от него. В этом отказе торжествует вера как мужество, как готовность свободно устремляться навстречу неведомому.

Заметим, что в русской религиозно-философской мысли проблема свободы была одной из важнейших. Она, в частности, занимала центральное место в творчестве Николая Бердяева, которое еще ждет у нас изучения и признания. Бердяев показал, что в христианском сознании идея свободы носит глубоко духовный характер. Она не сводится к социальному эгалитаризму. Чаяние «царства свободы», выраженное в марксизме, нельзя отождествлять с обетованием Иисусовым: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными», или со словами апостола Павла: «К свободе призваны вы, братья!»

Но Бердяев же показал, что христианский персонализм не рассматривает личность человека как нечто изолированное и самодовлеющее. Хотя она бесконечно больше «суммы общественных отношений», она может проявлять себя и совершенствоваться только в контакте, во взаимодействии с другими личностями. Иными словами, христианство, являясь чисто религиозной верой, в конце концов включает и социальную сферу. Отстаивая достоинство человека, оно не может быть равнодушным к социальной несправедливости.

Правда, отцу Кихоту, как и многим христианам, не раз приходилось выслушивать упрек, что за века своего внешнего господства Церковь сделала слишком мало для «страждущих и обремененных», предпочитая поддерживать сильных мира сего. Но упрек этот не совсем справедлив. Этические (а следовательно, и социальные) идеалы Евангелия никогда не оставались мертвой реликвией, отрезанной от жизни и ее жгучих общественных проблем. Уже в первые века христианства Отцы Церкви выступали против социального зла. Василий Великий и Иероним Стридонский расценивали угнетение как грех, а богатство называли ограблением бедных. Сознавали Отцы Церкви и важность правовых норм. В книге «О Граде Божием» Аврелий Августин писал: «Что представляют собой государства, лишенные справедливости, как не большие разбойничьи шайки? И сами разбойничьи шайки не являются ли такими государствами в миниатюре?» Теперь у нас уже всеми признано, что Церковь не была бездеятельна в общественной сфере. Она служила делу милосердия, создавала школы, больницы, приюты, благотворно воздействовала на нравы народов и нередко опережала в этом светские институты. Без влияния христианских этических принципов трудно представить себе не только гуманизм Достоевского или Швейцера, но даже само марксистское понятие о справедливом обществе. Ведь в значительной мере идея справедливости связана с антитезой добра и зла, которой наука не знает.

Разумеется, далеко не все члены Церкви были на высоте собственного этического идеала. Однако в этом они походили на последователей всех других учений. Мэр Санчо с негодованием говорит об авторитарном деспотизме Франко, считавшего себя католиком, об инквизиторе Торквемаде и других темных явлениях в истории христиан. Но и сам мэр-коммунист чувствует, что его аргументы в споре с Кихотом слабы, если вспомнить, как он выражается, о «нашем бедном Сталине» (ответственность за такое определение, как и за необдуманные слова, будто в сталинских лагерях люди «трудились во имя будущего своей Родины», несет, конечно, не Грин, а его герой).

Подобную «перестрелку» можно было бы вести бесконечно, отыскивая все новые и новые примеры. В самом деле, если атеисты любят вспоминать о трагической судьбе Бруно и Галилея, то их оппоненты могут возразить, что участь Вавилова и Чаянова и многих других была не легче. Словом, каждая сторона остается при своем и впереди виден лишь тупик...

Есть, однако, надежда, что выход из него существует.

В поисках этого выхода хочется напомнить об одном полузабытом слове. Том слове, которым назван потрясший мир фильм Тенгиза Абуладзе.

Покаяние! Грин знает о нем и фактически к нему призывает. Он как бы говорит: если партия, созданная Лениным, сегодня находит в себе смелость откровенно говорить о преступлениях, омрачивших ее прошлое, то для христиан такой поворот событий не может служить поводом для злорадства, а должен побуждать их самих последовать примеру честных коммунистов.

Ведь в христианском покаянии есть не только личный план, но и общецерковный.

Правда, у нас, православных, инквизиции не было. Но это еще не значит, что мы не нуждаемся в нравственном пересмотре и переоценке нашего прошлого. На

христианском Востоке тоже были и преследования инакомыслящих, и неправомерное смешение религии с политикой, и жесткая цензура, и союз с силами подавления. Достаточно напомнить о репрессиях против павликиан и богомилов в Византии, против древнерусских еретиков и реформаторов, против старообрядцев и сектантов. Да, были и костры, и застенки, и тюрьмы, и ссылки. Все это было. И совершалось под прикрытием высокого евангельского учения, подобно тому, как террор во Франции осуществлялся под благородным девизом — «Свобода, равенство, братство»...

Давно замечено, что нетерпимость, фанатизм — будь то религиозный или атеистический — есть проявление не столько веры, сколько неуверенности. Когда человек сомневается в своей правоте, когда ощущает шаткость своей позиции, у него часто возникает соблазн пустить в ход кулачные приемы доказательства, чтобы и себя утвердить, и других заставить замолчать. Нетерпимость есть род душевного недуга, способного извратить любую, даже самую светлую идею.

Но у фанатизма есть антипод, который ничем его не краше. Вспомним о словах проповедника из «Комедиантов», говорившего о грехе равнодушия. Именно равнодушие, бездуховность или, как выражался Бердяев, «духовная буржуазность», создает то послушное и безгласное панургово стадо конформистов, о котором гневно писал Пушкин:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.

Бездуховная пошлость профанирует все святое. Она подлинный антагонист христианства, более опасный для веры, чем тирания и тем паче честный атеизм. Монсеньор Кихот, готовый молиться за упокой души Франко и Сталина, находящий у Маркса мудрые мысли, теряет самообладание, когда видит кощунственный крестный ход со статуей Богоматери, обклеенной кредитками. И по примеру своего предка-рыцаря устремляется в бой.

Выходит, ему вовсе не свойственно «приличенчество», смотрящее на все сквозь пальцы. Сострадательный, кроткий, он в решительный момент вступает в борьбу. Его не останавливает опасение, что люди сочтут его, как и Дон Кихота, сумасшедшим.

Так по узкой тропе между двумя пропастями — слепым фанатизмом и мертвенным равнодушием — совершается трудный путь к диалогу. Это путь покаяния и свидетельства о своей вере словом и делом.

Мы, и христиане и атеисты, лучше поймем друг друга, если, оставаясь самими собой, будем работать, исполняя каждый свой человеческий долг. При всем различии наших мировоззрений у нас есть и общее поле для труда, и общие опасности. «Политические и экономические успехи исторически преходящи,— говорил не так давно в Казани Александр Яковлев.— Вечен человек, и непреходящи его нравственные ценности. Его жизнь, его радости и тревоги, надежды и разочарования, его вера и сомнение — словом, все то, что выражает суть человеческого бытия». Под этими словами коммуниста новой формации подпишется, я думаю, любой христианин, любой верующий.

Дружба со священником не превратила Санчо в католика, но он чувствует, что между ними установилась внутренняя связь, над которой не властны время и даже смерть. В свою очередь, отец Кихот отнюдь не стал марксистом, но он нашел в лице Санчо настоящего брата, который, он верит, «не далек от Царства Небесного». И символом этой веры становится незримая Чаша, из которой умирающий потомок Дон Кихота причащает потомка Санчо Пансы.

Дух, пронизывающий роман Грина, характерен для нашего бурного и противоречивого века, который отмечен не только насилием и жестокостью, но и страстным стремлением людей к миру и взаимопониманию. Именно сейчас, на исходе XX столетия, мы со всей серьезностью стали задумываться над тем, куда ведет раздувание «образа врага».

Война верований, идеологий, систем имеет долгую и мрачную историю. Но постепенно человечеству становится все яснее, что, культивируя ненависть — религиозную, политическую, национальную,— оно раздирает с а м о е с е б я. Приближает тот рубеж, где маячит призрак апокалипсической катастрофы.

Поэтому сегодня вопрос об отношениях между «верами» (пользуясь терминологией Грина) приобретает необыкновенную остроту.

Можем ли мы, столь разные, все-таки жить вместе на одной Земле.

Вселенная, Природа, а в понимании христиан — Провидение уже ответили на этот вопрос, поставив человека перед лицом грозной правды.

Если н е с м о ж е м — неизбежно погибнем...

С. ХОРУЖИЙ

КАК ЧИТАТЬ «УЛИССА»

«Улисс» — весьма особое произведение литературы. Каждого русского читателя, впервые сегодня знакомящегося с романом, ожидает ряд вопросов и недсумений, не возникающих обычно при встрече с изящной словесностью. По этой причине будет небесполезным кратко предупредить о характере вероятных проблем и подсказать пути их решения.

Неизбежное впечатление сегодняшнего читателя: «Многое знакомо». Большинство из ведущих литературных приемов романа — прихотливая смена масок рассказчика, знаменитый «поток сознания», «внутренний монолог», эксперименты со словом, со временем, с меняющимися слоями реальности — давно уже присутствуют на русском языке в исполнении других авторов. Вулф, Фолкнер, Беккет, Борхес, Дёблин и Грасс, Бютор и Виан, Звево и Эко, не говоря уже о многих наших обновителях прозы... «все промелькнули перед нами» — и на этом фоне роман Джойса не покажется особенно нов. Это впечатление требует коррекции. Когда был создан «Улисс», всего перечисленного не было. Он — первый, и он был нов радикально. Первый совет читателю: усилием исторического зрения заменить обратную перспективу (в которой волею судеб является к нам «Улисс») на прямую — дабы достичь восприятия романа в его истинном качестве литературного открытия.

Неизбежное впечатление любого читателя: «Многое непонятно». Стоит даже сказать сильней: непонятным пронизаны решительно все стороны и элементы романа (особенно в поздних эпизодах, одиннадцатом — восемнадцатом, где книга значительно усложняется). Что угодно бывает тут непонятным — значения слов, смысл фраз, реалии, события, мнимость или реальность описываемого и т. д. Любые усилия читателя могут лишь сократить эту гомерическую непонятность, но не уничтожить ее целиком. В такой ситуации русский читатель (гораздо сильнее западного) влечется к русским вопросам: кто виноват? — и потом: что делать?

Первый вопрос получает мирное решение. Если пока говорить не о мере и степени, но только о самом факте неустранимого присутствия непонятности в художественном целом, то в этом факте нет виноватых, ибо нет и вины. Бесспорно, что в обычных явлениях реальности такое присутствие — скорее правило, чем исключение; но, не смущаясь неполнотой нашего знания и понимания этих явлений, мы можем формировать свое отношение к ним и получать от них вполне определенные впечатления, в том числе эстетические. Неполноту же мы принимаем как одну из объективных черт наших отношений с реальностью или, в иных терминах, как часть замысла Творца о реальности. Спросим: а отчего так же не может быть и с реальностью художественной? Разумеется, может; и чтобы непонятность как таковая была не в осужденье художнику, мы единственно должны знать, что он есть творец истинный, то есть все качества его вещи присутствуют в ней по его воле и замыслу, а не по его недосмотру либо неуменью. И тут мы полностью заверяем: весь «Улисс» тщательно продуман и зорко проконтролирован автором. В частности, и элемент непонятности романа сознательно предусмотрен в нем: это — часть отношений читателя с романом, по замыслу автора. Так эту непонятность и стоит принять.

Однако, если законно присутствие элемента непонятного в романе, то все же еще законней стремление читателя свести этот элемент до минимума. Тяга понять — один из главных компонентов нашего отношения к произведению искусства (опять-таки как и к обычному явлению). Эффективное продвижение к пониманью «Улисса» требует продуманной стратегии. Чтобы найти ее, нужно прежде всего отделить непонятность как внутреннее качество текста (его запутанность, неоднозначность, неправильность и т. п.) от непонят-

ности внешней, вызванной лишь неполнотой информации, неизвестностью для нас каких-либо фактических сведений. Оба рода непонятности преизобилуют в романе, но отношение к ним должно быть разным.

Бесспорно, необходим некий минимум информации, ее пороговый уровень, для того чтобы встреча читателя с романом могла бы вообще состояться как эстетический факт. Этот минимум должен обеспечивать читателю возможность ориентации в космосе «Улисса», который устроен не так уж просто. Сначала, разумеется, перед нами — мир действия романа, реальный мир. Его строение таково: непосредственная сцена действия, или микрокосм, Дублин 16 июня 1904 года, объемлется более широкою пространственно-временной сферой Ирландии и вместе с нею включается в два разных макрокосма, или Мировых Организма, в Британскую империю и в Католическую церковь. Кроме того, как говорит уже само заглавие, в романе присутствует и другой мир — мир «Одиссеи» Гомера. С реальным миром он связан в точности так, как у древних греков были связаны мир небесный и мир земной: земные события и людские дела отражаются, находят себе соответствие в небесном мире, который народная вера, астрология, полагала просто небесной сферой с движущимися на ней светилами, а мысль божественного Платона — особым «умным миром», или миром идей. «Одиссея» — Платонов мир идей для «Улисса»: его герои, их деяния и их судьбы имеют там свои прообразы. И даже еще один мир следует добавить сюда: личный мир автора. Своевольно и анархично, ломая каноны и этикет изящной словесности, Джойс, когда захочет, вторгается в мир романа просто сам по себе, не творцом этого мира, а мужиком с улицы: вставляет разные намеки и экивоки, упоминает события и людей вовсе не из романа, а из собственной жизни. С такой же свободой то и дело входят в роман и его предыдущие книги.

В реальном плане романа протекает один день из жизни рекламного агента Леопольда Блума, дублинского еврея, отец которого Рудольф Вираг эмигрировал в Ирландию из Венгрии, сменил венгерскую фамилию на сходную по смыслу английскую (Вираг — цветок, Блум — цветение), был мелким, но предприимчивым бизнесменом, потом владельцем гостиницы и умер, покончив с собой в 1886 году. Джойс — индивидуалист, и приключенья героя движимы сугубо частными обстоятельствами и ограничены сферой его мелких дел. Тем не менее в них есть подлинный драматизм. 16 июня 1904 года — день необычный (как не был он обычным для автора: то был день первого свидания Джеймса Джойса со своей будущей женой). В этот день происходит нечто глубоко ранящее, мучительное для Блума: любовное свидание и супружеская измена его жены Мэрион, Молли. Событие это — сюжетная кульминация и ключ к интриге романа, композиции, эмоциональной атмосфере. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему: у Блумов сложилось так, что муж, предвидя измену, не мешает ей совершиться, хоть он не только любит жену, но весь и всегда во власти ее женского обаяния. И большую часть романа Блум бродит по городу — то занимаясь делами, то просто проводя время — и переживает... Другой главный герой — Стивен Дедал, автобиографический персонаж, школьные годы которого описаны в первом романе Джойса «Портрет художника в юности» [1]. Любопытно, что при всей автобиографичности (возраст, обстоятельства жизни, ее узловые события — все это у Стивена то же, что и у Джеймса Джойса в 1904 году) это — самая традиционная фигура европейского романа: талантливый, но ничего пока не свершивший юноша, весь еще сущий в становлении, в самоутверждении, в перманентном конфликте и со средой, и с самим собой. У Стивена есть отец, Саймон Дедал, колоритный дублинский тип, художественно одаренный, с незаурядным талантом к пению, с яркой и необычной речью, даром рассказчика; а равно — законченный неудачник в делах, завсегдатай пивных и баров, эпически беззаботный и до мозга костей безответственный. Отношения отца и сына — одна из главных тем романа, предмет напряженных мыслей Стивена, постоянно колеблющегося между чувствами любви и отталкивания, симпатии и осужденья по отношению к отцу, возводящего тему и в метафизический и в богословский план. У Стивена есть и друг, студент-медик Мэйлахи Маллиган, по прозвищу Бык, с которым он, уйдя из родительского дома после смерти матери, поселился в покинутой сторожевой башне, где и начинается действие романа. Но это — мнимый, фальшивый друг, завистник и коварный предатель, нечистоплотными маневрами выживающий его из башни. Итак, все его отношения напряжены, неуравновешены, у него нет ни пристанища, ни опоры. Это чутко улавливает Блум, знакомый с его отцом и не раз сталкивающийся со Стивеном в дневных блужданьях по Дублину. У него пробуждаются почти отеческие чувства к юноше: ему тридцать восемь лет, Стивену двадцать два; смерть сына-младенца одиннадцать лет назад и неутоленное желание иметь сына — одна из его главных душевных ран, как и измена Молли. Стремясь опекать Стивена, он следует за ним и в конце концов приводит к себе домой, воображая дальнейшее прочное с ним сближение. Но идиллия не осуществляется. Стивен вскоре же уходит — в ночь, в бесприютность. Блум остается как был, бессынен.

Связь этого реального плана с «Одиссеей» многообразна. В первую очередь, Гомеров миф доставляет роману его заглавие, его внешнюю структуру (разбивку на относительно независимые эпизоды, подобно песням «Одиссеи») и его жанр путевого романа, романа-странствия (эпизоды следуют в порядке передвижений героев, и каждый разыгрывается либо прямо в пути, либо в определенном месте, завершаясь уходом героя). Но основная функция мифа — сюжетная. Главные герои, а за ними и ряд других имеют Гомеровых прототипов: Блум — Одиссей, Стивен — Телемак, Молли — Пенелопа; затем, скажем, в седьмом эпизоде Майлс Кроуфорд — Эол, в тринадцатом эпизоде Герти — Навсикая, в пят-

[1] Опубликован в «ИЛ», 1976, № 10—12.

надцатом эпизоде Белла Коэн — Цирцея, и т. д. День Блума — странствие Одиссея. Каждый из эпизодов связан по содержанию с каким-то эпизодом из «Одиссеи» (хотя часто эта связь — отдаленная и метафорическая, а порядок эпизодов не следует порядку их Гомеровых коррелатов). Наконец, всюду рассеяны мелкие мифологические аллюзии, разнообразно подкрепляющие «гомеровскую привязку» романа. Но требуются большие оговорки насчет всего этого мифологического арсенала. Прежде всего, Джойс обращается с мифом очень свободно, сплошь и рядом отклоняясь от «Одиссеи» и совсем не считая нужным возводить к ней всех главных персонажей и все хотя бы главные элементы содержания. Он не желает погружаться в миф целиком, не ставит целью воспроизвести, воплотить саму жизнь и стихию мифа (к чему всегда стремится истинно мифологический роман, как, скажем, «Иосиф и его братья»). Гомеров миф для него не цель, а только средство решения литературных, или, точнее, конструктивных задач, касающихся схемы, структуры, сюжета вещи. И в этом смысле «Улисс» — не мифологический роман. Это не значит, что миф как таковой был чужд его автору. Я бы сказал иначе: Джойс влекся к мифу, но был слишком независим, оригинален, нов, чтобы вместить свое мироощущенье и творчество в какой-то г о т о в ы й миф. У него зрела собственная мифология, которая еще почти отсутствует в начале «Улисса», намечается в его поздних эпизодах, а полного развития достигает лишь в следующем романе, «Поминках по Финнегану».

Дальнейшие сведения о космосе «Улисса» будет нести комментарий. Он призван преодолеть разрыв между читателем и тем комплексом минимальной информации, о котором мы говорили выше. Иными словами, он должен снабдить читателя входным билетом, обеспечив ему возможность войти в роман и воспринять его как художество. При этом внешняя, информационная непонятность текста еще вовсе не исчезает. И все же с достижением ее минимума информация перестает быть главной проблемой. «Улисс» в самом деле рассчитан на необычно большую работу мозга читателя, однако нужно предупредить: центр тяжести этой работы — не вне романа, а внутри него, не в поисках массы сведений в грудах ученых книг, а в установлении эстетического контакта с неким необычным и непростым художеством. И реальный и мифологический планы романа описаны выше плоско — так, будто для их пониманья достаточно иметь некий объем сведений. Но это — только начальное их состояние в романе, только исходное сырье художника. Потом он начнет его изощренно препарировать: миры и планы будут множиться, отражаться, разлагаться; герои испытают странные превращенья, приобретут многие символические роли и параллели (из самых частых: Стивен и Гамлет, Блум и Христос), даже «космические эквиваленты», как выразился Джойс, но зато перестанут быть «типами» и «характерами» психологического романа; и почти каждая фраза начинится множеством пластов смысла, станет как айсберг. Как все это охватить читателю?

Главное, что тут может помочь,— главное пожеланье читателю! — я выражу психологическим понятием: алертность, что на языке непрофессиональном можно передать как ж и в у ю р е а к ц и ю — полную включенность в происходящее и чуткий на него отклик. Речь, понятно, идет о включенности в мир романа и отклике на все аспекты и измерения его художественного целого. Именно на все, включая и те, которым обычно читатель уделяет малое или нулевое внимание, полагая их техникой дела, касающейся только специалистов. Таких аспектов много, начиная от самых крупных — общих принципов формы и построения романа — и кончая микроэлементами: строением фраз, характером языка, принципами обращенья со словом. Почему они первостепенно важны в «Улиссе»? Ответим так: потому что все они используются у Джойса как прямо и активно смыслонагруженные, смыслоносные (можно еще сказать — символические) элементы. В традиционной прозе в них размещалась, кодировалась очень малая доля полного смысла вещи, в «Улиссе» же — огромная доля. Именно здесь и кроется специфика читательских отношений с «Улиссом»: в необходимости извлечения (считывания, раскодирования) этих по-новому закодированных смыслов. Суть и путь этой работы раскодирования проясняются, если дать ответ на два почти неизбежных сомнения по ее поводу.

Во-первых, стоит ли читателю ее проделывать? Может быть, эти смыслы, заключенные в «технических» аспектах произведения, и сами являются сугубо техническими, говорящими лишь специалистам?

Во-вторых, может ли читатель ее проделать? Может быть, это только все тем же специалистам и доступно?

Касательно первого скажем, что никаких целиком и полностью технических элементов в романе, по самой сути его, просто нет. Если элементы техники, средства формы и языка уже не служат лишь донесенью неких внеположных им смыслов, но вместо этого эмансипируются, приобретают самостоятельную жизнь и ценность, это вовсе не значит, что перед нами не художественная проза, а сборник упражнений. Это значит совсем другое: что художник как-то сумел их согреть и одухотворить, придать им экзистенциальное наполнение, вложить в них куски своей духовно-душевной жизни. И они стали живыми, стали символичными! и как живые, они говорят о живом, о человеке и обществе; как символы, они говорят о вечных ценностях,— то есть обо всех тех же вещах, о которых говорят и смыслы обыкновенного прямого рассказа. Но! Они говорят о том же — но не то же! У них иной спектр возможностей, и они выражают такие свойства и измерения этих вещей, какие уже не выразить прямым рассказом, лобовым слогом и словом. Даже о столь яром приверженце классических литературных норм, как Бунин, Ходасевич писал: «Путь к бунинской философии лежит через бунинскую филологию — и только через нее». Насколько же больше это должно быть верно для Джойса!

Со вторым вопросом еще короче. Установка алертности, чуткости ко всем сторо-

нам художества и, особо, к средствам формы и языка (в случае «Улисса») нисколько не монополия профессионалов. Одни их подходы способствуют ей (как структурализм), другие вовсе не ставят таких целей (как соцреализм), и во всяком случае ни один не может ее гарантировать, ибо она является не теоретической, а жизненной, духовно-душевной и хоть названа нами поученому, но, по сути, попросту совпадает со знаменитым девизом Пастернака: «Быть живым!» Живым ко всему. Этим мы не утверждаем демагогически, будто отношение читателя не ко «всему», а специально к литературе, его литературная подготовленность, не имеет никакого значения при вхожденьи в «Улисса». Напротив, очень нужны, полезны литературная воспитанность и культура, любовь к литературе и слову, но ведь это опять не профессионализм, а в конечном итоге просто л ю б о в ь; так что, пожалуй, и это тоже охватывается девизом,— ведь жизнь невозможна без любви.

Краткие Указания положено заканчивать канонически: «В заключение рассмотрим примеры». Итак, несколько примеров, показывающих, что же делается в «Улиссе» с формой и с языком и какого рода смыслы они там могут нести. Прежде всего, надо сказать, что Джойс вообще пишет так, чтобы слово и форма постоянно были видны, были ощутимы как живые, активные элементы прозы. Допустим, мы читаем: «Он рассмеялся, чтобы ум его сбросил оковы его ума»; или: «А сейчас он в могиле. А мама ему сказала, пусть это будет ему предупреждением...» Джойс очень любит поставить рядом одно и то же слово в разных значениях или одно и то же местоимение, замещающее разных лиц. Чаще всего это глубинного смысла не несет, однако и не является бесцельным ребусом или каламбуром: но манера письма, насыщенная подобными мини-приемами, постоянно напоминает о жизни языка, в котором любое слово — не кирпич, а живая плоть, и потому никогда не равно самому себе. Понятно, что такая манера и читателя не оставляет в покое, а беспрерывно его пихает, встряхивает и тормошит, и требует все того же: алертности. Не спи, не спи, читатель, не предавайся сну... Так что чтенье «Улисса» вполне показано стремящимся к выходу из застойного сна. Далее, кроме мини-приемов, в романе, разумеется, необозримое множество приемов настоящих, более крупных. Небольшое число из них избраны автором в особо важную группу «ведущих приемов»: на каждом таком приеме целиком строится стиль какого-либо из эпизодов. Вот некоторые из них: Сирены (эпизод 11) — словесное моделирование музыки; Навсикая (эпизод 13) — пародийная имитация дамской прессы; Быки Гелиоса (эпизод 14) — имитация всех исторических слоев английской литературной традиции; Евмей (эпизод 16) — антипроза: нарочито вялое, неумелое и шаблонное письмо.

Еще один очень характерный прием удобно назвать бахтинским термином «хронотоп». Это, напомним, совокупность всего пространства и всего времени действия романа. Хронотоп «Улисса» удивительно сжат и точен: не только весь огромный роман заключен в рамки одного дня и одного маленького города, но и любое крохотное событие в нем скрупулезно привязано к определенному месту и времени. Это смотрится причудой, но за нею — большой расчет. Чем дальше в романе, тем больше усложняется и затемняется его мир; трансформируются и распадаются герои; реальность колеблется, дробится, проваливается — но все это происходит в точнейше известный час и в точно определенном месте, и знание этого может помочь читателю устоять на ногах. «Держись за здесь и теперь»,— советует Стивен. Итак, хронотоп «Улисса» — спасательный круг читателю. Не возьмусь только уверять, что он один достаточен, чтобы выплыть... И наконец — пример на пресловутое раскодирование, считывание смысла с формы. Знаменитый финал романа: монолог Молли Блум. Перед нами 45 страниц (в стандартных изданиях) абсолютно непрерывной, слитной внутренней речи, где, кроме разделений на слова, исчезли все прочие разделения, так что речь сознания Молли вполне буквально есть сплошной льющийся поток. Вглядываясь, очень многое можно сказать об этом потоке. Сплошной он лишь по своей текучести, но вовсе не в смысле лишенности структуры, формы и внутренних различений; это никак не сплошная масса, вся разом стремящаяся, как по трубе, в одном направлении. Слова в монологе связываются между собой, из них возникают синтаксические структуры, вырисовываются части фраз; намечаются, развиваются, меняют направленье и темп, переплетаются между собой темы — только все это никогда не обрывается, все текуче, все подчиняется исключительно законам жидкой среды, так что физик-энтузиаст мог бы применить к этой прозе уравнения Навье-Стокса... Перед нами явно — вольная река, с прихотливым течением, струями, перекатами, порогами: последнее опять буквально, ибо семь раз поток речи, не прерываясь, вдруг делает перепад — абзац. И этою формой — ничуть не меньше, чем самим содержаньем слов! — Джойс именно и выражает то, что он хочет сказать о Молли, выражает свою идею женщины, женской стихии. Эта форма и есть — Джойсова модель женщины. В полной мере даже он сам понял это не сразу; как и со многим другим, логическое завершение интуиции явилось уже в следующем романе. В «Поминках по Финнегану» это стало законченной, зрелой мифологемой: женщина — река. И река — женщина. Оба облика мифического единства равноправны, неразличимы и несут одно имя: Анна Ливия Плюрабелль... Это завораживает, не правда ли? И много подобного таят в себе две странные великие книги. А засим, что же: «Дверь отперта, Переступи порог».

◆

Писатель и время

ГЮНТЕР ГРАСС:

«ДЕМОКРАТИЯ — ОЧЕНЬ ТРУДНАЯ ВЕЩЬ...»

В минувшем году у нас в стране гостил западногерманский писатель Гюнтер Грасс. Состоялась дружеская беседа Гюнтера Грасса с советскими литераторами: Е. Кацевой, Н. Анастасьевым, Л. Лазаревым и Е. Сидоровым. Предлагаем вниманию читателей «ИЛ» краткую запись беседы.

Н. Анастасьев. Может быть, стоит начать нашу беседу с того, что, мне кажется, все больше занимает сейчас умы гуманитарной интеллигенции на Западе и Востоке.

В одном из лучших романов послевоенного времени — «Даниэле Мартине» англичанина Джона Фаулза (скоро он станет достоянием и наших читателей),— есть много рассуждений об «английскости» — нравов, характера, культуры. В Индии, где вы, Гюнтер, провели почти год, тоже весьма озабочены «индийскостью». Я лишний раз убедился в этом на московской встрече с индийскими коллегами в рамках фестиваля Индия — СССР. И у нас, порой с надрывом, обсуждают проблему «русскости». Я слышал, что Гюнтер Грасс разделяет тревогу Валентина Распутина по поводу вторжения американских культурных клише в советскую жизнь. По-видимому, такая опасность действительно существует. Но мне куда более реальной кажется иная угроза — разделение культур по национальным регионам, анклавам и тому подобное. Печальным результатом этого может стать нарушение нормального процесса их взаимодействия.

Поэтому хотел бы предложить вам подумать, в каких отношениях находятся опыт национальной культуры и опыт того, что можно было бы назвать интернационалом культуры?

Гюнтер Грасс. Вы затронули весьма сложную проблему, тем более что понятие «нация» в истории Европы — сравнительно молодое политическое понятие. В XVI веке — в период расцвета Ренессанса — Европа являла собой гораздо большее единство, нежели теперь. Вы упомянули Индию. Развитие этой страны до сих пор в сильной мере определяется ее колониальным прошлым. Там существует, если не ошибаюсь, пятнадцать литературных языков, и сфера их распространения отнюдь не всегда совпадает с границами отдельных штатов. Из Дели была предпринята попытка ввести в качестве единого литературного языка хинди. Пока это удалось лишь отчасти. Интеллигенция по-прежнему разговаривает по-английски, хотя на этом языке говорят лишь два процента населения Индии. Я встречал в Бенгалии писателей, которые знакомы с произведениями своих коллег, пишущих на тамильском или урду, только в английских переводах.

Но я хочу сказать о Германии. Германия разделена, состоит из двух государств вследствие того, что немцы проиграли войну. Начали ее и проиграли, это — неопровержимые факты. История показала, что эту страну можно разделить географически, идеологически, два немецких государства входят в состав разных блоков-систем.

Разумеется, писатели в двух немецких государствах — ФРГ и ГДР вырастают на разной общественно-социальной почве, однако они черпают из одного источника, опираются на одни и те же традиции немецкоязычной литературы — не только германской, но также австрийской и швейцарской.

Мне, неспециалисту, очень трудно разобраться в тех процессах, что происходят в Советском Союзе. Но по мере развития гласности в политической сфере выясняется, что целые огромные регионы находятся в культурной зависимости от доминирующей русской культуры. Они столетиями испытывали на себе давление, начиная с Петра Великого, если говорить о прибалтийских провинциях. Но с расширением гласности должны будут приобретать все большее значение малые культуры. Я считаю это выигрышем.

Поясню свою мысль на другом примере. Возьмем Францию, в культурном отношении, вероятно, центральное государство в Европе. В культуре там доминирует Париж. И только в последние десятилетия вдруг выяснилось, что существуют бретонская, баскская, эльзасская культуры. В общем процессе начинает играть все более заметную роль французская провинция, хотя процесс этот едва начинается. Париж

боится утратить свою главенствующую роль. Думаю, в Европе можно было бы добиться большего взаимопонимания, если бы в обиход оказалось вовлечено все богатство и разнообразие европейских культур.

И моя критика (поэтому я и понял тревогу Распутина) направлена не против американской культуры вообще. Я критически отношусь, например, к засилью в телевизионных программах ФРГ, как правило, второсортных американских фильмов и телесериалов. В итоге наша собственная продукция не имеет широкого распространения. Западногерманский телезритель получает весьма сомнительную картину того, что происходит в Далласе или в клане Денверов, но аналогичные скандалы в ФРГ не освещаются или делается это в абсолютно эпигонской форме. Пример — западногерманский телесериал «Клиника в Шварцвальде», копия «Далласа». Сериалы делаются в США с огромным размахом и становятся экспортным товаром, которым торгуют по всему свету. Телесериал «Даллас», к примеру, купила Турция.

Как писатель, я вырос на традициях немецкой литературы и, если говорить о прозе, на традиции европейского романа. Той его формы, которую литературоведы именуют плутовским, потому что он возник в Испании задолго до Сервантеса под влиянием арабской прозы, в период завоевания арабами Испании. Эта традиция проявилась в творчестве Рабле уже и в ранних переводах Рабле, сделанных в Германии, затем в романе Гриммельсгаузена «Симплициссимус» и так далее, вплоть до Свифта и Стерна в Англии. В конечном счете «Тристрам Шенди» — тоже плутовской роман. Если говорить о нашем веке, то «Улисс» Джойса, как ни современны его язык и композиция, по-моему, продолжение той же традиции. Мне кажется, и в русской литературе, например, Обломов у Гончарова плутовской герой, так как в центре повествования — одна фигура, которая словно зеркало отражает тогдашнее общество и эпоху. Таков и герой моего первого романа «Жестяной барабан».

Н. Анастасьев. По ряду частностей я мог бы возразить. К примеру, мне трудно представить Гончарова в качестве последователя плутовской традиции европейского романа. Скорее уж Гоголь...

Такое толкование этой традиции, бесспорно, выходит за рамки привычных литературоведческих трактовок. Для меня, по старинке, образцом плутовского романа остается «Жизнь Ласарильо с Тормеса». Впрочем, на почву споров о дефинициях я увлекать нас не намерен.

Г. Грасс. Существует лишь один критерий: когда литературный герой, вроде Дон Кихота, например, даже для людой, не читающих книги, становится определенным символом. Гончарова я привел в подтверждение глубинных европейских взаимосвязей...

Л. Лазарев. Развитие культуры и литературы идет чрезвычайно сложно. С одной стороны, мы наблюдаем тенденцию с максимальной полнотой реализовать национальные особенности. Параллельно развивается и другой процесс, который даже не назовешь тесным взаимодействием,— это взаимопроникновение. Скажем, книги Басиля Быкова воспринимаются русскими читателями как явление своей литературы. Даже в библиографических справочниках их иногда помещают в графу русской литературы, иногда белорусской. То же самое происходит с Чингизом Айтматовым. Есть явления такие же сложные, например Искандер, который пишет на русском языке, но воссоздает жизнь абхазского народа. Все это факты глубоко положительные, обогащающие разные национальные культуры. Таким и должно быть нормальное развитие. Межнациональный обмен, происходящий на уровне настоящей литературы и культуры, очень плодотворный процесс. Стремление оградить национальную культуру от соревнования с другими культурами, вытребовать ей льготные условия может только привести к ее упадку. Я понимаю страх некоторых наших писателей перед наступлением зарубежной массовой культуры, но мы должны радоваться, когда получаем наконец доступ к достижениям культуры подлинной. Кстати, это помогает выявить культурам «русскость», «немецкость», «английскость» и так далее, то специфическое, что они несут другим народам.

Е. Сидоров. Теоретически это вопрос вроде бы ясный. Не существует безнациональной культуры, и чем ты больше и глубже, чем национальней и талантливее, тем общечеловечней. Мне интересно читать Бёлля и Грасса, потому что они немцы, и талантливые немцы. Именно через их тексты я могу лучше понять судьбу немецкого народа. Распутин — это замечательный русский писатель. Вознесенский тоже идет в своем творчестве именно от русского, перезванивающегося, фольклорного слова. Казалось бы, они антиподы, но корень у них один и тот же. И самое главное, что оба талантливы, каждый по-своему.

Но вопрос, который поставил перед нами Николай Анастасьев, всегда, особенно сейчас, есть вопрос политический. Существовала сталинская «империя», где соответствующим образом, совершенно четко проводилась национальная политика. Были границы, были лозунги, переселялись народы, ломались исторические судьбы. Существовал четкий набор лозунгов: что такое дружба народов, что такое социалистическое искусство. Например, «национальное по форме и социалистическое по содержанию». Коротко и ясно. Мы обменивались тостами за дружбу народов и до сих пор продолжаем ими обмениваться. К несчастью, мало читаем друг друга, многие писатели часто не знают, что пишут их коллеги из соседних республик, и все мы, дружно обнявшись, смотрим в светлое будущее. Естественно, что, когда все это рухнуло, возникла чисто человеческая реакция, потребность выяснить, что же реально происходит в каждой национальной литературе. С другой стороны, лозунг интернационализма весьма привлекателен, но если он не подкреплен реальной духовной верой, практикой, экономикой, бытом, то он ничего не значит, как и любой другой лозунг.

Для меня одинаково неприемлем как левый, так и правый экстремизм, но русский шовинизм мне особенно неприятен, потому что я русский. И, как русский, я всег-

да в первую очередь буду выступать не против национализма грузина, а против русского шовинизма. То, что эти вопросы всплыли,— результат глубоких противоречий советской истории. Почва культуры — это здоровье и норма, в том числе здоровье и норма в национальном общении. Когда же этого нет — возникают конфликты, трагедии. Крупному писателю, художнику, к которому прислушивается народ, особенно важно не впасть в односторонность, когда речь идет о национальных проблемах. И поэтому мне горько, когда такой, на мой взгляд, честнейший писатель, как Распутин, тоже иногда демонстрирует в своих публицистических выступлениях недостаточную высоту и милосердие по отношению к другим народам, которые, подобно великому русскому народу, понесли огромные человеческие и культурные потери.

Г. Грасс. Не существовали ли истоки этой национальной узости, даже шовинизма, задолго до сталинизма? Стоит обратиться, например, к панславизму. Ведь и у великого Достоевского есть на сей счет ужасные высказывания. Или сегодня, например, у Солженицына, чью политическую критику в «Архипелаге Гулаге» я разделяю. Но когда он говорит о демократии, тут я не могу с ним согласиться.

Л. Лазарев. Я бы только эту мысль перевернул: мне кажется, дело не в традиции, а в том, что традиция спекулятивно используется в неблаговидных целях.

Е. Сидоров. Прямая связь тут есть. И Достоевский здесь тоже упомянут к месту. Можно вспомнить еще многих мыслителей России, того же Константина Леонтьева. Тут существует большая традиция, но она настолько опошлена в наше время, настолько приобрела черты чисто групповой борьбы в литературе и искусстве, что уже не имеет никакого отношения к исторической и весьма продуктивной полемике западников и славянофилов. Традиция русской мысли в нынешних «боях» выродилась, не хочу сказать в гротеск, но явно в нечто ущербное и малопродуктивное. К сожалению, этой борьбой затронуты и писатели действительно талантливые. В своей публицистике они порой позволяют себе высказывать весьма мелкие и непродуманные, недостойные их таланта соображения по столь сложному вопросу.

Г. Грасс. Я читал только романы Распутина и не знаю его публицистики. Оставаясь в рамках обсуждаемой темы, я хотел бы расширить ее и сказать о небольшой стране, которая в результате политических притязаний извне понесла невероятные культурные потери. Вероятно, вы догадались, что я имею в виду Чехословакию. Ведь исторически чехи и словаки, в отличие от поляков, всегда дружелюбно относились к русским. Тем сильнее был их шок в 68-м году. Сегодня, спустя двадцать лет, мы можем размышлять обо всем этом. Меня удивляет, что во время моего короткого пребывания у вас (хотя я заговаривал об этом с разными людьми) никто не касался вопроса о Чехословакии. Я не слышал ни от одного русского: «Боже мой, что мы тогда наделали!»

Я не встретил никого, кто бы сказал: разве не чехи и словаки — партработники, экономисты, писатели — еще до нас, во время «пражской весны», выдвинули задачи, сходные с теми, которые мы сегодня с огромными трудностями пытаемся решить в нашей стране? Я не слышал ни одного слова о Чехословакии, не слышал, чтобы кто-нибудь из советских писателей и политиков сказал: «Да, это было, и мы очень сожалеем об этом. Мы тогда были против, но ничего сделать не могли». Может быть, я ошибаюсь, но для меня это свидетельство стесненности, ограниченности. Я бы очень хотел, чтобы у вас в разговорах о демократии и гласности ставился бы и вопрос о новых подходах в оценке того, что произошло с Чехословакией. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, то, что теперь у вас происходит, является не высказанной вслух реабилитацией пражских реформ. На мой взгляд, это затрагивает все, вплоть до культурной сферы.

Е. Кацева. У нас еще слишком кровоточит Афганистан, который все заслонил. Впрочем, я хотела бы вернуться к тому, о чем говорилось выше. Думаю, что сравнение Индии и роли там английского языка с двумя Германиями, с Советским Союзом и русским языком — неправомерно.

Для всех людей, живущих в Индии, английский язык — все-таки иностранный. Для ГДР и ФРГ немецкий язык общий, родной. В Советском Союзе люди говорят не только на русском языке, почти для половины населения русский, даже когда они им владеют, не родной язык, но он играет роль языка межнационального общения. Сохранение своего языка для всех этих народов — вопрос будущего их культуры: не сохранив языка, невозможно сохранить национальную культуру. В этом истоки того, что происходит сейчас в Прибалтийских республиках, на Кавказе, в Якутии и может произойти в других местах. Кроме того, у многих на памяти выселение во время войны крымских татар, калмыков, ингушей и других — это была страшная трагедия. Зерна национализма посеял Сталин, провозгласивший на приеме по случаю Победы тост за русский народ, словно бы другие народы Советского Союза не участвовали в войне против захватчиков.

Г. Грасс. Но ведь это сказал грузин!

Е. Сидоров. Именно в этом и была страшная ирония, в том, что Сталин — грузин. Вообще в истории Европы часто наибольшими шовинистами становились люди, принадлежавшие к другой национальности, чем те, кем они правили. И Гитлер, как известно, был австрийцем.

Н. Анастасьев. Похоже, я не ошибся, предположив с самого начала, что проблемы национального самосознания в их художественном бытии вызовут оживленный обмен мнениями. Правда, не ожидал, что разговор сразу и так резко уклонится в сторону политики.

Но прежде позвольте все же подвести некий итог сказанному. Совершенно очевидным представляется то, что любой художник связан с почвой, родной историей и прочее. Тут нет предмета для спора. Печально, однако, когда писатель чрезмерно увлекается региональными и почвенными проблемами. В подтверждение этой банальной мыс-

ли сошлюсь на немецкоязычного писателя Германа Гессе. Вот что писал он, полемизируя с германскими ура-патриотами времен первой мировой войны: «...среди тех, кто заслуживает права называться писателем, вряд ли встретится такой, кому патриотические песни Кёрнера были бы больше по душе, чем стихотворения Гёте, который столь странным образом держался в стороне от освободительной войны своего народа [1].

Вот-вот, тут же воскликнут ура-патриоты, этот Гёте был нам всегда подозрителен, он никогда не был патриотом, он заразил немецкий дух тем мягкотелым, холодным интернационализмом, которым мы уже давно болеем и который изрядно ослабил наше германское самосознание.

В этом суть дела. Гёте никогда не был *плохим патриотом, хотя он и не сочинял в* 1813 году национальных гимнов. Любовь к человечеству он ставил выше любви к Германии, а ведь он знал и любил ее, как никто другой. Гёте был гражданином и патриотом в интернациональном мире мысли, внутренней свободы, интеллектуальной совести, и в лучшие свои мгновения он воспарял на такую высоту, откуда судьбы народов виделись ему не в их обособленности, а только в подчиненности мировому целому».

Е. Сидоров. Именно Гёте принадлежит сам термин «мировая литература».

Н. Анастасьев. Двинемся, однако, далее. Несомненно, литература XX века, особенно второй его половины, вошла в теснейшее соприкосновение с идеологией и политикой. Тут как бы произошел некий сдвиг в традиции. Во всяком случае раньше, на мой взгляд, столь непосредственной связи не было. Возникает вопрос: обогащает ли столь прямое взаимодействие литературу как суверенный художественный мир?

Г. Грасс. Вы цитировали Германа Гессе, который был мужественным и дальновидным человеком и, защищая свою точку зрения в 1914 году, был столь же одинок, как и Ромен Роллан. Ведущие немецкие писатели, от Герхарта Гауптмана до Томаса Манна, экспрессионисты, все с восторгом бросились поддерживать ту войну. Герман Гессе и Ромен Роллан были два одиноких голоса. В этом веке мы, писатели, хотим мы этого или не хотим, часто становимся жертвами политики независимо от того, реагируем мы на эту политику или нет. Я не могу согласиться с вами, когда вы говорите, что видите в этом нечто новое. Писатели, которых я упомянул в связи с плутовским романом — Сервантес и Рабле,— всю свою жизнь были жертвами политики.

Французское Просвещение одновременно и история политической борьбы. Это же относится не только к французским, но и к немецким авторам, от Лессинга до Гейне. Мы можем обратиться и к совсем далеким временам, к такой фигуре, как поэт Вальтер фон дер Фогельвейде. У нас есть свидетельства, что он активно боролся за свои права. Что же в этом плохого? Политика — часть нашей реальности. Опасность состоит лишь в том, что политика нередко заявляет о себе как о единственной реальности. И задача писателя доказать, что кроме политической есть и другие реальности. Таким образом, литература неизбежно оказывается в конфликте с политикой.

Мое развитие как писателя определялось тем, что я родился в Германии, в стране, считавшейся просвещенной. Но именно в этой стране возникло нечто столь преступное, как национал-социализм. В 1933 году самая значительная часть немецкоязычных писателей вынуждена была уйти в эмиграцию. Волна эмиграции и физическое уничтожение унесли не только политически ангажированных писателей, но и тех, кто занимался «чистой» литературой. Поэтому я, наряду со своей писательской деятельностью, занимаюсь политикой, вижу в этом свой гражданский долг. Я хочу участвовать в жизни не только в качестве художника. Можно назвать много причин, объясняющих, почему первая серьезная попытка реализовать в Германии демократию — Веймарская республика — потерпела крах. Но одно несомненно: в этой республике было слишком мало республиканцев, которые ее защищали. В этом для меня одна из причин серьезного отношения к политике. И еще: надо следить за тем, чтобы законы литературы не уподоблялись государственным, поскольку это законы эстетического свойства. Я отказываю любому государству и обществу в праве выносить приговор эстетическим явлениям, будь то литература или живопись.

Е. Сидоров. Я с вами согласен. Вопрос лишь в том, насколько политика трансформируется, растворяется в литературных текстах. Писатель должен быть прежде всего писателем, художником. Как только он в литературе становится по преимуществу политиком, это может погубить его как писателя и художника.

Л. Лазарев. Тут нет предмета для спора. Русская литература всегда занималась политикой, поскольку никакого другого способа обсуждать эти проблемы в стране не было. И в наше время это тоже было так. Евгений Евтушенко хорошо сказал: «Поэт в России больше чем поэт». Вопрос, мне кажется, заключается в следующем: должен ли писатель обслуживать политику сегодняшнего дня, нынешние прагматические задачи. Или он должен судить о современности с общечеловеческих позиций, проверяя, по-настоящему ли политика человечна. Иногда даже прогрессивная политика не является последовательно человечной. И прогрессивные политики обижаются на писателей, когда те показывают уязвимость их политики. Хочу вспомнить одну короткую историю. После войны, я был тогда студентом, у нас в Московском университете выступал Илья Эренбург. Надо сказать — я имею в виду свое поколение,— что, несмотря на то, что мы прошли войну и она нам сильно прочистила мозги, многого мы не понимали. Я помню, какое впечатление произвела одна фраза, сказанная Эренбургом. Он сказал, что в России всегда с величайшим уважением относились к слову, иногда с большим, чем даже к делу. И это прекрасно и должно радовать сердце писателя. Но зато во Франции, добавил он, никого не интересует, что скажет министр культуры об очередной театральной постановке. Эти слова способствовали развитию нашего самосознания.

[1] Речь идет об эпохе наполеоновских войн. *(Прим. Н. А.)*

Е. Кацева. Как тесно политика связана с литературой, можно судить уже по тому факту, что сегодня главные «защитники» перестройки — это книги, написанные 20—15 лет тому назад. Хотя это художественная литература, а не публицистика. Но эти книги сегодня играют и политическую роль.

Л. Лазарев. Скажем так: честная литература всегда была за перестройку.

Н. Анастасьев. Пожалуй, вы сочтете меня закоренелым эстетом, но я все же хотел бы вернуться к тому, с чего начал. Итак, Гюнтер Грасс, выражаясь языком шолоховского героя, дал мне полный отлуп, напомнив, что литература связала себя с политикой задолго до нашего столетия. Разумеется, это верно. К приведенным примерам я мог бы добавить еще и Дефо и Свифта, которые самым радикальным образом были втянуты в религиозно-политическую полемику в Англии XVIII века. И все-таки я настаиваю, что писатели — наши современники участвуют в обсуждении общественных проблем, выступают как публицисты гораздо более интенсивно, чем прежде. Лазарь Ильич, вы считаете, что тут не о чем говорить? А мне кажется есть о чем. Скажем, писатель как художник и писатель как идеолог. Они далеко не всегда живут в мире. Так что же подлинно существенно? Выдержанные, например, в шовинистическом духе высказывания Анатоля Франса, которые и сейчас, семьдесят с лишним лет спустя, перечитываешь с чувством огромной душевной неловкости, или его же романы, утверждающие свободу человеческого духа? Кто по-настоящему интересен: Фолкнер — идеолог американского Юга с его расовыми предрассудками или Фолкнер — автор «Шума и ярости» и «Света в августе»?

Г. Грасс. Думаю, учитывать надо и то, и другое. Могу привести в пример такую фигуру, как Готфрид Бенн, крупного поэта, выросшего из раннего экспрессионизма. Его нельзя рассматривать в отрыве от его политических выступлений. В своей полемической переписке с Клаусом Манном он обрушивался на немецких эмигрантов, вынужденных покинуть Германию после 33-го года, писал о них в издевательском тоне. Он стал заместителем председателя нацистской имперской палаты словесности, приветствовал в 34-м году другого крупного писателя-фашиста Маринетти. Бенн написал книгу «Новое государство и интеллектуалы», в которой попытался исключить из списка писателей-экспрессионистов всех евреев. Но и это не помогло ему, он подвергался нападкам в газете СС «Шварцер кор», что в конечном итоге его спасло. Он был так обижен, что в 35-м поступил врачом на военную службу и «эмигрировал» в армию. Оценивая эту фигуру, я не могу не учитывать всего этого. По такому пути ведь пошли многие в разных системах, пошли из глупости, оппортунизма...

Е. Сидоров. Или по старости, как Гамсун...

Г. Грасс. Но многие и по убеждению, вернее, смеси глупости с убеждением. С другой стороны, талантливость стихов Бенна несомненна, и это я тоже не могу не учитывать. Значит, я должен видеть все это вместе, как сложную проблему.

В конце войны мне было 17 лет, и потом я часто спрашивал себя: а родись я на четыре года раньше, я ведь тоже мог оказаться замешанным в какие-то преступления (я был очень убежденным членом гитлерюгенда). Поэтому моя осносительная небиновность не моя заслуга. И я все время должен это помнить и быть бдительным, в том числе и по отношению к самому себе.

Е. Сидоров. Это очень чувствуется в ваших романах.

Г. Грасс. Да, я прямо говорю об этом. Для меня нет ничего отвратительнее и смешнее, чем антифашизм задним числом. Поэтому я рад, что принадлежу к социал-демократической партии, которая, во-первых, не выдвигает никаких абсолютных требований, не утверждает, что только она обладает истиной, а, во-вторых, такая скучная, что мне никогда не пришло бы в голову писать роман о такой скучной партии. Я очень четко отделяю эту свою деятельность от литературы. Если я пишу роман, пьесу или стихотворение, то они развиваются по собственным эстетическим законам, не зависимо от того, лежит в их основе политическая или якобы политическая тема. Если я хочу высказаться о политике, у меня есть возможность сделать это в статье или выступлении. И я не считаю зазорным, если писатель спустится на землю, оторвется от глобальных тем и обратится к мелким проблемам, например, будет говорить о безработице в каком-нибудь конкретном регионе, выступит против загрязнения окружающей среды. Все годы я так и поступал. Написал книгу «Из дневника улитки», где речь идет о предвыборной борьбе 69 года, в результате которой Вилли Брандт стал федеральным канцлером. Я активно участвовал в этой кампании. Именно тогда я и обратил внимание на те опасности, о которых мы говорили. Я вынужден был, выступая, говорить о политических вещах, которые были уже соответствующим образом закодированы на политическом жаргоне. Употреблял бывшие тогда в ходу чудовищные политические термины. Но для меня, как писателя, это было чрезвычайно интересно — следить за самим собой и слушать самого себя. Мне кажется, что эта книга, действие которой происходит в сложном 69 году, могла бы заинтересовать советских читателей именно в сегодняшний политический момент.

Е. Кацева. Несомненно. Эта книга мне кажется чрезвычайно актуальной. Но сперва нужно, чтобы заинтересовались издатели.

Н. Анастасьев. В 4-м номере журнала «Иностранная литература» за 1988 год опубликованы стихи из этой книги.

Г. Грасс. Прямое общение́ с политикой создает для писателя и для его языка перманентную угрозу. Думаю, что это тот риск, на который должен идти писатель, когда он связывается с политикой. Но если он этот риск осознает, то опасность, что он начнет писать только вещи в духе агитпропа, существенно уменьшится. В замечательной книге «Искусство и революция» Троцкий хорошо сказал о том, что искусство не должно быть служанкой революции.

Е. Сидоров. Но Троцкий говорил и прямо противоположное.

Г. Грасс. Но почему не процитировать то, что к месту. Я не троцкист, а социал-демократ, и Троцкого могу не бояться.

Н. Анастасьев. Коль скоро мы так много говорим о политике, позвольте задать вопрос. Как вы, Гюнтер, считаете: у коммунизма и европейской социал-демократии расхождения тактического или фундаментального свойства?

Г. Грасс. Дело тут, думаю, в разном понимании социализма. Мы теперь много говорим о сложном развитии социализма при Сталине. Но конечно, надо ставить вопрос: почему такая фигура, как Сталин, стала возможной? Нетерпимость по отношению к другим теориям социализма можно проследить уже у Маркса. Если обратиться к истории социал-демократии, которая возникла до коммунистических партий, в том числе и в России, мне кажется, мы увидим, что поздний Маркс уже в Лондоне проявлял нетерпимость к другим формам социализма, больше всего — к анархизму. Он писал о них столь резко, что по сути словесно их уничтожал. Достаточно прочитать переписку Бебеля с Марксом, чтобы увидеть, какие шли бои. Социал-демократия всегда выступала за то, что наряду с социальными свободами должны существовать и демократические свободы, одно без другого невозможно. Однако параллельно нагнеталась нетерпимость. Процесс начался очень рано. Из этой нетерпимости и возникли предпосылки для появления такой фигуры, как Сталин, что имело далеко идущие последствия. В 1928 году Коминтерн по указке Сталина принял решение, которое раскололо две рабочие партии в Германии. Вы же знаете тогдашний лозунг: врагом номер один был не фашизм, а социал-фашизм, то есть социал-демократы. Все это сильно ослабило сопротивление Гитлеру.

Е. Сидоров. У нас сейчас об этом много пишут.

Г. Грасс. Это очень хорошо, ибо плоды такой политики мы пожинаем до сих пор.

Л. Лазарев. Этот вопрос можно сформулировать более широко: существуют стратегические или только тактические разногласия между христианством и коммунизмом? Проблема нетерпимости в связи с разными путями реализации намечаемых целей мучает человечество с библейских времен. Иногда она приводит к тому, что произошло у нас в тридцатые годы. Искусственно создавалась мнимая оппозиция, которую уничтожали. Но так было и во времена инквизиции, и раньше. Много раз эта пластинка проигрывалась историей. Это печально, но будем надеяться, что все-таки люди приобретают какой-то опыт. Не случайно в наше время так остро встала проблема «образа врага». Мы стараемся разрушить стереотипы, не соответствующие реальности атомного века, выработать нормы общения, которые обеспечили бы нашим внукам жизнь.

Г. Грасс. Каждая идея, которая себя абсолютизирует, все время должна создавать себе врагов, даже если реальные враги уничтожены. Церковь и партии делают это, чтобы оправдать свою политику. Это показывает история католической церкви, коммунизма, когда он абсолютизируется, порывает со своими истоками, с европейским Просвещением, монополизирует истину и нетерпимо относится к идейным противникам, не различает врага и противника. У нас в ФРГ люди из ХДС для меня не враги, а оппоненты, я хочу, чтобы и они видели во мне не врага, а противника. Это не для всех легко, но таков закон демократии, который трудно соблюсти. Демократия — очень трудная вещь, в ней нет твердо зафиксированного, каждый день ее нужно обновлять и защищать...

Н. Анастасьев. Но и мы сейчас, слава богу, отвыкаем от чисто монологической формы высказывания, учимся слушать. Хотя не всегда обязательно со всем соглашаться. Может быть, даже скорее всего истину мы не найдем. Но можно надеяться, что найдем проблему. А это уже немало...

Беседу записала И. ЩЕРБАКОВА

Писатель и время

МИХАИЛО ЛАЛИЧ

«...ЛЮДЯМ СТАЛО НЕВМОГОТУ»

Михаило Лалич редко дает интервью для печати, но уж если это случается, каждое его слово получает широчайший резонанс. Один из самых крупных писателей современной Югославии, он обладает способностью не только описывать человеческие судьбы, нравственные испытания, но и в наше неспокойное время видеть исторические тенденции, возможные перспективы.

Вопрос: Как Вы считаете, не произошло ли сильной политизации искусства, или же политика, являясь составной частью нашей жизни, естественным образом вошла как значительная тема и в искусство?

М. Лалич: Политика вынуждена заниматься современными проблемами, по мере возможности решать их — чаще плохо, чем хорошо, скорее неверно, чем правильно,— так что без работы она никогда не останется. Иначе обстоит дело с искусством. Вытесненное из сферы конкретных действий, оно склонно презирать современность, а вместе с ней и современников, в последнее время даже их язык, грамматику и многое другое. Оно претендует на определенную роль в будущем, нередко даже весьма отдаленном. Но при этом все же, чтобы не утратить всякую связь с современностью, требует и получает комментаторов, расшифровщиков, своего рода адвокатов непонятых и непризнанных гениев перед судом грядущих поколений. Бывает и по-другому: не все готовы долго ждать, кое-кто вдруг теряет терпение и, желая получить аванс в счет будущей славы, влезает в политику, шумит...

Все эти, а также некоторые другие моменты в той или иной степени представлены в богатой палитре современных художественных исканий и находок.

Вопрос: В какой степени и каким образом искусство, прежде всего литература, отражает нашу современную жизнь, и только ли это является задачей искусства, или же оно может и должно также изменять действительность?

М. Лалич: Я помню время, когда считалось, что литература, а также живопись (Гойя, Домье, Гро и другие) могут побудить или заставить власть предержащих задуматься о том, что они делают, а иногда и исправить очевидные несправедливости, глупости, позорные и отвратительные явления. Известны случаи, когда литературные произведения с ярко выраженной социальной направленностью непосредственно влияли на действительность: роман «Хижина дяди Тома» способствовал отмене рабства негритянского населения в Северной Америке, творчество Диккенса помогло отменить бесчеловечный закон о должниках в Англии, «Путешествие в Конго» Андре Жида имело следствием смягчение колониального гнета...

Современные наши литература и искусство под влиянием различных идеологий, организаций и сил отказались от активной социальной позиции, от стремления заклеймить или поправить даже то немногое, что им, возможно, под силу.

Вопрос: Какой Вам, человеку, коммунисту и писателю, представляется наша современная действительность? Ведь Вы были участником и свидетелем многих драматических событий в истории Югославии, и тем ценнее Ваше ви́дение того, что происходит в стране, охваченной кризисом.

М. Лалич: В настоящий момент мы сталкиваемся с невероятными явлениями: с одной стороны — семь лет (или даже более семи?) геноцида в Косове, с другой — равнодушие, невосприимчивость и даже циничное смакование чужих несчастий, софистические трюки с целью свалить вину на жертвы, лицемерная, бесстыдная солидарность с виновниками насилия... Происходящее просто невероятно, и трудно поверить, что все это творится в пределах небольшой страны, испещренной сетью современных коммуникаций, страны, чье законодательство основано на гуманнейших принципах антифашистской революции. И как тут не усомниться в самих этих принципах, а вслед за ними — и в разуме, прогрессе, вообще во всем! Поэтому я, как и многие

[1] Интервью, взятое у М. Лалича Петаром Иличем, опубликовано в газете «Политика» от 16.IX. 1988. *(Здесь и далее прим. перев.)*

другие, спрашиваю себя: может ли человек в такой ситуации сохранить психическое здоровье, спокойствие и присутствие духа, зная, что́ там происходит, и видя, сколь лицемерно и недостойно ведут себя его современники и сограждане?

Вопрос: В последнее время на наших глазах складывается новая общественная атмосфера — я имею в виду феномен стихийных собраний граждан и их протест против нерешительности руководства, которое не принимает радикальных мер, чтобы преодолеть кризисную ситуацию в обществе, прежде всего в Косове. Что Вы — писатель, гражданин, член ЦК Союза коммунистов Югославии — думаете об этой самоорганизации народа, о политической инициативе масс?

М. Лалич: Наши хитроумные бюрократы рассовали нас по ОУРам [1], не слишком часто собиравшимся территориальным, местным и общинным организациям, как по сундукам: маленькие сундучки — в сундуки побольше, а те — в республиканские. Это было ловко придумано: если ты слышал, как снаружи стонут, плачут и жалуются на несправедливость и насилие, тебе рекомендовали, а порой чуть ли не приказывали не вмешиваться — прикинься, мол, что ничего не видишь и не слышишь. Так проходили годы, а мы знать ничего не желали о произволе и преступлениях, чинимых в Косове под защитой государственной власти и оружия.

Митинги протеста — знак того, что людям стало невмоготу, они разбили постылые сундуки и показали, что народ вовсе не бесчувствен и не безучастен, как бы того кое-кому ни хотелось. Он изранен, измучен и не потерпит больше подобного с ним обращения. Если во гневе и призовет к ответу поименно кое-кого из тех, что наверху, это тоже еще не конец света. Даже полезно — пусть знают, что о них народ думает, и доказывают свою правоту, если располагают аргументами.

Вопрос: Вы старый член партии, прошли с ней все этапы ее развития. Что Вы думаете об авангардной роли партии сегодня, в сложившейся у нас ситуации?

М. Лалич: В сегодняшней ситуации мне припоминаются чьи-то слова о том, что в нравственном плане между двумя людьми бывают бóльшие различия, чем между человеком и собакой. Мне об этом напомнил один инженер из Косова, член партии, который пытался изнасиловать сербку, чтобы подтолкнуть этим к переселению тех, кто еще надеется на какое-то улучшение. Инженера приговорили к сорока дням тюрьмы, потом уменьшили наказание до двадцати дней, а в итоге выпустили через двенадцать. При этом он остался на прежней работе и в прежней партгранизации. Так что же следует думать о таком партийце и о такой партийной организации, а также о парторганизации тех, кто его судил и амнистировал? Могут ли такие члены партии играть авангардную роль? Куда такой авангард может повести рабочий класс и народ?

[1] Организација удруженог рада — Организация объединенного труда.

Вопрос: Замечено, что чувство гуманности — главный побудительный мотив Ваших поступков и вообще основа Вашей жизненной ориентации. Как Вы, писатель, выступающий с активных позиций, оцениваете возможности участия литераторов в общественной жизни?

М. Лалич: Однажды Иво Андрич беседовал в Стамбуле с потомками переселенцев из Боснии — в их семьях до сих пор говорят на сербскохорватском языке последних десятилетий прошлого века. Его спросили, кто он по профессии, чем зарабатывает на хлеб. Когда Андрич ответил, что он писатель, его поспешили исправить с убежденностью невежества: «Говорят не «писатель», а «писарь»; твое ведь дело записывать, что тебе прикажут, а это по-нашему называется «писарь». Многие из наших высокопоставленных функционеров примерно так же относятся к профессии писателя, а один из них на днях поставил нас в один ряд с бродягами и бездельниками. Вот вам и все возможности участия литераторов в общественной жизни.

Вопрос: Югославский патриотизм никогда не наносил ущерба национальному самоутверждению. Возможно ли в культуре определить границу, до которой развитие национального в пределах нашей страны помогает народам лучше узнавать друг друга, а за которой ведет к взаимному неуважению и грызне вместо того, чтобы обогащать и облагораживать?

М. Лалич: У нас был период взаимоуважения, сотрудничества всех культур нашего многонационального государства. Была, конечно, и церемониальная помпа, но и действительное взаимодействие, были переводы, совместные издания, встречи, выступления, было понимание и теплая дружба.

Но вдруг из одного республиканского центра высоким партийным и государственным руководителем был брошен лозунг «Долой фетиш единства!», прозвучавший как гром с ясного неба. С тех пор все полетело кувырком. Началось скатывание назад, к тому состоянию, которое гитлеровский дипломат фон Керен в докладе о положении в довоенной Югославии описал следующими словами: «Население страны, расколотое по племенному и расовому признаку, привыкло в политических вопросах ставить интересы своего края, а то и свои личные интересы выше интересов государства...»

Этот регресс, это скатывание назад охватили все сферы, в том числе и культурные институты. Например, Союз писателей Югославии, до этого спокойно занимавшийся своим делом, вдруг стал кому-то мешать. Руководствуясь директивами своих партийных руководителей, представители некоторых республиканских творческих объединений не жалели ни труда, ни сил, чтобы превратить Союз в некое его бледное подобие, мертвую форму — таковым он остается и по сей день. Аналогичные процессы происходили и в других межнациональных учреждениях, призванных служить целям объединения.

Вопрос: Согласитесь, всякий национализм антикультурен, так как эгоистичен по своей сути и претендует на исключительность, воздвигает барьеры вместо того, чтобы расширять горизонты. В какой мере искусству, в то время как национализм расцветает столь пышным цветом, удается противостоять разобщению, объединяя народы? Можно ли у нас сейчас говорить о едином культурном контексте?

М. Лалич: Одни обезьяны при виде постороннего воют, другие начинают лаять. Лев сразу бросается в атаку. Так же и другие животные — каждое по-своему — враждебно реагируют на появление чужака... Из этого можно заключить, что расизм и национализм возникли раньше разума. Они гораздо сильнее всего того, что человек придумал для защиты людского рода от взаимного истребления — их корни, можно сказать, «в зоологии». Национализм опасен, когда будоражит крестьянские массы и распаляет их жаждой земли, потому что земли не так много, а жажда неутолима. Опасен он и тогда, когда подстегивает амбиции только-только научившихся грамоте, потому что возвращает их с полдороги и тянет назад, вниз, побуждая пускаться во все тяжкие, толкая на шаги недостойные. Но всего опаснее он тогда, когда заражает коммунистов, примешивается к их взаимным антипатиям, нетерпимости, недоразумениям и личным конфликтам.

В пору усиления национализма искусство не располагает собственными силами, чтобы преодолеть разобщение, размежевание, бюрократические барьеры и рогатки. Истинное, гуманистическое искусство в таких условиях замолкает, приостанавливается в развитии, а опустевшее место занимает неуклюжая подделка, которая несет разрушение, лишь подливая масла в огонь и подхлестывая истерию.

Вопрос: Бóльшую часть года Вы проводите здесь, в Херцег-Нови. Можно ли узнать, что нового выйдет из Вашей литературной мастерской в ближайшее время?

М. Лалич: В печати сейчас моя книга «Переходный период». Название имеет двойное, а то и тройное значение. По сути, это дневниковые фрагменты, записывавшиеся в течение многих лет. Вопрос только, будут ли их читать — ведь каждый теперь занят куда более важными проблемами и заботами, чем чтение.

Перевод с сербскохорватского И. ЮФЕРЕВА

Эрнст Неизвестный

О род человеческий, сколько бурь и невзгод, сколько кораблекрушений должен был ты претерпеть, чтобы, обратясь в многоголовое чудовище, ты стал метаться в разные стороны!

(Данте Алигьери. Монархия, I, XVI)

Прошло почти тринадцать лет с того времени, как Эрнст Неизвестный покинул Советский Союз. Что мы помним о нем сегодня? Юный свердловчанин — одаренный рисовальщик, поэт. В сорок втором добровольцем уходит на фронт, в десантные войска. Студент Суриковского института в самые трудные, послевоенные годы (1947—1954). Один из безусловных лидеров авангарда в шестидесятые. Человек, не побоявшийся вступить в спор с Хрущевым о судьбах советского искусства на печально знаменитой выставке в Манеже (1962), впоследствии — автор его надгробного памятника на Новодевичьем. Опальный скульптор, обвиняемый в создании «антипатриотических» произведений; он же — «лейтенант Неизвестный Эрнст», поднявший солдат в атаку у австрийской деревушки Хайзендорф и награжденный за доблесть орденом Красной Звезды (Андрей Вознесенский напишет об этом стихи). Иллюстратор Данте («Малые произведения») и Достоевского («Преступление и наказание») в серии «Литературные памятники». После победы на международном конкурсе проектов в честь открытия Асуанской плотины (1969), казалось, вернулась возможность работать не только в глине, получать серьезные заказы; разрешена поездка в Египет, потом — в Польшу. Однако в семидесятые годы уже громко скрипят тормоза застойного времени. Постепенно положение Неизвестного ухудшается. На реализацию его основного творческого замысла — «Древа Жизни», которое он «выращивал» в течение полутора десятков лет, нет никакой надежды. Сотрудничать с крупнейшими музеями Запада ему препятствуют, могут и отобрать мастерскую. Авангардистскую «выставку под открытым небом» в сентябре 1974 года разгоняют бульдозерами... Не видя иного выхода, весной 1976-го скульптор уезжает за рубеж. Ему всего пятьдесят, он уверен в своих творческих силах и полон энтузиазма.

Э. Неизвестный с автопортретом.

Настала пора и нам, его соотечественникам, ближе вглядеться в произведения «заокеанского» периода. Хотя Неизвестный живет и работает в Нью-Йорке, многие мотивы его картин, графики, скульптуры вполне узнаваемы: еще на родине он, готовя почву для «Древа Жизни», заполнил семь альбомов (пять из них — в цвете) набросками и вариантами изобразительных решений. Неподдельным трагизмом проникнута «Гигантомахия» — свободная фантазия на темы фриза Пергамского алтаря, в интерпретации Неизвестного — битва «живого, страдающего человека» с роботами, порождениями технотронной цивилизации. Вот 365 листов из серии «Судьба» (1974—1976) — своеобразного дневника, где под иглой графика оживают образы Матери скорбящей, гермафродитов, механических уродов, которые пытаются погубить

Древо Жизни. Тушь, перо.

Гигантомахия. Офорт.

самое Жизнь, ребенка, хранящего в сердце «росток надежды», раненого кентавра, а рядом — распятого «провозвестника света».

Мотив распятия, пожалуй, интересен Неизвестному более всех других. Художник, исполнивший множество его вариантов (один из них — скульптурный — находится в коллекции папы Иоанна Павла II), далеко не всегда вводит зрителя в мир религиозных представлений, повествует о торжестве христианской веры. Распятие для Неизвестного — символ и революции, и вообще конфликтной ситуации в жизни человека, в жизни общества. На холсте он нередко усиливает напряжение сочным, локальным цветом («Распятие». 1977—1980), разводя в стороны дополнительные желтый и синий, «перебивая» их посередине фигурой мученика на алом фоне.

В большой серии полотен «Крик» (1977—1980) использован так называемый «эффект витража»: контур основного изображения черен, блестящий слой акриловой краски дает необходимую контрастность, объемность. Центр картины «Бойня» — заключенный в пунцово-пламенный овал портрет Достоевского, творца, поставившего острейший вопрос бытия: может, имеет ли человек право «преступить» и лишить жизни своего ближнего, взяв грех на душу? Черты его лица искажены страданием, капли крови стекают по разбитому лбу. Где-то далеко внизу, словно с высоты птичьего полета, видны отдельные домики, обломки мостов, стальные прутья и камни — все, что оставила от многих городов война. В другом лице, стиснутом толстым окаймлением с металлически-желтым проблеском, проглядывают жесткие черты Сталина, и узловатый обрыв «витражного» контура напоминает о колючей лагерной проволоке.

«Взгляд» (1981) — полотно более сдержанное по цвету. Однако человеческое лицо тут намеренно непропорционально: художник резко фокусирует наше внимание на одном из пяти чувств — зрении. В беседе с норвежским искусствоведом Эриком Эгеландом Неизвестный как-то сказал: «Глаза — первое, что мы замечаем, глядя человеку в лицо. Дети это знают. Они изображают функции — взирающий глаз, нюхающий нос. Случается, законы гармонии действуют вкупе с законами функциональности. И я стремлюсь найти их равнодействующую».

Монументальный проект «Древа Жизни» (раскрашенная модель, 70-е годы) скульптор продумывал долго, детально. Это «целостное сооружение» должно, по его мысли, стать своего рода современным храмом искусств. Семь его колонн-спиралей, образующих открытую сердцевидную структуру и окрашенных в цвета спектра, поднимутся ввысь на добрую сотню метров. Все поверхности конструкции будут усеяны мириадами рельефов, скульптур, картин, а также кинетическими устройствами, абстракционистскими «реальными предметами», дисплеями, светоустановками. Главное место займет бронзовая фигура «Пророка» (1962—1980). «Древо Жизни» пустит в землю семь «корней», по числу смертных грехов, которые сплетутся в систему туннелей — лабиринт. К входу устремятся широкие автострады. По центральной оси «Древа...» посетители отправятся в кабине лифта на любой из семи этажей здания, «разрушающего понятие пространства»,— полы и потолки задумано сделать прозрачными, так что люди будут одновременно находиться «снаружи» и «внутри»; двигаясь непрерывным потоком, они станут «живой частью» конструкции.

В одном из давних интервью скульптор говорил, что его «Древо Жизни» посвящено не только Вечному Человеку (Человеку Библии, Человеку дантовского космоса), но и современному: ведь на пересечении Вечности и Современности рождается Истина. Грандиозный проект Неизвестного пока не воплощен, но бушующий поток его графических, скульптурных, живописных образов неиссякаем. И в семейном архиве (Нью-Йорк) хранится письмо, которое послал родителям из эвакуации шестнадцатилетний Эрик: «Есть только один путь в искусстве — путь абсолютной истины. То, что не истинно, не есть искусство».

И. ИСТРАТОВА

Офорт из серии «Судьба».

Резонанс

Общество, в котором мы живем,— часть мирового человеческого организма. Культура нашей страны — часть мировой культуры. Целью нового отдела нашего журнала станет исследование на живых, конкретных примерах этого неразрывного единства, этой сложной связи.

Мы надеемся, что публикации под рубрикой «Тема для дискуссии», посвященные проблемам, которые волнуют всех нас, вызовут у читателей не только интерес, но и желание принять участие в их обсуждении. Рубрика «Из зарубежной печати» будет знакомить с оценками событий общественно-культурной жизни нашей страны, принадлежащими деятелям мировой культуры, иностранным публицистам и критикам. Спектр мнений наших партнеров по диалогу весьма широк, так что вполне можно предположить, что многие из этих мнений будут расходиться с точкой зрения редакции. Вряд ли, однако, было бы целесообразно всякий раз оговаривать собственную позицию, уточнять терминологию и т. д. В то же время редакция, естественно, оставляет за собой право комментария, а в случае необходимости и полемики с суждениями зарубежных наблюдателей. Традиционный раздел «Из месяца в месяц» сменит рубрика «Курьер «ИЛ», призванная оперативно информировать читателей о важнейших событиях художественной жизни за рубежом. На страницах «Резонанса» будут также появляться полемические заметки, касающиеся различных, подчас самых неожиданных аспектов культуры.

Тема для дискуссии: ОБЩЕСТВО И СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

АЛЬБЕР КАМЮ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГИЛЬОТИНЕ

В Алжире незадолго до первой мировой войны был приговорен к смертной казни убийца, повинный в чудовищном преступлении (он вырезал семью фермера вместе с детьми). Этот человек, сельскохозяйственный рабочий, совершил убийство в каком-то горячечном бреду, но отягчил свою участь грабежом. История наделала много шуму. Большинство считало, что смерть под ножом гильотины — слишком мягкое наказание для изверга. Так думал и мой отец, которого особенно возмутило убийство детей. Я помню об отце немногое, однако точно знаю: он впервые в жизни захотел увидеть казнь. Он поднялся затемно и отправился на место казни на другом конце города, где уже собралась толпа народу. О том, что отец там увидел, он не поведал никому. Мать рассказывала: он вбежал в дом потрясенный, не отвечал ни на какие расспросы, потом упал на кровать, и его вдруг вырвало. В то утро ему открылась правда, таившаяся за громкими словами. Он думал не о зарезанных детях, а только о трепещущем теле человека, которого швырнули на деревянный помост и обезглавили.

Этот ритуал действительно ужасен, если у простого и честного человека, убежденного в необходимости такой кары, он вызвал *омерзение*. Нелегко утверждать, будто высшее правосудие поддерживает спокойствие и порядок, когда от его акции дурно тому самому честному человеку, кого оно призвано защищать. Оказывается, само правосудие не менее чудовищно, чем совершенное преступление, и новое убийство вовсе не смывает нанесенного обществу *оскорбления*, а *лишь* добавляет к прежнему пятну еще одно. Это истинная правда, и никто не смеет прямо говорить о тягостной церемонии. Чиновники и журналисты, которым по долгу службы приходится говорить о казни, словно бы чувствуют ее постыдность и поэтому придумали соответствующий ритуальный язык, сводимый к стереотипным формулам. И вот за завтраком мы читаем в небольшой газетной заметке, что осужденный «отдал свой долг обществу», или «искупил вину», или что «в пять часов приговор был приведен в исполнение».

О смертной казни мы сообщаем, с позволения сказать, вполголоса. В нашем цивилизованном обществе мы признаём, что болезнь опасна, когда не смеем говорить о ней прямо. Долгое время в буржуазных семьях ограничивались эвфемизмами — старшая дочь-де «слаба грудью», у отца «опухоль»,— ибо туберкулез и рак считались *болезнями несколько постыдными*. Истина эта еще бесспорнее, если речь идет о смертной казни: о ней все стараются говорить иносказательно. Для организма общественного она — то же, что рак для человеческого, с одною разницей — никто никогда не считал рак необходимым, а вот смертную казнь на колеблясь представляют как прискорбную необходимость, узаконивающую убийство, раз уж оно необходимо, но замалчиваемую, раз уж это прискорбно.

Я, напротив, намерен говорить о ней без обиняков. Не из любви к скандалу и, думаю, не по нездоровой склонности натуры. Но когда умолчание или словесные ухищрения подкрепляют заблуждение, ко-

торое следует уничтожить, или страдание, которое можно облегчить, есть один выход: говорить ясно и показать всю непристойность, прячущуюся под покровами слов.

Франция вместе с Италией и Англией имеет честь принадлежать к последним странам по эту сторону железного занавеса, сохранившим смертную казнь в своем арсенале репрессий. То, что этот первобытный ритуал продолжает существовать, стало у нас возможным лишь по безответственности и невежеству общества, реагирующего на казни привычными, шаблонными фразами. Когда воображение спит, слова лишаются смысла: глухой народ не расслышит смертного приговора человеку. Но если показать толпе гильотину, дать потрогать ее деревянные и железные части, услышать стук падающей головы, внезапно пробужденное воображение общества отринет и самое казнь, и пошлые фразы о ней. Не оттовариваясь необходимостью смертной казни и не замалчивая ее природы, нужно, напротив, объяснить, чем она является на самом деле, и затем решить, может ли она в нынешнем своем виде считаться необходимой.

По моему убеждению, смертная казнь не только бесполезна, но и крайне вредна,— замечу сразу, пока не перешел непосредственно к сути дела. Нечестно было бы убеждать читателя, будто я пришел к этому заключению после длительного и детального исследования вопроса. Но столь же бесчестно было бы приписывать мое убеждение одной лишь притворной чувствительности. Напротив, я крайне далек от умиления, столь любезного гуманистам,— оно нивелирует ценности, делает расплывчатым понятие ответственности, невиновных лишает прав. В отличие от многих моих славных современников, я не считаю человека по своей природе существом общественным. Говоря по правде, я думаю иначе. Но считаю — и это вовсе не одно и то же,— что последний сегодня не может жить вне общества: его законы необходимы для физического выживания. Значит, нужно, чтобы ответственность устанавливало само общество по разумной шкале эффективности. А закон находит высшее свое оправдание в благе, которое либо творит, либо не творит на пользу обществу. Известно, что главный аргумент сторонников смертной казни,— назидательность кары. Нужно не только наказать убийцу, отрубив ему голову, но и устрашить ужасным примером тех, кто попытается ему подражать. Общество не мстит, оно всего лишь хочет предупредить. Оно пугает отрубленной головой, чтобы потенциальные убийцы увидели, что их ждет, и пошли на попятный. Аргумент возымел бы действие, если бы можно было не признавать следующего:

1. Общество само не верит в пресловутую назидательность наказания.

2. Не доказано, что угроза смертной казни заставила отступиться от преступного намерения хотя бы одного злоумышленника, тогда как тысячи преступников несомненно одержимы мыслью о ней.

3. Во всех иных отношениях смертная казнь есть отталкивающее явление, последствия которого непредсказуемы.

Да, общество не верит тому, что говорит. Иначе казни совершались бы публично. Для вящей назидательности их следовало бы широко рекламировать, как национальные займы или новые марки аперитива. Однако известно: у нас казнят не на площади, а в тюремных дворах, в присутствии нескольких должностных лиц. Как может быть назидательным убийство, совершаемое второпях, ночью, за стенами тюрьмы? С его помощью можно лишь периодически уведомлять граждан, что они умрут, если вдруг совершат убийство: такое будущее, вполне вероятно, уготовано и тем, кто никого не убивал. Только чудовищность наказания — залог его назидательности. Мы хотим, чтобы потенциальный преступник всегда помнил о каре, чтобы страх перед нею с самого начала мешал его безумному замыслу, а потом и вовсе заставлял от него отступиться? Тогда следует глубоко, со всей возможной наглядностью запечатлеть ужасную реальность казни в каждой душе.

И вместо того чтобы туманно рассуждать о долге, который некто отдал нынче утром обществу, не лучше ли воспользоваться столь прекрасным случаем и детально напомнить каждому налогоплательщику, что его ожидает? Почему бы вместо стертой фразы: «Если вы совершите убийство, то погибнете на эшафоте»,— не сказать ему, в целях назидания: «Если вы совершите убийство, вас посадят в тюрьму на месяцы, а может, на годы; вами будут овладевать то безмерное отчаяние, то неизбывный ужас, вплоть до последнего утра, когда мы бесшумно войдем в камеру, сняв обувь, и нарушим тяжелый сон, наконец-то сморивший вас после бессонной, тревожной ночи. Набросимся разом, свяжем вам руки сзади, срежем ножницами ворот вашей рубахи и если нужно — волосы. А чтобы легче было палачам, скрутим вам локти за спиной — тогда волей-неволей придется согнуться пополам и подставить затылок. Затем два тюремщика проволокут вас по коридорам к выходу, и во тьме один палач рванет вас сзади за штаны и повалит на доску, другой просунет вашу голову в очко, третий с высоты 2 метров 20 сантиметров обрушит вниз нож весом в 60 килограммов, который отсечет ее, как бритва».

Кого иначе надеемся мы напугать угрозой «тайного» наказания, изображаемого безболезненным и быстрым, причиняющим меньше страдания, чем рак,— напугать карой, увенчанной цветистой риторикой? Конечно же, не тех, что считаются (а часто и являются) добропорядочными гражданами, ибо в час казни они еще спят и не увидят великого назидания собственными глазами, а в час поспешного захоронения еще будут завтракать и узнают о свершившемся правосудии (если, конечно, читают газеты) из слащавой заметки, которая растворится в их памяти, как сахар. А ведь среди этих миролюбивых созданий больше всего будущих убийц. Многие из этих порядочных людей — преступники, пока не осознавшие себя таковыми. По сообщению одного судьи, подавляющее большинство известных ему убийц не подозревали, бреясь утром, что вечером совершат убийство.

Для пущего назидания, ради безопасности нации не следует ли потрясать отрубленной головой перед всеми гражданами, когда они бреются по утрам? Увы, никто этого не делает. Государство маскирует казни и утаивает их свидетельства. Следовательно, оно не верит в назидательность наказания. Преступника убивают потому, что так делали веками, да к тому же убивают посредством машины, изобретенной в конце XVIII века. Закон применяется без толкования его, и наши осужденные умирают во имя теории, в которую не верят их судьи и палачи. Если бы те верили, сие было бы известно, а главное — заметно: ведь тогда казнили бы публично.

Публичная казнь пробуждает садистские инстинкты, порождающие новые преступления, в свою очередь чреватые непредсказуемыми последствиями, а также рискует вызвать гнев и отвращение общественности. Поставить казни на конвейер, как делается у нас сегодня, было бы куда труднее, если бы каждая воплотилась в сознании людей в живую картину. Того, кто сейчас попивает свой кофе, читая о «приведении приговора в исполнение», стошнило бы от малейшей подробности. Вот почему нужно поддержать мнение Гамбетта [1], который, будучи противником смертных приговоров, голосовал против проекта закона, запрещавшего публичные казни. Он заявил: «Если вы откажетесь от ужасного зрелища, если будете казнить в тюрьмах, волна народного возмущения казнями, поднявшаяся в последние годы, схлынет, и вы упрочите позицию сторонников казни». Действительно, нужно либо убивать публично, либо признаться, что не чувствуешь себя вправе убивать вообще. Если общество оправдывает смертную казнь необходимостью назидания, оно должно оправдать само себя, сделав казни публичными. Другими словами, сейчас оно убивает, не ведая, что говорит и творит, или же понимая, что эта тошнотворная церемония вовсе не запугивает публику, а лишь будит в ней дурные инстинкты или повергает ее в смятение. Кто лучше даст почувствовать это, как не старый судья, советник Фалько, мужественная исповедь которого заслуживает размышления: «Один-единственный раз за годы моей службы приняв решение не смягчать приговор и казнить обвиняемого, я считал, будто вопреки всему смогу беспристрастно следить за казнью. Да и тип был малоинтересный: он замучил свою дочь и потом бросил труп в колодец. И что же! После его казни неделями, месяцами воспоминание преследовало меня каждую ночь... Я тоже воевал и видел, как гибнут на войне ни в чем не повинные юнцы, но скажу: ужасное зрелище их гибели никогда не вызывало у меня такого стыда, как это административное убийство, именуемое высшей мерой наказания» [2].

Да и как может общество поверить образчику назидания, если он не способен отвести угрозу преступления, если его предположительный эффект неощутим. Смертная казнь не смутит ни того, кто не знает, что совершит убийство, решается на него в один миг и готовится к злодеянию в лихорадке или одержимый навязчивой идеей, ни того, кто, отправляясь выяснять отношения, берет с собой оружие, чтобы припугнуть неверную возлюбленную или соперника, и применяет его, сам того не желая или думая, что не желает. Одним словом, смертная казнь не может устрашить человека, чье преступление не только вина, но и беда. Выходит, эта мера большей частью бессильна. Правда, у нас в таких случаях она применяется редко, но и слово «редко» заставляет содрогнуться.

Устрашает ли она ту породу закоренелых преступников, на которых якобы рассчитана? Маловероятно. Можно прочесть у Кёстлера [1], что во времена, когда карманных воров в Англии публично казнили, их коллеги преспокойно занимались своим ремеслом в толпе, окружавшей эшафот. Английская статистика начала века показывает, что из 250 повешенных 170 сами присутствовали на одной-двух казнях. Еще в 1886 году из 167 приговоренных к смерти заключенных бристольской тюрьмы 164 видели по меньшей мере одну казнь. Подобные опросы невозможны сейчас во Франции, так как публично уже не казнят. Но позволительно думать, что рядом с моим отцом в день той казни было довольно много будущих преступников, которых не вырвало от этого зрелища. Запугивание действует на робких людей, не способных отважиться на преступление, но не влияет на тех, кого следовало бы окоротить.

Однако нельзя отрицать — люди боятся смерти. Лишение жизни — это, конечно, высшая кара, она должна вызывать у них предельный ужас. Страх смерти, исходящий из темных глубин души, опустошает человека. Законодатель имел основания думать, что его закон давит на один из самых мощных рычагов человеческой природы. Но закон всегда проще природы. Когда он пытается подчинить себе слепое подсознание, то оказывается не в силах низвести сложность жизни до своего уровня.

Страх смерти действительно очевиден, но очевидно и то, что ему не дано победить иные страсти, терзающие человека. Бэкон был прав: любая, даже самая слабая страсть противостоит страху смерти. Месть, любовь, честь, боль, какой-нибудь другой страх могут одержать верх. Неужели алчность, ненависть, ревность слабее любви к человеку, к родине, порыва к свободе? На протяжении веков смертная казнь, нередко — вкупе с дикарской утонченностью,— была призвана противодействовать преступлению, однако преступление оказалось живучим. Почему? Потому, что инстинкты, раздирающие душу человека, не являются, как того хочет закон, константами в состоянии равновесия. Это переменные силы, умирающие и возрождающиеся поочередно, беспрестанные их отклонения от нулевой отметки суть основа

---

[1] Леон Гамбетта (1838—1882) — французский премьер-министр и министр иностранных дел (1881—1882), лидер левых республиканцев. *(Прим. ред.)*

[2] Журнал «Реалите», № 105, октябрь 1954 г. *(Прим. авт.)*

[1] Имеется в виду книга А. Кёстлера «Размышления о виселице» (1955). *(Прим. ред.)*

жизни духа: так колебания электрического поля приводят к возникновению тока. Вообразим серию колебаний, от желания до апатии, от решимости до безысходности, которые мы все испытываем за день, увеличим их число до бесконечности,— и мы получим представление о безграничности человеческой психики. Эти отклонения обычно слишком нестабильны, чтобы одна сила возобладала над прочими. Правда, иногда она ломает все преграды, полностью овладевая сознанием, и уже никакой инстинкт, даже инстинкт самосохранения, не может противостоять тирании этой неукротимой силы. Смертная казнь могла бы устрашать, будь человеческая природа иной, столь же устойчивой и ясной, как сам закон. Но она не такова. Вот почему, как ни удивительно это для людей, не сумевших проникнуть в ее тайну, злоумышленник в большинстве случаев, убивая, сознает свою невиновность. Всякий преступник до суда оправдывает себя. Если совершенное им убийство и не «закономерно», то по крайней мере он — жертва обстоятельств. Он ни о чем не думает и ничего не предполагает, а если думает,— значит, предполагает только снятие с себя вины, полное или частичное. Может ли он бояться того, что считает весьма маловероятным? Смерти он станет бояться после суда, но не перед самим преступлением. Итак, чтобы закон устрашал, убийце нельзя оставлять ни единого шанса, закон должен быть безжалостным, исключать смягчающие обстоятельства. Кто из нас посмеет этого требовать?

Даже если мы пойдем на такое, придется считаться еще с одним парадоксом человеческой природы. Инстинкт сохранения жизни лежит в ее основе наравне с другим инстинктом, о котором молчат школьные учебники психологии,— инстинктом смерти, требующим подчас уничтожения самого себя и окружающих. Возможно, что желание убить часто совпадает с желанием умереть или покончить с собой[1]. Таким образом, инстинкт самосохранения часто дублируется, в различных пропорциях, инстинктом разрушения. Только последним можно целиком объяснить те извращения, от алкоголизма до наркомании, что ведут человека к гибели,— и он отчетливо это сознает. Человек хочет жить, но напрасно было бы надеяться, будто это желание определит все его поступки. Он хочет также стать ничем, хочет непоправимого — и смерти ради самой смерти. Бывает так, что преступники жаждут не только преступления, но и сопутствующего ему несчастья, особенно несчастья безмерного. Стоит родиться и окрепнуть этому странному желанию, как перспектива смертной казни не только не остановит преступника, но еще сильнее затмит его разум. В некотором смысле иногда убивают, чтобы умереть.

Эти особенности четко поясняют, почему кара, якобы рассчитанная на устрашение нормального человека, совершенно не действует на «среднее» сознание. Статистические данные, как в странах, где нет смертной казни, так и в прочих, все без исключения свидетельствуют, что отмена ее вовсе не влияет на рост или же падение преступности. У тридцати трех наций, отменивших смертную казнь, общее число убийств не возросло. Консерваторы не могут этого отрицать. «Действительно,— говорят они,— нельзя доказать, что смертная казнь назидательна. Разумеется, тысячи убийц ее не испугались. Но мы не можем узнать, кого она испугала, следовательно, нельзя доказать и отсутствия ее назидательности». Так, самая страшная кара, физически уничтожающая преступника и дарующая обществу высшее право суда, основывается на вероятности, которую невозможно вычислить. Однако смерть не имеет степеней и вероятностей. Величайшая неопределенность порождает здесь неумолимейшую очевидность.

Государство не может отмахнуться от дилеммы, сформулированной Беккариа[1]: «Если полезно чаще предъявлять народу свидетельства власти, значит, частыми должны быть казни; но тогда нужно, чтобы часто совершались преступления: отсюда ясно, что смертная казнь вовсе не производит нужного впечатления, ибо она одновременно бесполезна и необходима». Поэтому государство и скрывает ее, не уничтожая.

Представим себе чувства человека, убивающего по долгу службы,— я говорю о палаче. Что подумать об исполнителе приговора, называющем гильотину «мясорубкой», а осужденного «клиентом» или «тюком»? Вот человек, при помощи которого общество окончательно отделывается от обвиняемого, ибо заплечных-то дел мастер и подписывает приказ об освобождении заключенного из-под стражи, после чего получает в свое распоряжение свободного человека. Сей великолепный, торжественный образец назидания, выдумка наших законников, по крайней мере имеет явное следствие — частично или полностью лишает человечности и разума тех, кто непосредственно причастен к казни. Речь идет, скажете вы, об исключениях из общего правила — людях, которые находят в этом варварском обряде истинное призвание. Но есть и сотни добровольных палачей, не требующих себе вознаграждения,— что́ скажете вы, узнав такую подробность? Люди нашего поколения, пережившие исторические события последних лет, вряд ли удивятся моим словам. Они знают: у самых кротких с виду и ничем не примечательных существ живут в душе инстинкты истязателей и убийц. Наказание должно устрашить некоего потенциального убийцу, однако оно же бесспорно помогает найти свое чудовищное призвание многим выродкам. Раз уж мы пытаемся оправдать жесточайшие наши законы всякого рода гипотезами и рассуждениями, следует уразуметь, что из сотен желающих, чьи услуги были отвергнуты, хотя бы один должен был удовлетворить каким-либо другим способом кровавые инстинкты, разбуженные в нем гильотиной.

Так пусть нас по крайней мере избавят от лицемерных оправданий смертной казни ее мнимой назидательностью. Назовем

---

[1] Каждую неделю газеты публикуют статьи о преступниках, колебавшихся между самоубийством и убийством. *(Прим. авт.)*

[1] Чезаре Беккариа (1738—1794) — итальянский юрист и публицист, чья деятельность оказала заметное влияние на формирование уголовного права. *(Прим. ред.)*

эту кару ее подлинным именем, пусть не благородным, но правильным, и призна́ем — она не что иное, как месть. Наказание, карающее преступника, но не устраняющее возможности преступления, называется местью. Это почти арифметический ответ общества тому, кто нарушает его древнейший закон. И знали ответ еще первые люди: око за око, зуб за зуб. Причиняй зло тому, кто причинил зло тебе; кто ослепил меня, будет ослеплен; кто убил — умрет. Речь идет о чувстве, причем исключительно сильном, но не о принципе. Оно сродни инстинкту, проявлению человеческой природы, но не закону. Закон, по определению, не может следовать таким правилам. Если природа толкает нас на убийство, закон не должен следовать ей. Он создан для того, чтобы исправлять природу. Но месть утверждает чисто природный порыв, дает ему силу закона. Всем нам знаком этот порыв, часто, к нашему стыду, все мы знаем его силу: он пришел из первобытных дебрей. Мы пока определяем справедливость по правилам грубой арифметики. Но разве можно сказать, что арифметический расчет точен и смертная казнь, сводимая к узаконенной мести, поддерживает хотя бы элементарную, ограниченную справедливость? Разумеется, нет.

Допустим, что справедливо и необходимо компенсировать смерть жертвы казнью убийцы. Но высшая мера не просто смерть. По существу, она так же непохожа на лишение жизни, как концлагерь непохож на тюрьму. Разумеется, это — убийство, и к тому же арифметическая расплата за другое, предшествующее убийство. Однако высшая мера делает смерть сведением счетов, следствием, которое предумышлено обществом и известно будущей жертве, в конце концов — установлением, несущим нравственные муки, а ведь они ужаснее самой смерти. Значит, о соразмерности преступления и наказания не может быть и речи. Многие законодательства расценивают преднамеренные преступления как наиболее тяжкие. Но что́ есть смертная казнь, как не самое преднамеренное из убийств — ведь с ним нельзя сравнить ни одно преступление с заранее обдуманным намерением!

И когда наши юристы рассуждают о мгновенной казни без страданий, они не знают, о чем говорят, а главное — им не хватает воображения. Всеразрушающий, унизительный страх, терзающий осужденного месяцы или годы, страшнее смерти, и жертва убийцы его не знала. Пытка надеждой чередуется с муками животного отчаяния. Адвокат и священник — попросту из человеколюбия, охранники — дабы заключенный сохранял спокойствие, единодушно уверяют его, что он будет помилован. Он верит в это всем своим существом, а потом перестает верить. Днем он надеется, ночью теряет надежду. Идут недели, надежда и отчаяние растут и делаются равно невыносимыми. Осужденный заранее знает, что умрет, и спасти его может только помилование, подобное для него воле Божьей. Во всяком случае, он не может вмешаться, защитить себя сам, убедить судей в своей невиновности. Все происходит помимо него. Он больше не человек, он вещь, и ею будут распоряжаться палачи.

Этим объясняется странная покорность осужденных перед казнью. Как правило, они идут на смерть, охваченные полнейшим безразличием, угнетенные. И то, что испытывают несчастные, лежит за пределами морали вообще. Понятия добродетели, разумности, мужества, даже невиновности лишены здесь всякого смысла. Оказавшись перед лицом неизбежной смерти, человек, каковы бы ни были его убеждения, испытывает глубочайшее потрясение. Чувство беспомощности и одиночества в душе связанного по рукам и ногам преступника, который видит, что общество желает его смерти, само по себе есть невообразимое наказание. И лучше, чтобы казнь была публичной. В каждом из нас живет актер: можно было бы тогда сохранить достоинство хоть в собственных глазах. Но в ночи и в полной изоляции спасение немыслимо. Как правило, ожидание смерти уничтожает человека задолго до казни. Его умерщвляют дважды, причем в первый раз страшнее, чем во второй, хотя сам он убил только единожды. По сравнению с этой пыткой месть кажется достижением цивилизации: ведь первобытный закон никогда не требовал выколоть два глаза тому, кто выколол ближнему своему один глаз.

Заключая размышления о законе мести, следует сказать, что даже в своей примитивной форме он действует лишь между двумя людьми, один из которых безусловно невинен, а другой безусловно виновен. Жертва, конечно же, невинна. Но может ли общество, предположительно ее представляющее, претендовать на невиновность? Разве не ответственно оно, хотя бы частично, за столь сурово караемое преступление? Эта тема обсуждалась часто, и я не буду повторять аргументы многочисленных авторов, начиная с XVIII века. Впрочем, можно сделать обобщение — всякое общество имеет преступников, которых заслуживает. Но если речь идет о Франции, нельзя не указать на обстоятельства, способные умерить пыл наших законодателей. Отвечая в 1952 году на анкету «Фигаро» о смертной казни, некий полковник утверждал: будь осуждение на пожизненные каторжные работы высшей мерой наказания, это привело бы к созданию рассадников преступности. Вероятно, полковник не знал (и я рад за него), что у нас уже есть рассадники преступности, выгодно отличающиеся от тюрем тем, что выйти оттуда можно в любое время дня и ночи: это трактиры и трущобы, слава нашей Республики. О них нельзя говорить спокойно.

По статистике, в одном лишь Париже 64 000 жилищ перенаселено (от 3 до 5 человек в комнате). Конечно, детоубийцы особенно отвратительны и жалости никак не вызывают. Вполне возможно (я говорю, возможно), что ни один из читающих эти строки, оказавшись в подобных условиях, не станет убивать детей. Речь идет не о том, чтобы приуменьшить вину этих убийц. Но живи они в приличных квартирах, может, до такого ужаса дело и не дошло бы. В любом случае, не только они виновны, и трудно понять, почему право их наказывать дается тем, кто субсидирует производство сахара, а не жилищное строи-

тельство[1]. Известно, что парламентское большинство систематически, притом из самых низменных побуждений, отравляет французскую нацию алкоголем. А количество кровавых преступлений, порожденных состоянием систематического опьянения, просто невероятно. Один адвокат (мэтр Гийон) считает, что их 60% от общего числа. По мнению доктора Лагрифа, соотношение колеблется от 41,7% до 72%. Обследование, проведенное в 1951 году в пересыльной тюрьме Френ, выявило среди осужденных по уголовным делам 29% хронических алкоголиков. Наконец, 95% детоубийц — алкоголики. Прекрасные цифры! Можно добавить еще одну великолепную цифру: торговая фирма аперитивов в 1953 году подала налоговому ведомству заявление на сумму дохода в 410 миллионов франков. Сравнив эти цифры, позволительно заметить акционерам данной фирмы и депутатам «от алкоголя», что они, без сомнения, убили гораздо больше детей, чем предполагают. Как противник смертной казни, я ничуть не собираюсь требовать для них высшей меры. Но для начала их безотлагательно следует отвести под конвоем на казнь детоубийцы, а при выходе вручить им статистический отчет с указанными цифрами. И если государство сеет алкогольный туман, ему волей-неволей придется пожинать преступления.

Значит ли это, что государство должно снять с алкоголиков ответственность за преступления, бия себя в грудь и добиваясь, чтобы нация пила только фруктовый сок? Конечно нет. И дурная наследственность тоже не снимает вины. Нельзя точно определить реальную ответственность за правонарушение. Дурные и извращенные наклонности, которые могли передаться нам от предков, неисчислимы. Мы рождаемся на свет, обремененные их пугающей неизбежностью. Значит, допустимо было бы заключить, что никто не отвечает за свои поступки. Тогда логичной выглядела бы отмена наказаний и наград, а существование какого бы то ни было общества сделалось невозможным. Инстинкт сохранения общества, а с ним и человека требует постулата индивидуальной ответственности. Следует принять его, не надеясь на абсолютное отпущение грехов, означающее смерть общества. Но то же самое рассуждение приведет нас к естественному выводу: не существует абсолютной ответственности, и отсюда — абсолютного наказания или награды. Нельзя никого окончательно вознаградить даже Нобелевской премией. Но не следует никого предавать и абсолютному наказанию, даже если этот человек считается виновным, а тем более — если может оказаться невиновным. А смертная казнь еще и узурпирует чрезмерное право карать явно относительную вину окончательной и непоправимой мерой.

В самом деле, смертная казнь устраняет осужденного окончательно. Уже одно это, по правде говоря, должно было бы обесценить в глазах ее сторонников все их рискованные аргументы, которые, повторю кстати, весьма спорны. Точнее будет заметить, что смертная казнь непоправима, ибо должна быть таковой; ее цель — исключить возможность пребывания отдельных людей в обществе: ведь они представляют собой постоянную угрозу для каждого гражданина и общественного порядка, а потому их нужно незамедлительно уничтожить. Никто и не может отрицать факт существования отдельных социальных хищников, наделенных невероятной энергией и жестокостью. Смертная казнь, разумеется, не решает проблемы. По крайней мере, допустим, что она ее снимает.

Я еще вернусь к разговору об этих людях. Но разве смертная казнь применяется только к ним? Можно ли утверждать, что все они потеряны для общества? Можно ли поклясться, что среди них нет невиновных?

Когда казнен невинный, единственное, что можно сделать — реабилитировать его, если еще кто-нибудь попросит об этом. Тогда мученик снова обретет невинность, которой, по правде говоря, не терял. Но преследования, страдания, его ужасная смерть необратимы — сделанного не вернешь. Остается избавить будущих потенциальных жертв от этого кошмара. Разве из числа виновных убивают только неисправимых? Все, кому, как и мне, приходилось присутствовать на заседаниях суда, знают, сколькими случайностями сопровождается вынесение приговора, даже если это смертный приговор. Внешний вид обвиняемого, события его жизни (супружеская неверность часто рассматривается судьями как отягчающее вину обстоятельство, хотя я не могу поверить, что все судьи — верные мужья), поведение (оно говорит в его пользу, если всецело подчинено условностям, то есть чаще всего притворно), даже то, как он отвечает на вопросы (рецидивисты знают, что не следует ни путаться в словах, ни блистать красноречием), трогательные эпизоды во время слушания дела (а ведь истина, увы, не всегда производит нужное впечатление) — тьма случайностей влияет на решение суда присяжных. Когда выносят смертный приговор, можно не сомневаться — это результат стечения множества случайностей. Зная, что приговор зависит от рассмотрения присяжными смягчающих обстоятельств, зная также, что французская реформа 1832 года дала присяжным право допускать неопределенные смягчающие обстоятельства, можно себе представить, в какой мере все зависит от настроения момента. Уже не закон с точностью определяет те случаи, когда обвиняемый заслуживает казни, а присяжные оценивают закон на глазок. Нет двух одинаковых судов присяжных, и тот, кто был казнен по одному приговору, в другом случае мог бы остаться в живых. Ошибки забываются. Однако ущерб, наносимый обществу, от этого ничуть не меньше. Греки считали, что преступление, оставшееся безнаказанным, оскверняет город. Но наказать невинного или чрезмерно наказать преступника, в конце концов, тоже значит запятнать свою честь. Мы, французы, это знаем.

«Таково людское правосудие,— ответят мне,— и несмотря на свое несовершенство, оно лучше произвола». Сие меланхличе-

---

[1] Франция стоит на первом месте по потреблению алкоголя и на пятнадцатом — по строительству (данные 1957 года). *(Прим. авт.)*

ское замечание допустимо лишь в случаях обычного нарушения закона и постыдно, когда речь идет о смертной казни. Классический труд по французскому праву, пытаясь оправдать отсутствие градаций смертной казни, говорит следующее: «Человеческое правосудие вовсе не стремится обеспечить эту пропорцию. Почему? Потому что знает свою неполноценность». Так разве эта неполноценность позволяет нам вынести окончательное решение? Должно ли общество, неспособное вершить «чистое правосудие», на свой страх и риск устремиться к предельной несправедливости? Если правосудие знает свою неполноценность, разве не пристало ему смирение и ревностное усердие к исправлению вероятных ошибок в приговоре? Правосудие постоянно пользуется этим смягчающим обстоятельством, а ведь его следовало бы раз и навсегда закрепить за преступником. Могут ли присяжные без стыда заявить: «Если мы осуждаем вас на смерть по ошибке, вы простите нас, зная слабости человеческой природы. Но мы будем судить вас, не принимая во внимание ни эти слабости, ни законы человеческой природы»? Всем людям свойственно ошибаться и заблуждаться. Может ли это свойство говорить в пользу трибунала и против обвиняемого? Нет, и если земное правосудие имеет смысл, то он заключается в признании названного свойства за всеми людьми; правосудие неотделимо в своей сущности от сострадания. Разумеется, здесь сострадание есть сознание разделенного с кем-нибудь страдания, а не легкомысленная снисходительность, презирающая права и муки жертвы.

По правде говоря, некоторые присяжные прекрасно понимают это и часто допускают наличие смягчающих обстоятельств там, где преступление ничем смягчить нельзя. Смертная казнь кажется им излишне строгой мерой, и они предпочитают отказаться от нее, только бы не хватить через край, поскольку крайняя суровость наказания попустительствует преступлению, вместо того чтобы карать его.

Есть, однако, преступники, которых осудили бы любые присяжные. Их злодеяния однозначны, доказательства обвинения подкрепляются признаниями защиты. Природа и масштаб преступлений не оставляют надежды на то, что эти люди могут раскаяться или исправиться. Следует лишить их возможности совершать новые преступления, и тогда остается один выход — уничтожить их физически. Только у этого предела дискуссия о смертной казни законна. Во всех иных случаях аргументы консерваторов не выдерживают критики противников казни. Но может быть, у этой последней черты стоит отвлечься от многолетней истории борьбы между сторонниками и противниками смертной казни и оценить ее уместность в сегодняшней Европе. Можно бесконечно рассуждать о благе или вреде, принесенных казнью на протяжении веков или же в царстве абстрактных идей. Но она играет некую роль здесь, сейчас, и мы должны определить свою позицию здесь и сейчас, лицом к лицу с современным нам палачом. Что значит смертная казнь для людей середины нашего века? Ответ довольно прост: наша цивилизация лишилась тех немногих ценностей, которые в определенном смысле могли бы оправдать эту кару, и, напротив, страдает недугами, требующими ее отмены. Иначе говоря, уничтожения смертной казни должны были бы добиваться сознательные члены нашего общества по причинам вполне логичным и реалистическим.

Прежде всего о логике. Приговорить человека к высшей мере наказания — значит решить, что у него нет ни малейшего шанса искупить свою вину. Повторяю, именно в этом пункте аргументы приходят в слепое и бессмысленное столкновение. Но ведь никто из нас не в состоянии разрешить этот вопрос, поскольку все мы — и противные стороны, и судьи. Отсюда идет неуверенность в праве человека убивать и неспособность убедить друг друга в своей правоте. Без абсолютной невиновности нет высшего суда. Однако все мы совершали в жизни зло. Праведников нет, есть только более или менее справедливые сердцем. Пока живы, мы понимаем это и добавляем к сумме наших деяний немного добра, частично компенсируя содеянное нами зло. Право жить, совпадающее с возможностью искупить вину, является естественным правом любого человека, даже самого дурного. Самый закоренелый преступник и самый неподкупный судья перед ним равны. Без этого права нравственная жизнь совершенно немыслима. Так, никому из нас не позволено потерять веру в человека до самой его смерти, и лишь после нее жизнь его можно считать судьбой и тогда же выносить окончательный приговор. Но судить человека высшим судом до смерти, заявлять о закрытии счетов еще при жизни кредитора не в нашей власти. Здесь тот, кто выносит окончательный приговор, окончательно осуждает самого себя.

Говорят, в эпоху Просвещения смертную казнь хотели отменить, потому что в основе человеческой природы лежит добро, а не зло. Разумеется, это не так, однозначное утверждение исключено: последнее двадцатилетие нашей блистательной истории прекрасно это доказывает. Но никто из нас не вправе, как верховный судия, приговаривать к уничтожению самого закоренелого преступника, ибо абсолютной невинности не существует. Смертный приговор рвет единственную неоспоримую связь между нами — равенство, общность перед лицом смерти — и может быть узаконен только истиной или принципом, стоящими над людьми.

В действительности смертная казнь на протяжении веков была институтом религиозным. Приговор, вынесенный во имя короля, помазанника Божьего, во имя церкви или почитаемого святыней государства, разрушает вовсе не это равенство людей, а связь виновного с божественным Провидением, которое даровало ему жизнь. Конечно, его лишают земной жизни, но возможность искупить вину все же оставляют. Истинный приговор будет вынесен в мире ином. Католическая церковь, например, всегда признавала необходимость смертной казни. Когда-то она сама не скупясь выносила смертные приговоры, поскольку считала, что и самому закоренелому преступнику перед угрозой казни да-

но обрести себя. Именно поэтому на топоре фрибурского палача была надпись: «Господи Иисусе, ты — Судия». Таким образом, палач вершил священный обряд. Он лишал жизни тело, чтобы отдать душу на суд Божий.

Но что значит это оправдание в нашем обществе, чьи установления и нравы утратили свой сакральный смысл? Когда судья — атеист, или скептик, или агностик — выносит смертный приговор неверующему обвиняемому, приговор этот окончателен и пересмотру не подлежит. Судья восседает на троне Господнем [1], не имея Его власти и к тому же не веря в Него. Он убивает потому, что его предки верили в вечную жизнь. Но общество, которое он якобы представляет, на деле просто уничтожает преступника, разрушая тем самым единение людей, бросающих вызов смерти, и утверждает себя как абсолютную ценность, ибо претендует на абсолютную власть. Оно решительно истребляет изгоев, возомнив себя самое воплощенной добродетелью, будто достойный гражданин, убивающий заблудшего сына со словами: «Право, ну что еще с ним делать?» Оно присваивает себе право отбора, подобно самой природе, и предваряет уничтожение ужасными муками, подобно карающему божеству. Во всяком случае, утверждая, что человека следует окончательно изъять из общества, поскольку он абсолютно грешен, мы подразумеваем, что общество абсолютно совершенно, а этому в наши дни не поверит ни один здравомыслящий человек. Гораздо легче поверить обратному. Наше общество сделалось дурным и преступным именно потому, что видит в себе самом высшую цель и давным-давно печется лишь о своем благе и успехах на поприще истории. Да, оно напрочь утратило сакральность, но еще в XIX веке принялось создавать эрзац религии, предлагая в качестве предмета поклонения самое же себя. Учение об эволюции и дополнявший его закон естественного отбора поставили будущее нашего общества во главу угла. Политические утопии, привитые к этому учению, сулили к концу времен наступление золотого века, заведомо оправдывая все начинания. Общество привыкло узаконивать то, что могло послужить будущему, и, следовательно, выносило смертные приговоры без ограничений. Тогда преступлением и святотатством окрестили все, что противоречило его планам и мирским установлениям. Иначе говоря, палач из жреца превратился в чиновника. Результат налицо: обществу середины XX века, по всей логике потерявшему право требовать высшей меры, следовало бы отменить ее по вполне реалистическим причинам.

Какой же в действительности предстает наша цивилизация по отношению к преступлениям? Ответить нетрудно: за последние тридцать лет государством совершено намного больше преступлений, чем отдельными гражданами. Я уже не говорю о войнах, больших и малых, хотя кровь — это тоже алкоголь, и в конце концов она бросается в голову, как самое крепкое вино. Но астрономическое число несчастных, убитых непосредственно государством, далеко превосходит число убитых частными лицами. Все меньше и меньше осужденных по уголовным делам, все больше и больше политических. Доказательством служит бесспорный факт: любого, даже самого респектабельного члена общества могут когда-нибудь приговорить к смертной казни, а ведь в начале века это показалось бы забавной нелепостью. Кто считает, что право, логика и история на его стороне, проливает больше всего крови.

Наше общество должно уже защищаться не столько от человека, сколько от государства. Может быть, еще лет через тридцать соотношение изменится. Но сейчас главная и первоочередная задача — самозащита от государства. Правосудие, опираясь на самую реалистическую оценку существующего положения дел, требует, чтобы закон защитил человека от государства, одержимого безумием сектантства или манией величия. Лозунг сегодня у нас один: «Пусть государство начнет с отмены смертной казни!»

Известно изречение: кровавы законы — кровава и мораль. Но каждое общество способно дойти до такой степени низости, что, несмотря на весь хаос, нравы не станут столь кровавыми, как законы. Половина Европы познала эту степень падения. А мы, французы, рискуем познать его заново. Сначала предавали смерти во время оккупации, потом — после освобождения, и друзья последних казненных мечтают о реванше. Иные государства, на чьей совести слишком много преступлений, хотят потопить свою вину в сугубых ужасах бойни. Убивают во имя обожествленной нации или класса. Убивают во имя будущего общества, также обожествленного. Кто якобы всезнающ, тот и всемогущ. Бренные идолы, алчущие абсолютного преклонения, неустанно требуют абсолютного уничтожения преступника. И во имя суррогатов религии гибнут лишенные надежды толпы осужденных.

Выживет ли европейское общество середины нашего века, если не примет решения всеми средствами защитить человека от государственного притеснения? Отмена высшей меры была бы равносильна публичному признанию того, что общество и государство не суть абсолюты власти и им не дозволено именем закона вершить непоправимое.

Не будь смертной казни, Европа не смердела бы трупами, уже двадцать лет тлеющими в ее истощенной земле. Все лучшее на нашем континенте обесценено страхом и ненавистью людей и наций. Борьба идей ведется при помощи виселицы и гильотины. Не общество, естественно созданное человеком, пользуется правом подавления, а идеология правит и требует человеческих жертв. Уже были написаны слова: «Казнь на эшафоте всегда говорит о том, что жизнь человека перестала быть священной, раз убивать его считается поучительным» [1]. Очевидно, поучению внимают все усерднее — дурной пример заразителен. Всепроникающая зараза порождает и хаос ниги-

---

[1] Известно, что оглашение вердикта присяжных начинается словами: «Перед Богом и совестью...» *(Прим. авт.)*

[1] Франкар. *(Прим. авт.)*

лизма. Следует, наконец, остановиться и закрепить в теории и на практике тезис о том, что человеческая личность выше государства. Любая мера, которая уменьшит давление общественных сил на человека, поможет Европе, страдающей от прилива крови, встать на путь выздоровления. Европа больна, ибо ни во что не верит и считает себя всезнающей. Это не так, а если судить по нашим мятежам и надеждам, она все-таки во что-то верит — верит, что крайняя ничтожность человека у сокровенного предела смыкается с его высшим величием. Большинство европейцев утратили веру, а с ней — желание оправдывать казнь. Но большинству европейцев претит и поклонение государству, пытающемуся заменить собой религию. Мы знаем достаточно, чтобы сказать: «Такой-то злодей достоин пожизненной каторги»,— но явно недостаточно, чтобы лишить его будущего, то есть общей для всех людей возможности искупить вину. В единой Европе завтрашнего дня торжественная отмена смертной казни должна стать первой статьей Европейского кодекса, на который мы все возлагаем надежды.

От гуманистических идиллий XVIII века ведет прямая дорога к кровавым эшафотам, и нынешние палачи, как известно,— гуманисты. Следовательно, касаясь проблемы смертной казни, нужно остерегаться гуманистической идеологии. Завершая свои размышления, я хотел бы повторить, что ни иллюзии относительно добра как основы человеческой природы, ни вера в грядущий золотой век не объясняют моих доводов в пользу отмены смертной казни. Напротив, отмена кажется мне необходимой по причинам обоснованно-пессимистическим, логичным и продиктованным самой действительностью. Конечно, и сердцем я жажду того же. Кто провел столько времени наедине с людьми, которые не сегодня-завтра взойдут на эшафот, уже не будет прежним. Но повторяю: тем не менее, я не верю, будто в этом мире никто ни за что не отвечает, а посему следует уступить сегодняшней моде, оправдав одновременно и жертву и убийцу. В этой смеси чувств больше трусости, чем великодушия, и в конечном счете она оправдывает самое худшее. Благословляется все — и лагеря для рабов, и трусливая власть, и организованное палачество, и уродливый цинизм великих политиков, наконец,— предательство брата братом. Все это происходит вокруг нас. Но именно при нынешнем положении дел сыну нашего века, чтобы выздороветь, нужны законы и установления, которые обуздывали бы его, не губя, вели, не подавляя. Ему нужно разумное общество, а не анархия, в пучину которой он ввергнут собственной гордыней и безграничной властью государства. Я убежден — отмена смертной казни поможет нам продвинуться на пути к такому обществу.

Тем, кто считает каторжные работы слишком мягкой карой в сравнении с казнью, можно ответить: лишение свободы кажется им легким наказанием потому, что современное общество научило нас презирать свободу. Пусть Каин останется жить, но несет бремя осуждения соплеменников: вот, во всяком случае, урок, который следует нам извлечь из Ветхого Завета, не говоря уже о евангелиях, а не вдохновляться жестокими примерами закона Моисеева. Ничто не мешает нам провести хотя бы ограниченный во времени эксперимент (допустим, в течение 10 лет), если наш парламент не способен искупить свою политику поощрения алкоголизма великой цивилизаторской мерой — окончательной отменой смертной казни. Смертная казнь в ее теперешнем виде — это омерзительное живодерство, оскорбление человеческого духа и тела. Отрубленная голова, струей хлещущая кровь напоминают об эпохе варварства, когда властители надеялись запугать народ унизительными зрелищами. Сейчас это гнусное убийство свершается втайне и второпях — так в чем же его смысл?

Очень многим людям больно сознавать, чем является на деле смертная казнь, и не иметь возможности помешать ее осуществлению. Ни в сердцах человеческих, ни в общественных нравах не будет прочного мира, покуда смертную казнь не объявят вне закона.

Перевод с французского О. В. РОТЕНБЕРГ

ГЕРЦ ФРАНК

...И НЕ ТОЛЬКО О ГИЛЬОТИНЕ

Из монтажной записи фильма «Высший суд»

Кадр № 6 и далее. Из-под колес грузовика взлетает птица. Фасад нового дома. Крупно — окно. Какие-то люди снимают пломбу с дверного замка, вставляют ключ, входят в темный коридор, в конце которого виден портрет молодой женщины. Засохшая сирень в хрустальной вазе. Настенные часы с неподвижным маятником...

От автора: Вот эти кадры мы снимали для другого фильма. Тогда в этом доме произошло страшное событие. В 27 квартире были убиты заведующая отделом республиканского комитета профсоюза работников торговли Эмма Бурилина и ее друг Айвар Озолиньш. Это случилось в конце мая, в субботу около полудня.

На полу лежит «убитая» (манекен). Молодой человек с микрофоном в руке дает показания в ходе следственного эксперимента.

— Вот так они стояли, убитые, как стоят сейчас понятые. Вот здесь, по-моему, стоял я. На этом месте. Выхватил пистолет и направил на них.

Следователь по особо важным делам Ян Скрастыньш вручает обвиняемому макет пистолета. С микрофоном в одной

руке и пистолетом в другой он продолжает показания:

— Я сказал, чтобы не двигались с места, чтобы не было крика, иначе я буду стрелять. И что... в общем, я потребовал деньги и они покажут, где они лежат. В общем, я смутно представлял, что буду делать, где-то вот так я предполагал... Какое-то мгновение они стояли, потом женщина как-то улыбнулась, двинулась мимо меня и рванулась в сторону двери, вот здесь, да... и одновременно она начала кричать. Я ее пробовал задержать, пистолет был направлен в сторону мужчины, да... И мужчина тоже так вот как-то дернулся и как-то рванулся ко мне... И я выстрелил тут же... Женщина закричала еще громче и побежала к двери. Я догнал ее, пытался остановить, схватил, я точно не помню, как это происходило... она очень сильно кричала, просто ужасно кричала. И... я точно помню, что я не хотел ее убивать...

От автора: Преступление и наказание. Вспомним строки из романа. «Тут весь вопрос: изверг ли я или сам жертва...»

Арестованного ведут к машине. Вводят в зал судебного заседания. Он усаживается, разминая руки от снятых наручников.

От автора: Предварительное следствие длилось около двух лет, оно и послужило толчком для более глубокого осмысления того, что случилось.

Слово предоставляется прокурору. Она требует убийце смертный приговор...

Так начинается фильм «Высший суд».

ОБЪЯВЛЕНИЕ:
Сегодня, 2 марта 1987 года
в Мраморном зале
состоится просмотр фильма
«ВЫСШИЙ СУД»
Рижской киностудии.
Встреча с автором.
Начало в 17 часов.

Первыми зрителями фильма были работники Прокуратуры СССР. Полный зал — и все прокуроры. Человек триста. Даже страшновато было. Но после просмотра никто не сказал худого слова. Молча встали и разошлись. Я успокоился, значит, в фильме нет ничего ведомственного, иначе бы непременно что-то сказали, потребовали бы исправить. Уже в дверях высокий, седой человек спросил:

— Значит, вы против смертной казни?

— Я этого с экрана не говорил.

— Но ваш убийца вызывает жалость, вы взываете к милосердию, разве это гуманно... Какой бы ни была жертва?..

Диалога у нас не получилось. Седой человек спешил, да и ответа он не очень-то ждал. Но в фойе ко мне подошла женщина. тоже прокурор, протянула руку.

— Спасибо!

— За что?

— Может быть, наш зам и прав, но все равно спасибо. Я уже думала, в русском языке и слова такого нет — милосердие, старорежимное какое-то, а тут сегодня вспомнила. Спасибо.

И уже по-деловому осведомилась:

— Приговор приведен?..

— Нет. Ждет помилования.

— Ну дай-то бог...

В Президиум Верховного Совета СССР.
Комиссия по помилованию.

Уважаемые товарищи, к вам обращается режиссер-документалист Рижской киностудии Франк Г. В. вот по какому поводу.

В начале декабря 1986 года в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой о помиловании обратился гражданин Долгов Валерий Владимирович, 1960 года рождения, осужденный Верховным судом Латвийской ССР к высшей мере наказания по ст. 72 УК ЛССР (уголовное дело № К-012, приговор от 14—15.07.86 г.).

Убедительно прошу вас, решая судьбу этого человека, ознакомиться также с материалами фильма «Высший суд», который снимается на нашей студии в соответствии с планами Госкино ЛССР и СССР и при содействии правоохранительных органов, в целях правовой пропаганды.

Чем вызвана моя просьба?

В 1985 году на экраны страны вышел фильм «До опасной черты», в котором «дело Долгова» было лишь эпизодом. Оно рассматривалось там главным образом с точки зрения роли самой жертвы в случившемся. Как установлено следствием, убитая Э. Бурилина была замешана в крупных спекулятивных сделках, получала взятки и находилась в преступной связи со злоумышленниками, хотя занимала ответственный пост в профсоюзе работников торговли республики.

Поскольку фильм имел широкий резонанс и был даже отмечен высшей наградой на Всесоюзном кинофестивале, было принято решение более глубоко исследовать первопричины этого тяжкого преступления. Так родилась идея нового фильма «Высший суд». По моему замыслу, трагический излом в судьбе бывшего студента, бывшего комиссара студенческого отряда и старосты группы (Долгов учился в Рижском институте инженеров гражданской авиации) мог бы послужить уроком для многих молодых людей, попадающих на скамью подсудимых, уроком для родителей и воспитателей.

Это фильм-исповедь, в котором молодой человек, выросший в трудовой семье—отец гидростроитель, мать юрист, инвалид 2-й группы,—совершает над собой высший суд совести и приходит, пусть с опозданием, к ценностям, которыми пренебрег. Я уверен, что экран не оставит равнодушным никого и в условиях гласности будет действовать в нужном нашему обществу направлении.

Вот эта вера в гуманную цель искусства и Закона, которые не могут не внять тому, что происходит с осужденным в процессе глубокого раскаяния и очищения, и побудили меня обратиться к вам с беспрецедентной просьбой — ознакомиться с материалами фильма «Высший суд».

Разумеется, возмездие должно быть неотвратимым, но все-таки тут случай уникальный. Надо ли, чтобы исповедь, которая прозвучит с экрана, была бы исповедью мертвого человека?

6.1.87 г. С уважением
Г. Франк

г. Москва, Пушкинская, 15а.
Прокуратура СССР.

Генеральному прокурору Рекункову А. М.

Уважаемый Александр Михайлович, мы, кинематографисты, посмотрели до-

кументальный фильм режиссера Г. Франка «Высший суд». Считаем, что по своему художественно-публицистическому потенциалу этот фильм необходим для нравственного и правового воспитания нашей молодежи и просим так же, как и автор, посмотреть эту картину, прежде чем решать судьбу осужденного Долгова Валерия Владимировича, чья история находится в центре фильма. Мы полагаем, что в какой-то мере Долгов — жертва ушедшей поры вседозволенности, девальвации нравственных ценностей и социального застоя. Случай, произошедший с ним, непростой, неоднозначный.

Лауреат Государственной премии РСФСР и премии Ленинского комсомола, режиссер В. Абдрашитов.
Лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кинодраматург Р. Ибрагимбеков.
Народный артист СССР М. Глузский.
Лауреат Государственной премии СССР, режиссер Ю. Норштейн.
Кинокритик В. Демин.
Лауреат Ленинской премии, кинодраматург К. Славин.

10 мая 1987 г.

СЕКРЕТАРИАТ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Москва, Кремль
21.09.1987 г. № 86—590

Тов. ФРАНКУ Г. В.
г. Рига, 226037
Шмерля, 3,
Рижская киностудия

Сообщаем Вам, что ходатайство о помиловании Долгова В. В., осужденного Верховным судом Латвийской ССР к смертной казни, рассмотрено в Президиуме Верховного Совета СССР.

Оснований для применения к осужденному Долгову помилования не найдено.

Начальник Секретариата Рубцов Н. Ф.

Как говорится, закон перевесил.

Но фильм вышел на экраны страны, перешагнул ее границы и был показан в Швейцарии, ФРГ, Западном Берлине, Англии, Франции, Италии, США, Израиле. Многие советские и зарубежные газеты опубликовали рецензии, толковавшие картину в первую очередь как аргумент против смертной казни.

В аннотации к «Высшему суду» подтверждается, что этот фильм — исповедь. Теперь можно добавить — исповедь мертвого человека.

Я не подвергаю сомнению право высшего органа государственной власти выносить решения в соответствии с Законом. Но я вслед за Альбером Камю и многими авторитетными деятелями искусства и учеными-юристами спрашиваю: в чем же смысл смертной казни, если она никого не устрашает, а убийства и у них и у нас продолжаются.

В мести?

В самом деле, по опубликованным данным за первое полугодие 1987 года в судах нашей страны было рассмотрено около 5000 дел об убийстве. Имеются в виду раскрытые убийства. А сколько осталось нераскрытых, сколько было жертв? Об этом статистика умалчивает. Но если даже взять эту неполную цифру 5000, удвоить ее, разделить на 365 по числу дней в году и на 24, то получится не очень утешительный результат: каждые 55 минут в нашей стране убивают человека. Огнестрельное оружие у нас, слава богу, открыто не продается, зато свободно продаются топоры, утюги, ломы и другие тяжелые предметы... По сообщениям газет, в первой половине 1988 года количество преступлений против личности, в частности убийств, увеличилось.

Воскресный полдень 21 августа 1988 года. По первой программе ЦТ показывают передачу «До 16 и старше...» Сюжет, однако, далеко не воскресный.

В Москве (я вижу на экране белокаменные кварталы новых застроек, то ли в районе Теплого Стана, то ли Юго-Запада) двое юношей, 19 и 18 лет, и 16-летняя девушка убили женщину в ее доме в корыстных целях. Орудие убийства — топор. Деньги нужны были, чтобы расплатиться с долгами, купить мотоцикл (катать девушку) и, конечно, чтобы «пожить». В ходе следствия выяснилось, что денег в доме не было, а драгоценности хозяйки, привлекшие убийц, оказались бижутерией. Выяснилось также, что злоумышленники вместе со своими родителями обитали в том же районе, где их жертва. Все работали на заводе, девушка к тому же училась в вечерней школе. Кстати, именно она (по свидетельству матери — нежное, доброе существо) и подала идею убить с целью ограбления, навела на нужную, как ей показалось, квартиру и накануне рокового дня принесла из дома топор...

Все свое, домашнее. Все свои, плоть от плоти — рабочая молодежь столичной окраины.

Читают приговор. 19-летнему исполнителю преступного замысла, нанесшему удар топором,— 13 лет строгого режима, 18-летнему соучастнику — 8 , вдохновительнице — 9 лет. В первые мгновения на лицах осужденных нескрываемая радость — они будут жить! Девица даже кому-то в зале подмигнула. Но в конце передачи все они сетуют на слишком жестокий приговор, говорят, что после такого длительного заключения станут настоящими убийцами и будут ненавидеть общество, которое их так сурово осудило. Ни следа раскаяния, ни моральной готовности к искуплению. И я думаю: неужели все напрасно — и следствие, и суд, и публичное изобличение. Я ловлю себя на мысли: не слишком ли мягок приговор?

Ну почему совершеннолетнему цинику, ворвавшемуся среди бела дня в чужой дом с топором (в ходе следственного эксперимента он хладнокровно показывает, как именно, прямо с порога, нанес открывшей ему женщине смертельный удар по голове, а потом еще добивал, чтобы не хрипела), почему этому звероподобному человеку сохранили жизнь?

Око за око!

Но я выключаю телевизор, и вместе с экраном гаснет вспышка гнева. Как тут все знакомо! Ведь случилось, в сущности, то же самое, что в «Высшем суде» — убийство человека из-за денег, то есть в корыстных целях. (Топор вместо парабеллума дела не меняет. И тут и там преступление совершено «своими».)

К слову сказать, организатором вооруженного разбоя в Риге, наставником Долгова был бывший секретарь комсомольской организации аэропорта некий Лысенко. Они действительно шли навстречу друг другу, бывшие молодежные лидеры и бывшая

профсоюзная «деятельница». Только смерть их развела. Жертву похоронили под звуки «Интернационала» на самом престижном кладбище. Организатора разбойного нападения осудили на 15 лет строгого режима. Исполнителя расстреляли.

И вот я спрашиваю себя: где они все родились — участники рижской, московской, иркутской историй? (Я имею в виду семью Озечкиных, пытавшихся угнать самолет в Лондон.) В какое время они росли и набирались жизненного опыта?

Не в то ли самое время, когда двуличие стало нормой поведения, когда пьянство стало национальной трагедией, когда постоянный дефицит и спекуляция сместили все ценности. Сегодня выясняется, что от сталинских репрессий людей погибло не меньше, чем на войне, а сама война была выиграна не столько благодаря мудрому руководству Верховного главнокомандующего, сколько вопреки, и что другой наш вождь, награжденный пятью золотыми звездами, продержал страну почти два десятилетия в застое, что его ближайший друг, министр внутренних дел, после изобличения в коррупции застрелился, а зять ждет решения суда. На четвертом году перестройки все еще неизвестно, кто — кого?..

В центре Риги стоит памятник Ленину, у подножия которого всегда лежат цветы. А на меня он навевает грустные мысли. В двух шагах от памятника, в сторону, куда протянута рука, расположен магазин, полный замечательных товаров. Но! Деньги с изображением Ильича там не берут, а с изображением Вашингтона — милости просим! Будешь протестовать — заберут в милицию, а то, чего доброго, упрячут в психушку.

Для меня многие преступления молодых людей, особенно спекуляция и корыстные убийства, связаны с последствиями вот такой безнравственной и, я бы сказал, безыдейной экономики. Как объяснить молодому человеку, да и взрослому, почему через семьдесят лет после революции наши собственные, кровно заработанные деньги хуже заморских?

Может ли государство, прежде всего ответственное за все, что творится в его пределах, и взявшее на себя всю полноту ответственности за воспитание и формирование своих граждан, может ли оно не брать на себя хоть какую-то долю вины и за их грехи? Ведь человек растет не в лесу, он в значительной мере продукт общественных и экономических отношений.

К концу гражданской войны и разрухи мы смогли подсчитать, сколько в стране беспризорников. Можем ли мы сейчас хоть приблизительно представить себе, сколько в годы сталинских репрессий и застоя выросло беспризорных и неприкаянных душ?

Все эти проклятые вопросы самому себе и времени я уже, можно сказать, прожил много раз, снимая документальные фильмы: «Запретная зона» (1975), «Чужая боль» (1983), «До опасной черты» (1984) и особенно — «Высший суд» (1985—1987).

Из монтажной записи фильма «Высший суд»

Кадр № 63 и далее (моя беседа с Долговым в тюрьме, до приговора).

— Я почему тебе задаю эти вопросы, я пытаюсь пробиться к сущности твоей.

— Если бы я сам понимал эту сущность... потому что все ценности, которые для меня существовали, это какая-то переоценка произошла. И довольно резкая переоценка. Ведь на протяжении года такие вот перемены происходят. В нравственном плане. Вот эта резкость, она, наверное, надломила меня. Вот знаете, что бы я сказал, о чем идет речь. На протяжении последних лет жизни во мне накапливался, с каждым днем накапливался отрицательный потенциал. И вот в определенный момент происходит какой-то качественный скачок, в плохом смысле этого слова. Вы знаете, есть в астрофизике такой термин «коллапс» — коллапс звезды. Мне кажется, что здесь мы имеем дело с каким-то нравственным коллапсом. Не знаю, поняли ли вы меня?

— Ну, это в философском плане, а по-житейски, что тебя сбило в Риге?

— Когда я был зачислен на подготовительное отделение, я был назначен старостой...

— Да, я знаю, тебя потом назначили старостой первого курса, дали власть, но ты избил сокурсника за неподчинение, и тебя отстранили, но ведь все еще было впереди...

— Общественная работа имела для меня большое значение... А тут вдруг как бы в своих глазах упал, то есть опять вроде бы стал как все... Я вот пытаюсь понять вместе с вами, может быть, я искал какую-то замену, что ли, этому?.. Жажда иметь деньги, если человек имеет, допустим, большие деньги, он имеет тоже власть, в другой форме, может быть. Это тоже позволяет почувствовать себя как-то выше других окружающих людей...

До того дня, когда я решился наконец пойти к человеку, ожидавшему смертный приговор за убийство, да еще в составе банды, и предложил ему рассказать о себе и содеянном перед камерой, то есть публично исповедоваться, я долго колебался.

Такого опыта в документальном кино не было, великие литературные образцы, хотя и давали философский фундамент, в конкретной обстановке мало чем могли помочь. Достоевский в «Записках из Мертвого дома» и «Преступлении и наказании», Набоков в «Приглашении на казнь», Камю в «Постороннем» были вольны в своем воображении лепить своих героев так, как они их видели и чувствовали. А тут документ, тут реальная судьба, тут был живой человек — Валерий Долгов, у которого есть реальные отец и мать. Позволительно ли документалистам с их грубыми инструментами, камерами и микрофонами вторгаться в чужую жизнь на пороге небытия?

Я и сейчас не могу однозначно ответить, но я решился вступить в эту воду и увлек своих товарищей. Видеооператор Илья Фрэз, кинооператор Андрис Селецкис, фотохудожник и журналист Вильгельм Михайловский, звукооператоры Альфред Вишневский и Алексей Пугачев, консультант Борис Жу-

ков... все они разделили со мной мучительные и великие для всех нас очистительные мгновения.

И причиной тому был Валерий Долгов.

Из монтажной записи фильма «Высший суд»

Кадр № 221 и далее. (Долгов после приговора, в тюремной камере, слушает магнитофонную запись беседы с матерью.)

— И несмотря на то, что она на столько лет старше меня, на столько лет опытнее, настолько вроде лучше разбирается меня, а я вот в чем-то чувствую себя выше ее... Понимаете? Она ведь не сидела двадцать месяцев здесь и не ждала смерти, она не знает, что это такое... Я спать не могу, спать не могу и очень начинаю бояться, всего начинаю бояться... Стука, малейшего стука начинаю бояться... Страх! Даже и... я начинаю бояться снов... Бурилину вижу очень часто, да... вот, мужчину не вижу, не знаю почему? Наверное, потому, что о Бурилиной постоянно разговор идет, вот, ее вижу, причем я никогда не видел ее живой, только труп. Очень часто я вижу, вот, эту квартиру, будто бы я... ходил по этой квартире, потом вдруг заходят в квартиру какие-то люди. Причем знакомые люди, но ведут себя как следователи, знакомые люди по Чарджоу, там, другим городам... И вдруг переписью вещей занимаются, вот... вещи какие-то проверяют, записывают все это, да? А я как со стороны хожу и смотрю на все это, а на меня никто не обращает внимания, как будто... дух какой-то бесплотный хожу... И я видел, как будто я маму хоронил... несколько раз, и будто бы не хотел... Никак не мог могилу найти, понимаете, будто бы землю не могу купить для могилы, да, и... я захожу — она в комнате лежит в гробу, крышка уже накрыта, я хочу поднять крышку и не могу никак открыть, хотя знаю, что она тут лежит... И вот я думаю — сколько дней уже прошло, ведь надо же хоронить... А я не могу землю купить. Или вижу себя мертвым и какое-то лицо искаженное... но вижу, что это я, это я... Смотрю на себя и потом вдруг... хочу уйти и никак не могу уйти. И знаю, что это сон, что надо проснуться, хочу проснуться и не могу никак проснуться и... просыпаюсь и потом до утра уже не могу уснуть. И потом несколько дней хожу... Это что-то страшное творится, да... И много хороших книг я читаю и... забываюсь полностью. И совершенно не ощущаю ту обстановку, в которой я нахожусь. Я очень увлекаюсь этим героем, этим сюжетом, да, волнуюсь за него... переживаю, то есть живу этой книгой, живу этим героем... Живу, живу, потом — раз, очнулся, другую книгу схватил, да... А вот такой сон... стоит только увидеть, да, как-то выбивает из колеи. Я не могу... книгу беру, я читать не могу, ничего не могу. Страшно, жутко становится, и все давит на меня... И вот это положение, в котором я оказался, и вот все это вместе, и то, что ожидает меня, и такое состояние, что я ощущаю себя, не... Вот, я говорю, что в бога я, конечно же, не верю, но все же вот боюсь... Не самой смерти, да, а вот какая-то, вот... такое чувство, да... Не то, что какой-то... суд должен быть, там... Нет, не суд и не бог, нет! Тут что-то другое. Это, наверное, то, что называют совестью... Вы, может быть, даже удивитесь, Герц Вульфович, но самый большой страх я испытал там, в квартире. Я не знаю, буду ли я такой страх испытывать там, когда меня к стенке поставят? Самый большой страх я там испытал.

— Что за сила гнала тебя?

— Это... это все тут ерунда, а вот, что там было... это было страшно.

— Ты написал уже вторую просьбу о помиловании?

— Потому я себя, Герц Вульфович, презираю. Потому хладнокровно воспринял, когда мне два дня тому назад принесли первый отказ в помиловании. Я вам говорил, что сам не раз, не раз сам себе... желал смерти. Я же... неужели вы думаете, что я лгу вам, да? Я ведь двадцать месяцев сижу, Герц Вульфович. Вы не догадываетесь, что такое двадцать месяцев здесь отсидеть? Я презираю себя, презираю, потому что я... я себя не только ненавижу, но и... кого ненавидеть... человек, у которого все было?.. Я иногда, вот, думаю, я не могу понять, как же это?.. Я настолько себя презираю... И дай бог, чтобы мне все отказали.

— Ты и нас презираешь?

— Надо быть трусом, что я до сих пор на себя руки не наложил, понимаете? Ведь я трус! Я давно должен был уйти, понимаете? Давно!.. Вас?.. Почему Герц Вульфович?.. Я так люблю людей! Чем дальше, тем я их больше люблю... Я буду любить даже тех, кто меня к стенке поставят, тех, кто стрелять будет в меня, я буду любить их, понимаете? Вы не понимаете, что это такое! Ведь только любовью живут люди... (плачет).

«Советская культура» 11.08.88.
Из писем читателей, после показа фильма «Высший суд» по II программе ЦТ 19.06.88.

«...Простите мою резкость, но считаю этот фильм антигуманным, ничего общего с искусством не имеющим.

Во время просмотра фильма «Высший суд» по ЦТ у меня возникло чувство соучастия в преступлении, меня как будто кто-то ударил ниже пояса... Есть же вещи, которые нельзя переступать... Снимали, снимали человека, хотя знали, что его ждет расстрел. Есть в этом что-то нечестное.

Долгов — преступник, понесший заслуженную кару, но выставлять его на суд миллионов — это же что глумиться над ним... Нет у художника такого морального права... нет... Да еще в душу к нему залезли... Такие вещи должны воспроизводиться с помощью художества, а не документалистики... Ни в коем случае не хочу оскорбить съемочную группу этого документального фильма, хочу сказать только, что они пошли не тем путем...»

С уважением Петр Соседов,
актер театра драмы
им. Н. А. Островского.
Кинешма

Телегид газеты: «... На месте создателей картины я бы не обиделся на автора письма, а счел его союзником: ведь упреки к ним — на деле упреки к самой действительности. Свидетельство, что документальное кино сегодня лидирует — раз. И во-вторых, свидетельство, что общество может поддаться воздействию честного искусства и задуматься над тем, над чем оно до сих пор не задумывалось или задумывалось редко. Я имею в виду смертную казнь».

Из писем, пришедших по адресу: Рижская киностудия, «Высший суд», Г. Франку.

«Сколько раз приходилось видеть агонию раковых больных. Он уже говорить не может, только глазами умоляет тебя избавить от мучений, а ты же даешь ему наркотики, прикрываясь ханжески долгом врача — милосердием. Если Долгова так мучила совесть, что жить не хотелось, то смерть была для него избавлением. А фильм наградой за раскаяние. Он хотел стать выше людей и этого добился, только пришлось заплатить жизнью не только своей.

Вообще, смертную казнь считаю вполне оправданной для убийц-рецидивистов и садистов-насильников. Это в генах и никакими наказаниями тут не поможешь. Ни им, ни тем, кто такими нарождаются. Таких преступников необходимо, для общего блага, лишать жизни».

К. Азолина
врач, Рига

«Валерий пережил в камере смертников катарсис — очищение и прошел через «момент истины». Дай бог, чтобы нам удалось сделать это вне таких экстремальных условий. Но неужели, чтобы подняться на этот уровень, уровень бытия, человеку надобно оказаться у роковой черты? И этот вопрос, на мой взгляд, то главное, что зритель выносит из просмотра фильма или должен вынести...

Вероятно, фильм явился единственным, в чем Валерий сумел реализовать себя на уровне бытия. Увы, ни в творчестве, ни в любви, ни в отцовстве он не успел это сделать. Согласившись на съемки, он сознательно или бессознательно совершил акт подлинной самореализации как гражданин. Он помогает другим людям понять себя и выбирать цели в жизни. С его стороны это еще и акт мужества!»

Владимир Тюкин,
Ленинград

«...Долгов получил то, что заслужил. То, что он кается в содеянном, естественно, т. к. деваться некуда. За то, что принял участие в этом фарсе, если бы «помиловку» удовлетворили, то до этапа на зону он не дожил бы, а если бы дожил, то «дырявым по кругу». Так бы оно и было, а это не жизнь. Подобное не прощают.

Когда вы пришли к нему, он сразу согласился на съемку или через несколько дней? Наверное, через несколько дней, хотя бы день-два. Тюремный телеграф и почта работают лучше государственных, и он успел получить указание о линии поведения. Там есть такие режиссеры, что поставят любой спектакль. Даже «Гамлета» и сыграют получше Смоктуновского. Вы дали Долгову шанс. Он уже свыкся с мыслью о расстреле, и, о чудо, вот он — «луч надежды». Но о нем знает тюрьма, если он сразу согласится на съемку, то как потом жить, если помилуют. Нужен совет «авторитета», чтобы хоть как-то реабилитироваться в глазах будущих сокамерников. Мне приходилось встречаться с подобной категорией контингента тюрьмы и зоны...»

Владимир Минкин, 42 года,
Пермь

И совсем неожиданное письмо:

«В сирое время века
себя судьбя
я, застрелив человека,
убил себя.

Грачи,
склевывающие бельма весны,
чистят на проводах горла
и ошметки воспоминаний
горбят сны,
в которых все черно.

Не верьте, что в одиночной камере
человек одинок,
«одиночка» — это не наказание.
Я на вторые сутки уже взмок
от монолога собственного сознания.
Меня остригли до самых век
слез брызги,
не судите меня, я — не человек,
я труп мысли.

Мне предлагают,
расшаркав честь,
есть суп,
а я не хочу есть,
я — труп.

Ученые,
вам не сдвинуть философский
камень,
как не докопаться до тьмы.
Двадцать месяцев одиночных камер
страшней, чем двадцать лет тюрьмы.

Сквозь мои виски прет седина
и тянется время,
как капля с крана,
мне сейчас кажется, что жизнь не одна,
но все равно умирать рано.

Пусть я стал с виду колючим,
но не зацветет злоба в горшке глаз.
Люди!
Я не Юлиус Фучик,
но я люблю вас!

Я не занимался йогой,
не посещал нирвану,
но даже
если это
все глупо,
не дай вам бог
однажды увидеть в ванной
зеленое лицо
собственного трупа.

В сирое время века
себя судьбя
я, убив человека,
убил себя.

Горлом приговоренным
я царапаю на стене
о том,
что хочу быть последним казненным
в моей стране.

Долой забытье,
долой транс!
От собственного суда нет пощады.
Простите,
простите меня,
Герц Франк,
и
прощайте...»

Со слов Валерия Долгова
Владимир Утки-Отки, 27 лет,
Жданов

Таких взаимоисключающих писем я получаю много. Особенно от женщин. Одни меня ненавидят за то, что не спас от казни Долгова, другие, наоборот, клянут за то, что ему сострадаю. И даже В. Минкин из Перми, которого трудно заподозрить в симпатиях к осужденному, тоже укоряет меня в том, что я не имел права глумиться над человеком, выставляя его душевные мучения на публику.

Странная все-таки логика. Расстрелять человека в полной тайне, не сообщая род-

ственникам даты смерти, не говоря уже о том, что останки казненного не выдаются для захоронения — это гуманно. А дать человеку покаяться перед людьми — это глумление. Но искусство ведь тем и отличалось всегда, что даже на самом дне оно искало в падшем человеке Человека. Может быть, во имя спасения души и документалист имеет на это право? Не знаю.

Я только знаю, что крепостные стены, за которыми долгие годы жили наши карательные органы и юстиция, рушатся не только под ударами перестройки. Эта потребность гласности созрела, как нарыв, изнутри. И прокуратура, и МВД, и Верховный суд республики охотно помогли нам в съемках «Высшего суда». Иначе нам никогда бы не перешагнуть порога камеры смертника. И эта потребность гласности изнутри возникла, мне кажется, из-за усталости самого карающего механизма, бессильного вот уже долгие годы справиться с преступностью, несмотря на суровые законы и даже смертную казнь, что-либо изменить в нравственной атмосфере общества, подвинуть его к добру.

Нужны новые идеи.

Но гуманизация и демократизация нашей судебной системы, уголовного законодательства, которые уже наметились, предполагают прежде всего новое отношение к самоценности человека, в том числе и переступившего закон. То, что мы даем слово человеку, виновному в тягчайшем преступлении — убийстве, есть, на мой взгляд, шаг, пусть рискованный, именно в этом направлении.

Когда на ЦТ, в послесловии к «Высшему суду», я сказал, что, вместо того чтобы с такой настойчивостью выкашивать сорняки, нам бы следовало получше возделывать нашу общественную ниву,— я имел в виду одно. Расстреливать людей, пусть даже за тяжкие преступления,— значит уничтожать только горькие плоды безнравственности, накопленной десятилетиями. Корни же останутся. А может быть, даже умножатся.

И все-таки как покарать убийцу?

Как совместить философию с повседневной судебной практикой?

Как примирить личную жажду отмщения с государственной мудростью?

В чем высшая справедливость?

Об этом спорили во все времена. И даже Библия не дает однозначного ответа. В самом начале, когда на земле было только четыре человека — Адам, Ева и их сыновья, бог счел возможным помиловать Каина за убийство своего брата Авеля. А потом, когда люди на земле размножились, он не пожалел даже целого города грешников, требовал: «Око за око, зуб за зуб».

До конца столетия рукой подать. В Париже я видел городские часы, уже показывающие, сколько секунд остается до наступления 2000 года. А мы все еще спорим о том же, о чем писал Альбер Камю в середине века: быть или не быть смертной казни?

Разумеется, каждое государство, каждый народ решает эту вечную проблему в соответствии со своими традициями, требованиями времени и состоянием общественных нравов. Так вот, лично мне кажется, что после всего, что открылось о сталинских репрессиях, о расстрелах без суда и следствия стольких людей, лимит на патроны в нашей стране до конца столетия уже исчерпан и самое время объявить мораторий хотя бы до начала 2000 года... пока тираны XXI века еще учатся в школах. Ведь они непременно придут, если Закон не преградит им путь и народ не обретет в самосознании реальную силу.

Мы переживаем великое время, когда тайное становится явным. Каждый день в газетах, журналах толстых и тонких, по телевидению мы узнаем о новых беззакониях прошлого, о потрясающих судьбах невинно погибших. Само Государство кается за ошибки и преступления, совершенные от его имени, надеясь на новый кредит доверия.

Почему же тогда такого права на покаяние и искупление лишается отдельный гражданин, чей грех не сравнить с тем, что творила наша оглохшая Фемида, забывшая, что кроме меча ей даны и весы.

Приговор Валерию Долгову был приведен в исполнение 28 октября 1987 года, то есть через 15 месяцев и 13 дней после его оглашения. Сроки рассмотрения просьб о помиловании не ограничены Законом. И это правильно, спешка тут ни к чему.

Но я спрашиваю: был ли он в день казни — после 30-месячного в общей сложности одиночного заключения, без прогулок, прокуренный и прозрачный от каторжной работы души — тем же человеком, который 26 мая 1984 года вошел с оружием в дом своих жертв? И не напоминала ли казнь в тот день новое убийство?

Мир читает «ДЕТЕЙ АРБАТА»

«Надьвилаг» (Венгрия)

Позвольте сказать: в этом сенсационном романе нет ничего сенсационного. В конце концов, прошло уже более тридцати лет с тех пор, как Хрущев произнес свою разоблачительную речь о сталинской эпохе... Он говорил и о «произволе», и о «терроре», о «массовых арестах», «ссылках», «преступлениях НКВД»...

Повторяю, что в этом сенсационном романе нет ничего сенсационного. Автор не стремится к литературным новшествам, его повествовательная манера традиционна. Это реалистический роман, насыщенный психологическими подробностями. Все знающий писатель создает и приводит в действие множество персонажей, переплетает и разводит их судьбы, «заглядывает в душу» каждого из них...

Тем не менее этот роман, не будучи в принципе неожиданностью, захватывает, ошеломляет. Это происходит благодаря огромному, впечатляющему своей документальностью, безыскусственному жизненному материалу. У романа... есть то достоинство, которое одновременно, с эстетической точки зрения, является и его недостатком: масштабность... Чередуются судьбы, эпизоды, места действия. Москва, Сибирь, Сочи, Ленинград; теневые и светлые стороны жизни; лишения и роскошь; теснота «коммуналок» и блестящий мир ресторанов и клубов... И все это в такое время, когда из-за опечатки, анекдота, шуточной стенгазеты можно оказаться в Сибири...

Рыбаков в этом романе берет на себя смелость все знать о Сталине: он знает его привычки, жесты, вкусы, симпатии и антипатии. Мы видим вождя за большой работой: он создает историю и попутно — свое бессмертие... Он строит параноидальные теории о сильном государстве, о власти, о тайнах ее достижения и сохранения, об отношениях вождя и его соратников, о необходимости постоянных перемен и перемещений в аппарате и, главным образом, об искусстве поддержания в людях страха. Страх, самая действенная, по Сталину, организующая сила,— подлинная среда романа. Он охватывает все, от самого высокого до низшего уровня. В личной жизни и в политике, на свободе и в заключении — везде царит атмосфера шантажа, подозрительности, слежки, запугивания. И тот, кто наивно полагает, будто он тоже творец общества... оказывается в довольно сложном положении. Так происходит с Сашей Панкратовым, вторым, после Сталина, главным героем романа. Он так же недоуменно и, кажется, безнадежно мечется в истории и в собственной судьбе, как Фабрицио дель Донго на поле Ватерлоо.

> Подумай, сын, ты о царях великих:
> Кто выше их? Единый бог. Кто смеет
> Противу их? Никто,—

пишет Пушкин в «Борисе Годунове», любимом произведении Сталина. Рыбаков в своем романе рисует более обнадеживающую картину. Зачатки сопротивления зреют, человечность и социалистическое мышление у некоторых его героев неистребимы несмотря ни на какой гнет.

«Монд» (Франция)

Из интервью с Ж. Катала, переводчиком романа

Вопрос: В чем, по-вашему, главное достоинство романа — хотя это, собственно, не только роман?

Ответ: В этой книге автор попробовал объяснить Сталина. Сталина той эпохи. Это первая попытка — без восхвалений или проклятий, на которые прежде не скупились его явные сторонники и враги,— попытка разъяснить, что мы имеем дело с совершенно иной личностью, с чудовищем, совсем не похожим на то, каким его себе представляют.

Вопрос: Что показалось вам как переводчику и человеку, не понаслышке знающему о сталинизме, наиболее примечательным? Что открыл вам Рыбаков?

Ответ: Меня привлекло то, что созданный им образ соответствует моим собственным представлениям. Его Сталин не примитивен, вовсе нет. Рыбаков все-таки показывает нам человека: об этом говорят и воспо-

минания об отце-сапожнике, к которому он сильно привязан, и рассказ о польке из Баку, эсерке, ставшей его единственной любовью. Сталин у Рыбакова — еще и неистребимый грузин, который в то же время желает казаться более русским, чем сами русские...

Вопрос: Считаете ли вы, что эта книга сейчас, в 1987—1988 годах, так же важна, как в свое время «Один день Ивана Денисовича»?

Ответ: И та и другая — книги очищающие. До «Ивана Денисовича» лагерной литературы не существовало, даже в «самиздате», а опыт лагерной жизни таков, что его не передашь. Солженицын смог добиться сопереживания у тех, кто не был в лагерях, и освободил от гнета молчания тех, кто там был, но не мог ничего рассказать, да и считал, что не принадлежавший к братству зеков вряд ли их поймет.

Эта же книга — другого плана, не просто вульгарные заклинания, где разоблачают Сталина или осыпают его проклятиями. Это — обоснованное, доказательное развенчание тирана, ставшего невольником собственной тирании.

«Таймс литерари сапплмент» (Англия)

... Для западного читателя, интересующегося политической механикой, благодаря которой Сталин обрел столь неограниченную власть, пожалуй, самым увлекательным романом 1987 года явились долгожданные «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова. По сути дела, эта книга — запоздалый продукт хрущевской «оттепели», первая часть романа анонсировалась «Новым миром» еще в 1966 году...

Это история éducation sentimentale[1] подающего надежды представителя зарождающейся элиты — сюжет, малознакомый советскому читателю, хотя для Запада, благодаря воспоминаниям Льва Копелева и прочим подобным произведениям, эта тема не является чем-то новым. Наибольший интерес, безусловно, представляет портрет Сталина, показанного в тот период, когда он еще только замышляет свои самые кровавые деяния...

Роман Рыбакова — наиболее подробный из всех публиковавшихся до сих пор в Советском Союзе рассказов об истоках сталинских чисток. Книга несравненно смелее, чем то робкое приоткрывание занавеса, на которое решился Хрущев в своем «закрытом докладе» в 1956 году (впрочем, доклад этот опубликован только за границей). В то же время «Дети Арбата» — произведение весьма ортодоксальное. В нем утверждается, что первые пятилетки, хоть и не обошедшиеся без «перегибов», все же были необходимы. В этом отношении Рыбаков гораздо правовернее Шмелева или, скажем, Можаева. Он ни разу не говорит о том, что оппозиционеры 20-х годов — от Троцкого до Бухарина — могли хоть в чем-то оказаться правы. Роман подчеркнуто возводит на пьедестал Ленина, избегая малейших намеков на то, что именно созданный в ленинский период аппарат мог в дальнейшем позволить Сталину безнаказанно осуществлять репрессии.

[1] Воспитание чувств *(франц.)*.

«Шицзе вэньсюэ» (Китай)

...В 1966 году Рыбаков закончил первую часть романа, главный редактор «Нового мира» Твардовский одобрил роман, и тогда же в журнале было дано объявление о публикации, которое, однако, так и не было выполнено. В 1978 году журнал «Октябрь» анонсировал публикацию романа в 1979 году, но публикации и на этот раз не последовало.

После двух таких неудач всякий, наверное, потерял бы надежду на то, что его произведение встретится с читателем. Но Рыбаков не впал в пессимизм — ведь он стремился не к публикации, главным для него было закончить роман. Вера помогла ему продолжать работу, и к 1983 году была закончена третья часть романа.

В последние два года в Советском Союзе идет перестройка всех сторон общественной жизни. Происходят изменения и в советской литературе, которые не могут не привлечь к себе внимания. Писатели и критики обратились к прошлому, размышляют, исследуют «болевые точки» истории своей страны. В обстановке гласности публикуются произведения, затрагивающие важнейшие политические вопросы, произведения, которые на протяжении нескольких десятков лет были запрещены. Роман известного советского писателя А. Рыбакова — это одно из таких произведений.

Появление «Детей Арбата» вызвало в Советском Союзе бурную реакцию. Читатели, писатели и критики высказывают самые разноречивые мнения по поводу романа и особенно — по поводу выведенного в «Детях Арбата» образа Сталина. Защитники и критики романа спорят, отстаивая свои точки зрения в резких выражениях. Одновременно к роману проявили интерес многие иностранные издательства. Все это сделало публикацию «Детей Арбата» одним из самых заметных явлений советской культурной жизни.

«Твурчость» (Польша)

Из обзора советской литературы постоянного автора журнала Земовита Федецкого

... Вопрос в том, являются ли «Дети Арбата» действительно реалистической картиной той, слава богу, уже отдаленной эпохи? Я весьма и весьма сомневаюсь в этом. Рыбаков сконцентрировал свои силы на создании психологического портрета Сталина, отражении широкой амплитуды черт его личности. Этим объясняются многочисленные и малоубедительные внутренние монологи «вождя» (о сущности власти, о реконструкции Москвы и даже о духовном родстве с Чарли Чаплином, на фильмах которого ему частенько случалось пролить слезу умиления), а также авторские попытки анализа комплексов Сталина по отношению к его соратникам-интеллигентам. Мне кажется, что в действительности все выглядело значительно проще. Сталин был монолитом, это правда, но монолитом патологическим,

его комплексы были типичными комплексами тирана. История медицины и история литературы знают такие примеры. Уверяю вас, они не нуждаются ни в каком особенно сложном анализе, внутренний мир тирана примитивен и чаще всего вульгарен.

Эти страницы книги Рыбакова, которые мне лично ничего нового не говорят, заслоняют проблему куда более существенную, а именно анализ общественной и политической ситуации, которая дала Сталину возможность оказаться на вершине иерархической лестницы. Лично я предпочел бы такую книгу, которая, вместо того чтобы копаться в сложностях характера «Кобы», показала бы мне конкретно и аргументированно историю его пути к абсолютной власти. Однако этих достоинств мне не удалось обнаружить в книге Рыбакова...

«Нью-Йорк таймс бук ревью» (США)

...Роман «Дети Арбата» исторически значителен как этап в борьбе русского народа за возвращение своего прошлого, однако, если подходить к нему как к чисто литературному произведению, он, безусловно, неровен, и это немного разочаровывает. Рыбаков написал честную книгу, временами в ней ощущается мощь, но его дарование писателя и мыслителя ограничено... Для советских читателей, лишенных знания своей истории (во всяком случае, для тех из них, кто не читал «самиздатской» литературы), а также для наименее осведомленных западных читателей роман, несомненно, станет откровением. Годы террора описаны правдиво и сильно. Но если в подобном исторически весомом произведении проводить различие между внелитературной значимостью и художественностью, следует признать, что «Детям Арбата» далеко до некоторых других русских романов, написанных на сходные темы. Неровной книге Рыбакова недостает лиризма «Доктора Живаго» Бориса Пастернака, нравственного горения «В круге первом» Александра Солженицына, интеллектуальной свободы «Жизни и судьбы» Василия Гроссмана. Такое ощущение, что этот роман сделан десятилетия назад специально по заказу горбачевской эпохи: он рассказывает о годах террора откровеннее, чем какое-либо иное произведение, включая и те, что вышли во времена Хрущева, но нигде не отклоняется от линии партии и избегает затрагивать «деликатную» проблему связи террора с социальной системой. Смелость в описаниях блекнет из-за робости в оценках.

Как и другие русские писатели, равнодушные к ухищрениям литературного модернизма, Рыбаков создал роман в традиции великого Толстого, со множеством действующих лиц и побочных сюжетных линий. Эта структура привлекает многих лучших советских писателей — она возвращает к классической русской литературной традиции и позволяет увидеть весь сгусток проблем, волнующих общество. Но это искушение сопряжено с немалым риском. Только писатель, обладающий толстовской мощью ума и духа, может справиться с такой задачей — да и вообще сомнительно, чтобы кому бы то ни было удалось приспособить к кровавому хаосу нашего столетия сбалансированное повествование XIX века. Во всяком случае, у Рыбакова это не получилось...

«Штерн» (ФРГ)

... Для Рыбакова важна не столько точная историография, сколько «нравственный идеал правды», прежде всего — для советской молодежи. Ни в одном историческом исследовании до сих пор она не могла прочесть о давлении, насилии и терроре в период индустриализации, о миллионных жертвах коллективизации сельского хозяйства, о волнах «чисток» в партии или об уничтожении руководства армии накануне гитлеровского вторжения. «Только когда общество будет воспитывать своих членов в правде, оно станет нравственным,— говорит Рыбаков.— Сейчас мы должны добиться этого». По его мнению, это самая важная цель перестройки общества в его стране.

«Меня часто спрашивают: «Почему вы так нападаете на Сталина? Разве Брежнев был лучше?» — «Нет,— отвечаю я в таком случае,— он не был лучше, он заложил основы коррупции, однако есть различие между автократом и государственным террористом. Мы молчали о пороках Брежнева, потому что в нас был силен страх тридцатых годов. И этот страх был нам внушен Сталиным».

В романе Рыбаков показывает, как этот страх заставляет людей молчать и приспосабливаться, как он манипулирует их мышлением...

Хотя Рыбаков, подобно своему герою, на себе испытал гнет сталинизма, он не жаждет мести, не говоря уже о чистках, направленных против старых сталинистов. Он ограничивается литературным возмездием. «Довольно крови течь на святой Руси». Но имена должны быть названы, факты должны быть раскрыты без всякой жалости — и он надеется, что виновные в преступлениях тех лет, пока они еще живы, «раскаются сами». Как тот старый коммунист, который написал ему: «Я верил, что действую правильно. Теперь у меня кровью обливается сердце».

«Кмен» (Чехословакия)

...Процесс болезненного самопознания и осмысления собственного прошлого, происходящий в Советском Союзе, еще далеко не завершен. А ныне огромную лепту в этот процесс внес широко обсуждаемый роман 76-летнего писателя Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» — роман откровенно политический, но отнюдь не тезисно публицистичный и не схематичный, а населенный живыми персонажами — от тех самых рядовых «детей Арбата» до кремлевского властелина...

Огромный интерес к роману на его родине и во всем мире (свидетельство тому — издательские контракты, заключенные на прошлогодней московской книжной ярмарке) без сомнения вызван прежде всего стремлением Рыбакова художественными средствами осмыслить характерные черты

личности Сталина, равно как и субъективные побуждения и мотивировки его решений и поступков, в которых постепенно, с ростом его авторитета и личной власти, все явственнее проступали — наряду с исключительными политическими и организаторскими способностями — и некоторые негативные наклонности, во многом определившие не только общественный климат в стране, но и судьбы сотен тысяч людей...

Эстеты, возможно, упрекнут Рыбакова в некоторой несоразмерности между главами, посвященными отдельным героям и среде в целом, в недостаточной выписанности отдельных фигур, составляющих «промежуточные звенья» между Арбатом и Кремлем... Возражения, бесспорно, найдутся и у историков (ибо нам трудно судить, с какими документами работал Рыбаков, является ли правдой все, что мы читаем в романе о Сталине, и каково соотношение фактов и авторского домысла...). Но прежде всего роман не устроит тех, кто не привык и не хочет привыкать видеть существующую противоречивость исторического процесса и отвергает какой-либо критический анализ причин деформации ленинской концепции социализма — этого условия, необходимого для сегодняшней деятельности советских коммунистов, условия, характеризуемого лозунгом «больше демократии — больше социализма».

Роман Рыбакова, над которым он работал свыше двадцати лет, написан именно с этих позиций — с позиций мужественного преодоления ошибок и перегибов прошлого и желания действеннее, чем когда-либо, бороться с попытками дискредитации всего того бесспорно позитивного, чего — несмотря на невыносимые внешние и внутренние условия сталинской эпохи — достиг советский народ. Не дешевая сенсационность романа, а именно его смысл — «больше демократии — больше социализма» — привлекает к нему внимание читателей Советского Союза и других стран мира.

Австрия

ШИГУЛЛА ИГРАЕТ В ТЕАТРЕ

«Играть на венской сцене — на это смог уговорить Шигуллу лишь Табори», — так начинает сообщение о премьере пьесы «Во второй раз» газета «Курир», намекая на особую взыскательность венской театральной публики. Видный писатель, драматург и режиссер Дёрдь Табори, руководитель основанного им в 1986 году театра «Круг», пригласил сыграть роль в своей новой постановке известную киноактрису Ханну Шигуллу, славу которой принесли прежде всего фильмы Р. В. Фассбиндера «Эффи Брист», «Замужество Марии Браун», «Лили Марлен». Актриса с радостью приняла предложение одного из крупнейших театральных деятелей современной Европы. «С Табори мы были знакомы уже давно, мне всегда хотелось работать с ним, — сказала Х. Шигулла в интервью корреспонденту «Курир». — В процессе подготовки спектакля у Табори проявляется одно подкупающее качество: он не требует от актера моментального овладения ролью — образ героя рождается постепенно, как бы сам по себе».

Помимо Х. Шигуллы в спектакле по пьесе «Во второй раз», написанной для трех персонажей, заняты Лесли Мальтон и Стенли Вальден. Пьеса принадлежит перу французского писателя и сценариста Жан-Клода Каррьера, который в свое время сотрудничал с Ж. Л. Годаром, М. Форманом, Ф. Шлёндорффом, дружил с Питером Бруком. Темой этой грациозной комедии, проникнутой тонкой иронией, стала одна из наиболее острых проблем нашего века — опасность, которую может нести человечеству генная инженерия при игнорировании общечеловеческих нравственных норм. Однако в замыслы режиссера не входила однозначная трактовка пьесы как «плакатного предостережения». «Как публика воспримет и истолкует эту вещь, — приводит газета слова Табори, — ее собственное дело».

Игра на театральных подмостках привлекает Х. Шигуллу главным образом своей целостностью: «Театр — это нечто единое, тогда как кино — всегда мозаика».

ГДР

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

Состоялось вручение Национальных премий за 1988 год. Премии присуждены писателю Фолькеру Брауну — «за все творчество в целом», писательнице Вальдтраут Левин — за ее «вклад в художественную литературу», писателям Роземари Шудер и Рудольфу Хиршу — за книгу «Желтое пятно. Корни и последствия ненависти к евреям в немецкой истории».

Премиями награждены также скульптор Тео Бальден — «за достижения в области реалистического искусства», актрисы Хельга Гёринг и Гизела Май, режиссер телевидения Ханс-Иоахим Каспржик, художник-график Хельмут Браде, композитор Пауль-Хайнц Дитрих, режиссер студии ДЕФА Карлхайнц Мунд, ряд творческих коллективов.

Египет

ИЗДАНИЕ ЭПОПЕИ «БЕНИ ХИЛЯЛЬ»

С 1988 года издательская организация «Ахбар аль-Яум» начала публиковать эпопею «Бени Хиляль» — самую большую из средневековых арабских эпопей, или, как их еще называют, «народных романов» (к «вершинам» этого жанра принадлежат романы об Антаре Ибн Шаддаде, Аз-Захире Бейбарсе и Сейфе Ибн Зу Язане; некоторые из них переведены на русский язык). Всего предполагается выпустить пятьдесят томов.

Текст эпопеи был записан Абд ар Рахманом аль-Эбнудн, известным египетским поэтом, творящим на египетском диалекте арабского языка, со слов народных сказителей Египта, Туниса, Марокко, Судана и Чада. Аль-Эбнуди принадлежат также многочисленные исследования об этой эпопее, переведенные и опубликованные во Франции.

В первых пяти томах эпопеи рассказывается о витязе из племени Бени Хиляль — Абу Зейде аль-Хиляли, о его сподвижнике Аз-Зенати Халифе и о странствиях племени по всему арабско-мусульманскому миру.

Большую помощь аль-Эбнуди в его работе оказал старейший поэт из Верхнего Египта Джабер Абу Хусейн, который, как гласит предание, знал наизусть всю эпопею «Бени Хиляль» — около пяти миллионов стихотворных строк.

По словам обозревателя журнала «Ат-Тадамун», издание текста уникальной эпопеи явится важным культурным событием.

Западный Берлин

БОЙС БЕЗ БОЙСА — ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?

«Невозможно представить себе работы Бойса в музее — настолько это противоречит характерной для него форме художественного выражения»,— этими словами начинает журнал «Культурхроник» свое сообщение о весьма знаменательной для Европы выставке — наиболее полной ретроспективе творчества Йозефа Бойса, состоявшейся в Западном Берлине. Здесь представлены 79 художественных объектов, в числе которых — целый

Йозеф Бойс. Солнечный крест.

(Журнал «Культуркроник»)

ряд скульптур на религиозные темы, созданных Бойсом в 40—50-е годы, 20 художественных композиций в витринах и 14 больших пространственных композиций, а также составлявшийся художником на протяжении четырех десятилетий цикл из 456 рисунков — «Таинственный пакет таинственной особе из Ирландии».

«Акции», принесшие ему известность еще в 1962 году, когда Бойс примкнул к группе «Флуксус», были не столько попытками разрушить «музейную целостность произведения искусства», отмечает «Культуркроник», сколько манифестацией «новой художественной антропологии». Преодолев разрушительные тенденции неодадаистских течений, главную свою задачу Бойс определил как «воссоединение расколотого»: индивидуума и социума, природы и духа, неограниченной энергии и упорядочивающей системы. «Разобщенность, стремящаяся к единению, — вот тема творчества Бойса, который в понятие «искусство» вовлекал «весь формируемый человеком мир», пишет «Культуркроник». «Всеобщим произведением искусства» художник называл совокупность общественной жизни человечества, в которой участвуют все индивидуумы. В этом воззрении коренится также введенное Бойсом понятие «социальная пластика». Провозглашая «единство искусства и жизни», Бойс выдвигает тезис, ставший названием одной из его «акций» 70-х годов: «Каждый человек — художник». Как теоретик искусства Бойс, стремившийся выразить свои идеи через образ и действие, входит в число тех, кто считал искусство средством познания мира, не ограничивая его «культурной» либо «отобразительной» функциями. «Культуркроник» отмечает близость его взглядов системе католического мистицизма, воззрениям немецких романтиков, Шеллинга и Гегеля, антропософской теории Рудольфа Штайнера.

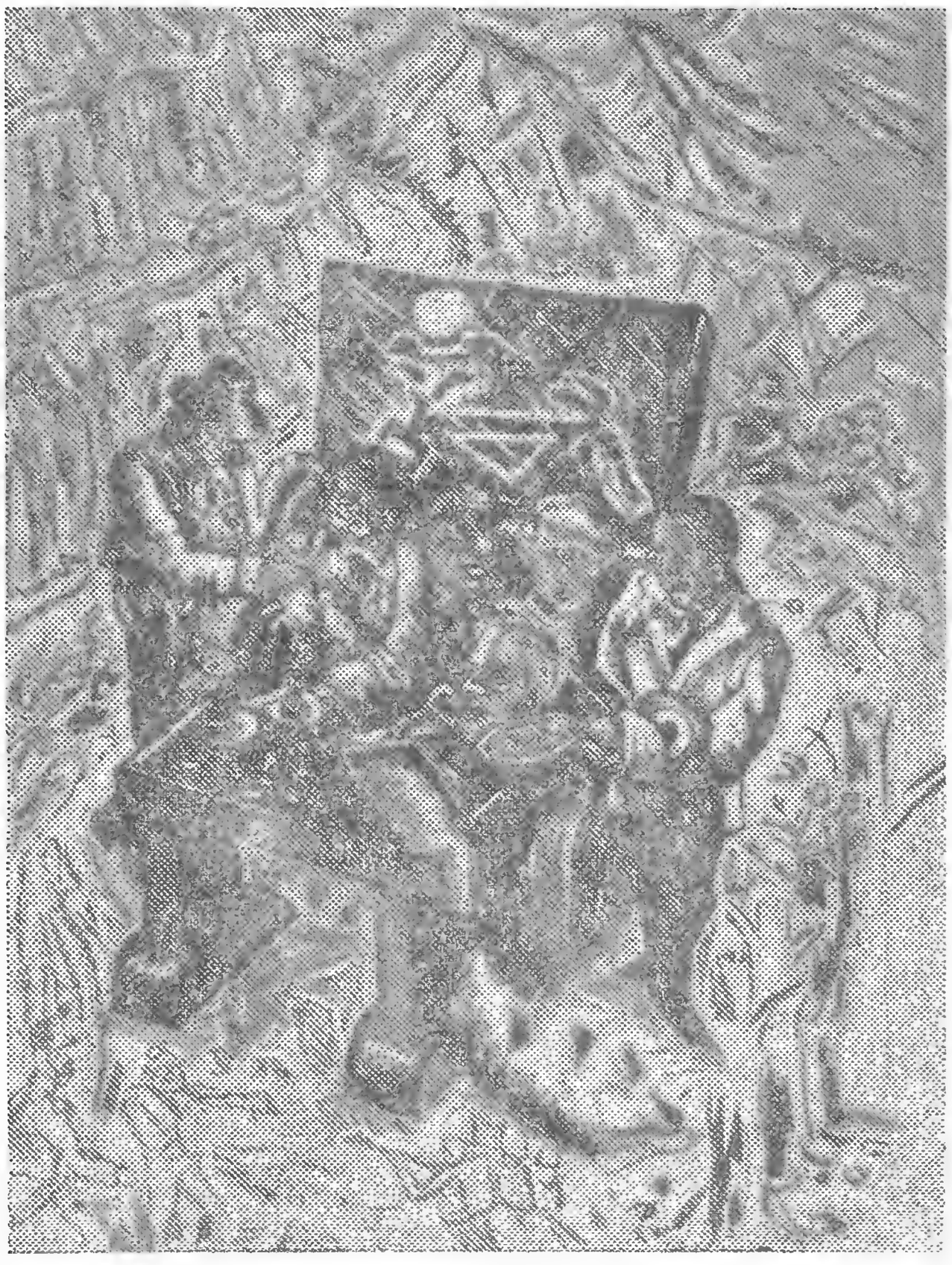
Свидетельство все возрастающего интереса к личности и творчеству одного из крупнейших представителей радикального авангарда, по мнению обозревателя журнала, — это выход в свет биографического исследования «Йозеф Бойс», написанного известным искусствоведом Хайнером Штахельхаузом (издательство «Клаассен»), а также фотоальбома «Бойс в Америке», составленного Клаусом Штекком и Герхардом Зайлем (издательство «Штекк»).

НОВЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СТАРОГО СВЕТА

Широкий резонанс в западногерманской прессе получило культурное событие, которое еженедельник «Цайт» относит к разряду явлений общеевропейской значимости. В Западном Берлине вышел в свет первый номер немецкого издания нового художественного и общественно-политического журнала «Леттр энтернасьональ», основанного в Париже видным чешским журналистом Антонином Лимом и выпускавшегося до сего времени на французском, итальянском и испанском языках.

«Леттр энтернасьональ», пожалуй, не имеет себе равных, — цитирует «Цайт» высказывание русского писателя Льва Копелева. — Журнал стремится к тому, что стало теперь жизненной необходимостью для всех людей на Земле; он служит объединению народов и наций, рассказывая прежде всего о духовной их жизни. Немецкое издание «Леттр энтернасьональ» следует мысли Гёте о «развитии литературы всемирной, рожденной в свободном взаимодействии различных национальных литератур». Цель журнала — подвергнуть критическому анализу духовное наследие европейской культуры, познать действительное значение европейских наций для мировой цивилизации.

«...Мы не собираемся плодить идеологические концепции или же футуроло-



Обложка журнала «Леттр энтернасьональ» работы И. Иммендорфа.

гические прогнозы,— говорится в редакционной статье первой книжки, — не предлагаем готовых рецептов для настоящего или будущего... Однако мы полагаем, что система идей и ценностей, сложившаяся более трех сотен лет назад, сегодня стала уязвимой, а вместе с ней — и система политических, социальных, культурных и экономических стереотипов». Подборкой эссе под общим заглавием «Европейские медитации» открывается немецкоязычный номер журнала, но, отмечает «Цайт», это отнюдь не размышления о зарождении в девяностых годах нашего века новой великой державы, а рассказ о «европейской мастерской, где ведется работа над последним великим проектом человечества — спасением его от самого себя». В этот же выпуск вошли стихи, прозаические фрагменты и эссе замечательных современных авторов — представителей как Запада, так и Востока: Джона Эшберри, Иосифа Бродского, Ханса Магнуса Энценсбергера, Цв. Тодорова, Норберто Боббио. Обложка журнала была оформлена художником Йоргом Иммендорфом.

Италия

ФОТОГРАФИЯ «НЮ» ЗА 140 ЛЕТ

В Милане состоялась выставка «Обнаженное тело. Фотография ню с 1840 по 1987 год». Представленные на ней 250 экспонатов, пишет в журнале «Панорама» Гуидо Альманси, позволили проследить основные этапы и направления развития данного фотожанра.

В XIX веке фотографии ню произведением искусства не считались — фотоаппарату было отказано в решающем, по воззрениям той поры, художественном средстве — в способности к идеализации. Организатор выставки, директор миланской Академии Брера Даниэла Палаццоли, полагает, что специфические «языки» жанра фотографии ню начали формироваться с 20-х годов. В США это происходило благодаря таким мастерам, как Эдвард Уэстон, Альфред Штиглиц, Пол Стрэнд. Их преимущество, с точки зрения Д. Палаццоли, заключалось в том, что они исходили не из классического идеала красоты, а из собственных «наблюдений над свойствами человеческого тела». В Европе благодаря фотографам-сюрреалистам они «перекомпоновывали» обнаженную натуру в духе воззрений художника Ганса Беллмера, смотревшего на тело как на «фразу, истинное значение которой выявляется через бесконечную последовательность анаграмм». Работы сюрреалистов часто представляют собой «смешение торсов и конечностей», где выделяется один из элементов — при помощи особого ракурса, композиции или технических эффектов, мастерским использованием которых особенно прославился Мэн Рей.

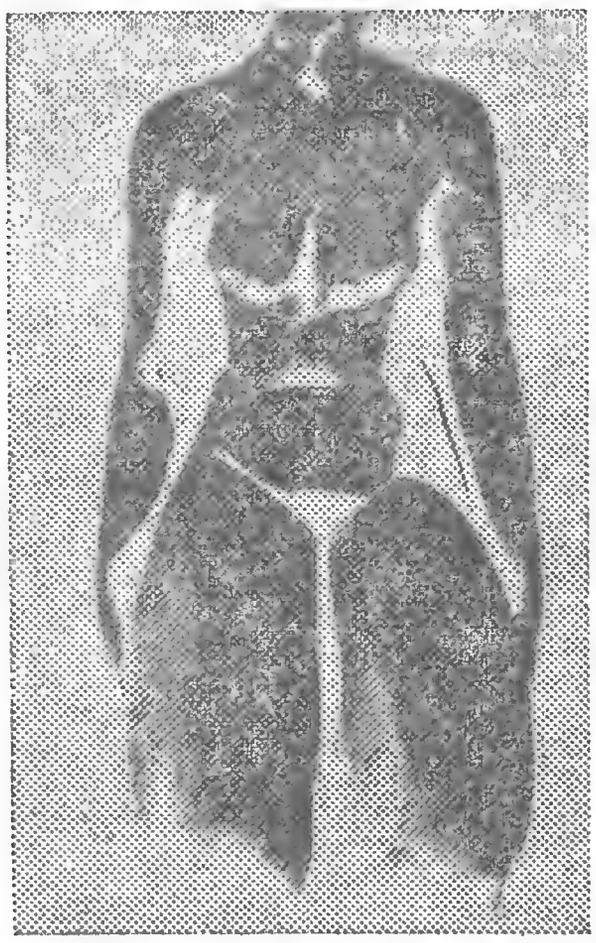
«Ню». Фотография Эдварда Уэстона.

(Журнал «Панорама»)

В конце 30-х годов чехословацкий фотограф Франтишек Дртикол впервые «располагает» человеческое тело в виде геометрической фигуры. Почти одновременно по этому же пути идет американка Рут Бернард, в 50-е годы — итальянец Франко Фонтана, в 70-е и 80-е — швейцарец Кристиан Фогт, англичанин Билл Брандт.

Начиная с 20—30-х годов в США развивается еще одно направление в художественной фотографии ню: к нему принадлежат мастера, работавшие прежде в области рекламы или для журналов мод и, по выражению Д. Палаццоли, «пришедшие к обнаженному телу через тело одетое»; наиболее известные среди них — Ричард Аведон и создатель «сентиментальных ню» Ирвинг Пенн.

В эволюции жанра не обошлось без парадоксов: так, почитавшаяся в прошлом веке несовершенством размытость контуров сознательно достигается современными фотохудожниками благодаря приему двойной экспозиции и наряду с другими техническими эффектами — соляризацией, негативной печатью, вирированием, техникой коллажа — применяется ими с целью уподобления фотографического изображения живописному. «Однако избыточное — пусть и виртуозное — использование технических приемов нередко наносит ущерб выразительности фотографий», — полагает Г. Альманси.



«Ню». Фотография Вилли Эльденбенца.

(Журнал «Панорама»)

НОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В Милане открылось издательство «Ликене», специализирующееся на переводах современной советской литературы. Само это слово означает в переводах с итальянского «мох, ягель». Растение, выживающее даже в экстремальных природных условиях, не случайно было выбрано эмблемой: она символизирует трудности, которые придется преодолеть новому издательству, пока не укрепится его положение на книжном рынке.

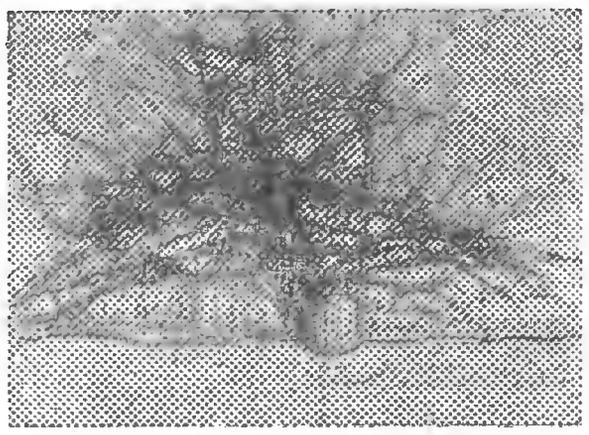
Издатель Габриеле Джулини считает, что и сейчас, когда интерес к нашей стране возрос во всем мире, на Западе все же слишком мало информации о Советском Союзе. Цель «Ликене» — восполнить этот пробел. «Я думаю, — говорит Г. Джулини,— что небольшому издательству не стоит выпускать классические произведения: зачем заново переводить Достоевского, если уже существует множество прекрасных переводов? Меня интересует современная литература, ее скорейшее «импортирование» — я хочу предложить итальянскому читателю произведения, вышедшие в свет не более двух лет назад».

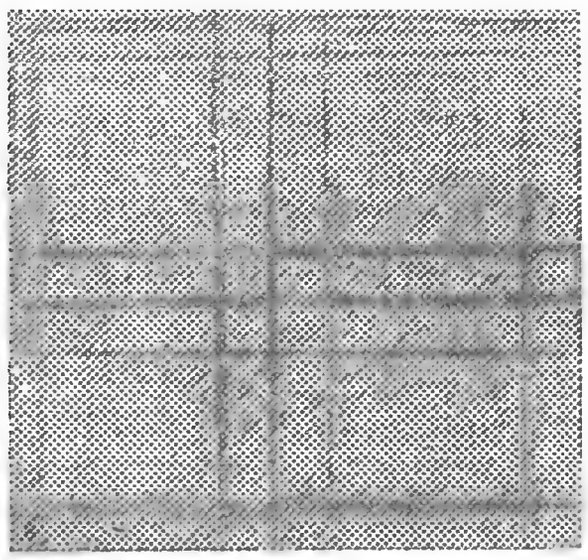
В типографии «Ликене» уже отпечатаны три книги: пьеса «Саркофаг» В. Губарева, повесть Ю. Нагибина «Встань и иди» и сборник «Три современных советских новеллы», куда вошли рассказы В. Астафьева, Г. Бакланова и Б. Окуджавы. Готовятся к публикации произведения Цецилии Кин, В. Тендрякова и Ф. Искандера.

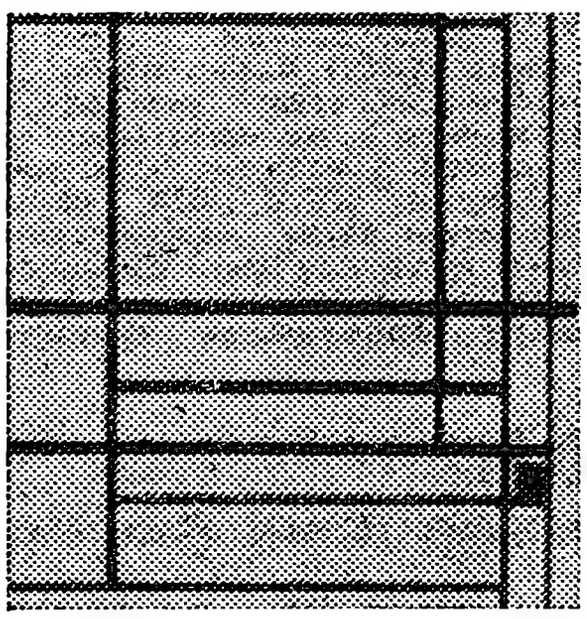
Нидерланды

ПИТ МОНДРИАН: МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО

Газета «НРК Ханделсблад» представляет своим читателям сборник работ ис-







П. Мондриан. Эволюция изображения дерева.

(Газета «НРК Ханделсблад»)

кусствоведа Карела Блоткампа о творчестве известного художника-абстракциониста, «Рембрандта XX века» Пита Мондриана (1872—1944), вышедший в утрехтском издательстве «Веен ен Рефлекс».

В четырех эссе, составивших книжку «Подробно о Мондриане», автору удалось показать, что главный ключ для понимания живописи Мондриана — его отношение к системе взглядов на теоретические основы искусства. Особенно интересно, отмечает рецензент, эссе о влиянии на Мондриана, выросшего в семье со строгими кальвинистскими традициями, антропософских и теософских идей Е. Блаватской, А. Безант и прежде всего — Рудольфа Штайнера. Еще в 1909 году художник вступает в Теософское общество. Труды Штайнера и Кришнамури принадлежат к тем немногим книгам, с которыми Мондриан не расставался всю жизнь. В 1925 году он послал своему «духовному отцу» брошюру «Неопластицизм» вместе с письмом, в котором выражал заветную надежду: «Неопластицизм в ближайшем будущем, без сомнения, станет искусством всех истинных антропософов и теософов». Штайнер, однако, не удостоил художника ответом.

С более ранним влиянием теософских теорий эволюционизма К. Блоткамп связывает также отход Мондриана в 1916—1917 годах от фигуративной живописи к эзотерической абстракции и появление первых «линейных картин», которые являются не чем иным, как трансформацией мотива дерева, весьма характерного в рисунках и эскизах начального периода его творчества. Вплоть до самых последних, нью-йоркских картин Блоткамп прослеживает тему «эволюции через разрушение». В своей абстракции Мондриан как бы перечеркивает случайность в характере познаваемого мира, заменяя ее «чистым изображением». Поэтому художнику представилось необходимым уничтожить иллюзию пространственности картины. Далее, как определил суть дела сам Мондриан в 1943 году, беседуя с Дж. Джонсоном Суини, «появилась следующая проблема — избавиться и от плоскости. Я добился этого при помощи прорезающих плоскость линий. Однако плоскость оставалась еще слишком нетронутой, и тогда я стал рисовать исключительно линии, внося в них цвет. Теперь вопрос для меня в том, чтобы уничтожить и линии, противополагая их друг другу».

«Если в зрелых «линейных» работах, — пишет Й. Висслинг на страницах «НРК Ханделсблад», — Мондриан не отказывается хотя бы от символики в оппозиции вертикали — как мужского, духовного, и горизонтальных линий — как женского, материального начал, то в последних своих картинах он исключил «привнесение смысла извне», приблизившись к совершенной гармонии в абстракции».

США

«Я ВСЕ ЖЕ ВЫБРАЛ ЭТУ ТЕМУ»

Среди работ, представленных на фестивале во французском городе Довиле, внимание критиков и журналистов привлекла художественная кинолента «Жестокая война», сообщает журнал «Нувель обсерватёр». Этот «первый американский фильм о войне в Афганистане» снял Кевин Рейнольдс — пока почти неизвестный публике тридцатишестилетний режиссер из штата Техас.

Кадр из фильма К. Рейнольдса «Жестокая война».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

«Вообще я не интересуюсь политикой, я не любитель рассуждать о причинах явлений. Меня больше привлекают кризисные ситуации, в которых и раскрываются характеры людей, — рассказывает создатель фильма обозревательнице еженедельника Элизабет Шемла, встретившейся с ним в Лос-Анджелесе. — Как и многие мои соотечественники, я был далек от «афганских событий». Но все же выбрал эту тему: хочу «расшевелить» американцев, привлечь их внимание к важной проблеме». Молодой режиссер действительно поставил перед собой непростую задачу, ведь он знал: «надеяться на легкий успех подобного фильма у американского зрителя не приходится».

Говоря о работе над сценарием, Кевин Рейнольдс замечает, что стремился прежде всего к подлинности в изображении действующих лиц. И в этом, по словам режиссера, ему помог более опытный коллега — сценарист и оператор Уильям Мастросимоне. Действительно, герои фильма, натурные съемки которого проходили в Израиле, «показаны не безликой массой и не застывшими фигурами, но наделены индивидуальностью, образы их характерны и динамичны». И хотя авторский взгляд на происходящее несколько односторонен, общую антивоенную направленность ленты можно отнести к числу достоинств, пишет Э. Шемла.

Что касается впечатлений Кевина Рейнольдса о фестивале, то само участие в конкурсном показе и демонстрация фильма первым экраном для него — долгожданное событие. По шутливому замечанию рецензента, «Кевин похож на счастливого мальчугана, которому подарили на день рождения оловянных солдатиков».

Франция

ДАР — ОТ БОГА

В феврале 1964 года молодой ленинградский поэт Иосиф Бродский предстал перед судом. Ему инкриминировалось тунеядство, «паразитический образ жизни», тайные «сношения» с иностранцами. В ходе рассмотрения дела грубо нарушались основные права подсудимого и защиты. Осудили Бродского не по статье — по указу, не предусматривающему ни ведения следствия, ни присутствия прокурора на процессе, и дали максимальный срок — пять лет...

Факты, касающиеся трагических событий шестидесятых годов в жизни пятого русского лауреата Нобелевской премии (он отбыл в северной ссылке полтора года, сохранились его фотографии в Норен-

Афиша Каррье — иллюстрация к книге «Бродский, или Процесс над поэтом».

(Журнал «Магазин литтерер»)

ском), изложены в книге «Бродский, или Процесс над поэтом» (комментарий Ефима Эткинда, общая редакция Жанины Леви), которую недавно выпустило в свет издательство «Ливр де пош» в серии «Библио/эссе». «Тексты, опубликованные в сборнике, — пишет на страницах журнала «Магазин литтерер» русский прозаик зарубежья Дмитрий Савицкий, — ясно показывают, что процесс можно состряпать из ничего».

Поэт, продолжает Д. Савицкий, «всегда бросает вызов власти», ибо его талант не дает покоя «ограниченным людям», властям предержащим: так, подверглись преследованиям и погибли насильственной смертью или не выдержали злоключений — Гумилев, Мандельштам, Цветаева, Хармс, Заболоцкий, Пастернак. Чем продиктована ненависть и бесстыдный вопрос судьи Савельевой: «Кто причислил вас к поэтам?» Ответил Бродский до ужаса просто: «Кто причислил меня к роду человеческому?» А потом, услыхав язвительный совет «выучиться» и тогда уж сочинять стихи, сказал о поэтическом даре: «Я думал... это от Бога».

Цель книги о процессе над поэтом, отмечает Д. Савицкий, — дать читателю «почувствовать атмосферу того времени», понять, что «мягкое подавление» личности ничем не лучше сталинских методов, ибо ведет к аналогичным результатам: потере «свободы мыслить», независимости, самосознания человека.

В письме Брежневу (4 июня 1972 года) Иосиф Бродский, покидая Родину «не по собственной воле», говорил: «Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются — во плоти или на бумаге». В Советском Союзе правда о позорном судилище над поэтом тоже вышла наружу: ленинград-

ская телепрограмма «Пятое колесо» показала посвященный процессу документальный фильм, стенограмма судебного заседания напечатана в журнале «Огонек».

ВОЛШЕБНЫЙ ПОЛЕТ ТЕРПСИХОРЫ

В Лионе, сообщает журнал «Нувель обсерватёр», состоялся проводимый раз в два года Международный фестиваль танца, на который съехалось множество хореографов, танцовщиков и поклонников балета из многих стран. Программа праздника включала спектакли, гала-концерты, маскарады, показ кино- и видеофильмов о балете, выставки работ фотографов, декораторов и художников, в том числе Пикассо, Матисса, Миро, Дали. Нынешний фестиваль был посвящен 400-летию французского балета.

Искусство танца во Франции прошло долгий путь. Рецензент «Нувель обсерватёр» Рафаэль де Гюбернатис на страницах журнала прослеживает вехи этого пути, историю каждого периода и его «слагаемые». После основания Людовиком XIV Королевской академии танца (1661) балет из «придворного» стал профессиональным и переместился из дворцов в театры. «На протяжении XVIII—XIX веков Франция была «единовластным хореографом Европы», поэтому и поныне во всем мире пользуются франко-

В. Нижинский в балете «Жизель».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

язычной балетной терминологией», — отмечает рецензент. На смену «классической школе» конца XVIII века пришел романтизм с такими постановками, как «Сильфида» и «Жизель», а за ним — «академический балет», «родившийся в Петербурге в конце прошлого столетия». По выражению всемирно известного хореографа Мориса Бежара, «XX век стал веком танца». Наше столетие — эпоха расцвета «неоакадемизма», связанного с именем Ролана Пети, новаторской «шведской школой», творчеством гениальных Сержа Лифаря и Бежара, «создавшего буйство красоты «мужского» балета».

Особое место, по мнению Р. де Гюбернатиса, занимает «русский балет» (1909—1929), который «вдохнул жизнь в ослабевшее искусство танца во Франции». С. Дягилев привлек к работе крупнейших хореографов (Фокин, Нижинский, Баланчин, Лифарь), композиторов (Стравинский, Дебюсси, Равель, Прокофьев, Пуленк), художников (Пикассо, Матисс, Гончарова, Ларионов, Бакст). «Что за блистательное было возрождение!» — восклицает обозреватель. Дягилев сумел «вырвать современный балет из-под влияния XIX века» и привнести «чисто русский размах и монументальность» в каноны французской школы с ее «вниманием к деталям и утонченностью форм, стремлением к театральности и опоре на литературное либретто».

«Именно танец точнее всего выражает душу народа и его культуру, — полагает «Нувель обсерватёр».— И французский балет вот уже пятое столетие постоянно развивается, ищет новые художественные и пластические возможности на пути к совершенству».

ФРГ

МЕМУАРЫ СЕРГЕЯ ЭЙЗЕНШТЕЙНА

В серии книг о кинематографе и выдающихся кинематографистах «Синема», выпускаемой западногерманским издательством «Фишер», вышел двухтомник мемуаров Сергея Эйзенштейна.

«С. М. Эйзенштейн был не только блистательным мастером кинорежиссуры, уже в двадцать семь лет снискавшим мировую известность своим фильмом «Броненосец «Потемкин» (1925), не только обладал феноменальными способностями в области теории киноискусства, он был и замечательным рассказчиком, о чем свидетельствует вышедшая из-под его пера мемуарная проза»,— так представляет новое издание западногерманский еженедельник «Цайт».

Жизнь Эйзенштейна, продолжает «Цайт», немыслима вне потока времени, вне эпохи, вне того «наслаждения чувствами, радостями и страданиями», которое неотделимо от самых значительных моментов советской истории. Эйзенштейн описывает свое детство, учебу в Инженерном училище, службу в Красной Армии 1918—1919 годов, куда он ушел добровольцем. С большой теплотой Эйзенштейн вспоминает «ученические годы» у Всеволода Мейерхольда, называя его «своим вторым отцом». Немалый интерес для читателя, отмечает «Цайт», представляют собой заметки о работе над фильмами, ставшими классикой советского кинематографа, о путешествиях, о встречах с людьми. Судьба сводила Эйзенштейна со многими деятелями культуры, без которых уже нельзя представить себе историю нашего столетия. В мемуарах Эйзенштейн дает своеобразные портретные зарисовки: здесь Грета Гарбо и Эрнст Толлер, Жан Кокто и Стефан Цвейг, Исаак Бабель, Маяковский, Сергей Прокофьев и многие другие. С любовью пишет Эйзенштейн о своем друге — великом Чарли Чаплине.

Ему не довелось закончить свои автобиографические заметки: пятидесятилетний кинорежиссер умер от сердечного приступа в 1948 году.

Богато иллюстрированный двухтомник издательства «Фишер» дает обширную фотографическую документацию о жизни и творчестве Эйзенштейна. Особое место среди репродукций занимают его графические работы, сообщает «Цайт».

Швейцария

О СЕБЕ И СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ

«Чем дальше идет время, тем гуще плетет оно свою сеть: первая же девочка, в которую я влюбился, была из Невшателя». Этим воспоминанием о детстве начинается автобиографический раздел в новой книге Фридриха Дюрренматта «Опыты», выпущенной цюрихским издательством «Диогенес».

Близ Невшателя писатель купил дом с садом и живет здесь уже много лет. «В книге рассказывается история этой покупки, идет речь о собаках, с которыми не удалось найти общий язык, о враждебно настроенных соседях, о гостях, о друзьях и городских праздниках, о пейзажах, о разговоре с сыном, который не собирался становиться пастором, но все-таки стал им, а еще о том, как вопреки неблагоприятным обстоятельствам и ошибочному диагнозу писатель сумел избежать смерти», — так излагает сюжетную канву «Опытов» рецензент газеты «Зюддойче цайтунг» Агнес Хюфнер.

Повествование охватывает почти тридцатилетний период жизни. Оно довольно фрагментарно, отдельные эпизоды соединены без всякой последовательности.

Кроме автобиографической прозы в книгу вошли также разнообразные статьи и выступления Дюрренматта, относящиеся к периоду 80-х годов, главным образом на литературные темы. Среди них критик особенно выделяет речи, произнесенные при получении писателем премий имени Георга Бюхнера и Фридриха Шиллера, а также прочитанную во Франкфуртском университете лекцию на тему «Искусство и наука» (1984), где Дюрренматт излагает свою эстетическую концепцию. «При видимой разнородности материалов, составивших книгу, их безусловно объединяет личность автора», — заключает критик.

Авторы этого номера

ГРЭМ ГРИН (GRAHAM GREENE; род. в 1904 г.) — английский писатель, чьи произведения хорошо известны советским читателям. Его романы печатали издательства и литературные журналы нашей страны. На страницах «Иностранной литературы» были опубликованы «Тихий американец», «Наш человек в Гаване», «Комедианты», «Ценой потери», «Сила и слава» и др.
Роман «Монсеньор Кихот» издан в Англии в 1982 г. («Monsignor Quihote». London, Bodley Head, 1982).

ВЕРНЕР ХАЙДУЧЕК (WERNER HEIDUCZEK; род. в 1926 г.) — немецкий писатель (ГДР). Начал печататься в 60-е годы. Автор романов «Прощание с ангелами» (переведен на русский язык, М., 1973), «Смерть у моря» («Tod am Meer», 1977), повести «Марк Аврелий или один семестр нежности» («Mark Aurel oder ein Semester Zärtlichkeit», 1971), ряда пьес и книг для детей.
Повесть «Прегрешение» вышла в ГДР в 1986 г. («Verfehlung». Halle-Leipzig, Mitteldeutscher Verlag, 1986).

ДЖЕЙМС ДЖОЙС (JAMES JOYCE, 1882 — 1941) — ирландский романист, поэт, драматург. Автор сборника рассказов «Дублинцы» (1914; рус. пер. 1927; Библиотека журнала «Иностранная литература», 1982), автобиографического романа «Портрет художника в юности» (1916; рус. пер. «ИЛ», 1976, № 10—12), пьесы «Изгнанники» (1918), романов «Улисс» (1922; рус. пер. эпизодов 1—10 в «Интернациональной литературе», 1935—1936), «Поминки по Финнегану» («Finnegan's Wake», 1939). В «ИЛ» печатались также стихи Джойса из сборников «Камерная музыка» (1907), «Пенни за штуку» (1927; 1983, № 2) и сатирическая поэма «Газ из горелки» (1914; 1986, № 2).
Роман Д. Джойса «Улисс» печатается по изданию — James Joyce. Ulysses. London, The Bodley Head, 1984. Отдельной книгой роман выйдет в издательстве «Художественная литература».

КИН ЦЕЦИЛИЯ ИСААКОВНА — советский критик и литературовед. Автор книг, посвященных итальянской культуре и судьбам итальянской интеллигенции: «Миф, реальность, литература» (1968), «Итальянские светотени» (1975), «Итальянские мозаики» (1980), «Выбор или судьба» (1988) и др., а также многих статей, публиковавшихся в журналах, в том числе в «Иностранной литературе».

МЕНЬ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1935 г.) — кандидат богословия, получил высшее светское и богословское образование, окончил духовную академию. Печатается с 1959 г. Автор книг и статей, главным образом по истории религии, выходивших в Советском Союзе и за рубежом.

АЛЬБЕР КАМЮ (ALBERT CAMUS; 1913—1960) — французский писатель, драматург, эссеист, лауреат Нобелевской премии. Большая часть произведений А. Камю переведена на русский язык: повести «Чума», «Падение», «Посторонний» («ИЛ», 1968, № 9), пьесы «Калигула», «Недоразумение», пьеса У. Фолкнера и А. Камю «Реквием по монахине» («ИЛ», 1970, № 9), многие рассказы, эссе, очерки.
Эссе «Размышление о гильотине», публикуемое в сокращении, взято из сборника «Размышления о смертной казни» («Réflexions sur la peine capitale»).

ФРАНК ГЕРЦ ВУЛЬФОВИЧ (род. в 1926 г.) — советский сценарист, режиссер, заслуженный деятель искусств и лауреат Государственной премии Латвийской ССР. С 1959 г. работает в документальном кино на Рижской киностудии. Автор-режиссер фильмов «Четвертый председатель» (1968), «Твой день зарплаты» (1971), «Запретная зона» (1975), «Последние праздники Эдгара Каулиня» (1980), «До опасной черты» (1984), «Высший суд» (1986) и др. Выпустил книгу «Карта Птолемея. Записки кинодокументалиста» (1975).

Переводчики

КУДРЯВЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА — советский переводчик. В ее переводе с английского издавались романы Дж. Голсуорси «Остров фарисеев», Дж. Уэйна «Зимой в горах» (совместно с Т. Озерской; «ИЛ», 1972, № 5—7), М. Митчел «Унесенные ветром», т. 2, Дж. Апдайка «Давай поженимся», («ИЛ», 1979, № 7, 8), «Кролик разбогател», Дж. Кэрол Оутс «Ангел света» и др.

ХИНКИС ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1930—1981) — советский переводчик с английского, итальянского и скандинавских языков. Среди его лучших работ — переводы произведений У. Фолкнера, Дж. Апдайка «Кентавр» («ИЛ», 1965, № 1—2), У. Голдинга «Шпиль» («ИЛ», 1968, № 10), К. Гамсуна и других западноевропейских и американских писателей. Перевод романа Дж. Джойса «Улисс» В. А. Хинкис считал главным делом своей жизни. Однако этот труд остался незавершенным. После смерти В. А. Хинкиса работу над переводом «Улисса» продолжил и довел до конца С. С. Хоружий.

ХОРУЖИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1941 г.) — советский математик и философ, доктор физико-математических наук.

ФРИДЛЯНД СОФЬЯ ЛЬВОВНА — советский переводчик с немецкого и скандинавских языков. В ее переводе издавались романы Г. Бёлля «Дом без хозяина», Э. Штриттматтера «Погонщик волов», «Оле Бинкоп», «Лавка», М. В. Шульца «Мы не пыль на ветру», Ф. Дюрренматта «Правосудие» («ИЛ», 1988, № 6), новеллы С. Цвейга, К. Гамсуна, А. Зегерс, рассказы Й. Рединга («ИЛ», 1982, № 2) и др.

Лауреаты премий «ИЛ» 1988 года

Б. Асоян — за очерк-памфлет «Принципы Додо», № 10;

В. Британишский, З. Левицкий и Е. Лысенко — за перевод прозы и стихов Тадеуша Боровского, № 10;

М. Былинкина — за перевод романа Карлоса Фуэнтеса «Старый гринго», № 3;

Евг. Евтушенко — за перевод стихов Рауля Суриты, № 2 и послесловие к книге Ганны Кралль «Опередить Господа Бога», № 4;

В. Земсков — за статьи «Искусство века великой метаморфозы», № 3 и «Незрячий провидец», № 10;

В. Зотов — за статью «Китай: десять лет по пути обновления», № 5;

Ю. Карякин — за статью «Две войны за небытие, или О службе последней черты», № 8;

Е. Костюкович — за перевод романа Умберто Эко «Имя розы», № 8—10;

Д. Лихачев и Н. Самвелян — за диалог «Возвращение к Человеку», № 1;

Р. Райт-Ковалева — за перевод романа Франца Кафки «Замок», № 1—3;

О. Сорока — за перевод романа Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», № 4.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

ВЛАДИМИР НАБОКОВ. «Пнин». Грустная и смешная повесть о чудаковатом эмигранте-филологе Тимофее Пнине, попавшем в послевоенную Америку и пытающемся приспособиться к незнакомому образу жизни. Первая публикация из англоязычных произведений писателя.

«О любви и прочем». Диалог в письмах между двумя писателями: советским — ЛЕОНИДОМ ЖУХОВИЦКИМ и шведским — ЛАРСОМ ХЕССЛИНДОМ.

О союзе польских писателей, о свободе выбора, свободе печати и многом другом рассказывают в своем интервью ВОЙЦЕХ ЖУКРОВСКИЙ и ЗЕНОН СКУЗА.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ч. Т. АЙТМАТОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ, Н. А. АНАСТАСЬЕВ (первый зам. главного редактора), **О. С. ВАСИЛЬЕВ** (зам. главного редактора), **Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017 Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, тел. 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 31.10.88. Подписано в печать 27.12.88. Формат 70×108¹/₁₆. Печать высокая. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,59.

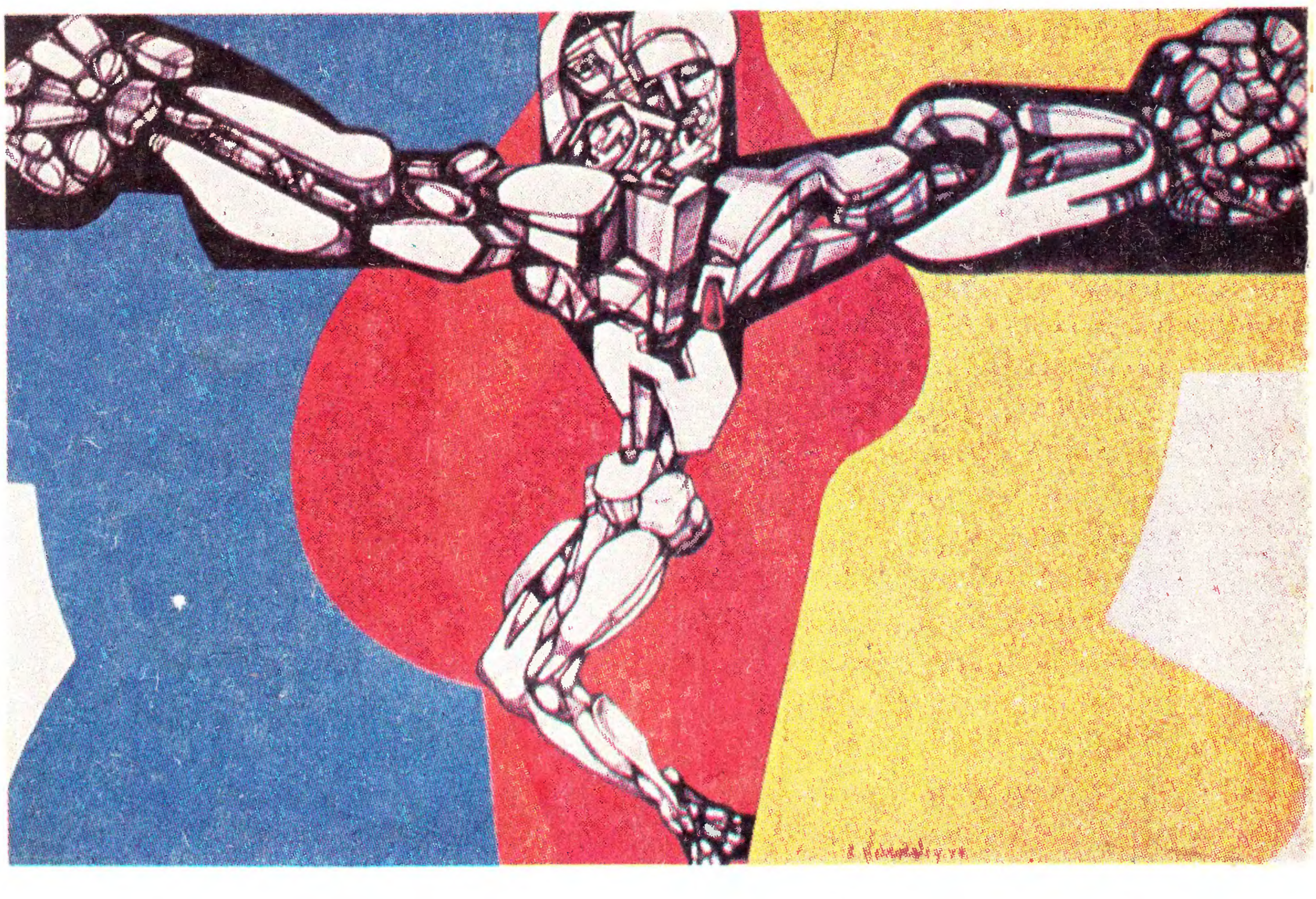
Тираж 420 000 экз. (2-й завод: 350 001—420 000 экз.). Зак. 06268.

Отпечатано с матриц Ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5, в типографии ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, проспект Победы, 50.

256

15 ИЛ № 1 ЭО

Взгляд. Акриловые краски, масло. 1981.

Цена 1 руб. 80 коп.

Индекс 70394